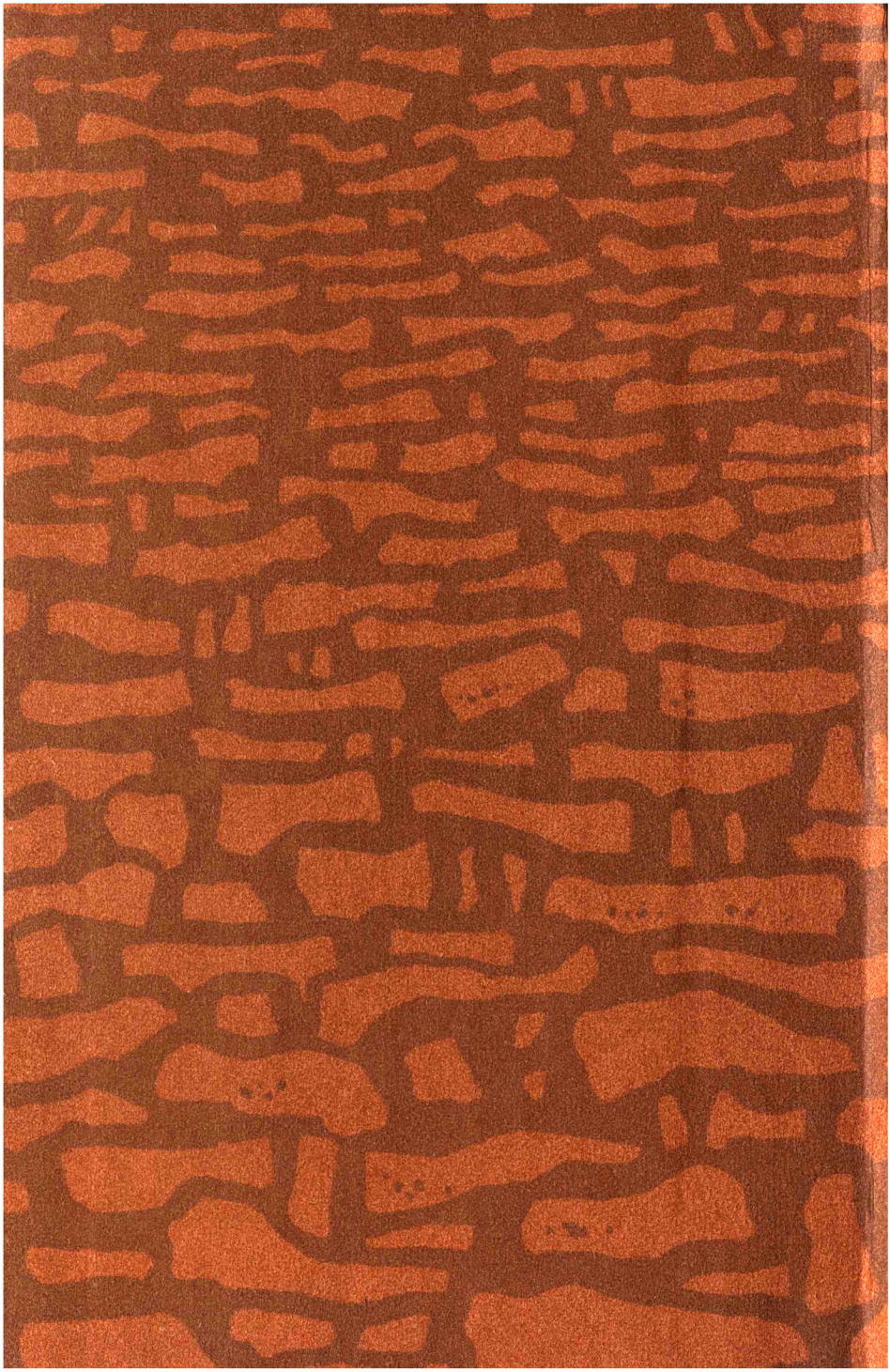


МУСА
МАГОМЕДОВ

В ТЕСНИНАХ ГОР





МУСА
МАГОМЕДОВ

В ТЕСНИНАХ ГОР

ПОВЕСТИ

Перевод
с аварского

Москва
«Советская Россия»
1981

Р2
М12

Художник
В. П. Борисов

М $\frac{70303—143}{М-105(03)—81}$ 156—80 4702040000

© Издательство «Советская Россия», 1981 г.



ТУЛПАР

1

Из земли, согретой нежным мартовским солнцем, уже пробивались кинжальчики травы, а на склонах гор, тесно обступивших со всех сторон аул, еще лежал белыми пятнами снег. На кривых аульских улочках, на гумнах нежились, отдыхая, ишаки, набирая силу для будущей весенней и летней работы. Скоро вся тяжесть ее ляжет на их спины. Окруженные стайками пухленьких цыплят, между ними деловито расхаживали куры, выкапывая из разбухшей земли корни травы и червяков. На широком гумне, где крестьяне из нижнего аула осенью молотят ячмень и пшеницу, ватага ребятишек играла в бурдичвай [1]. Эта нижняя часть аула — бедняцкая.

[1] Игра, похожая на городки.

Дома в большинстве своем без веранд и без двора, а вместо стекол в окнах — бумага или ветхое тряпье. Когда вечером пастух гонял в аул стадо, редко какая корова поворачивала в сторону нижнего аула. Осенью под балконами богатеев в верхнем ауле надо было ходить, наклонив голову, абы не задеть висевшие рядами бараньи туши и колбасы, а в бедняцкой части можно было шагать без опаски — балконы были пустыми. Редко здесь резали барана. «У них и дым-то из труб едва идет»,— посмеивались в верхнем ауле. И дети нижнего и верхнего аула бывали в постоянной вражде, держась друг от друга особняком, купались ли в реке или выходили зимой на каток. А случись кому-нибудь из ребят задеть чужака, как разыгрывалась такая драка, что дома потом матерям из нижнего аула приходилось штопать дыры на штанах своих сыновей. Но это еще не беда, бывало, не обходилось и без жертв.

К такому делению в ауле давно привыкли, казалось, что иначе и быть не может. И только всему удивлявшемуся тринадцатилетнему Абдулатипу это было непонятно, и он часто приставал к бабушке: «Почему они богатые, а мы — бедные?» — «Аллаху так угодно, сынок»,— отвечала она. «А почему аллах и нас не сделает богатыми, ведь мы тоже его рабы. Ведь ты тоже ему молишься?» — не отставал Абдулатип. «Кто на этом свете бедно живет, на том — будет в раю»,— любила повторять бабушка. «А где он, рай, бабушка?» — не отставал Абдулатип. «Иди, иди, играй, не гневи аллаха»,— начинала обычно сердиться бабушка.

Бедная бабушка, зимой она умерла, в самый морозный месяц, когда, как у нас говорят, «даже чеснок замерзает». Мерзлую землю долбили ломами, чтобы вырыть могилу. Похоронили там, где хоронят бедняков из нижнего аула. Кладбище верхнего аула находилось в стороне, около святых шейхов. Могилы там за железными оградами и над каждой — памятник из тесаного камня с высеченными арабскими подписями. А над могилами бедняков из нижнего аула — лишь простые каменные плиты, а надписи сделаны краской, которая от дождей постепенно стиралась, плиты заносило землей, и тогда эти могилы становились едва заметными бугорками. Когда хоронили бабушку, дядя Нурулла, лудильщик из нижнего аула, сказал Абдулатипу: «Ничего, сынок, не плачь, придет время, когда все люди на земле

будут так же равны, как и под землей». Тогда Абдулатип не понял смысла этих слов дяди Нуруллы. Ему только жалко было бабушку, она была единственным человеком, к которому он был привязан. «Озябнет в этой холодной могиле, в одном саване»,— думал он, дрожа от холода. Сколько раз зимой встанет, бывало, бабушка, чтобы укрыть его овчинной шубой, которая сползала с него. И хотя утром чаще всего нечего было поесть, кроме холодной сыворотки, бабушка не горевала: «Ничего, сынок, в раю мы будем сыты». Много лет мечтала бабушка завести корову. «Когда в хлеву корова, то и в сакле и в животе тепло»,— говорила она.

«Какой же рай в этой холодной страшной могиле, куда положили бабушку?» — с тоской думал Абдулатип, возвращаясь с кладбища в бедную бабушкину саклю на краю аула. В сакле было холодно и темно, и эта темнота испугала Абдулатипа, казалось, в углах притаились черные призраки из сказок бабушки. Он убежал в отцовский дом.

Вскоре от бабушкиной сакли остался один хлев, где соседка хранила сено и кизяк. Кто утащил бревно, кто камень. Отцу Абдулатипа, который все время был в разъездах, некогда было беречь саклю матери. Теперь, как только замерзнет или проголодается, Абдулатип вспоминал бабушку. В ее кувшине всегда хранилась сыворотка, которую давали добрые соседи, и кусок кукурузного чурека. А в маленьком старом сундуке частенько припасала бабушка для внука кусочек сахара или сушеные фрукты, которые ей дарили во время религиозных праздников.

Вот и сегодня во рту у него ничего не было, кроме куска сухого хинка [1], который он тайком от мачехи Издаг сунул утром за пазуху. Летом хорошо. Можно забраться в сад в верхнем ауле или наесться крыжовника и щавеля в лесу, или наварить котелок крапивы. А весной Абдулатипу приходилось туго. Вот и сейчас, играя с ребятами в бурдичвай, он с завистью смотрел на Билкис, внучку соседки Шамай, которая вышла на гумно с куском хлеба. Абдулатипу казалось сейчас, что слаще этого куска нет ничего на свете. От злости он с такой силой ударил в городки, что деревянная чурка отлетела далеко, угодив прямо в стайку цыплят Шамай. Курица,

[1] Кушанье из теста.

взмахнув крыльями, тревожно закудахтала, торопливо уводя за собой всю стаю, а один цыпленок забарахтался на месте и замер. Со двора с криком выскочила Шамай. Дав подзатыльник внучке. чего, мол, не смотришь, она с проклятьями бросилась на ребят, размахивая метлой. Ее зычный голос разливался на всю округу, а широкие полы платья подметали улицу. Игравшие в бурдичвай ребята бросились врассыпную, и разгневанная Шамай с размаху налетела на пастуха Гамзата. Слепая на левый глаз Шамай и не заметила, как он вышел из-за поворота. «Ах ты, старая кобылица! Неужели вместо тебя аллаху не угодно было бросить мне в объятья молодую вдовушку»,— смеялся Гамзат. «Слыхали, что захотел этот старый греховодник! — еще пуще прежнего кричала Шамай. — Да пусть шайтан обнимет тебя!» — И, ударив его в грудь метлой, помчалась было дальше. «Куда же ты бежишь, как корова от невода, подожди, я ведь к тебе с радостной вестью», — добродушно смеясь, крикнул ей вслед Гамзат. Шамай в нерешительности остановилась. «И ты, старый, туда же. Смеешься надо мной?».

— Твой зять Асадулла возвратился с войны. Вся грудь в орденах. Это ли тебе не радость, Шамай?

— Вуя!— Уронив метлу, Шамай, растерянно хлопая глазами, села прямо на землю. — Аллах милостивый! Да неужто мой пропавший без вести сокол вернулся? Ой, Гамзат, дорогой, самый лучший петушок из этих цыплят — твой за такую радостную весть. Не жаль за нее и барана, да нет его у меня.

— Что ты, Шамай. Ничего мне не надо. А что Асадулла вернулся, и для меня радость. Стоящий он парень, — говорит Гамзат, шагая рядом с Шамай к дому Асадуллы.

Абдулатип хорошо помнил Асадуллу. Как-то года два назад, Издаг вернулась с базара с новостью: «Слыхал, отец, соседский-то Асадулла на фронт едет. С германцами воевать. Говорят, и лошадь и оружие дали».

— Какой вояка из этого сурхаевского щенка, — усмехнулся тогда отец.— От первой же пули погибнет, оборванец,— с ненавистью добавил он. А когда до аула дошли слухи, что Асадулла жив и получил Георгиевский крест за храбрость, отец ходил злой, раздраженный. «Ишь, щенок, выжил все-таки. Надеялся я, что кровного

врага чужая рука прибьет, да, видно, придется самому покончить с ним, как только вернется в аул»,— зло говорил он жене.

«Почему отец так не любит Асадуллу?» — как-то спросил Абдулатип у бабушки. «Ох, внучек,— тяжело вздохнула бабушка. — Асадулла — кровный враг твоего отца».

— Почему, бабушка? — не отставал Абдулатип.

— Давняя эта вражда, внучек. Случилось то, когда мне еще шестнадцать лет было. Отец мой, Ахбердилав, дедушка, стало быть, твоего отца, все спорил с дедушкой Асадуллы из-за межи. Земли-то у того и другого всего ничего, вот и спорили из-за каждого клочка. Да как. Сколько раз дело чуть до драки не доходило, да как-то все аллах миловал. А тут вдруг случись — пожаловал к нам в аул наиб [1]. Вот наши к нему и пойди — разберись, мол, в споре. Наиб тогда к нам пришел. А отец мой встал на меже, из-за которой все спор шел, и поклялся аллахом, что земля, на которой он стоит, — его. Ну, а дедушка Асадуллы такой клятвы дать не решился, и ничего ему не оставалось делать, как уступить этот кусок дедушке твоего отца. Так бы и ладно. Время шло, и спор поутих. Спокойно жили. Да только отец мой любил прихвастнуть, слабость у него такая была. Подвыпил как-то на свадьбе и давай хвастать, как в дураках оставил Сурхая. Оказывается, насыпал он в чарыки земли со своего поля, да и надел их, так что земля у него под ногами действительно была его. Потому и именем аллаха так смело клялся, стоя на чужом поле. Услышав это, дедушка Асадуллы Сурхай пошел, да и распахал межу в свою пользу. Тут отца моего гордость и взяла, бросился он на Сурхая с кинжалом, а тот тоже не из робких был, выхватил из-за пояса нож и первый нанес удар. Принесли, помню, отца домой на черной бурке, а он уже и не дышал. Похоронили его, а Сурхай по обычаю покинул аул. Его родственники долго просили наших простить Сурхая, взять выкуп по шариату за убитого. Да только ничего из этого не вышло. Брат мой пошел по следам Сурхая, да не суждено им было встретиться. Сурхай так и пропал. А вражда с тех пор и осталась. Вот почему и твой отец ненавидит Асадуллу. И тебе она в наследство перейдет, эта проклятая кров-

[1] Начальник округа.

ная месть. Тревожно мне от этого, внучек. Жизнь не мила тому, у кого враг».

И вот теперь Асадулла возвращался домой, в аул. Неужели отец станет драться с ним?

Мальчишки, бросив игру, помчались к дому Асадуллы. Да и не только они. Вот и дядя Гамзат спешит туда, и дядя Нурулла. Всем не терпится посмотреть на солдата. «Каким же он стал теперь, их сосед Асадулла?»— думал и Абдулатип. Он бежал вместе с мальчишками.

— Куда это вы?— высунулся из окна сын дяди Нуруллы — Шамсулвара. Они с Абдулатипом — ровесники.

— А ты разве не знаешь? Асадулла с войны приехал!

— Подожди, я тоже пойду,—заторопился Шамсулвара.

— Давай, только поскорей. — Неповоротливый, толстый, как колобок, Шамсулвара едва поспевал за Абдулатипом. — Да скорей же ты, — торопил товарища Абдулатип.

Вот и двор Асадуллы. Он весь заполнен народом. Абдулатип схватил красного задыхавшегося Шамсулвару за руку, пытаясь протиснуться к веранде. И тут он увидел Асадуллу. Он стоял, набросив на плечи старую шинель, опираясь на посох, в лучистых черных глазах светилась улыбка. Круглое молодое лицо потемнело от загара. Каждому, кто подходил, он долго тряс руку, уважительно кланяясь женщинам и девушкам, которые, стесняясь, прятались за спины матерей. К нему протиснулся больной Хабиб, что-то бормоча на своем непонятном языке. В ауле считали его дурачком и жалели.

— Здравствуй, Хабиб, как поживаешь?— ласково погладил его по плечу Асадулла. — Не обижают тебя? — показал он жестами Хабибу.

Тот, стесняясь, робко улыбнулся, показывая руками, что, мол, тебя считали погибшим, а вот ты вернулся, и я очень-очень рад этому.

— Спасибо, Хабиб. — Асадулла вытащил из кармана шинели серебряный рубль и подал больному Хабибу. Тот по-своему что-то быстро забормотал, прослезился, прижимая руки к груди, благодарил Асадуллу. Снял папаху и спрятал внутрь ее рубль.— Какое ласковое солнце у нас в горах, — сказал Асадулла, глядя на горы, окрашенные яркими лучами весеннего солнца. — Соскучился

я по вас, друзья, ох как соскучился.— Он сел на стул, который вынесла на веранду жена.

— Говорят, солдаты-то царя сбросили?— спросил у него Гамзат. — Был ли ты там?

— В Петербурге я не был, а вот с царскими офицерами воевать пришлось,— ответил Асадулла.

— Времена-то какие пришли, сынок, — качал головой Гамзат.— У нас вон в крепости Абаев сидит со своими красными, за большевиков воюет, а у Андийского озера, говорят, духовенство свое войско скликает. Имама уже выбрали — Нажмудина Гоцинского. Что же это будет с Дагестаном, сынок? Разбушевался, как море в непогоду.

— Ничего, дядя Гамзат. Море успокоится, и вода в нем станет прозрачной, как прогоним черные тучи с неба Дагестана,— сказал Асадулла. Он еще говорил что-то, Абдулатип не расслышал: сзади его кто-то вдруг грубо схватил за ворот и потянул назад.

— Ишь, куда пришел, поганец! — услышал он над собой резкий голос мачехи.— А ну, пошел домой! — Она больно ударила его по затылку и потащила за собой.— У-у, проклятый! Только вчера ему чарыки починила, а он уже опять успел порвать.

Это были старые отцовские чарыки (новых ему никогда не покупали), кое-как приспособленные ему. Уж трижды сапожник ставил на них подметки, но, будто назло, на ногах Абдулатипа они словно горели. И сейчас штаны по колено были мокрыми, топорщились на худеньких ногах. Загорелое, шелушащееся лицо перепачкано землей.

— Молиться его не заставишь, так хоть бы умывался. Посмотри, на кого похож, проклятый? И что за ребенок на мою бедную голову! — причитала она. — Люди подумают, что не забочусь о нем. Сущий шайтан, а не ребенок.

— Сама ты шайтан. — Абдулатип вырвал руку и припустился бежать.

— Нет, только послушайте, люди добрые, что сказал этот щенок. Ах ты, бесстыжий! Так он благодарит за то, что кормлю его и одеваю! — кричала вслед ему Издаг.— Подбросила мне Катилай этого проклятого щенка.

Катилай — мать Абдулатипа. Отец его — Чарахма женился на Катилай, когда ей было всего пятнадцать

лет. Оставив беременную жену дома, он уехал в соседний аул, где была духовная школа, и поступил там в ученики муллы. Он мечтал сам стать муллой, ведь мулла имел в ауле немалый доход, за богослужение каждая семья приносила ему мерку[1] пшеницы в год. Однако далеко не все ученики медресе[2] становились муллами. Для этого недостаточно было только проявить старания в учении, надо было завоевать расположение духовных отцов, чтобы получить хорошую рекомендацию. Хорошо усвоив эту нехитрую житейскую премудрость, Чарахма частенько заглядывал к мулле — то дрова колоть, то овец стричь. А с дочери его Издаг глаз не сводил. Тайком от родителей бросал в ее сторону горячий взгляд или пару ласковых слов, и она не без удовольствия принимала эти знаки внимания, уж очень по душе пришелся ей этот красивый, ласковый парень.

Абдулатип слышал однажды, как Издаг при очередной ссоре с мужем, а они то и дело вспыхивали между ними, кричала: «Ты обманул меня, негодяй. Обманул. Я-то дура думала, что он в меня влюбился, а он на богатство моего отца зарился! Ничего не скажешь, сумел соблазнить: и песни такие печальные под окном пел, и на пандури бренчал! Бедная я!» — «Разве ты не насильно женила меня на себе. Вспомни-ка! — злился отец.— Только и знала, что увиваться у мечети, а делала вид, что за водой идешь, хотел бы я знать, куда тебе столько воды!»

Абдулатип не знал, кто из них был прав, но хорошо понимал, что их «любовь» осиротила его. Когда до Катилай дошли слухи, что ее муж собирается жениться на другой в соседнем ауле, она взяла годовалого Абдулатипа и ушла к своим родителям. Вскоре в аул вернулся Чарахма со своей новой женой. Но муллой он так и не стал, эту его мечту разбила Издаг, ей хотелось, чтобы муж ее стал купцом, а не муллой. Узнав о возвращении Чарахмы, разгневанный отец Катилай, взяв трехгодовалого Абдулатипа, явился к нему: «Возьми своего отпрыска! Мы не будем кормить ребенка подлеца, нянчись с ним сам!»

Напрасно Катилай умоляла своего отца не делать этого, оставить ей сына, — он был неумолим. Назло Ча-

---

[1] Пуд.

[2] Духовная школа.

рахме он решил как можно скорее выдать Катилай замуж в соседний аул. Так и осиротел Абдулатип при живых родителях. Издаг с самого начала невзлюбила его. Отец редко бывал дома, он разъезжал по аулам, торгуя всякой всячиной — вплоть до вазелина. Его все не оставляла мечта разбогатеть, стать таким же зажиточным купцом, как аульчанин Дарбиш. Абдулатип целыми днями пропадал у бабушки, матери отца. Та, хоть и сама жила впроголодь, старалась кормить его, заботилась о нем, часто рассказывала ему о матери, какая та красивая, добрая. Издаг она не любила, еще и потому не скупилась на похвалы Катилай. Засыпая, Абдулатип часто пытался представить себе мать, она представлялась ему царевной из бабушкиных сказок. Часто снилось ему, как мать склоняется над ним, гладит по волосам, готовит чуду (пирожки) из творога. Ему хотелось, чтобы этот сон не кончался. Тогда он улыбался во сне, а бабушка, глядя на внука, тяжело вздыхала: «Умру, кто приласкает сиротку».

Так прошло несколько лет. Абдулатипу пошел восьмой год. А он все мечтал увидеть мать. От бабушки он слышал, что живет она в соседнем ауле у богача Иманали. И вот как-то в один из летних знойных дней Абдулатип отправился туда, шел весь день и только к вечеру, перевалив через гору, подошел к аулу. Навстречу ему шла с кувшином старуха.

— Бабушка, где здесь дом Иманали? — стесняясь, спросил Абдулатип.

— А ты кто же ему будешь? — Старуха подняла к глазам костлявую темную руку.

— Там мама моя. Катилай.

— Вон оно что,— покачала старуха головой.— Иди, вон отсюда стеклянная веранда видна.

Абдулатип подошел к большому красивому дому и робко открыл калитку во двор. Колокольчик, висевший у калитки, резко зазвенел. И в это время богато одетый старик, в задумчивости шагавший взад-вперед по веранде, обернулся к Абдулатипу. У старика была толстая красная шея, пышные длинные усы. «Наверно, это и есть богач Иманали,— со страхом подумал Абдулатип.— Вдруг сейчас прогонит меня?» — и он с тоской посмотрел на свои запыленные босые ноги.

Но Иманали, присмотревшись к Абдулатипу, понял, кто стоит перед ним. У мальчика были точно такие гла-

за, как у его жены Катилай. «Кстати пришел этот мальчик. Может, это вернет Катилай силы», — с надеждой подумал он, и взяв удивленного Абдулатипа за руку, повел в дом. Услышав вдруг страшный крик, доносившийся из дальней комнаты, Абдулатип в нерешительности остановился.

— Идем, мальчик. Это кричит твоя мать. Ей очень плохо, она больна, — грустно сказал Иманали. — Пойдем, она обрадуется тебе.

— Ой, Иманали, ей очень плохо,— бросилась к нему женщина вся в черном. Это была знахарка, она должна была принимать у Катилай роды.— Боюсь, не сможет родить, бедняжка,— покачала головой знахарка, хитро посматривая на хозяина.

— Полбогатства моего отдам, только спаси ребенка. Главное, чтобы ребенок остался жив. Он очень нужен мне, — зашептал ей Иманали. У него не было детей, и Катилай он взял только ради наследника. И вот теперь она умирает, не в силах родить, и опять он останется без ребенка. — Ребенка спаси, — тряс он за плечо знахарку.

Вдруг Абдулатип увидел, как кричавшая на белой кровати женщина медленно повернула к ним красное, покрытое потом лицо, и взгляд ее замер. Неужели это его мама? Женщина на белой кровати повела языком по губам, пыталась что-то сказать, но слов не было слышно.

— Мы его оставим у себя, братом будет для нашего ребенка, только не умирай, Катилай,— склонился над больной Иманали. Он чуть не плакал. Из глаз Катилай сорвались слезы, покатились по белым как мел щекам. Шевельнулись бескровные губы.

— Скажи же что-нибудь, Катилай. Посмотри, открой глаза, вот стоит твой сын,— сказала и знахарка.

Вдруг душераздирающий крик нарушил тишину, Катилай дернулась всем телом и замерла.

Перепуганный Абдулатип бросился вон из комнаты. Во дворе плакали какие-то женщины. Абдулатип бежал по незнакомым кривым улочкам, будто за ним гналась злая собака. Добежал до леса, упал на примятую выгоревшую траву и расплакался. Пылающий лоб касался земли, и от нее шла прохлада и успокоение. Долго так лежал Абдулатип, незаметно уснул, а проснулся, когда уже взошла луна. Ему вдруг показалось, что это лицо

матери и что она смотрит на него. И лицо это печальное и тусклое от мучительной боли.

Абдулатип вскочил, заторопился. А луна, казалось, плывет за ним следом. «Хоть ты и бежишь от меня, я всегда буду идти следом за тобой, сынок», — словно говорила она.

Абдулатип пришел домой поздно ночью. Бабушка не спала. По всему аулу искала его.

— Ой, родимый ты мой, пришел наконец. Я-то, старая, не знала что и думать. Долго ли до беды. Уж не утонул ли, думала.

— Вот видишь, не утонул, — ответил резко Абдулатип.

— Где ж ты пропадал?— Бабушка прижала его к груди.

— В горах заблудился, — соврал он. Но бабушка догадывалась, где он был. «Наверняка к матери ходил, бедняжка. Вот и сердитый вернулся,— видно, Иманали прогнал его».

Долго не мог уснуть в ту ночь Абдулатип. Во сне он метался, звал кого-то. Бабушка сидела возле него. «А луна может болеть?» — вдруг проснувшись на какую-то минуту, спросил он, увидя бабушку. Та испугалась — не заболел ли внучек, не бредит ли. Потеплее укрыла его. «Спи, милый, спи. Луна не болеет, только тучи на время могут закрыть ее от матери-земли»,— тихо прошептала она, успокаивая уже опять засыпавшего Абдулатипа.

А на следующий день до них дошли слухи, что Катилай умерла при родах. Бабушка плакала: «Бедная Катилай, куропаточка, пойманная капканом, слез не осталось оплакивать тебя».

Так лишился Абдулатип матери. У мачехи же его, Издаг, даже после смерти Катилай осталась к ней зависть и ненависть. «Проклятая, оставила на горе мне своего щенка», — шипела она. От ее скрипучего голоса Абдулатипу становилось не по себе, ему казалось, будто он слышит, как точат кинжал. Тогда он съеживался, словно от удара. Слова Издаг падали, как камни, которые швыряли в него, когда он залезал в мечетский сад.

Издаг жаждала ребенка, но его не было. И это еще больше ожесточало ее против Абдулатипа. Стоило Чарахме ласково заговорить с сыном, как она менялась в лице, словно змею увидела, и, выливая свою злобу,

швыряла чем попало в козу или петуха, мирно гулявших во дворе. «Злая она. Вот аллах и не дает ей ребенка», — не раз говорила бабушка. После бабушкиной смерти Абдулатип полностью попал в лапы Издаг. Каждый день она находила какой-нибудь повод придраться к нему.

2

Вот и сегодня. Насильно притащив Абдулатипа домой со двора Асадуллы, она закрыла на засов ворота, явно намереваясь дать волю своей злобе: «Ишь ты, негодяй. Шайтаном меня назвал». Она схватила лежавшую под лестницей метлу. «Ну подожди же, щенок. Я покажу тебе сейчас шайтана».

Абдулатип стремглав бросился вверх по лестнице в комнату отца. Он знал, что такие слова Издаг не простит ему. «Не надейся, не убежишь». Тяжелые ботинки Издаг застучали по лестнице. Абдулатип метнулся было к окну — нельзя ли выпрыгнуть, но оно было закрыто снаружи. В дверях с метлой в руках появилась разъяренная Издаг. Абдулатип прижался к окну, и тут вдруг его взгляд случайно остановился на кинжале отца, висевшем на ковре. В поездки отец всегда брал с собой другой, маленький кинжал, а этот, наследственный, всегда висел здесь. Отступая от злобных глаз Издаг, Абдулатип подвинулся к стене, где висел ковер. На память вдруг пришли слова бабушки: «Никогда не отступай, внучек. Если прав, сумей постоять за себя». Так говорила ему бабушка, когда он как-то пришел домой в синяках — подрался с двумя мальчишками из верхнего аула.

Горевшие злобой глаза Издаг вдруг застыли от ужаса, рука, сжимавшая метлу, застыла в воздухе — она увидела, как в руках Абдулатипа сверкнул кинжал.

— Живот распорю, если ударите меня.

— Ах ты, проклятое отродье. Убить меня задумал! Вот как благодаришь меня за то, что кормлю, одеваю тебя! Не зря говорят — кто кормил сироту, тому бочку желчи пришлось выпить!

— Не из своего сундука кормишь, — смело ответил Абдулатип. Такая решительность была неожиданной для Издаг. Она опустила метлу, хотя в глазах ее ярость так и кипела.

— Как разговаривает, щенок! Не из сундука ли твоей нищенки матери? Ну, подожди, вот вернется отец. Он

тебе покажет, — зло бросила она и вышла. «Испугалась»,— радостно подумал про себя Абдулатип.

— А я вот скажу отцу, что ты мне одну сыворотку давала,— бросил вслед ей Абдулатип.

— И вовсе ничего не дам, собака. Дохлятину поешь,— уже более миролюбиво крикнула Издаг, гремя на кухне посудой. Она поставила молоко на очаг и стала снимать творог. — Иди, принеси кизяку. Да заодно и воды принеси, — крикнула она Абдулатипу.

Абдулатип понял, что злость ее улеглась, и был рад этому. Он взял кувшин и побежал к источнику.

Всегда, когда он ходил за водой или тащил на спине хворост, ребята, особенно сын купца Назир, смеялись: «Смотрите-ка, девушка за водой пошла». Ведь в ауле по обычаю за водой ходили только девушки. Поэтому Абдулатип ходил за водой через кладбище. Там мало кто замечал его.

Голодный и усталый возвращался Абдулатип от источника. Уже у ворот своего дома он почувствовал вкусный запах творога. Бывало, бабушка снимет его на миске и положит ему, горячий, резинистый, да к нему еще и сливочного масла добавит. Правда, случалось это еще тогда, когда у бабушки была корова. Ее убило сорвавшимся со скалы камнем. Бабушка сильно горевала: «Неужели аллаху угодно было в целом стаде мою корову выбрать?» А вот у мачехи Издаг две коровы, но она никогда не дает ему творога. Вот и сейчас он, голодный, сидел у очага и, вдыхая запах творога, глотал слюни. С надеждой смотрел на Издаг.

— Чего глаза-то вылупил. Сопли вон вытри, оборванец, — проворчала Издаг, протягивая к его носу щипцы. Кончики их были горячие, но Абдулатип вытерпел это оскорбление, все еще надеясь получить кусочек творога. Издаг сняла его черпаком, положила в блюдо. Абдулатип с жадностью смотрел на него. Он не смел просить у нее, а она и не думала кормить его творогом. Убрав его со стола, поставила перед Абдулатипом чугун сыворотки. — Ешь вот, пусть оно у тебя через нос выйдет! — Мачеха бросила на стол сухой хинк из ячменя. — Остатки сыворотки дай ослу. Дашь своему псу, так и знай — оставлю без завтрака.

Абдулатип с жадностью набросился на хинк, запивая его сывороткой. Хоть бы еще кусочек хинка дала, а то

совсем голодным останешься. Но Издаг не обращала внимания на его просящий взгляд.

Живот у Абдулатипа раздуло от сыворотки, но сытости он не чувствовал. Голодный встал из-за стола. На веранде у него была постель из сена. Покрывался старой отцовской буркой. Мальчик лег на крепкое, слежавшееся сено и завернулся в бурку.

Над аулом нависли свинцовые тучи, с горы Акаро дул прохладный ветер. Возвратившиеся с полей аульчане сидели на верандах, вели бесконечные разговоры о хозяйстве, где-то плакал ребенок. «Тоже, наверно, голодный», — с тоской подумал Абдулатип. Ветер донес до него с какого-то очага запах вареного мяса, а вскоре из своей кухни запахло творожными пирожками. Абдулатип представил, как Издаг поворачивает на сковороде жареные пирожки, смазывает их маслом и складывает в глубокую миску. Хоть бы один пирожок дала. Так нет же, отправила его спать. Стараясь не думать о пирожках, он с головой закутался в бурку, чтобы не чувствовать их дразнящий запах. Но запах этот проникал и под бурку, тревожил его. Абдулатип мысленно взял пирожок, помакал в приправу из меда и ленкудряша и откусил вкусный горячий кусок. Но это не утолило его голодный желудок. Он сбросил бурку, поднялся и подошел к двери кухни. Она была закрыта изнутри. Абдулатип взял стоявшую на лестнице корзинку, которую специально ставили здесь, чтобы теленок не поднялся на веранду, и, поставив на нее табуретку, влез и заглянул в окно кухни. От горы горячих румяных пирожков шел пар. Издаг, засучив рукава, сняла со сковороды последний пирожок, смазала его маслом и положила сверху. Потом села к столу, помакала пирожок в урбеч и принялась есть. Абдулатип облизнул обветренные губы. «Сколько же у нее пирожков!» Издаг произнесла «бисмила» и откусила пирожок. И тут корзина под ногами Абдулатипа качнулась, и он рухнул на веранду. Испуганный теленок, жалобно помычав, шарахнулся в сторону. Из кухни с криком выскочила Издаг. Увидев отлетевшую в сторону табуретку, она поняла, в чем дело.

— Ах ты, бродяга, караулишь за мной! — Схватив корзину, она изо всей силы ударила ею по голове Абдулатипа. Не решившись сопротивляться, он спрыгнул с веранды и бросился вон с отцовского двора по мокрым от дождя улицам.

3

Северный ветер охапкой сыпал на Абдулатипа холодные капли дождя со снегом. Он стоял у разрушенной стены бабушкиной сакли у края кладбища, дрожа от холода, не зная, куда двинуться. Если бы бабушка была жива, он бы не был таким одиноким. Правда, в ауле у него есть друг. Это Шамсулвара, сын лудильщика Нуруллы. Но он не решился пойти к нему. Ведь Издаг, верно, уже ищет его, и первым делом она явится к дяде Нурулле. А ищет она его не потому, конечно, что ей жаль его, а чтобы перед отцом его выглядеть заботливой матерью. Ведь и раньше не раз бывало: обидит его, выгонит из дома, а потом идет искать, если отец должен вернуться. «Если б вы только знали, что за характер у этого катилаевского паршивца. Обругает меня и убежит, а мне бегай, ищи его», — жаловалась она соседкам. Вот и теперь, жадюга, видно, вышла искать его. Но он ни за что не пойдет домой. Но стоять тут у разрушенной стены тоже не так уж приятно, он весь промок и дрожит как осиновый лист. И кладбище здесь рядом. Еще бабушка, бывало, рассказывала, что люди умирают, а души их выходят по ночам из могил и бродят за милостынью. Они, мол, голодают, и им достаточно хотя бы понюхать запах хлеба. А у него даже крошки хлеба нет. Тогда призраки — души мертвых могут убить его. Надо поскорей уходить отсюда. «Хорошо взрослым,— думал Абдулатип,— они могут пахать, стены класть, и им деньги платят». А что он может? Вот если бы умел танцевать на канате, как приезжий артист из Цовкра. Он до сих пор помнит, как танцевал тот парень с талисманами на груди. Тогда весь аул бросал ему монеты. Абдулатип поежился от холода. «Да ведь я же могу телят пасти, — вдруг с радостью подумал он. — Как же я сразу не догадался. Ведь пас же в том году, как заболел аульский пастух. Пойду чабанить в соседний аул. Пусть проклятая Издаг ест свои пироги. А я больше не вернусь сюда». Приняв такое решение, Абдулатип уже двинулся было в путь, как со стороны кладбища послышался вдруг стук копыт. «Может, призрак?» — Абдулатип прижался к стене. Всадник скакал прямо к нему.

— Салам! Что ты стоишь здесь под дождем? Да еще босиком. Как тебя мать выпустила сюда в такую погоду?

— У меня нет матери, — заикаясь, ответил Абдулатип. Зуб на зуб не попадал у него от холода и испуга.

— Вижу, дела у тебя неважные, браток, — сказал верховой. — Поднимайся-ка ко мне. — Крепкими руками он поднял Абдулатипа и посадил перед собой на седло, накрыв мокрые плечи мальчика шершавой буркой. Ногам сразу стало тепло от боков лошади, Абдулатип согрелся. Приятно раскачиваясь в седле, он сквозь дремоту чувствовал, как стучат по бурке капли дождя, но теперь это даже успокаивало его, под буркой было тепло и сухо.

— Родителей, говоришь, нет? — сквозь сон услышал он голос путника.

— Отца дома нет, уехал. Мачеха одна.

— Да, незавидное твое положение,— сказал путник.— Но все же мужчине не подобает убегать из дому. Если вернется отец, будет, наверно, искать тебя.

— Он хороший,— признался Абдулатип.— А мачеха злющая и жадная. Как аздаха [1].

— Как аздаха, говоришь,— улыбнулся путник.— Смотри ж ты. Но все ж она мать тебе, нехорошо при посторонних говорить о ней плохо. А теперь слезай, приехали,— и он снял с его плеч бурку.

Только теперь Абдулатип заметил, что они приехали в крепость. У ворот стоял часовой. Он удивленно посмотрел на мальчика.

— Где ты этого героя подобрал, Сааду? — спросил часовой у путника.

— На дороге нашел. Вот вышел, говорит, с царством мачехи бороться.

— А! Я-то думал — он за революцию приехал бороться к красным партизанам.

Абдулатип уже не раз слышал это слово — революция, но еще не понимал его смысла. Бедные произносили его с надеждой и гордостью, богатеи же из верхнего аула, торговец Дарбиш, владелец харчевни, и его мачеха Издаг — с раздражением и испугом. Чаще всего это слово Абдулатип слышал от отца Шамсулвара, лудильщика Нуруллы. Как-то при нем Нурулла рассказывал о красных партизанах, об их командире Атаеве. Будто однажды Атаев приехал в свой родной аул и направился прямо в гости к своим бывшим не-

[1] Змея из горской сказки.

другам, богатеям этого аула. Те решили проучить гяура — большевика. Заперли ворота и спустили с цепей двух огромных волкодавов. Сидевшие за богатой трапезой гости приготовились к интересному зрелищу: вот сейчас псы разорвут большевика. Но Атаев не растерялся: ударом шашки разрубил одного волкодава, другому размозжил голову сапогом и вышел из этой переделки героем. Гости хозяина дивились храбрости красного гяура. Абдулатип представлял его высоким, как гора, и сильным, как лев. От голоса его содрогнутся скалы и рухнет вниз снежный обвал. И когда теперь Сааду сказал совсем просто: «Сначала зайдем к товарищу Атаеву», Абдулатип удивился и растерялся. Ребята в ауле говорили, что на лбу у Атаева — золотая звезда. Вот сейчас он увидит этого необыкновенного человека. Будет что рассказать ребятам в ауле — ведь каждый из них мечтал увидеть живого Атаева.

Сааду зашел в комнату, вслед за ним и Абдулатип. У низкого деревянного стола сидели двое и ели картошку в мундире. Один из них, смуглолицый, с маленькими черными усами. Из-под сросшихся лохматых бровей озорно поблескивали большие карие глаза. Другой был светлый, с голубыми глазами и казался выше первого.

— С приездом, Сааду,— сказал, вставая, смуглолицый и протянул Сааду руку. Другой тоже привстал, говоря что-то на непонятном Абдулатипу языке. «Где же Атаев?»— думал Абдулатип, с удивлением глядя на них. Ни у того, ни у другого нет на лбу золотой звезды, и ростом они небольшие, как бедные аульчане. Они тоже обратили внимание на мальчика.

— А это кто же? Новый красный партизан? — смуглолицый кивнул Абдулатипу.

Абдулатип смущенно топтался на месте.

— Вот убежал из дому, говорит, мачеха сильно обижает. Прихватил его с собой, товарищ Атаев, хотя на это и не имел разрешения.

Абдулатип удивился. «Значит, этот черноусый и есть Атаев. Самый обыкновенный человек, и никакой золотой звезды на лбу у него нет». Атаев серьезно посмотрел на мальчика. «Может, он сердитый и сейчас прогонит его?» Но Атаев подошел к мальчику, положил руку ему на плечо.

— Хорошо сделал, Сааду, что взял этого орленка к нам. По глазам вижу — стоящий паренек.— И он

что-то сказал по-русски голубоглазому. Тот тоже улыбнулся Абдулатипу.

— Якши, друг, якши.

— Садись, герой, поешь. Устал, наверно, с дороги? Садись, садись у очага, не стесняйся. Звать как тебя?

— Абдулатип.— Он протянул руку к картошке. Дома он всегда мечтал посидеть вместе с кунаками отца у очага, потому что тогда всегда было что поесть. Издаг старалась угодить отцу и его друзьям. А особенно старалась, когда приезжали ее родственники. Тогда он мог досыта поесть. Хотя, правда, это ему редко удавалось. Жадная Издаг ухитрялась послать его со всякими поручениями в лавку или к соседям как раз в тот момент, когда можно было садиться за стол. А если все же ему удавалось усесться за стол, Издаг так и ела его глазами, как кошка мышь, готовая каждую минуту ударить его по рукам, которые жадно тянулись к еде. Родственники Издаг всегда были недовольны, когда он садился к столу вместе с ними. Качали головами: «Ну и прожорлив ты, братец. Бедная Издаг — попробуй прокорми такого». Может, и эти дяди только хотят пошутить над ним. Только посадят рядом, а поесть не дадут? Но Атаев и голубоглазый разговаривали с Сааду и не мешали Абдулатипу вдоволь поесть.

— Как там Асадулла? — спросил Атаев у Сааду.

— Немножко хромает, но чувствует себя хорошо.

— Он парень с головой. И закалка наша, большевистская. Значит, на печке лежать не собирается?

— Куда там. Говорит, заглянул в аул проведать семью, а уже завтра едет в Телетли к партизанам с поручением Махача Дахадаева. И вам есть пакет от Махача, вот. Асадулла передал.

— Молодец Асадулла.— Глаза Атаева заблестели.— Всегда верил в него, знал — настоящим большевиком станет. Каким метким пулеметчиком был. Ведь мы с ним вместе против австрийцев воевали. Тогда еще я к нему все присматривался. А тут год назад мне говорят: твой-то земляк Асадулла в дикой дивизии. Немало удивился тогда. Позже уж узнал, что он был послан туда большевиками для работы,— Атаев широкими шагами ходил по комнате. Вдруг остановился около Абдулатипа.

— Утром поищи этому герою сапоги и гимнастерку, Сааду.

4

Утром Абдулатипа разбудил яркий луч солнца, неожиданно пробившийся через тусклое оконное стекло. В какое-то мгновение мальчику даже показалось, что это кошка своей мягкой лапкой тронула его лицо, как бывало у покойной бабушки. Он чуть было не сказал ей: «Уходи, я еще спать хочу» и, открыв глаза, вдруг увидел незнакомую комнату. С удивлением обнаружил, что спит под шинелью, от которой шел едва уловимый запах сухого сена, на мягкой пружинной кровати. Солнечные лучи щедро заливали комнату. Около окна, на маленькой табуретке, сидит девочка и зашивает его порванную рубашку. Где это он и кто эта девочка? Нигде раньше он не видел ее. Кажется, она ровесница ему, на вид ей не больше лет тринадцати. Щеки у нее как спелые яблоки и все усеяны мелкими веснушками, глаза узкие, продолговатые, медового цвета. На голове черный платок с мелкими белыми цветочками. И откуда эта девочка здесь, в крепости, среди партизан? Ведь вчера часовой едва пропустил его и только потому, что он был вместе с Сааду. Да, кстати, где же он? Постель Сааду была пустой.

Девочка у окна, бросив на Абдулатипа насмешливый взгляд, продолжала шить и молчала.

— Кто ты такая? — спросил, приподнявшись на постели, Абдулатип.

— Проснулся, наконец?— улыбнулась девочка.— Я Парида.

— Как ты сюда попала?

— Я к брату прихожу сюда. А ты?

— Я?.. Я воевать,— гордо ответил Абдулатип.

— Тоже мне — вояка. Все вы, мальчишки, чуть чего в драку лезете.

— Конечно. Не то, что девчонки. Из-за каждого пустяка ревут.

— Это я-то реву?— возмутилась Парида.

— Ну и ты, наверное. Как и все девчонки. Зачем ты мою рубашку взяла? Положи-ка.

— Вот дошью и положу,— улыбнувшись, сказала Парида.— Если дырку не зашить, она, между прочим, увеличивается.

— На то и женщины — зашивать.

— Ах вот как!

— И еще коров доить!— не унимался Абдулатип.— И еду готовить.

— Ха-ха,— рассмеялась Парида.— И отец мой так матери всегда говорит. А вот товарищ Атаев сказал, что победит революция и женщины станут равны мужчинам. Вот ты, например, будешь доить коров и таскать воду из родника.

— Я?! Никогда!— решительно заявил Абдулатип. Ему хотелось сказать Париде, что и теперь мачеха заставляет его, словно девушку, носить воду из родника, из-за этого аульские ребята вечно дразнят его, но сдержался, подумав, что ведь и Парида может посмеяться над ним.

Хотя и старался Абдулатип разговаривать с Паридой свысока, желая показать этим свое мужское превосходство, Парида на самом деле понравилась ему. Она не была похожа на девчонок с их улицы, которых он терпеть не мог. Ни на хохотушку Сидрат, ни на кокетку Зулейху, дочку мельника — те трусихи. Прошлым летом он со своим другом Шамсулваро́й пришел на мельницу молоть кукурузу. Зулейха все крутилась возле них и дразнила толстого неуклюжего Шамсулвару. А когда Абдулатип нагнулся к ручью напиться, она незаметно бросила камень и обрызгала его. Абдулатип погрозил ей кулаком, но при отце тронуть не решился. А Зулейха, зная, что Абдулатип боится ее отца-мельника, совсем осмелела. «Эй, Абдулатип, смотри, ботинки у тебя каши просят, ой, умора!» — кричала она. Улучив момент, когда мельник пошел молиться, Абдулатип схватил лягушку и бросил усевшейся в гени Зулейхе за шиворот. Та вскочила как ужаленная и подняла такой крик, что сбежались люди, выскочил перепуганный мельник. А Зулейха все кричала, показывая на Абдулатипа: «Это он, он жабу бросил!»

Разъяренный отец Зулейхи с камнем бросился на Абдулатипа. Пришлось ему, бросив сумку с кукурузой, убежать домой. А там ему вдобавок досталось от Издаг. С тех пор он терпеть не мог Зулейху и вообще девчонок. «Не буду я с ними играть, все они ябеды и трусихи»,— говорил он Шамсулваре, когда тот звал его играть с ними.

А вот Парида ему понравилась: то ли потому, что она была сестрой Сааду, то ли потому, что не побоялась в такое время одна прийти в крепость. «Вот бы мне та-

кую сестру,— даже невольно подумал он.— Она бы, наверное, не дала меня в обиду, и вдвоем бы они наверняка справились со злющей Издаг».

Абдулатип поднялся с кровати. Ноги у него были грязные, все в ссадинах от придорожных камней.

— Ну и ножки у тебя, Абдулатип. Белые как творог. Смотри, как бы кошки не съели,— смеялась Парида.

— Откуда ты знаешь, как меня зовут? — удивился Абдулатип.

— Мне уже Сааду все о тебе рассказал.— Парида встала.— Ты подожди тут, я сейчас,— и принесла полный таз горячей воды.— Ставь ноги, мойся. Красный партизан должен быть аккуратным.

— А разве я партизан? — удивился Абдулатип.

— Раз ты здесь — значит, партизан.

— И ты тогда партизанка?

— Я тоже скоро буду. На, мыло.

— Первый раз с мылом умываюсь,— сказал Абдулатип, старательно намыливая исцарапанные ноги.

— Вот победит революция, все у нас с тобой будет. И мыло, и сахар. Так товарищ Атаев мне говорил. И еще нам школу откроют. Не только богатые учиться будут. И у каждого будут ботинки и рубашки.

— И пироги с творогом будут?

— Будут пироги с творогом. И шашлык обязательно будет,— входя, ответил за сестру Сааду.— Так ты, значит, пироги любишь? — Сааду поставил возле Абдулатипа новые сапоги.

— Это мне? — Абдулатип с восхищением смотрел на красную звезду на папахе Сааду.— А правда, что у Атаева такая же золотая звезда?

— Почему золотая? У него такая же, как эта, красная пятиконечная звезда. Она — звезда свободы, а свобода для человека дороже всякого золота. Наша планета состоит из пяти континентов, и со временем все они будут свободны. Революция победит в конце концов везде, все люди будут равны и счастливы. Не будет бедных и богатых. Вот за такую жизнь и борются большевики. Теперь понимаешь?

— Понимаю,— улыбнулся Абдулатип.

— Только за такую жизнь бороться надо. У большевиков и в наших горах много врагов. Ведь богачи не хотят расставаться со своим богатством. Им выгодно, что вот мы, бедняки, на них работаем. Вот они и собра-

ли против красных свое войско из богатеев и их сынков. И верховодит ими имам Гоцинский и полковник Алиханов. Слыхал про таких? — Сааду подмигнул сестре.

— Слыхал. Мне Шамсулвара говорил. Его отец, Нурулла, тоже, говорят, за красных партизан.

— Вот и хотят Гоцинский и Алиханов, чтобы навсегда оставались одни богатыми, а другие бедными. Только это им не удастся. Красные партизаны с такими вот звездочками одолеют их... Вот, надевай. Это тебе от товарища Атаева. Искали на складе поменьше, да не нашли,— и он протянул изумленному Абдулатипу новые блестящие кирзовые сапоги. Он вертел их так и этак, все еще не веря, что они теперь принадлежат ему.

— Насовсем мне?

— Конечно. Обмотай ноги портянками, они внутри сапог. Ну, как, нравятся?

— Еще бы. У меня таких никогда еще не было.— Абдулатип завернул портянки и сунул ноги в сапоги. Встал, удивленно посмотрел на себя, сделал несколько шагов. Как гордо чувствовал он себя в этой неожиданной обновке, аж дух у него захватывало от волнения. И хоть сначала ему не очень-то удобно было в них, ведь ноги его привыкли к разношенным чарыкам отца, где половина ноги была босая, он не выдал своего чувства, терпеливо стоял, с восторгом глядя на свои сапоги. Вот бы взять их под мышки и унести домой.

Довольный и счастливый, Абдулатип вышел во двор крепости. Там в разгаре были ученья. Атаев обучал партизан ездить верхом, метко стрелять и на скаку рубить шашкой. Теперь он был в военной форме, с маузером, с шашкой на боку, в серой папахе с красной звездой. Конь его серой масти, пританцовывая, описывал круги по широкому двору. Вот он, словно подстегнутый, стремительно рванулся вперед, Атаев выхватил из ножен шашку, рубя направо и налево палки, рядами воткнутые в землю. Абдулатип с восхищением смотрел на него. Вот Атаев на скаку соскочил с коня и, подойдя к молодому партизану, велел повторить то, что делал сам. Засмотревшись на Атаева, Абдулатип даже забыл про свои новые сапоги. Вспомнив, подумал: «Расскажу Шамсулваре, какой он смелый и добрый».

— Доброе утро, герой! — услышал он над собой голос Атаева.— Как сапоги? Не жмут?

— Нет.

— Гимнастерку и шапку тоже надо бы ему,— сказал он стоявшему рядом Сааду.

— Надо будет поискать.

— Поищи, поищи. Скажи Амедазе, чтобы не жадничал.

Вскоре Сааду принес гимнастерку и кубанку, правда, не новую, но зато со звездочкой. Гимнастерка была велика, и Абдулатип, надев ее, подвернул рукава. А вот кубанка оказалась маловата.

— Ну и голова у тебя, как корзинка,— смеялся Сааду.

— Может, в этой голове и мысли большие будут,— улыбнулся Атаев.— Станет наш орленок ученым.

— Конечно, будет, если там не солома вместо масла,— засмеялся Сааду, легонько щелкнув Абдулатипа по лбу.— Ого, да тут, видно, точно масло. На вот, эта папаха побольше будет,— и он надел Абдулатипу другую папаху. Она оказалась в самый раз, но звездочки на ней не было.

— А звездочка?

— Вот тебе и звездочка, герой,— сказал Атаев, протягивая ему красную, блестевшую на солнце звезду. Пусть всегда тебе светит. И в погоду, и в ненастье. А хороших дней у тебя будет больше. Я уверен.

В новых сапогах, в большой солдатской гимнастерке, в кубанке со звездочкой Абдулатип шел рядом с Сааду гордый, повзрослевший, время от времени трогал рукой звезду на папахе, словно боясь, на месте ли она. В крепости было шумно. Партизаны готовились к боям, чистили оружие, одежду, готовили лошадей. «Смотри ты, от земли едва видать, а тоже воевать собрался», «Рано ему еще порох нюхать»,— слышал он вокруг себя. Сааду остановился возле низкорослого черноглазого парня, чистившего пулемет. Около него на корточках сидела Парида, помогала пулеметчику чистить детали. Абдулатип удивился. Парида делала это так уверенно, будто всю жизнь только и занималась этим. Абдулатип с завистью смотрел, как ловко она разбирает детали. «Девчонка, а даже пулемет знает». Проходившие мимо партизаны приветливо кивали Париде. Оказывается, здесь она была любимицей. Абдулатипу не терпелось рассмотреть пулемет, но при Париде он стеснялся расспрашивать пулеметчика. Только когда

она ушла наконец с кувшином за водой, Абдулатип присел около молодого парня-пулеметчика.

— А как из него стреляют?

— Очень просто,— парень показал, как ставят ленту, берут прицел.

— Учишься?— подошла к ним Парида.— Я тоже умею.

У Абдулатипа загорелись глаза. Как бы ему хотелось научиться стрелять из пулемета. Прежде всего он направил бы его на Издаг, вот бы она испугалась. «Не убивай, пощади меня, Абдулатип, я дам тебе пирожков из творога». А он бы ответил: «Не надо мне теперь твоих пирожков, теперь и у меня их будет вдоволь».

— Послушай, Абдулатип,— услышал он голос Сааду.— Ты иди домой. Скоро в крепости будет опасно. И ты ступай, Парида. Скажи матери, чтобы была спокойна. Обедов пока приносить не надо.

— Я безопасную дорогу знаю.

— Это через скалу? Я покажу тебе безопасную дорогу,— погрозил Сааду сестре.— Когда надо будет, я сам приду. А теперь ступайте.

— А кто же будет твою гимнастерку стирать?

— Ничего, сам управлюсь.

— А мне можно остаться, дядя Сааду? — умоляюще глядя на Сааду, спросил Абдулатип.— Я танцевать умею и по-птичьи свистеть могу.

— По-птичьи, говоришь? А ну свистни,— заинтересовался парень-пулеметчик.

Абдулатип обрадовался возможности показать свое искусство. Он старался вовсю: свистел по-соловьиному, кричал, подражая сове. Парида и молодой пулеметчик от души смеялись.

— Будто в лес попал,— сказал сквозь смех пулеметчик.— Где ж ты это так научился?

— Пусть и станцует,— приставала Парида.

— Ну, ребята, на сегодня хватит,— серьезно сказал Сааду.— Вижу, талант у тебя есть, да только сейчас здесь не птицы, а пули свистят. Отправляйтесь-ка пока не поздно домой. Это приказ товарища Атаева.

«Я не боюсь, буду вместе с большими с белыми драться»,— хотелось сказать Абдулатипу, но он не решился: Сааду торопился.

— Идите. Парида дорогу из крепости знает,— и он помахал им рукой на прощание.

5

Хоть и неудобно было с непривычки Абдулатипу в новых сапогах, он ходил в них браво, стараясь походить на товарища Атаева. Пусть немного поболят ноги, невелика беда, он и не такое терпел, когда, бывало, болели по ночам занозы. Сколько бабушка копалась иголкой у него в ногах, ища занозу. Бедная бабушка! Глаза у нее видели уже совсем плохо. «Что мне только делать с тобой,— ворчала, бывало, она.— Хоть бы вон мои старые чарыки надел, починила их».—«Я люблю босиком»,— отвечал он обычно, и хоть намерзшие за день ноги ночью неприятно горели и чесались, он не жаловался. И теперь он потерпит, зато у него вид настоящего партизана — и гимнастерка, и папаха со звездой, только вот, правда, брюки в заплатках, но это ничего. Ведь гордость горца в папахе и сапогах. Да еще в коне. Его у Абдулатипа пока что нет, но он подрастет, пойдет сражаться с белыми, тогда и коня ему подарит товарищ Атаев.

Четверг был базарным днем. Со всех аулов верхней Аварии, словно муравьи к дождю, стекались горцы на Хунзахское плато, что рядом с крепостью. Казалось, яблоку здесь негде упасть. Кого только здесь не было! Пудахарцы со своими знаменитыми кинжалами и ножами. «Спешите покупать, люди добрые. Чудесный кинжал из амурзгинской стали! И волос рассекает. А какой это горец без кинжала! Спешите покупать!» Кинжалы были самые разные — и с золотой, и с серебряной чеканкой, и с рукоятками из слоновой кости. А рядом — ножи, подковы.

«Отличный курдюк, дешево отдам»,— слышалось с другой стороны.

«Бурка! Прекрасная андийская бурка! Весь свет обойдете, а такой не сыщете,— звал торговец.— Путнику домом будет, чабану и постель и чадра, а воину — щит».

Абдулатип залюбовался бурками. Здесь были маленькие, как раз бы ему впору. Такая бурка была у Назира, сынка Дарбиша. Красивая, с позолоченной лентой. Он надевал ее в дождливую погоду на зависть ребятам. Будь у Абдулатипа деньги, обязательно купил бы такую. Она была бы ему как дом, ушел бы в ней партизанить в горы.

«Покупайте трости, прекрасные трости! — зазывал унцукулец.— Старику трость — третья нога, молодому она в пути пригодится. С нею вам и змея не страшна — в одну минуту раздавит ей голову. И камень с дороги столкнете, дабы не мешал во след идущему». Ох, и красноречивы эти унцукульцы, умеют похвалить свой товар. Только вот Абдулатипу трость ни к чему. Просто так, конечно, можно поглядеть. Рядом с тростями у торговца — кнуты, курительные трубки с красивыми узорами из серебра. Рядом с унцукульцами гоцатлинцы продают серебряные украшения.

— Купите серьги, купите серьги! Для невесты они незаменимы! Любую горянку украсят наши серьги,— нараспев кричала гоцатлинка. Но все эти звенящие украшения ни к чему Абдулатипу. Его внимание привлекает продавец, стоящий на веранде чайханы Дарбиша, что на виду у всех возвышается над базаром. Продавца зовут Хумалав. Он старый знакомый Абдулатипа. Его белый, с масляными пятнами передник подхвачен поясом с серебряной опушкой, сам он толстый, как винная бочка, круглая большая, как тыква, голова без единого волоска блестит на солнце. Вытирая одной рукой пот со лба, другой он держит на раскаленных углях шомпол с шашлыком, ловко поворачивает его, причмокивая при этом губами. Уж Хумалав не пропустит мимо чайханы ни одного прилично одетого человека. «Прошу отведать шашлыка,— кричит он.— Самого лучшего шашлыка. Из ягненка только что зарезанного,— рядом с ним на подпорке веранды висит свежая туша барашка.— Самый лучший шашлык у щедрого хозяина Дарбиша!»

И раньше Абдулатип ходил каждый базарный день к этой чайхане, откуда несся дразнящий запах дымящегося на углях шашлыка, смотрел, как ловко Хумалав вращал шомпола, откусывая на пробу горячие куски мяса, как нес еще дымящийся шашлык посетителям. Положив его на тарелки, Хумалав, не торопясь, разливал в стаканы красное вино, не забывая при этом развлекать гостей какой-нибудь шуткой. Стоя в стороне, Абдулатип глотал слюни, смотря, как с аппетитом едят те, кто приехал на базар на своих конях.

Сын Дарбиша, Назир, частенько околачивался здесь, чувствуя себя хозяином, он брал у Хумалава лучшие куски шашлыка, лазил в буфет за конфетами и жевал

их, дразня этим мальчишек из верхнего аула, которые обычно толкались возле чайханы. И хотя был он ровесником Абдулатипа, держался он с ним свысока, как хозяин. Назир любил пофорсить. Одевался в черную атласную рубашку, в черкеску с газырями. На голове — кубанка из дорогого бухарского каракуля. За поясом он носил маленький кинжал с золотой чеканкой и рукояткой из слоновой кости. Иногда, желая показать свое превосходство перед ребятами, он наливал себе вина и, выйдя на веранду, не торопясь, пил, кося глазом на ребят. Назир не прочь был обмануть своего богатого отца, ухитрялся тайком от него продавать вино ребятам. Делал он это просто. Вино для чайханы Дарбиша привозили на мулах из Грузии, в специальных овчинных сумках, а в чайхане выливали его в бочки. Из них разливали по кувшинам. Когда большие бочки были наполовину опорожнены, вино приходилось высасывать из них с помощью резинового шнура. Тут-то Назир и зазывал кого-нибудь из толпившихся около чайханы ребят, не задаром, конечно: высасывая вино через шнур, ребята могли достаточно напиться, а за это Назир брал плату, правда, меньшую, чем в чайхане, и потому желающих было немало. Абдулатипу интересно было попробовать вкус вина, любопытно, отчего это ребята становятся после него веселыми, смешными, чуть что готовы затеять драку, как петухи, но ему нечем было платить Назиру, и к бочкам его не допускали. Зато остатки шашлыка иногда ему перепадали. Видно, сердце у Хумалава было доброе, и он, видя голодного паренька, часами простаивавшего около чайханы, потихоньку от хозяев совал ему оставшиеся на тарелках посетителей куски шашлыка.

Вот и сегодня Абдулатип остановился возле чайханы Дарбиша. Но сегодня он пришел совсем не для того, чтобы вызвать жалость Хумалава, нет. Ему хотелось показаться ребятам и прежде всего хвастливому Назиру в своей партизанской форме. Пусть не задается этот противный Назир: у него, Абдулатипа, тоже новые сапоги и кубанка, и даже с красной звездой. Но оттого ли, что сегодня слишком много людей наполнили чайхану, или оттого, что ни Хумалав, ни Назир не узнали его в новой одежде, никто не обратил на него внимания. Напрасно он встал возле самой веранды, Хумалаву было не до него. Одним ударом кинжала он отбросил

баранью ногу для нового шашлыка и стал резать ее на куски. «Ничего, когда-нибудь придет время, и у всех будет шашлык и пироги из творога»,— вспомнил Абдулатип слова Сааду. Он пошел прочь от чайханы мимо базарных рядов, где рядами были разложены морщинистые яблоки, которые берегли всю зиму, чтобы теперь продать подороже, мешки с кукурузой.

«Хорошие кувшины, спешите купить!» — услышал он знакомый голос. Около гончарной посуды стоял старый балхарец в лохматой папахе и овчинной шубе и кричал на ломаном аварском языке. Не успел Абдулатип как следует его рассмотреть, как тот сам обратился к нему:

— Кого я вижу! Старого кунака Абдулатипа! И с красной звездой на папахе! Неужели в большевики записался? — улыбнулся балхарец, протягивая ему руку.

— Здравствуйте, дядя Мирза,— обрадовался Абдулатип. «Значит, он заметил мою звезду»,— с удовольствием подумал Абдулатип и взял большую, потрескавшуюся руку балхарца.

— С приездом, дядя Мирза. Я вас сразу не узнал.

— Конечно, когда богатыми становятся, не замечают нас, простых людей,— пошутил дядя Мирза.— А вот я зато тебя сразу узнал. Ну и сапоги у тебя. Как у генерала. Вот бы брюки еще тебе новые, совсем бы женихом выглядел.

Ребята в ауле любили балхарца дядю Мирзу. Он часто приезжал продавать свои гончарные изделия, останавливаясь обычно у лудильщика Нуруллы. Для детей у него всегда были припасены глиняные свистки, сделанные в виде птицы. А ребята за это тащили ему сено для мула и хлеб. Как-то дядя Мирза подарил и Абдулатипу чудесный свисток. Стоило подуть в него, как он соловьем заливался. Свистеть его тоже научил дядя Мирза. Абдулатип в благодарность за свисток принес с сеновала Издаг мешок сена для мула Мирзы.

— Спасибо, мальчик,— благодарил балхарец.— Не забываешь старика.— Но тут вдруг прибежала разъяренная Издаг, выкрикивая на всю улицу проклятья.

— Ах ты негодяй, вместо того чтобы в дом, так он из дома тащит. Я с трудом сено корове собрала, а он балхарцу отдал.— В ярости она вырвала свисток из рук растерянного Абдулатипа и швырнула его об каменную сте-

ну дома. Свисток-птица разлетелся на мелкие кусочки.— Вот тебе, негодяй,— костистой рукой Издат ударила Абдулатипа по затылку.

— Какая сердитая у тебя мать,— сказал дядя Мирза.— Вместо слов у нее изо рта камни вылетают.

— Не мать она мне.— Абдулатип чуть не плакал: ему жаль было чудесный свисток-птицу, которую разбила Издат.

— Ну не огорчайся так, сынок,— успокоил дядя Мирза.— Я тебе получше этого свисток привезу.

Ровно через год, поздней осенью приехал балхарец с нагруженными мулами. Он, как и всегда, остановился во дворе Нуруллы. Услышав о его приезде, прибежал туда и Абдулатип. Нет, дядя Мирза не забыл о своем обещании: он привез Абдулатипу новый чудесный свисток на зависть всем ребятам в ауле.

— Спасибо, дядя Мирза.— Абдулатип не знал теперь как отблагодарить доброго старика.— Вот приедет отец, попрошу у него денег для вас, дядя Мирза.

— Мне ничего не надо, сынок, это я тебе в подарок привез,— успокоил его балхарец.— А вот поможешь мне по утрам раскладывать кувшины, спасибо тебе скажу.

С того дня Абдулатип и подружился с дядей Мирзой, с нетерпением всегда ждал, когда тот приедет в аул. А когда балхарец наконец приезжал, то целыми днями пропадал у него: водил на водопой его мула, помогал по утрам раскладывать кувшины, а вечером собирать их.

Абдулатип научился свистеть на разные птичьи голоса, а когда кто-то украл свисток, он и без него мог изобразить любую птичью трель.

Как-то дядя Мирза подарил Абдулатипу маленький кинжал. Правда, не был он украшен серебряной чеканкой, как у Назира, но нож у него был что надо, и Абдулатип всюду таскал его с собой. Многие мальчишки мечтали заиметь такой кинжальчик, и когда однажды играли в «казаков-разбойников», кто-то из них украл его. А как бы он пригодился Абдулатипу сейчас к его новой партизанской форме. Конечно, можно было бы попросить у дяди Мирзы, но Абдулатип стеснялся.

— Так что же, мой дорогой, в большевики записался? — опять спросил дядя Мирза.

— Я был в отряде товарища Атаева.— Абдулатип был рад, что дядя Мирза заметил его партизанскую

форму.— Там мне шапку со звездой и вот эти сапоги дали,— похвастался Абдулатип.

— А у нас в ауле тоже есть большевики. А за главного у них Кара-Караев. Хороший джигит. Арестовал его недавно в Хунзахе полковник Алиханов, да пришли вскоре после этого красные партизаны, освободили. Хорошие они ребята, все больше из наших, из бедняков.

Вдруг толпившиеся возле них люди шарахнулись в сторону. Со стороны харчевни неслась запряженная тройка, растерянный Дарбиш едва удерживался на фаэтоне. Кубанка из дорогого каракуля слетела, зацепившись за колесо, тащилась по земле. Перепуганный Назир, вцепившись сзади в спину отца, истошно вопил. Лошадей напугало что-то, возможно красный петух, которого держал под мышкой стоявший около харчевни глухонемой Хабиб, а может, и не этот петух был тому виной, кто знает.

Растерянные торговцы спешили убрать свой товар с дороги. Увидев огненные глаза коней, высоко вздымающиеся копыта, Абдулатип спрятался за дядю Мирзу. Разъяренные кони летели прямо на них, еще минута — копыта обрушатся им на голову. Дядя Мирза, схватив Абдулатипа за руку, успел отскочить в сторону, а кони пронеслись над кувшинами. Вдруг с треском отлетело колесо от фаэтона. Он сильно накренился, Назир с отцом едва удерживались на нем. Подбежавшие мужчины с трудом остановили разбушевавшихся коней.

— Ничего, что кувшины разбились, хорошо, что хоть сами мы живы остались,— сказал дядя Мирза, грустно глядя на свое пропавшее добро.— Видать, и лошади те под стать своему хозяину — нет им дела до бедняков.

Дарбиш вне себя от ярости соскочил с фаэтона и набросился на еще дрожавшего от страха сына:

— Ах ты, сукин сын! Испугался. Сопли распустил. Ты сын Дарбиша! Не забывай об этом!— И хоть сам был еще бледным от страха, старался не выдавать своего волнения, поправил ремень, сапоги, надвинул на лоб папаху из дорогого каракуля и гордо зашагал обратно к харчевне так, словно не земля его носит, а он сам держит на своих плечах весь мир.

— Ты что это, балхарец, свои кувшины на дороге разложил,— набросился он на дядю Мирзу.

— Дорога-то вон она где, хозяин,— показал дядя Мирза. Но Дарбиш не ответил ему, он спешил к чайхане,

где с красным петухом под мышкой стоял придурковатый Хабиб.

Стоя у ворот харчевни, Хабиб ласково гладил своего красного петуха, бормоча что-то на своем языке. Односельчане, особенно дети, хорошо понимали его, объясняясь с ним жестами, а Хабиб по движению губ понимал их.

В ауле жалели больного Хабиба. Обычно он вставал чуть свет, вместе с первыми петухами и шел на мельницу отца, до вечера таскал на худой своей спине тяжелые мешки с кукурузой. А возвращался в аул, тоже не сидел без дела: кому дров наколет, кому зимой крышу от снега очистит, кому воды натаскает. А уж если кто дом строил, то Хабиб тут же был: то камни подносил каменщику, то доски стругал, ни от какой работы, бывало, не откажется, каждому готов услужить.

Аульские ребятишки любили доброго Хабиба, хотя и не прочь были иногда незло пошутить над ним на потеху. Бывало, Хабиб приходил на годекан и молча садился среди ребят. Видно, скучал по людям.

— Ну, Хабиб, спой,— скажет кто-нибудь из ребят. Хабиб сначала стесняется, только улыбается молча, пряча лицо, а уж если удастся его уговорить, то, бывало, так распоется — не остановить, и все на один свой мотив.

— Ну хватит, Хабиб, молодец,— просят его, да только куда там, поет, пока уж не начнет задыхаться.

Иногда сидит, бывало, спокойно, молча, а потом вдруг хихикнет от каких-то своих мыслей. «Что с тобой, Хабиб? Ты чего?»— а он только рукой махнет и улыбнется виновато.

Но не дай бог, бывало, обидеть Хабиба, бросить в него камнем или ударить. Обидчику своему он не прощал. Только тем, кто не знал Хабиба, могло показаться, что он забыл обиду. Мстил он, улучив удобный момент, нанося внезапный удар обидчику. Подкараулит своего врага, швырнет в него камнем и тут же исчезнет. Или вдруг с неудержимой яростью набросится, откуда только сила. Зато к тем, кто радушно относился к нему, жалел, Хабиб был бескорыстно привязан и предан. А если случалось, кто-нибудь из его друзей дрался, Хабиб яростно бросался на противника друга.

Теперь, стоя с красным петухом под мышкой около харчевни Дербиша, Хабиб ласково улыбался прохожим, не смея подняться на порог харчевни. Он не заметил,

как перед ним с плетью в руках вырос разъяренный хозяин чайханы.

— Вот тебе, дурак проклятый,— размахнувшись, Дарбиш что было силы ударил Хабиба по лицу плетью.— Да как ты смеешь стоять тут, оборванец! — Удары один за другим сыпались на ничего не понимавшего Хабиба. Выпустив из рук петуха, закрыв лицо руками, он, сгорбившись, стоял под ударами Дарбиша. Потом вдруг, оторвав руки от лица и не обращая внимания на удары, присел, шаря вокруг себя руками: он искал выпавший у него из шапки серебряный рубль, подарок Асадуллы. И так, видно, рубль этот был дорог ему, что он забыл о боли. Сквозь слезы он плохо видел, худые плечи вздрагивали под рваной рубахой.

— Пошел отсюда, собака.— Дарбиш снова было замахнулся плетью, но подбежавший Асадулла крепко схватил его за руку.

— Не смей трогать невиновного!

— А-а! Красный петух! — Дарбиш вне себя от ярости сверлил Асадуллу узкими щелками глаз, но плеть опустил.— Тебе это даром не пройдет, красный петух. Мы еще встретимся,— прошипел он.

— Обязательно встретимся, Дарбиш, будь уверен.— Асадулла помог подняться Хабибу. Кто-то поймал красного петуха и поднес Хабибу, а подошедший в это время Абдулатип нашел его серебряный рубль и подал другу.

«Ты не огорчайся, ступай домой, мы отомстим Дарбишу»,— знаками объяснил Асадулла Хабибу, и тот, с благодарностью глядя огромными синими глазами на своего спасителя, медленно, широкими шагами пошел с базара, держа под мышкой своего петуха. Абдулатип пошел за ним в сторону аула, забыв о своем решении никогда больше не возвращаться к отцовскому очагу.

6

Словно курица с выводком цыплят, усевшаяся в тепле, расположился у подножия горы, оберегавшей его от холодных северных ветров, аул Абдулатипа. Окруженный с трех сторон горами, а с четвертой стороны — быстрой горной речкой, он занимал, пожалуй, наиболее удобное место на Хунзахском плато. Отсюда хорошо видны и Седло-гора, похожая на спину верблюда, и Акаро-гора с вечными снегами на вершинах, и вершины

цунтинских гор, стоящие на границе с Грузией. Отсюда, с Хунзахского плато, кажется, что небо упирается в эти горы.

С вершины Акаро-горы обычно начиналось ненастье. Сперва лохматые тучи клубились над ней, потом они медленно сползали вниз по склонам, неся в аул дождь или снег. Со стороны же Седло-горы всходило солнце. С одной горы наступал день, с другой — ночь.

Вот и сегодня на зубчатых вершинах Акаро сгущаются свинцовые тучи. «Надо спешить, скоро, наверно, начнется снегопад»,— думал Абдулатип, поднимаясь на склон большого утеса, похожего на огромный сундук. Когда-то утес сорвался со скалы, закрыв собой дорогу к аулу. Абдулатип любил приходить сюда, греться на камне и мечтать. Здесь ему никто не мешал. Но сейчас надо было торопиться. «И откуда только эти тучи?» — с тоской думал он, глядя на быстро темневшее небо со стороны Акаро-горы.

Чем ближе подходил он к аулу, тем тоскливее становилось у него на душе. Сейчас опять он увидит злые ненавидящие глаза Издаг, услышит ее скрипучий голос.

Абдулатип пошел медленнее. И тут вдруг заметил внизу, возле камня, едва пробившуюся молодую травку. Солнечный луч играл на ней. «Да это же подснежники»,— удивился Абдулатип. В прошлом году в поисках их он чуть ли не все горы облазил, а сегодня — нате вам, выросли прямо у него на дороге.

Подснежники! Первые цветы. Того, кто увидит их первым и принесет в аул, крестьяне по обычаю награждают подарками, чуть ли не на руках носят. А как же! Ведь они — вестники весны, теплых солнечных дней.

Но сегодня, увидев горевшие под лучами солнца цветы, Абдулатип не ощутил радости и у него не появилось желания нарвать их. Не обрадовали его и первые ласточки, летевшие в аул как вестницы весны. Ему было горько оттого, что вот снова он возвращается домой, где хозяйничает Издаг. «Она такая же злая, как хозяин Дарбиш. Как он сегодня бил Хабиба! А он, Абдулатип, не мог помочь другу. Зато дядя Асадулла помог. И он нравится ему, Абдулатипу, хотя Издаг и говорит, что он враг его отца. Нет, не может такой, как Асадулла, быть его врагом. И товарищ Атаев хвалил его. Все знают, какой он храбрый и добрый». При воспоминании об Атаеве у Абдулатипа потеплело на душе. Он снял шапку, потро-

гал звезду: на месте ли. Еще раз взглянул на подснежники, на едва пробившуюся зеленую травку возле них.

Абдулатип присел на камень и посмотрел в сторону Седло-горы. Там клубились белые облака, и постепенно Абдулатипу стало казаться, что они превращаются в белого коня. Вот конь спускается с Седло-горы и мчится прямо к утесу. Сейчас Абдулатип вскочит на него. «Ты настоящим джигитом стал, мальчик,— слышится ему голос дяди Мирзы, мастера из Цудахара.— Вот тебе шашка, скачи к товарищу Атаеву». Мечты Абдулатипа прервал стук копыт: со стороны базара на своем сером коне скакал сын Дарбиша, Назир, в черкеске, с кинжалом за поясом, а за ним следом — всегда сопровождавший его сын пастуха — Абид на хозяйском коне. Они ехали к пруду поить коней. Конь Назира, старый и послушный, был богато оседлан. Назир любил проехаться на нем по бедняцкой части аула на зависть ребятишкам, высыпавшим из своих саклей: они долго смотрели ему вслед. Ведь даже у их отцов не было коней.

Ездить один Назир боялся. Хитрый Дарбиш всячески задабривал Абида, чтобы тот в случае чего заступился за его трусливого сына. Подкармливал Абида, дарил обноски. «Смотри, Абид, не давай сына в обиду, он — хозяин твой, его обидчик и твой обидчик»,— внушал сыну пастуха Дарбиш. Абид лишь согласно кивал головой, был он спокойным, сильным и храбрым малым, а слово хозяина для него было законом.

Назир даже темноты боялся. Придет, бывало, на гулянку, а как чуть стемнеет — уж спешит домой: знал, как не любят его аульские мальчишки. Увяжется ли за ребятами в поле искать гнезда куропаток, чтобы набрать яичек,— с ним неразлучно Абид. С ним Назир никого не боялся и становился наглым: задирал ребят, натравливал их друг на друга, обижал тех, кто послабее. Особенно любил он привязываться к добродушному, неповоротливому Шамсулваре. То собаку на него натравит, то науськает кого-нибудь из аульских ребят, а то и сам полезет с ним драться,— знал, что безобидный Шамсулвара молча будет сносить удары и не даст сдачи. Но когда рядом был Абдулатип, Назир не решался приставать к Шамсулваре: Абдулатипа он боялся, знал, что тот не даст друга в обиду. С его появлением Назир и другие ребята оставляли Шамсулвару в покое.

Как-то Шамсулвара с ребятами купался в пруду.

Вдруг появился Назир со своим Абидом. Подплыв незаметно к Шамсулваре, Назир схватил его за шею руками и окунул головой в воду. Не ожидавший такого нападения, Шамсулвара, захлебываясь, беспомощно барахтался, хватаясь руками за своих мучителей. Абдулатип случайно подоспел вовремя: он шел к пруду поить своего осла. Мигом сбросив штаны и рубашку, он бросился на помощь другу. С ходу схватив Назира за ногу, потащил его туда, где было глубже. Назир так завопил, что даже Абид растерялся. В воде разгорелась драка. Правда, дрались лишь Абдулатип и Абид, Назир барахтался рядом, со страхом глядя на Абдулатипа. Только порядком уставшие, наглотавшиеся воды, Абид и Абдулатип бросили драться и поплыли к берегу. С тех пор они таили вражду, готовые отомстить друг другу в подходящую минуту.

И вот сегодня, увидев Абдулатипа, сидящего в одиночестве на утесе, Назир, подъехав к нему почти вплотную, крикнул:

— Эй, Абид, посмотри, куда эта курица забралась!

Абид подъехал поближе.

— Смотри, и сапоги у кого-то украл,— не унимался Назир.

Абдулатип незаметно надел шапку со звездочкой. Пусть видят,— он гордо посмотрел на своего обидчика. Назир, видя, что его слова задели Абдулатипа, стал еще назойливее.

— Ха-ха! Смотри-ка, этот оборванец большевистскую звезду нацепил!— смеялся он точь-в-точь как отец.— Эй, Абдулатип, где ты рваную папаху подобрал? Не с головы ли какого-нибудь убитого нашими мюридами большевика?

— Ни с чьей она головы не слетела! Мне сам товарищ Атаев ее подарил,— с гордостью ответил Абдулатип.— И большевики одолеют ваших мюридов и всех вас, богачей.— Абдулатип залез выше на утес.

— Слышишь, Абид, что заявляет этот оборванец! Что его большевики разгромят мюридов! Ишь чего захотел! Никогда этого не будет. Мюриды имама Нажмудина всех красных выгонят из Дагестана. Всех до единого. И таких, как ты, оборванцев! Продались русским все красные и твой Атаев. Свинину едят все большевики!

— Сам ты свинья! — Абдулатип прямо с утеса прыгнул на сидевшего в седле Назира. В один миг тот ока-

зался на земле.— Сам свинья, и отец у тебя свинья! — повторял Абдулатип, молотя Назира кулаками. Но тут вдруг его оглушил удар по голове. Отпустив Назира, Абдулатип, шатаясь, сдва поднялся на ноги.— Хозяйского сынка защищаешь? Ну, подожди, собака,— Абдулатип бросился на смотревшего исподлобья Абида. Они сцепились как разъяренные петухи. Наверно, Абдулатип и одолел бы своего противника, он был не то что сильнее, но более ловкий, чем Абид, если б осмелевший Назир не вцепился ему сзади в ноги. Абдулатип упал. Усевшись на нем верхом, Абид молотил его кулаками.

— Держи его, Абид! Держи! — Назир схватил шапку Абдулатипа и, выхватив кинжал, стал кромсать ее на куски.— Вот тебе! Вот тебе! — Вырвав из нее звезду, он швырнул ее в сторону. Сверкнув на солнце, она затерялась в траве.

Абдулатип не чувствовал боли от кулаков Абида. Как всегда в драке, он чувствовал боль только вначале, от первых ударов, а потом в азарте уже не ощущал ее, и, чем больше его злили, тем больше сил у него прибавлялось. И теперь, взглянув на свою истерзанную папаху с вырванной звездой, он тигром бросился на Абида, вцепившись зубами ему в руку. Абид, взвыв от боли и крича, покатился по земле. Перепуганный Назир отбежал подальше и, вскарабкавшись на утес, спрятался за скалой, надеясь, что здесь Абдулатип не заметит его. Он дрожал, словно выскочил из ледяной воды. Но Абдулатип прекрасно видел, куда спрятался Назир. Схватив первый попавшийся камень, стал карабкаться на утес. Дрожавший от страха Назир выхватил кинжал. Злой, перепачканный землей Абдулатип в одну минуту вскарабкался на утес, где стоял Назир, и, выхватив из руки его кинжал, швырнул вниз. Теперь он лупил Назира кулаками что было силы.

— Абид, Абид, он убить меня хочет! — плача орал Назир. Из носа у него текла кровь. Абид уже карабкался на утес. В руках он крепко сжимал плеть. Подбежав сзади к Абдулатипу, он изо всех сил хлестнул его по спине, но Абдулатип, не обращая внимания на сыпавшиеся на него удары, не отпускал Назира.

Тут вдруг послышался лай: к месту схватки мчался Горач. Увидев, что его хозяин в беде, он с ходу бросился на его обидчика. Абид, испугавшись, метнулся в сторону, Горач хватал его за ноги, рвал штаны.

— Так их, Горач, так их! — радовался Абдулатип.

Назир, плача, упал на землю.

— Убери свою собаку, мы больше не будем тебя трогать! — сквозь слезы просил он. Рубашка на нем была разорвана.

— Ладно, пойдем, Горач! — Абдулатипу и самому уже надоело драться.— Лежачих не бьют,— гордо сказал он. Абдулатип вспомнил эти слова бабушки. Однажды она рассказывала, как дед его встретил на узкой аульской улочке своего кровника. Тот был без оружия. «Иди домой, вооружайся»,— сказал он врагу. Таков уж обычай горцев — драться на равных. А эти два негодяя напали на него, безоружного, с кинжалом и плетью. Хорошо, Горач выручил.— Горач, пошли! — еще раз крикнул Абдулатип. Пес понял его, отпустил Абида. Оба дружка мигом скатились с утеса и, с трудом вскарабкавшись в седло, спешили поскорее убраться.— Эх вы, вояки! Драпаете? — кричал вслед им Абдулатип.

— Подожди, мы тебе покажем, оборванец! — крикнул на ходу Назир.

Немного успокоившись, Абдулатип стал искать звезду. Наконец он нашел ее. Она вдавилась в землю, концы ее слегка погнулись. К папахе ее уже не прицепишь: Назир разрезал ее на куски кинжалом. «Трус только и надеется на кинжал»,— вспомнил Абдулатип слова дяди Нуруллы. Как-то рассказал он ребятам о разбойнике Аскере. Нападал он на одиноких путников, грабил их, а то и убивал. Однажды встретился ему на дороге нищий. Аскер остановил его. «Вижу,— говорит,— что ты беден, бедняга, и нечем с тебя поживиться. Так вот. Хочешь жив остаться — пляши для меня»,— и направил на него винтовку. Что бедному старику оставалось делать. Аскер еще и покрикивает: «А ну быстрее пляши, быстрее!» А старик тот и скажи ему: «Ты мне похлопай, я быстрей плясать буду». Аскер поставил винтовку рядом с собой у дерева и стал хлопать в ладоши, а нищий старается, пляшет, да незаметно и продвинулся к винтовке. Схватил ее — и на Аскера направил. «Ну, разбойник, теперь твой черед. Пляши. Будь у меня время, я бы тебя и петь заставил, да к внукам спешу!» — сказал нищий и, размахнувшись, бросил винтовку в пропасть и пошел прочь. Аскер стоял, чуть не плача. «Значит, лишь в оружии моя сила, а без него я трус»,— потрясенный таким открытием, он бросил свое позорное разбойничье ремесло.

«Вся сила богачей — в оружии,— говорил тогда дядя Нурулла.— Вот они и держат нас, бедняков, в своей власти, заставляют служить себе. Поэтому и нам, беднякам, надо вооружаться, наступать на них, как тот прохожий на разбойника».

Обо всем этом вспомнил сейчас Абдулатип, смотря вслед удалявшимся Назиру и Абиду. «Трусы. Убежали. Вот найду себе оружие и уйду к партизанам, вместе с ними против мюридов буду драться.— Он гладил звездочку, пытаясь разогнуть концы.— Ничего, дядя Нурулла поправит их, и тогда снова приколю ее к шапке». Луч солнца упал ему на ладонь, звезда засверкала.

— Смотри-ка, Горач. Красивая звездочка, правда? А знаешь, кто мне ее подарил? — Горач понимающе тявкнул.— Молодец, Горач! Все понимаешь. Ты настоящий друг,— Абдулатип спрятал звезду в карман.— А как ты догадался сюда прибежать? Неужели услышал, что я дерусь,— он ласково погладил собаку, и та благодарно лизнула его руку, и присев, преданно смотрела в глаза.— Эх, Горач, если бы дома у нас не было Издаг, как бы мы с тобой хорошо жили. И хинкала бы я наготовил столько, что мы с тобой сыты были, и чуду бы сделал из сыра. И ты бы не сидел на цепи у забора, а построил бы я тебе маленький домик, травы там настелил, чтобы спать мягко было. Видал, как собака у Дарбиша живет? Ее одним шашлыком кормят.— Абдулатип проглотил слюну, почувствовав, что очень голоден.— Видал, Горач, как вчера Издаг за мной с палкой гонялась?— Собака беспокойно забила хвостом.— Ну знаю, знаю, ты не виноват. Разве, если б ты не на цепи был, не прибежал бы мне на помощь. Оба мы из-за этой проклятой Издаг страдаем. И на тебя она кричит всегда. Сколько раз со двора гоняла! — Абдулатип ласково погладил собаку. Горач негромко тявкнул, словно подтверждая слова маленького хозяина.

7

Когда-то Горач стерег отары богатея Дарбиша. Был он тогда молодой и сильный, волки боялись его и не решались подходить к стоянке дарбишевских овец. Както от отары отстали десять баранов. Чабаны хватились их, пошли искать и вернулись ни с чем. Тогда заметили они, что и Горач тоже исчез, значит, пошел по их следу.

На следующий день чабаны нашли собаку в лощине, заросшей густой травой. Горач стерег израненных баранов. Их осталось шесть. Неподалеку лежал убитый Горачем волк. А пес хромал: лопатка у него была изранена волком. Прихрамывая, пришел он в аул. Теперь он был не нужен Дарбишу. «Собака отжила свой век, постарела и хромает, а у меня лишних хинкалов нет,— заявил он чабанам.— Пристрелить его надо». Чабаны упросили не убивать Горача. Но на «службе» ее хозяин не оставил, прогнал прочь.

Горач бродил по аулу, исхудалый, облезлый, заглядывал в чужие дворы в надежде, что кто-нибудь бросит ему кость или старый хинк, но чаще всего его безжалостно гнали прочь, да еще вслед швыряли камнем или палкой. Редко кто кормил его. Но больше всего доставалось ему от уличных ребятишек. Потехи ради они, накинув ему на шею веревку, таскали к уличным собакам драться или, привязав к забору, бросали на него кошек — им забавно было видеть, как бедняга, обессиленный от голода, отбивается от разъяренных кошек. А однажды Назир с дружками, поймав Горача, привязал ему к хвосту жестяную банку, наполненную мелкими камешками. Пес, вырвавшись наконец от своих мучителей, пустился бежать. Камни в банке грохотали, и перепуганный Горач мчался во весь дух. Волков он не боялся, а здесь так напугался, что неделю почти бездыханный лежал у сточной канавы. Здесь его и подобрал Абдулатип. «Ничего, Горач,— говорил он, гладя измученного пса по впалым бокам,— я никому не дам тебя в обиду, ты теперь будешь моей собакой». Тогда еще жива была бабушка. Абдулатип постелил на сеновале старую дедовскую бурку, устроил местечко для Горача. А тот сначала настороженно смотрел на мальчика: в измученных собачьих глазах словно застыл вопрос: ну что ж, накормил, напоил меня, а теперь, наверно, как и все, издеваться будешь? «Не бойся, Горач, я тебе ничего плохого не сделаю,— успокаивал собаку Абдулатип,— и никому не дам тебя обижать». Он принес таз теплой воды и помыл собаку, осторожно вытаскивая репьи из свалявшейся облезлой шерсти. Тут заметил под лопаткой запекшуюся рану. Она гноилась. Однажды Абдулатип видел, как отец лечил раненую ногу барашка: и теперь, вспомнив это, отрезал кусок от старой бурки, намочил соленым раствором, положил на рану Горача и крепко привязал. А тот, бедня-

га, еще не зная, как к этому отнестись, сначала стоял неподвижно, а потом, когда соленый раствор обжег рану, беспокойно заметался. «Потерпи, Горач, вот увидишь, тебе лучше будет»,— говорил, гладя собаку, Абдулатип. На шум поднялась на сеновал бабушка. Абдулатип сначала испугался: он знал, что бабушка не любила, когда он приваживал бродячих собак. «Мусульманину грешно касаться собак»,— говорила она. Но на сей раз бабушка жалостливо смотрела на Горача. «Бедняжка, стар стал и не нужен теперь никому,— качала она головой.— Покорми, покорми ее, сынок. Да только смотри не касайся ее. Пророк считает собак дьяволом и в рай не пускает. Оттого и в комнату грешно их пускать. Ну, а кормить, конечно, корми. Жалко, совсем стара, бедняжка».

Абдулатип рад был, что бабушка не прогнала собаку, так и остался жить Горач у бабушки на сеновале. Но когда Абдулатип особенно долго пропадал с Горачем, бабушка была недовольна. «Лучше бы ягненка или теленка так обхаживал, а какая польза от собаки?»— сердилась она и не пускала к очагу, пока он не помоет руки.

Абдулатип смастерил Горачу будку из сухого кизяка, и пес подолгу тихо лежал там, словно приходил в себя после злоключений своей бродячей жизни. Частенько вместе с Абдулатипом поднимался на сеновал и Шамсулвара, принося собаке кусочки мяса или чурек. Постепенно Горач поправлялся. Округлились бока, в потухших было глазах появился прежний блеск, прошла хрипота, в голосе появилась былая звонкость и сила. Теперь по ночам, если поблизости слышались чужие шаги или кошки взбирались на крышу сеновала, он вылезал из будки и громко лаял.

Когда бабушки не было дома, Абдулатип потихоньку доставал ее гребешок и расчесывал Горачу свалявшуюся шерсть. Постепенно она стала гладкой и блестящей.

Абдулатип повсюду таскал Горача с собой. Если Абдулатип купался, пес тихо лежал где-нибудь в сторонке, в кустах, ждал хозяина. Но стоило кому-нибудь подойти к одежде Горача, как он немедленно вскакивал, лаял на чужака.

Теперь многие мальчишки завидовали Абдулатипу. Еще бы! Не часто встречаются такие собаки, как Горач. И до чего же он умный. Спрячет, бывало, кто-нибудь из

мальчишек папаху, Абдулатип прикажет: «А ну, Горач, ищи!» — и тот быстро-быстро обнюхивает воздух и подойдет именно к тому месту, где спрятана папаха. «И как ты его так научил?» — удивлялись ребята. «Не учил я, он такой и был»,— отвечал довольный Абдулатип. А если кто-нибудь из ребят пытался теперь обидеть Горача, потихоньку швырнув в него палкой или камнем, пес моментально отыскивал в общей ватаге ребят своего обидчика, с лаем бросаясь на него.

Теперь и подраться Горач был не прочь. Правда, тех уличных собак, что промышляют возле мусорных куч, он не трогал, считая, очевидно, это недостойным для себя, но, встречая сторожевых псов, возвращавшихся с гор, бросался на них с обидой и злостью, и хоть сил против молодых волкодавов у него не хватало, он упорно дрался, никогда не покидая первым поле боя.

Как-то, случайно проходя мимо дома бабушки, увидел Дарбиш Горача, сидевшего около ворот на привязи. От неожиданности он остановился: «Неужели это мой старый пес так выправился?» Он подошел поближе. «Так и есть — это Горач. Да какой красивый и сильный».

— Что, Горач? Узнал своего хозяина? — ласково заговорил Дарбиш.— Пойдем со мной. Опять будешь стеречь отары, а то что-то волки теперь покоя не дают.

Но, взглянув на приблизившегося Дарбиша, Горач вдруг так злобно залаял и рванул веревку, что Дарбиш в страхе отпрянул.

— Ты что же это, паршивец? Хозяина не узнал? — в злобе прошипел Дарбиш.— Ну и стереги этот пустой двор, жри нищенскую похлебку,— и Дарбиш заторопился прочь: Горач так бросался на него, что, не будь на привязи, казалось, разорвал бы своего бывшего хозяина.

Со смертью бабушки оспротел не только Абдулатип, но и Горач. Издаг встретила Абдулатипа с собакой враждебно. «Не хватало еще в мой чистый двор эту уличную собаку!» — вне себя кричала мачеха.

— Она не уличная, она у бабушки жила, а теперь наш двор будет стеречь.

— Ха-ха,— зло смеялась Издаг.— Да чего здесь стеречь? У твоего отца и баранов никогда не было и не будет.— Ее острые злые глаза так и сверлили Абдулатипа.— Сейчас же прогони собаку!— Ее бесило упорство

Абдулатипа. Но тут выручил отец. Выйдя на крик, он с любопытством посмотрел на собаку. «Хороший пес,— подумал он про себя. Сразу видно — сторожевой. В случае — выгодно продать можно».

— Пусть собака остается, посмотрим — на что она годится,— сказал он. Издаг, поджав тонкие губы, ушла в дом, зло хлопнув дверью. Абдулатип, обрадованный словами отца, отвел Горача в угол двора и привязал к дереву.

С первых же дней Издаг стала придираться к собаке. Горачу не разрешалось побегать по двору, а тем более подойти к дому. И в дождь и при палящем солнце он должен был сидеть в углу двора на цепи. Стоило ему залаять, как Издаг зло швыряла в него что под руку попадется. Абдулатип притащил из бабушкиного дома старые доски от сарая и смастерил Горачу будку. Иначе бы бедняге и зимовать пришлось под открытым небом. Абдулатип выпрашивал у Издаг для него похлебку, оставшуюся от теленка и от осла, но и это Издаг давала неохотно. «Пусть подавится твой паршивый пес»,— обычно ворчала она. Что ни пропадет во дворе, вину Издаг сваливала на Горача. Как-то утром Издаг недосчиталась одной курицы. С криком набросилась она на Абдулатипа: «Это твой паршивый пес курицу у меня украл». Схватив метлу, она рванулась к будке, куда спрятался напуганный криком Горач. «А ну вылезай, паршивец!» — стучала она по будке метлой.

— Не трогай Горача! — Абдулатип загородил собой будку.— Ничего он у тебя не крал. Он все время привязан.

— Знаю я, как он привязан! Ночью, наверно, вместе с ним курицу ловил.

— Не крали мы твою курицу. Сама видишь — ни крови, ни одного пера во дворе нет.

— Вор! Вор! — вне себя кричала Издаг, не решаясь, однако, ударить Абдулатипа метлой. Боялась, что соседи, увидев, расскажут мужу, как она обижает сироту.— Чтобы сегодня же не было здесь этой собаки!— приказала Издаг.

Абдулатип молча стоял перед Горачем, не зная, что предпринять. Он-то прекрасно знал, что не мог Горач воровать, и воришку бы поймал, не будь на привязи. Но как доказать это Издаг? И вдруг в голову пришла спасительная мысль: ночью он ляжет на сеновале, а Горача

отвяжет и возьмет с собой. Цепь от ошейника привяжет себе к руке. «До утра спать не буду и вместе с Горачем поймаю вора»,— решил он.

Поздно вечером Издаг ушла к себе в комнату спать и вскоре оттуда послышался громкий храп. «Что ей. Наелась досыта чуду из мяса и лежит себе в теплой постели»,— с завистью подумал Абдулатип. Отвязав Горача, он поднялся с ним на сеновал и, привязав цепь к руке, завернулся в старую дедовскую бурку,— единственное, что принес он с собой из дома бабушки. Горач устроился рядом.

Холодный северный ветер прогнал обволакивающие небо тучи, и стали видны звезды. Круглый месяц стоял на вершине Акаро, готовый вот-вот скатиться за гору, словно огненный мяч. В окнах домов постепенно гасли огни, все реже слышны были крики ослов, и лишь лай собак доносился с разных концов аула.

Абдулатип почувствовал, что замерзает, и с головой завернулся в бурку. Согревшиеся ноги нестерпимо чесались. «Неужели и в этот раз отец не привезет столько раз обещанные ботинки, и ему и зимой придется бегать босиком?» — с тоской думал Абдулатип. Вот уже пять дней, как отец пропадал в городе.

К полуночи веки у Абдулатипа отяжелели, будто налились свинцом. Незаметно для себя он задремал. А Горач, лежа у его ног, и не собирался спать. Положив голову на лапы, он ловил каждый казавшийся ему подозрительным шорох, словно чувствуя, что сегодня Абдулатип не зря взял его с собой. Горач прекрасно помнил собаку, забегавшую прошлой ночью к ним во двор, и не упустил бы ее, не будь на цепи. Но уж сегодня-то он ее не упустит. Вот она — Горач ясно почувствовал ее запах и мигом вскочил, рванув цепь из рук мальчика. Абдулатип проснулся, еще не понимая, где он и что происходит. Горач, не дожидаясь его, вырвался и бросился вниз. Спрыгнув с сеновала, Абдулатип побежал за ним по схваченным морозцем лужам. По двору с курицей в зубах металась чужая собака. Сделав круг, она перескочила забор и оказалась в огороде. Горач кинулся было за ней, но цепь зацепилась за доску забора и не пускала. Пес яростно лаял.

— Сейчас, Горач, сейчас,— подбежал запыхавшийся Абдулатип. Он освободил цепь, в два прыжка Горач настиг воришку и придавил к земле.

— Вах! Опять эта проклятая собака! — кричала Издаг, выскочив из дома растрепанная, в нижнем белье. В одной руке она сжимала кинжал, который обычно держала под подушкой без ножен, в другой — спички.— Сегодня я своими руками убью эту собаку! — кричала она на весь двор.

— Сюда! — позвал Абдулатип. Он дрожал от холода, стоя перед собаками. Издаг подбежала, чиркнув спичкой.

— Вах! — воскликнула она, увидев перед собой известную в ауле собачонку Дарбиша с курицей в зубах. Горач гордо стоял над ней, крепко держа воришку за шею. Та жалобно скулила. Рука Издаг постепенно опустилась, и спичка потухла. Стало совсем темно.— Возьми Горача, а то задушит чужую собаку. Дарбиш не простит нам этого,— повернувшись, Издаг медленно пошла в дом.

«Испугалась Дарбиша. Даже не похвалила Горача,— с горечью подумал Абдулатип.— Все, даже Издаг, боятся Дарбиша». Он взял Горача, освободив воришку.

— Пошли, Горач, ты свое дело сделал. Больше она сюда не придет.— Горач нехотя выпустил воришку, и тот со всех ног пустился со двора.

Нельзя сказать, что с тех пор Издаг стала добрей к Горачу. По-прежнему она выливала ему похлебку, оставшуюся от осла, по-прежнему то и дело швыряла в него камнем, но все-таки с тех пор пес получил право свободно гулять по двору. «И этого достаточно, Абдулатип, жизнь никогда не баловала меня»,— словно говорил пес, глядя добрыми глазами на хозяина.

С первыми петухами будила Издаг Абдулатипа, чтобы послать работать в поле или в магазин на хутор. И за сонным Абдулатипом неизменно бежал Горач. В поле, на речке Абдулатипу было хорошо и весело, забывалась здесь ненавистная мачеха, он насвистывал, пел, бегал наперегонки. И собака радовалась вместе с ним. Когда Абдулатип пел, пес внимательно слушал, задрав ушастую морду, время от времени терся о ноги Абдулатипа, довольный, что его другу хорошо.

Вот каким был Горач. Вчера ночью, когда Абдулатип убежал из дому, он был на цепи. Иногда Издаг словно назло Абдулатипу привязывала его. Оттого Горач и не смог побежать вслед за хозяином. Но сегодня стоило лишь Издаг отвязать его, как он пулей вылетел со дво-

ра и нашел Абдулатипа как раз в тот момент, когда он так нуждался в помощи. Если бы не Горач, неизвестно, чем бы кончилась для Абдулатипа эта драка с разъяренным Абидом.

8

— Пошли, Горач, к дяде Нурулле. Может, и Шамсулвара дома,— сказал, поднимаясь с земли, Абдулатип. Пес преданно смотрел на хозяина, прыгал радостно, пытаясь лизнуть Абдулатипа в щеку. Видно, рад был, что в трудную минуту выручил друга из беды. Абдулатип вытер рукавом кровь на лбу, стряхнул прилипшую к штанам землю. Собрал куски разрубленной Назиром папахи.— Пошли, Горач.— Абдулатип шел медленно, все тело у него болело от ударов Абида.

Лудильщик Нурулла жил в старом одноэтажном доме. Хозяин дома давно умер, а наследники временно сдавали его лудильщику. Ворота во двор Нуруллы были всегда открыты, и с улицы было хорошо видно, как работает лудильщик. Подойдя к дому, Абдулатип почувствовал знакомый запах угля и олова, которым Нурулла покрывал кувшины, слышно было, как работают раздуваемые мехи и стук молота.

В любое время у лудильщика толпился народ. Мужчины любили собираться здесь, словно на годекан, поболтать, услышать новости. А у Нуруллы всегда было что рассказать. И рассказчиком был он умным и веселым. Абдулатип любил послушать его.

Вот и сегодня в мастерской дяди Нуруллы, как всегда было многолюдно. Сына его, Шамсулвары, не было дома, и Абдулатип уселся на веранде, решив дождаться его.

— Как думаешь, кунак: побьют красные мюридов Гоцинского? — услышал Абдулатип голос старого пастуха Гамзата.— И то говорят: Нажмудин-то Гоцинский — святой.

— Это кто же тебе говорил? Не наш ли мулла? — засмеялся Нурулла.

— Ничего от тебя не скроешь. Ну мулла говорил. Да и в народе поговаривают, будто не так давно Нажмудин чудо сотворил на Анцийском-то озере.

— Это какое же чудо? — заинтересовался старый Гимбат, частенько заходивший к Нурулле.

— И не слыхали? — Гамзат, довольный тем, что сей-

час удивит своим сообщением собравшихся мужчин, не спеша вытащил свою старую трубку.

— Чего тянешь, Гамзат? Какое же чудо? — нетерпеливо спросил Гимбат.

— А такое: будто снял Нажмудин с себя бурку, да и пошел прямо по воде. Дошел эдак с буркой под мышкой до середины озера, расстелил бурку, сел на нее и молился.

— Вот это да,— удивился старый Гимбат.

— А кто видел это? — спросил Нурулла.

— Говорят — видели,— уже неуверенно говорил смущенный Гамзат.

— Мулла распространяет эти сказки, а такие простаки, как ты, Гамзат, и верят им. Духовные-то отцы заодно с Гоцинским. Им бы только горцев обмануть и повести на газават против революции. Не хотят они терять власть и богатство.

— Говорят, большевики-то против аллаха,— не сдавался Гамзат.

— Большевики никому не запрещают молиться. Они запрещают только от имени аллаха обманывать народ,— ставя на место молот, сказал Нурулла.— Большевики — такие же бедные люди, как мы с тобой.

— А не лучше ли нам, мусульманам, власть имама, чем большевиков? — Гамзат оглядел сидевших в молчании мужчин.

— Ну что ж— иди защищай баранов Дарбиша и его богатство, гни спину за гроши. Эх, Гамзат, Гамзат, с детства ты простаком был,— покачал головой старый Гимбат.

— Большевики хотят отобрать поля у богачей и раздать бедным.— Нурулла взял с полки молоток.

— Не верится, что такое время придет, и я буду пахать для себя.

— Придет такое время, Гимбат,— сказал, не прекращая работы, Нурулла.— Только нашим мужчинам бороться надо, а не сидеть на годекане и хабарничать.

Абдулатип с восхищением смотрел, как двигались руки Нуруллы. Они были огромные, потемневшие от металлической пыли, жилистые и напоминали Абдулатипу корни грушевого дерева. Вот он взял принесенный Гамзатом потускневший от времени дырявый кувшин, почистил его каким-то специальным раствором, запаял прохудившееся донышко. Поставил, посмотрел — чего-то

не хватает. Раскалил щипцы и, опуская концы их в олово, стал наносить узоры. Обновленный кувшин засверкал.

— Спасибо, Нурулла. К чему мне, старику, такой красивый кувшин. Главное — чтоб не дырявый был,— сказал Гамзат.

— Пусть и красивый будет, и прочный,— сказал, отдавая ему кувшин, Нурулла.— А денег я с тебя не возьму, и не думай.

«Золотые руки у Нуруллы»,— говорили в ауле. И когда хотели похвалить какую-нибудь вещь, говорили: сделана, как у Нуруллы.

В комнату забежала раскрасневшаяся от бега соседка Нуруллы.

— Вот дочь замуж выдаю, дорогой Нурулла.

— Знаю, знаю,— улыбнулся лудильщик.— За чем же дело стало?

— Сделай кувшин побыстрее, очень нужен.

— Быстро слишком не обещаю, но к свадьбе постараюсь успеть. Торопливая-то вода до моря не доходит, а если баран раньше времени окотится — ягненок получится хилый. А кувшин для невесты должен и красивый и прочный быть. Ступай, сам к свадьбе принесу.

Соседка убежала, а лудильщик сел отдохнуть.

— Люди не станут спрашивать, сколько кувшинов сделал мастер, а спросят, что сделал. Лучше меньше, да лучше. Чтоб человек потом меня с благодарностью вспомнил. И корову лучше одну, да молочную, и осла — одного, да работящего, а изделий — лучше поменьше, да чтоб на совесть сделаны были. Чтоб человек, взяв их в руки, сказать мог: «Спасибо мастеру, пусть внуки его будут счастливы». Взялся за дело, так не делай его так, как Адигулла стенку кладет. Правильно я говорю, мальчик?— обратился Нурулла к сидевшему у порога Абдулатипу.

Адигулла — это каменщик у них в ауле. Хвастливый, вечно хитро посмеивающийся, он работал быстро. «Какой платеж, такой работеж»,— любил повторять он. Сделанное его руками долго не держалось, но люди вынуждены были звать его, потому что другого каменщика в ауле не было. Все хорошие мастера уходили на заработки в верхний аул. Адигулла радовался: «Никто не обходится без меня». Как-то и отец Абдулатипа, Чарахма, тоже пригласил его поставить стенку новой комна-

ты. Адигулла насвистывая, быстро поставил стенку, получил деньги, выпил бузы и ушел. А ночью пошел дождь, и стенка развалилась. «Пусть руки твои отсохнут»,— кричала, ругая Адигуллу, Издаг.

А вот дядя Нурулла — совсем другой мастер. Абдулатип, наблюдая за ним, мечтал стать таким же.

Мужчины постепенно расходились. Ушел, взяв свой кувшин, и Гамзат.

— Здравствуй, здравствуй, сынок,— мастер ласково посмотрел на Абдулатипа поверх очков.— Давненько что-то не заходил. Вот и Шамсулвара повсюду тебя ищет. Что-то вид у тебя неважный, будто вернулся с японской войны.

Но Абдулатипу не хотелось рассказывать о драке.

— Я у Атаева был. В крепости.

— Да ну? — удивился лудильщик.— Шамсулвара ничего мне не говорил.

— А он еще сам не знает. Вот — Атаев мне гимнастерку и сапоги подарил. И папаху...

— Вот ты где. Я тебя повсюду искал,— тяжело отдуваясь от быстрого бега, сказал, входя в комнату, Шамсулвара. У него больное сердце, вот он такой и толстый.

— Оказывается, твой приятель в крепости был, у Атаева.— Нурулла положил молоток.— Какие хорошие сапоги. Подковки к ним прибьем, чтоб дольше носились. И папаху, говоришь, подарил?

— Да... только один бандит разрубил ее. И звездочку поломал, вот.— Абдулатип достал папаху.

— Вот как.— Нурулла взял звездочку, бережно положил на темную ладонь.— Знаете ли, дети, что это за звезда?

— Это большевистская звезда,— гордо сказал Абдулатип.— Атаев говорил, что она освещает беднякам путь к счастью.

— Верно, мальчик. Под сиянием этой звезды люди будут счастливы.— Нурулла тяжело опустился на табурет.— Рассказывал мне один мудрый человек, будто в некой стране люди долгое время страдали от голода и жажды. Было в этой стране всего в изобилии, но у источника с богатствами лежал аздаха двухголовый, не подпуская к нему людей. Никто не смел приблизиться к источнику. Каждого, кто рисковал подойти, аздаха убивал своим огненным дыханием. И вот однажды появился в той стране всадник на белом коне. В черной

бурке, на поясе — шашка. Прискакал джигит к людям и говорит: «Я поведу вас на аздаху, только дружно идите за мной» — и сам поскакал впереди. Мчался его конь, аж искры из-под копыт летели. Люди на своих конях едва успевали за ним. Приблизился всадник к аздахе и на скаку отрубил одну из голов. Люди схватили ее и бросили в пропасть. И оттуда вдруг пошел черный дым, закрывая солнце. На земле стало темно, и люди не знали, куда идти. Тогда джигит поднялся на своем волшебном коне к самому небу, и сорвал с него звезду, и осветил ею путь людям. Горела звезда, как факел, и под ее светом люди отрубили и вторую голову аздахе. А из той звезды, что держал в руках всадник, рассыпались искрами тысячи звезд. Люди брали их и прикрепляли к папахам.

— Это были большевики? — спросил Абдулатип.

— Да, большевики. Свет этих звезд пробивается теперь и к нам, в горы. Но и здесь у нас у источника счастья лежит аздаха,— задумчиво говорил Нурулла.

— Ему тоже надо отрубить голову,— сказал Абдулатип.

— Эту звездочку я сейчас поправлю, сможешь снова прикрепить ее,— сказал Нурулла.

— Сааду мне говорил в крепости, что придет время, и все люди будут сыты, и чуду и шашлыка будут есть вдоволь. Правда это?

— Правда, сынок. Обязательно наступит такое время. И вы с Шамсулварой будете еще счастливы. Впереди у вас — радостная и светлая жизнь. Хватит ваши отцы и деды голодали.

— И вы голодали, дядя Нурулла?— спросил Абдулатип.

— Частенько, сынок. Не потому, что не трудился, трудиться-то я привык с малых лет, а потому, что родился в плохое время, когда одни работают не покладая рук, а другие живут за их счет. Нас у отца было девять ртов: четверо сыновей и пятеро дочерей. Чтобы прокормить нас, трудился он с рассвета и дотемна. Мы еще спали, бывало, когда он утром уходил в большую комнату, где была его кузня. А выходил оттуда только поздно вечером, когда уж мы опять спали. О матери и говорить нечего: никогда она покоя и отдыха не знала. Вечерами, бывало, помню, пересчитает нас, лежащих в ряд на полу,— все ли на месте.

Я в семье был самый старший. И хоть не ел никогда досыта, рано вытянулся. К семнадцати годам отцовский пиджак не налезал на меня. Кузнечному, литейному делу выучился я быстро. Семнадцати лет покинул я родной аул, пошел искать работу. Был в соседнем ауле Гоцатль мастер золото-кузнец по имени Абу-Бакар. Слышал я, что ищет он себе помощника. Своих детей у него не было. Вот к нему я и направился.

Принял он меня ласково. «С дороги, наверно, проголодался парень. Налей-ка ему чаю»,— подмигнув, сказал он жене. И сам сел рядом со мной чай пить. Обрадованный таким хорошим приемом, я с удовольствием пил вкусный чай, уничтожая один за другим теплые чуреки. Когда очередной стакан был выпит и я взглянул на хозяйку — не нальет, ли, мол, еще,— Абу-Бакар вдруг встал. Я думал — теперь он покажет, чем я должен буду заниматься, поведет в мастерскую. А он привел меня на конец аула и спросил: «По какой дороге, молодой человек, ты прибыл?» Ведь дорог к аулу много. Я показал. «Вот по ней и обратно ступай. Я не так уж богат, чтобы нанимать работника, который умеет сказать «бисмила» [1] перед тем, как сесть кушать, и не торопится говорить «аллам дулила» [2].

Что делать. Пришлось мне ни с чем покинуть аул Гоцатль. Мне стыдно было возвращаться домой с пустыми руками, пошел я по другим аулам искать работу. Работал лудильщиком в Цудахаре, в Анди, Гоцатле. Голодал, ведь заработанное приходилось отсылать домой, чтобы мои братья и сестры не умирали с голоду. Один год был особенно тяжелый, голодный. Случился тогда неурожай. Нигде не мог я найти работу. В тот год умерли два моих брата и сестра. Вот так, мои мальчики,— Нурулла отложил паяльник.— На вот, Абдулатип, твоя звездочка снова как новенькая. Береги ее, не всякому Атаев дарит звезду, видно, доверяет тебе. Будь и ты верен ему.

9

— Асалам алейкум,— сказал, заходя в мастерскую, отец Абдулатипа.— Где ж еще быть этому паршивцу, как не у тебя. Мало того, что днем здесь надоедаешь,

[1] Ты дал, аллах, я взял.

[2] Слава аллаху. В данном случае — не торопиться кончать есть.

так еще и вечером покоя людям не даешь.— Чарахма встал посреди комнаты, гневно глядя на сына. Видно, Издаг уже успела пожаловаться ему.

— Ваалейкум салам, Чарахма,— улыбнувшись, сказал Нурулла, протягивая ему руку.— С приездом. Ты чего какой недовольный?

— Да как же. Если этот паршивец без меня тут номера выкидывает. Не ночевал дома.

— Подожди, подожди, Чарахма, не сердись. Мне твой сын не мешает, наоборот, помогает. А ночевал он у хороших людей. Да сам посмотри,— Нурулла подмигнул Абдулатипу.

— Вах!— удивился Чарахма, только сейчас заметив на сыне новую гимнастерку и сапоги. Подошел, потрогал сапог — из настоящего ли хрома.— Хороши. Настоящий хром,— удивленно сказал он. Пощупал гимнастерку:— Великовата, но из хорошего сукна.— И тут вдруг заметил на груди сына красную звездочку. Лицо его пожелтело.— Что это значит? Уж не в крепости ли был у этих гяуров?

— Оставь сына, Чарахма,— пытался успокоить его Нурулла.— Если бы вместо соломы в твоей голове было масло, и ты был бы с красными. Ведь они борются за таких, как ты и я.

— За тебя, может быть, и борются, а что касается меня, то я сам буду бороться за себя. А с этими гяурами, которые перешли на сторону русских, у меня нет ничего общего.

— Эх, Чарахма, Чарахма. А что у тебя общего с мюридами Гоцинского или с этим богатеем Дарбишем. Кем они доводятся тебе?

— А мне и до них нет дела. Лишь бы меня не трогали. Тогда и я никого не трону — ни белых, ни красных.

— Многие вроде тебя рассуждают, да только в жизни так не получается, ведь человек-то среди людей живет. Хочешь не хочешь, а выбор для себя вынужден сделать. Либо с теми, либо с другими. Либо за революцию бороться, либо идти за лжеимамом против бедняков. Смотри, что тебе больше подходит.

— Никак не пойму я, Нурулла, мастер ты или большевик.

— Красные — наши братья, Чарахма. С ними должны быть такие, как мы с тобой. От души тебе говорю.

— С какой стати красные мне братья? Не потому ли, что мой кровный враг Асадулла, чтоб он свалился от чужой пули, заодно с ними? Говорят, он чуть ли не из первых горских большевиков.

— Кровный враг, говоришь ты? Это добряк-то Асадулла? Эх, Чарахма, сколько старых адатов в наших горах. Сидят они в наших сердцах и не дают жить по-человечески. Тянут нас в пропасть. А их бы самих сбросить надо туда, чтоб людям жить не мешали. Подумай сам: почему ты и Асадулла должны ненавидеть друг друга? Только потому, что когда-то ваши деды по глупости враждовали? И ты слепо подчиняешься этому обычаю, живешь, словно дикий зверь в лесу, подстерегая свою добычу. И эту кровную месть Асадулле хочешь и сыну своему передать. И его хочешь несчастным сделать. Что в этом адате, кроме зверства и глупости? Какое геройство в этой кровной мести? Уверен я: Асадулла не питает к тебе зла. И ты это брось.

— Позорное пятно, нанесенное моему роду! Что люди скажут, если не смою его кровью врага?

— Что тебе с того, что люди скажут, когда тебя зароют в землю? Посмотри-ка, сколько на кладбище могил, в которых похоронены такие вот глупцы вроде тебя. Тоже с кровной местью носились, словно курица с яйцом. Ради адата ты хочешь пойти на преступление — убить человека. Неужели хочешь загубить жизнь себе и сыну?

— Ох, Нурулла, как можешь ты говорить так,— вздохнул Чарахма.— Кто может нарушить вековые обычаи?

— Революция похоронит их. Все плохое останется в прошлом.

— Может, скажешь, что и религия останется в прошлом?

— А почему бы и нет?

— Побойся аллаха, Нурулла. Что ты говоришь!— уже без прежней горячности проговорил Чарахма. В его грустных темных глазах мелькнула тень сомнения.

— Есть ли он, твой аллах?

— Если нет его, то зачем тогда этот мир? Зачем страдания? Вот что, Нурулла: ты эти большевистские сказки не рассказывай мне, от них не легче на душе. Готовь-ка лучше подковы для моего коня.

— Вах! Неужели коня купил?

— Да! Сбылась наконец моя мечта.

— Ну что же, поздравляю, кунак. Снимай у него мерку с ноги и присылай с Абдулатипом. Сегодня же тебе подковы сделаю, а над моими словами подумай. Иди, тебе надо отдохнуть с дороги,— лудильщик похлопал Чарахму по плечу.

10

Солнце скрылось за Акаро-горой. К аулу медленно двигалось стадо коров. За ним плелся глухонемой Хабиб. Он часто заменял своего дядю, пастуха Думалава, уходившего чабанить в горы. Хабиб обрадовался, увидев Абдулатипа, который возвращался домой с отцом, жестами объясняя, что потерял своего красного петуха и очень переживает. Башмаки на нем давно разорвались, и видны были красные замерзшие пальцы. Но глухонемой не замечал этого. «И сапог у него нет»,— с жалостью подумал, глядя на него. Абдулатип, шагая за отцом по грязным от таявшего снега улочкам. Сейчас он возвращался домой с удовольствием. Гнев отца улегся, это Абдулатип почувствовал еще в мастерской Нуруллы. Когда отец бывал дома, Абдулатип ел досыта, сидя рядом с ним у очага. Издаг делалась тогда нежной и доброй, но такие дни выпадали редко, отец почти всегда был в отъезде, занимаясь своими торговыми делами.

«Вот если бы отец ушел к Атаеву. И он бы, Абдулатип, вместе с ним»,— мечтал Абдулатип, шагая вслед за отцом.

Подходя к дому, отец вдруг остановился, глядя, как во двор Дарбиша входили одна за другой, отделившись от стада, пять коров с полным выменем молока.

— Везет этому подлецу Дарбишу,— зло сказал Чарахма.— И коровы ему попадаются молочные, и телята у него рождаются по два, да все ярочки,— и он положил тяжелую ладонь на плечо сына.— Ну, ничего, и мы, даст аллах, когда-нибудь разбогатеем. Может, и чайхана будет.

— И шашлыки будем жарить? — спросил обрадованный Абдулатип.

— И шашлыки будем жарить, сынок,— вздохнул Чарахма.— Надо только, чтобы руки любили трудиться и голова работала, а не мечтать впустую, как тот пастух.

— Какой пастух? — не понял Абдулатип.

— Есть такая присказка про пастуха, который мечтал разбогатеть. Был у того пастуха кувшин. Вот и решил пастух копить в нем масло. Не буду, решил он, есть масла год, буду складывать его в кувшин, накоплю и продам на базаре. На выручку куплю теленка, вырастет из него корова, и будет приносить мне в год по два теленка. Год за год, глядишь, и целое стадо. Возьму я в руки палку и выгоню свое стадо на лучшие луга, и так увлекся тот пастух в своих мечтах, что в азарте размахнулся палкой, будто стадо уже перед ним стояло, да и попал по кувшину. Он упал и разбился.

— И больше не было у него кувшина? — спросил Абдулатип.

— Нет, сынок, тот был единственный,— сказал отец.— Ну, ничего, не унывай, мы не будем с тобой мечтать впустую, как тот пастух. У нас теперь есть лошадь. А руки у меня работу любят. Может, теперь мне повезет. До сих пор удача обходила меня стороной. Сколько раз, казалось, богатство было уже у меня в руках. Ездил я в Бухару за каракулевыми шкурками, они тогда стоили у нас в горах дорого. Вернулся с полными мешками шкур, а в аулах уже продавался каракуль Дарбиша. Пришлось мне привезенное за полцены отдать Дарбишу. А помнишь, открыл я ларек в крепости, торговал мясом, и дела мои шли неплохо. А тут опять Дарбиш: построил чайхану и начал торговать мясом и готовыми шашлыками. И я разорился. Всегда этот подлец стоял на моем пути. Деньги сами ищут карманы Дарбиша. И вот теперь единственное, чем я могу гордиться,— это мой конь. Даже у Дарбиша нет такого,— и отец открыл ворота.

Во дворе на привязи стоял конь. Красной масти с белым пятном на лбу и такими же пятнами на ногах, высокий и сильный. Он ел сено. Увидев хозяина, конь бросил есть, повернулся к Чарахме с горящими глазами и, ударив копытами об землю, заржал так громко и красиво, словно сообщал всему аулу о своем появлении. Абдулатипу казалось, будто он говорит: «Садись на меня, я в один миг доставлю тебя туда, где все люди сыты и одеты». Тут и Горач, вначале молча смотревший на коня, подал голос. Негромко тявкнул и, будто устыдившись, замолк. Наверно, позавидовал коню, увидев, с каким восхищением смотрит на него Абдулатип.

Абдулатип долго не мог отвести глаз от коня. Сейчас даже их двор показался ему широким и красивым. Мыс-

ленно он уже скакал на красном коне. На плечах — бурка, в руках — шашка. Вот он бросается вместе с Атаевым в атаку на мюридов. Среди мюридов и Назир, и его отец, толстый Дарбиш, и все, кого он ненавидел. Вот он настигает Назира, тот едва плетется на своей кобыле, и кричит от испуга: «Не губи меня, Абдулатип, я больше не трону твоей звезды...»

— Теперь, сынок,— прервал его мечты отец,— будешь каждый день чистить коня. Он должен блестеть как атласный.

— И поить водить,— сказал довольный Абдулатип.

— Да, утром и вечером поить надо.

— А как его зовут? — нетерпеливо спросил Абдулатип.

— Тулпар. Значит — быстрее ветра.

— Надо бы покрыть коня старым ковром, чтобы кто не *сглазил*,— *вмешалась* Издаг.— Попрошу отца, чтоб он талисман дал от сглазу.— Ее глаза из-под тонких бровей так и сверлили Абдулатипа. «Боится, что я расскажу отцу, как прогнала меня из дома. Не бойся, я не ябеда, как ты»,— подумал про себя Абдулатип.

Тут Издаг заметила на Абдулатипе новые сапоги и гимнастерку. Глаза у нее расширились, но она промолчала, очевидно решив, что Чарахма привез их сыну из города.

— Я бы не старым ковром покрыл его,— ответил Чарахма, не обратив внимания на изумленное лицо жены,— а купил бы на базаре самое красивое покрывало. Накрывал бы Тулпара, когда вел на водопой. Вот бы Дарбиш лопнул от зависти. Да жаль — денег нет.

— Вай, Чарахма! К чему это! Так и сглазить можно коня,— недовольно бросила Издаг.

— Не сглазят! Сколько бедняков с завистью смотрят на молочных коров Дарбиша да на его откормленных баранов, а он от этого не беднеет. Деньги к нему так и текут. А теперь и Дарбиш пусть позавидует. И у него нет такого коня, как мой Тулпар,— довольно потирая руки, сказал Чарахма.

«Отец Дарбиша не боится»,— с гордостью подумал про себя Абдулатип, любуясь конем.

— Дарбиш — одно, а мы другое. К его богатству все давно привыкли. А наш конь всем бросится в глаза. В один момент сглазят, вспомнишь тогда мои слова.—

Издаг, недовольная тем, что муж не слушает ее, ушла в дом, хлопнув дверью.

— Сглазят... Столько лет я мечтал о таком коне, и вот теперь, когда он появился у меня, я должен скрывать его от людей? Никогда! — Он подошел к коню, погладил его по спине.— Жаль, что придется на нем пахать,— грустно сказал отец.

— Пахать? — удивился Абдулатип.

— Что делать, сынок,— ведь других лошадей у нас нет, да и волов тоже. И пахать придется на нем, и урожай с поля вывозить. А жаль такого коня,— сказал он, поднимаясь на веранду.

Всю ночь Абдулатип не мог сомкнуть глаз. Лег на веранде и слушал, как Тулпар ел траву, переступая с ноги на ногу. Не спал и Горач. Время от времени он негромко лаял, глядя на Абдулатипа, словно говорил ему: «Спи, я буду хорошо стеречь Тулпара».

В чистом небе ярко горели звезды. Абдулатип смотрел на них, слушал, как журчит вода в аульской речке, недавно освободившейся ото льда, и, постепенно засыпая, уносился в мир своей мечты. Вот он верхом на Тулпаре скачет в сторону гор! Навстречу, гонимые ветром, словно буран, несутся черные тучи. Но кто это там, за ними? Да ведь это аздаха девятиголовый. Одна его голова точь-в-точь как у Назира. Изо рта изрыгается огонь, огненные волны отбрасывают Тулпара с Абдулатипом назад. И тут вдруг, словно из-под земли, появляется мастер Нурулла, в руках у него шашка, он протягивает ее Абдулатипу: «Бери, сынок, иди на аздаху смело»,— говорит он. И Абдулатип берет шашку. Красный конь его отрывается от земли и скачет по небу к аздахе. С диким ревом поднимает свои огнедышащие головы аздаха, но красный конь не боится огня. Абдулатип размахивается шашкой и рубит ту голову, которая похожа на назировскую. Раздается звук, будто разбился глиняный кувшин, и голова слетает с тела аздахи. Тут, откуда ни возьмись, появляется Горач, хватает голову и бросает в глубокое ущелье.

Абдулатип все боролся. Одну за другой отрубал головы аздахе. Вот и последняя огнедышащая голова полетела в пропасть. Абдулатип вытер шашку облаками, и она заблестела. Тут Абдулатип услышал топот копыт: к нему скакали Атаев и Сааду. Наверно, спешили на помощь. Увидев поверженного аздаху, стали поздравлять

Абдулатина. Но кто это еще с ними? Знакомый и незнакомый. Да ведь это же Асадулла. «Ты мой кровный враг?» — спрашивает его Абдулатин. «Нет, мальчик, теперь мы братья. Революция уничтожила вражду»,— улыбнулся Асадулла. Он взял Абдулатина за руку... и в этот момент от лая Горача Абдулатин проснулся. Поднял голову. Во дворе стоит Тулпар, жует сено и бьет копытом о землю. Абдулатин сунул руку под подушку, там лежала гимнастерка, Абдулатин нащупал звездочку на ней, огляделся. А где же шашка, которую подарил Нурулла? Да, она была только во сне.

В доме было тихо. Отец и Издаг еще спали. Абдулатин потянулся, встряхнул головой, на небе блестела утренняя звезда, которую в горах зовут Заграт, по имени девушки. Легенду о ней рассказывала когда-то Абдулатину бабушка. Жила однажды красивая девушка по имени Заграт. Отец хотел выдать ее замуж за ханского сына, а она всем сердцем любила бедного охотника. Узнала Заграт о намерении отца, стала умолять его не отдавать за нелюбимого. Но отец был неумолим. Решила тогда Заграт тайно бежать из дому в горы к любимому. Случайно узнав об этом, отец рассвирепел. Велел он дочери надеть одно лишь легкое платье и следовать за ним в горы. А на дворе стояла холодная зимняя ночь. Отец надеялся, что, испугавшись холода, дочь даст согласие выйти за выбранного им жениха. Достигли они скалы, где свистел ледяной буран, и велел отец встать дочери у этой скалы. «Будешь стоять здесь, пока не выбросишь из сердца любовь к бедняку»,— сурово сказал он. «Лучше я умру, чем буду жить с нелюбимым. И ханский дворец мне не нужен»,— сказала Заграт. Поднялся вдруг снежный буран. «Прощай, отец, я девушкам Аварии завещаю свою любовь»,— крикнула Заграт, и тут исчезла она в снежном вихре, словно крылья вдруг унесли ее в небо. С тех пор, говорят, превратилась она в звезду, и люди назвали ту звезду именем прекрасной девушки. Появляется она на небе перед утренней зарей, когда бедный охотник выходит из дома. Увидев ее, охотник надеется на удачу, Заграт сопутствует ей. Неярко горит утренняя звезда, грустно глядя на землю. Влюбленные, говорят, просят Заграт помочь им в счастье.

Горит в небе звезда Заграт едва мерцающим огнем, словно плачет по бедному охотнику, который лежит давно где-то в сырой земле со своей несбывшейся любовью.

А на востоке за Седло-горой уже вставала утренняя заря. Вскоре и солнце появится оттуда. Абдулатип потер слипшиеся было опять глаза. Отчего так беспокойно лает Горач, словно чует что-то неладное. Что значит этот лай? Абдулатипу стало тревожно, он приподнялся, выглянул на улицу. На краю аула он заметил чьи-то крадущиеся фигуры. С сеновала было плохо видно. «Волки или бандиты? — подумал Абдулатип.— Если пойдут в сторону нашего дома, разбужу отца». Горач, увидев поднявшегося Абдулатипа, еще беспокойнее заметался по двору, громко лая. «А может, это белые или красные вошли в аул? — с интересом подумал Абдулатип.— Любопытно, куда они пойдут?» Теперь мальчик хорошо видел: их было трое, крадучись, они двигались к дому Дарбиша. Абдулатип хорошо видел их папахи. Вот один, пригнувшись, перебежал от одного дома к другому и махнул рукой двум остальным. Те последовали за ним. Так, крадучись, они достигли дома Дарбиша. Во дворе у богача послышался приглушенный лай собак и вслед за этим звонки у ворот. Неизвестные вскоре скрылись за дарбишевскими воротами. «Кто же это?— думал Абдулатип, возвращаясь к постели.— Если просто люди, то зачем они шли тайно, боясь, что их заметят, и в такое время, когда все в ауле еще спят».

Вскоре дверь в комнате открылась, и на пороге показался отец.

— Хороший день. Хорошо будет начать пахать,— сказал он Издаг, которая еще находилась в комнате.

— Отец! А отец! — позвал Абдулатип тихо, чтобы не услышала Издаг.

— Пора вставать, сынок,— сказал отец.

— Какие-то трое сейчас пошли в дом к Дарбишу. Крались так, чтобы никто их не заметил.

— Воры, наверно. Украли у кого-нибудь скот и несут этому подлецу. А ему все равно: свое или краденое, лишь бы купить по дешевке.

— Воры...— у Абдулатипа пропал интерес к ранним пришельцам. Он-то думал... вооруженные мюриды.

Заря, брызнув через Седло-гору, осветила вершину Акаро-горы. Отчетливо стали видны позеленевшие склоны гор. Во дворах горланили петухи, слышен был скрип открывающихся окон и дверей. Люди пробуждались ото сна, выходили на веранду, перебрасывались словом с соседями. Вот из комнаты на веранду вышла с недоволь-

ным видом Издаг, крикнула Абдулатипу, чтобы убирал постель, и, прихватив охапку сена, пошла доить корову. Совершив утреннюю молитву, вышел и отец, на ходу завязывая пояс.

— Кто рано встает, тому счастье улыбается. Готовься, сынок,— на ходу бросил он Абдулатипу, направляясь в сарай посмотреть, все ли готово к севу. Чарахма любил во всем порядок. Весь инвентарь, до мелочей аккуратно сложенный, лежал в сарае, каждой лопате было предназначено свое место. Но когда кто-нибудь приходил с просьбой дать топор или вилы, Издаг обычно отвечала: «Не знаю где это, Чарахма засунул куда-то». Как-то Абдулагип потихоньку от нее дал на время вилы дяде Гамзату. Обнаружив это, Издаг ничего не сказала Абдулатипу, а рассказала об этом Чарахме. Отец выпорол тогда Абдулатипа. «Не для того я деньги тратил, чтоб ты каждому оборванцу инвентарь давал»,— зло сказал он.

И вот теперь Чарахма доставал из сарая все, что нужно было для сева. Абдулатип, засучив рукава, чистил коня. Сначала прошелся по крупу грубой большой щеткой, которую отец специально для этого привез из города, потом гладил бока коня рукой, пока они не заблестели. Что и говорить, ни у кого в ауле не было такого красавца. Абдулатип вскочил в седло, направляя лошадь на водопой. Со вчерашнего дня он с нетерпением ждал этого момента: проскакать на Тулпаре по всем улицам аула. Правда, он довольно часто водил лошадей на водопой, но то были чужие кони, либо приезжих в гости к отцу, либо соседей. Мальчик с ранних лет хорошо держался в седле, но о своем коне еще совсем недавно он и не мечтал. Отец частенько поговаривал, что купит коня, да только долго не мог собрать денег. И вот, наконец, у них есть конь. Да еще какой!

Когда Абдулатип ловко вскочил в седло, Тулпар сначала было взвился на дыбы, бил копытами, словно предупреждал: «Смотри, не всякий может ездить на мне». Но, почувствовав на себе опытного ездока, конь успокоился и, гордо поведя головой, сорвался с места и поскакал по узкой улице. Тесные улочки не давали возможности коню перейти в галоп, он сбавил шаг и шел так плавно, ровно, словно танцуя. Абдулатип не повел его по короткому пути к водопою, а свернул на широкую улицу, где за железной оградой, выкрашенной ярко-зеленой

краской, стоял большой дом из тесаного камня с огромной застекленной верандой, дом Дарбиша. У дверей веранды на подпорках висел олений череп — для отвода завистливых глаз. Абдулатип специально поехал здесь: пусть хвастливый Назир хоть раз позавидует ему, но ленивый сын Дарбиша в это время еще нежился в постели. Зато на веранде с трубкой в зубах стоял сам Дарбиш, он посыпáл солью шкуру, только что снятую с ягненка. Услышав стук копыт, он повернулся, а увидев Тулпара, так и застыл, трубка чуть не выпала изо рта. Положив руки на пояс, он вышел на крыльцо, с завистью глядя на красавца коня.

— Эй, сын Чарахмы, вернись-ка обратно. Хочу еще раз взглянуть на коня.

Абдулатип повернул коня и, ударив потихоньку ногами о бока, ускорил шаг. И Тулпар, словно поняв намерение хозяина, поскакал быстрее, словно напоказ. Солнечные блики играли на его лоснящихся боках.

— Машаалах,— вырвалось у Дарбиша, он провел рукой по пышным усам.— Какого интересного кунака привез на своей спине этот красавец?

— Никакого кунака он не привозил. Это наш конь,— гордо ответил Абдулатип и пришпорил коня. Тулпар, поняв его, взял в галоп. Лишь комки глины да мелкие камешки полетели из-под копыт, ударяясь о стенку дома Дарбиша.

— Хо, хо! — засмеялся Дарбиш.— Оборванцы, откуда вам взять коня. Скорее вы затылки свои увидите, чем такого иноходца. Да этому мелкому торгашу Чарахме всю жизнь надо деньги копить на такого коня,— крикнул он вдогонку Абдулатипу. Его смех долго стоял в ушах мальчика. «Оборванцами нас назвал,— с обидой думал он.— Ну и пусть. Тебе, проклятый Дарбиш, никогда не видеть такого коня, как наш Тулпар».

Вот наконец, и река. Абдулатип соскочил с коня и, не торопясь, повел на водопой. Тулпар пил жадно и долго. И все, кто проходил мимо в поле, останавливались, с интересом глядя на него, и каждому Абдулатип говорил: «Это наш конь, отец купил».

Наконец Тулпар напился. Абдулатип черпал ладонями воду, лил ему на спину, на бока, мыл Тулпара. А Горач, который прибежал к реке вслед за ними, увидев, как старательно ухаживает его хозяин за лошадью,

с обидой взглянул на Абдулатипа и, подбежав к реке, тоже стал пить скорее от горя, чем от жажды.

Обратно Абдулатип ехал той же дорогой, надеясь, что Назир уже во дворе и увидит Тулпара, но у Дарбиша во дворе никого не было. «Ну ничего. Не сегодня — завтра увидишь моего коня».

Отец уже ждал Абдулатипа около дома.

— Во двор не веди. Его подковать надо. Пойдем к дяде Нурулле.

Отец любовался конем, гладил его по лоснящимся бокам.

— Много денег содрал с меня его прежний хозяин. Но ничего, за него и двести туманов не жаль. Правда, сынок?

— Конечно, отец.— Абдулатип был рад, что отец так ласково говорит с ним и как равный с равным. Он непривычен был к отцовской ласке, и потому она была особенно дорога ему.

Нурулла ждал их. Он рано встал, чтобы подготовить подковы для Тулпара.

— Машаалах, машаалах,— говорил он, обходя коня. Посмотрел ему в рот.— И молодой. Дай бог, чтобы он счастье принес в твой дом, браток Чарахма. Ну-ка, подними ему переднюю ногу. Вот так. Хороша подкова: в самый раз. Ты, Абдулатип, держи Тулпара за уздечку, да покрепче, а ты, Шамсулвара,— обратился он к сыну,— голову коня держи. Чарахма, положи-ка левую ногу коня к себе на колени. Вот так. Давно я коней не подковывал.

Нурулла снял старую износившуюся подкову, почистил ножом, подправил ногу. Тулпар беспокойно переступал, пытаясь вырвать у Чарахмы ногу.

— Потерпи, хорошая,— говорил Нурулла, ставя подкову. Пока подковывали все четыре ноги, не только конь, но и все были в поту и порядком устали.— Ну вот и все,— вздохнув, сказав наконец Нурулла.— Нелегко такого коня подковать. Да ведь и ему, бедняжке, больно. Ну да ничего: зато теперь хорошо будет,— и мастер ласково потрепал коня по шее. А Тулпар как-то неровно ставил ноги, дергал ими, будто хотел сбросить новые подковы. Он переступал неловко, словно мальчик, надевший тяжелые отцовские сапоги.

— Привыкнешь. Спасибо не раз скажем тебе, Нурулла,— сказал, гладя коня, Чарахма.— Жаль только, что вот пахать на нем придется. Да что же делать, волов

у меня нет. Сколько лет все одолжал их у Сулеймана, хоть тот и драл с меня три шкуры.

— Ничего, Чарахма, не долго ждать теперь. Будут у тебя земля и волы,— сказал мастер. Взять деньги за подковы он отказался. Чарахме было от этого неловко, но все же он был доволен.— Смотри, кунак, сразу не перегружай коня,— посоветовал Нурулла.

11

Глухонемой Хабиб, крича что-то на своем языке, гнал по улице стадо на пастбище. Не успело оно скрыться за аулом, вышла со своего двора семья Чарахмы. В поле вело множество тропинок, крестьяне спешили на пахоту, никто не хотел упускать такую погоду. Говорят: весенний день год кормит. Кто вел вола, кто осла или корову, а большинство, не имея ни тех, ни других, шло с киркой за плечами.

Абдулатип шагал впереди отца, ведя за уздечку Тулпара. Отец нес соху, а за ним с киркой — Издаг. «В добрый час, дай аллах тебе богатого урожая»,— приветствовали отца встречавшиеся аульчане, и он отвечал им так же.

— Смотри-ка, какого коня Чарахма завел,— толкнула Гимбата жена.— Знать, в гору пошел.— Семья Гимбата долбила землю кирками рядом с полем Чарахмы.

— Что же ты, Гимбат, у Дарбиша вола не одолжил? — спросил Чарахма.

— Шеи у них больно толстые, не подошли для моей сохи,— отшутился Гимбат.— А у тебя, я смотрю, конь больно хорош. Неужели пахать не нем собираешься?

— Что ж делать, кунак.

— Что правда, то правда,— вздохнул Гимбат.— А конь-то, видно, специально для похода рожден.

— Времена, когда горцы совершали набеги, прошли. Я на нем и по торговым делам буду ездить.

— Походы разные бывают, Чарахма. А то, что нам, беднякам, нужно, только сейчас и начинается. Революцию надо делать в горах, кунак.

— Вах!— Отец стал запрягать коня.— Чем в таких походах участвовать, лучше пахать свой клочок земли да собирать урожай, что аллах пошлет. Мне эти твои ху-

риятские [1] походы ни к чему, Гимбат. Да, думаю, и тебе тоже. Ну, дай аллах счастье, начнем, пожалуй,— и отец положил ногу на лемех сохи.

Сошник вонзился в мягкую почву, будто нож в свежий сыр, и плавно пошел вперед, разрезая землю. Жирная земля, поднятая сохой, потянулась темной лентой по краю поля. Тулпар, словно понимая, что хозяин запряг его, не имея другого выхода, послушно шел вперед. Издаг собирала корни старой кукурузы, которые выкорчевывались из земли, и складывала их в стороне.

Когда прошли несколько борозд, Чарахма дал ручку сохи сыну.

— Сын крестьянина должен уметь держать эту штуку. Положи-ка ногу на лемех, вот так. А теперь ступай за конем. Да смотри — не торопись.— А сам шел рядом, показывая, как держаться за соху. Абдулатип, счастливый от того, что отец доверил ему такое дело, весь вспотел от напряжения, стараясь изо всех сил держаться за ручку сохи. Ему хотелось оправдать доверие отца, не ударить в грязь лицом. Минутами ему казалось, что соха вот-вот выскочит у него из рук, так они устали, но он, стиснув зубы, еще крепче держался за ручку.— Не показывай коню, что ты устал, а то он перестанет тебя слушаться,— сказал на ходу отец.

Самое трудное для Абдулатипа было удерживать коня, когда он доходил до края поля. Ведь одновременно надо было приподнять соху, чтобы лемех вышел из земли, и повернуть ее так, чтобы он опять вонзился в почву. Вдруг где-то совсем рядом послышался топот коней: на дороге к аулу показалось несколько всадников. Красный конь Чарахмы, увидев их, заржал, поднял голову и, отказываясь слушаться маленького пахаря, остановился. Ударил копытом о мягкую землю, словно говорил: «И мне бы с этими конями скакать, пританцовывая под наездником. Я рожден для этого».

Поднимая тучи пыли, к аулу двигалось не менее трехсот всадников. Слышна была песня лаила иллала [2]. Сомнений не было: это мюриды. На них были черные, серые и белые папахи; все всадники в черкесках, полушубках,

---

[1] Революционные.

[2] Лишь тебе, аллах, наши сердца.

на поясах — кинжалы и шашки. Лес винтовок из-за плеч. Впереди ехал молодой мюрид в каракулевой папахе, обмотанной белой чалмой, в руках у него развевалось зеленое знамя с изображением диска луны. Пахавшие на поле крестьяне заволновались, послышались то испуганные, то восхищенные возгласы.

— Мюриды имама Нажмудина,— сказал Гимбат.

— Раз поют лаила, то ничего плохого от них не будет,— уверенно сказал отец.

— Эх, Чарахма, Чарахма, мало ты еще понимаешь.— Гимбат, махнув рукой жене и сыну, чтобы шли за ним, пошел с поля.

Отец заволновался. Он растерянно стоял посреди поля и, держа семена в подоле рубашки, смотрел, как торопливо расходятся по домам люди. Неизвестные мюриды, пожаловавшие к ним в аул, вызывали беспокойство — не начали бы грабить, кто их знает, что им надо в ауле.

— Вай! Что теперь будет! В крепости у нас красные. Значит, стрельба будет. Надо скорей все закрывать в доме,— запричитала Издаг.

Чарахма не ответил ей.

— Что ты стоишь как истукан, веди коня вперед,— крикнул он на Абдулатипа и по горсточке стал сыпать семена на незасеянную часть поля. Но в походке у него не было прежней уверенности, глаза погасли. Тулпар, успокоившись, послушно пошел вперед, таща за собой соху, Абдулатип пошел за ним и, глядя, как лемех, разрезая землю, медленно плывет вперед, мысленно был далеко отсюда. Вот он в папахе с красной звездочкой, с шашкой в руках скачет на Тулпаре в атаку на белых. Замечтавшись, он не заметил, как соха прошла по меже и он оказался на чужом поле.— Поворачивай Тулпара, куда только твои глаза глядят,— грозный окрик отца вернул Абдулатипа к действительности. Он поднял голову и с ужасом увидел, что проложил борозду на чужом поле. Приподнял соху, хотел повернуть коня, но тот не послушался. Он упорно шел вперед по чужому полю, увлекая за собой Абдулатипа.

Чарахма подбежал, схватил коня под уздечку и повел на свой участок.

— Что, Тулпар, в поход захотелось? А мне это ни к чему. Я хочу пахать, торговать, жить мирно, ездить на

тебе по базарам. А эти мюриды и большевики пусть воюют между собой сколько влезет, мне ничего не надо ни от тех, ни от других. Правда, есть у меня один враг. Кровник мой Асадулла. Но лучше — если с ним покончит кто-нибудь другой, пусть найдет свой конец в этой драке,— сказал он и, взяв у сына соху, сам стал пахать.— Ты, сынок, сними-ка эту красную звезду с рубашки, далеко ли до беды сейчас. Аллах ведает, кто из них кого одолеет. Поживем — увидим, ни к чему нам в драку лезть.

«Побежать бы теперь к Атаеву, сообщить, что в ауле мюриды»,— думал Абдулатип. Он снял звезду и приколол ее на груди с внутренней стороны гимнастерки,— здесь он всегда будет чувствовать ее и отец не увидит. Противиться воле отца он не мог. «Как же сообщить Атаеву о мюридах?» — напряженно думал он. Мысли его были прерваны выстрелами. Стреляли со стороны аула. Слышались чьи-то крики.

Со стороны могло показаться, что Чарахме нет никакого дела ни до выстрелов, ни до криков. Низко опустив голову, задумавшись, он медленно шел за сохой. Но Абдулатип прекрасно чувствовал, что на душе у отца неспокойно: с тревогой в глазах оглядывался он в сторону аула. Еще сегодня утром лицо его так и сияло радостью, когда он шел на поле. Он радовался хорошей погоде, не было лучшего дня, чтобы начать пахоту, радовался коню, о котором так долго мечтал. А сейчас брови нахмурены, лицо мрачнее тучи.

— Хватит пахать, — сказал он наконец, когда опять начались выстрелы, — коня нельзя морить голодом. — И он начал освобождать Тулпара от сохи, хотя поле и было распахано всего наполовину.

Издаг давно уже исчезла с поля под предлогом, что надо готовить обед, а на самом деле ей не терпелось узнать, что делают мюриды в ауле.

Абдулатип вел коня под уздечку, и отец медленно шел сзади, неся соху и остатки семян.

А в ауле был переполох и оживление. Дети, радуясь тому, что в аул приехало сразу столько верховых, водили коней мюридов на водопой, то там, то здесь слышалось ржанье и стук копыт. Женщины с тревогой выглядывали из окон веранды, предчувствуя недоброе.

Мужчины собрались на годекан. Здесь были и большинство из мюридов. Поднявшись на гладкий камень.

десятки лет служивший сиденьем для стариков, говорил высокий розовощекий молодой человек, тот самый, который возглавлял конницу мюридов. У него были черные лоснящиеся усы, большие, навыкате, карие глаза. На нем — богатая черкеска с золотыми погонами. Левой рукой он держался за позолоченную рукоятку шашки, а правую протянул к годекану, где собрались аульские мужчины.

— Почетные мусульмане! — голос у него слегка хрипел.— Я обращаюсь к вам от имени нашего славного имама, волей аллаха избранного главой Дагестана. Настало время газавата [1]. Кто рожден носить усы и папаху, возьмитесь за оружие и идите с нами против проклятых капуров [2], которые несут в наши горы несчастье, а взамен веры в аллаха предлагают нам так называемую свободу. Эта свобода спать под одним одеялом,— довольный сравнением, он погладил усы, смотря, какое впечатление произвели его слова на собравшихся. — Мусульмане! Их знамя окрашено кровью, этот цвет не подходит нам, детям аллаха. Объединяйтесь под зеленым знаменем газавата! — Он положил правую руку на пистолет, который висел у него на боку. Надменно взглянул на собравшихся.

— Мы готовы сражаться под знаменем имама, какой может быть разговор, — выкрикнул Дарбиш, сидевший среди мюридов. — Всем моим односельчанам мюриды — желанные гости.— Дарбиш говорил еще что-то, но Абдулатип не слушал его. Он пробрался между ногами собравшихся вперед, чтобы рассмотреть получше говорившего белого офицера с золотыми погонами. Уже издали ему показался знакомым его голос. И вот теперь, подойдя совсем близко, он узнал в говорившем офицере брата Издаг. Звали его Гусейн. Он и раньше раза два приезжал к ним в гости, но тогда на нем не было этой дорогой черкески с газырями, этих погон и оружия. И папахи такой не было. Абдулатипу он никогда не нравился.

Разочарованный Абдулатип вернулся к отцу, который стоял в стороне от сходки, хотел сказать, что выступающий офицер — брат Издаг, но отец и сам узнал его. Он взял соху, положил ее на плечо.

— Возьми коня и пошли домой, — сказал он Абдула-

---

[1] Священной войны.

[2] Неверующих.

типу, и сам пошел теперь впереди. Казалось, он был недоволен тем, что увидел во главе мюридов брата Издаг. Отец недолюбливал Гусейна, и каждый раз, когда тот приезжал, у отца с Издаг случались ссоры. «Не любишь моего брата,— зло упрекала Издаг мужа.— Из-за ерунды споришь с ним. Хотя бы ради меня был с ним поласковее, он же братом должен тебе быть». — «Мы спорим потому, что обожаем друг друга», — отвечал Чарахма, не желая объясняться перед женой.

И вот теперь Гусейн появился в погонах. Удаляясь от сходки, Абдулатип еще слышал его хриплый резкий голос. «Знайте, мы не будем щадить тех, кто мутит души честных мусульман всякими большевистскими хабарами. Среди горцев сейчас снуют красные лазутчики. Да падет на них кара всевышнего. Своими руками буду стрелять их».

Отец и Абдулатип вошли к себе во двор и с удивлением остановились: к столбам были привязаны кони.

— Видал, Чарахма, наш-то Гусейн офицером стал, — выходя на веранду, радостно сказала Издаг, вытирая мокрые руки о фартук. Она готовила еду. Из кухни несся ароматный запах мяса.

— «Наш Гусейн», — с горькой улыбкой повторил отец. Он бросил в сарай соху, подошел к стройному черному коню, на котором было седло с серебряными украшениями и красивая уздечка. С завистью потрогал их.

Издаг с охапкой сена подошла к коню.

— И нашего Тулпара не забудь, — не взглянув на жену, сказал Чарахма и медленно пошел в дом.

12

Когда разошлись люди со сходки, пришел Гусейн. В руках у него была плетка с ручкой из слоновой кости. За ним шел мюрид в большой, надвинутой по самые глаза папахе.

— Ты, Иса, расседлай коней, — приказал Гусейн мюриду. — Да смотри, держи ухо востро, как гончая. Сам знаешь: крепость отсюда — рукой подать, да и здесь, в ауле, полно красных лазутчиков. Тут отдохну немножко, а потом надо пойти поставить вокруг аула постовых, — он давал понять Чарахме, стоявшему тут же, во дворе, что он, Гусейн, далеко не последний человек в отряде. Отдав распоряжение своему адъютанту, он

подошел к Чарахме, усмехнувшись в усы, подал руку. Абдулатипа, выскочившего на лестницу веранды, похлопал плеткой по голове. Издаг с сияющим лицом выскочила из комнаты. В одной руке держала стул, в другой пуховую подушку.

— Садись, брат, отдыхай. Ну, как там дела? — суетилась она возле Гусейна.

— Как дома? Мать только и знает, что причитает, что ей, женщине, делать. А отец жалеет, что стар, не может пойти с нами на газават против этих иноверцев, где, говорит, моя молодость.

— Бедный отец! Куда ему теперь на газават,— сказала Издаг.

— А вы, я вижу, поля мирно пашете? — Гусейн бросил недобрый взгляд на Чарахму.

— Весной не посеешь, осенью не соберешь,— неопределенно ответил Чарахма.

— До посева ли сейчас настоящим мужчинам, когда над горами нависла такая опасность.

— Вай! Какая опасность, брат?

— Что вы за люди! Или прикидываетесь ничего не знающими простаками? — недовольно сказал Гусейн. — Ненавижу таких простаков,— уже зло прибавил он.— Эти гяуры идут в горы со своим проклятым хуриятом, в аулах полным-полно красных лазутчиков, а вы будто бы и знать ничего не знаете. Какая опасность, спрашиваешь, сестра? Смерть или жизнь — вот так сейчас стоит вопрос.

— Вай, вай! — качала головой Издаг.— Спаси нас, аллах, от беды.

— Аллах не может сам спуститься на землю, чтобы воевать за нас. Он дал нам сердце, чтобы не знать трусости, когда угрожают святой вере, голову, чтобы думать, руки, чтобы держать оружие. Аллах благословляет наш газават. А нам мужчинами надо быть в эти дни, иначе мы лишимся всего: и религии, и семьи, и детей, а вместо баранины русские заставят нас есть свинину, вместо «лаила» услышим их «ура». Вот что несут нам эти гяуры,— глуповатый Гусейн явно повторял чьи-то слова, которые хорошо заучил.

— А что вы, мюриды, нам дадите? — спросил Чарахма, неторопливо скручивая папироску. Он явно хотел подразнить этого заносчивого юнца. Гусейн резко повернулся к Чарахме, словно бычок, укушенный оводом.

Глаза из-под тонких красивых бровей недобро сверкнули.

— Мы защищаем свободу горцев и законы шариата. Наш имам получил благословение всевышнего и собрал нас под своим зеленым знаменем! Те, кто погибнет в этой борьбе, попадут в рай, а кто останется жив, тот заслужит благословение аллаха. Теперь газават священней, чем был в прежние времена. Эти красные — враги ислама,— Гусейн возбужденно забегал по комнате, он почти кричал.— Да я вижу, что их лазутчики и здесь уже поработали и смутили кое-кого,— он подозрительно взглянул на Чарахму.— Чувствую — предстоит нам здесь работенка,— он снова наконец сел, обиженно поджав тонкие губы.

— Не обращай на него внимания, брат. Муж любит иногда позлить,— сказала Издаг, недовольная, что Чарахма так неуважительно говорит с таким важным офицером, как ее брат. Она бросила уничтожающий взгляд на мужа, но он сделал вид, что не заметил этого взгляда и продолжал спокойно курить.— Успокойся, Гусейн, муж, как и все мужчины, будет с вами, вот увидишь, он уже и коня купил.

— Коня, говоришь? Так этот красный конь твой, Чарахма? А я-то еще подумал — откуда здесь взяться такому коню.— Гусейн поднялся.— Где ты его купил?

— В Чечне. Пришлось дорого уплатить,— ответил Чарахма.

— Баркаман [1], словно рожден для походов против неверных,— спустившись с веранды, он подошел к коню.— Неплохо бы и мне такого скакуна.— Тулпар беспокойно ржал, бил копытом о землю, не давая трогать себя чужой рукой.— Хорош, хорош,— как бы про себя повторил Гусейн, направляясь к воротам.— Эй, Издаг,—обернулся он к сестре,— готовь завтрак получше, я голоден. Еще ночью мы в аул вошли, завернул в ваш дом, но тут собака так лаяла, что пришлось к соседям стучать,— сказал он и ушел. За ним, словно тень, шел мюрид в папахе с горбатым, как у орла носом.

— Ишь, он такого коня захотел, молокосос. Хоть и вырос, а пофорсить, как и раньше, любит. Неужели имам другого командира для отряда не нашел, а назначил этого петуха,— возмущался Чарахма.— Наверно, только

[1] Отличный.

потому и назначил, что он сын муллы.— Издаг не слышала слов мужа, она торопливо готовила завтрак.

— Лови белого петуха, Абдулатип,— крикнула она.— А ты, Чарахма, мог в такой день сходить за бузой и водкой, знаешь ведь — брат любит эту горькую воду.

— Мюриды имама не пьют, Издаг,— недовольно сказал Чарахма.— Ведь они в газавате, грешно им пить.

— В самом деле? — подняла тонкие брови Издаг.— Болит мое сердце за Гусейна. Он такой горячий, бросается туда, где опасно.

— Не волнуйся, такие, как он, от пули прячутся,— усмехнувшись, сказал Чарахма. Он вынул кинжал и отрезал голову петуху, которого принес Абдулатип. Абдулатип отвернулся, чтобы не смотреть. Он всегда отворачивался или закрывал глаза, когда резали курицу или барана,— ему было жаль их. А этого белого петуха, драчуна, ему было особенно жаль. Громче других кричал он по утрам, чувствуя себя хозяином во дворе, а если случалось ему драться с соседскими петухами, он неизменно выходил победителем и важно шел к своим курам.

Отец вытер кинжал об мертвого петуха и встал.

— Сами кур не едим, для чужого дяди, выходит, растили,— недовольно сказал Чарахма.

— Они с красными воевать приехали, да, папа? — спросил Абдулатип.

— Красные, белые, черные, надоели мне эти разговоры,— разозлился вконец Чарахма.— Жить не дают спокойно людям — то газават, то хурият. И ты еще с вопросами лезешь, пошел в дом,— крикнул он на сына, словно тот был виноват.

13

Гусейн и горбоносый мюрид с удовольствием ели петуха, частенько опустошая рога с бузой. Сначала на столе выпивки не было. Когда Издаг положила на ковре тарелки с мясом, Гусейн, потянув носом аромат, исходивший от дымящейся курятины, сказал:

— А чего-то все-таки не хватает у тебя, сестра,— и хитро подмигнул Издаг.

— Я ж говорила, тебе, Чарахма, что Гусейн любит бузу,— упрекнула Издаг мужа, сверля его глазами.— Иди теперь с кувшином к Кайтмазу, да побыстрей.

— Откуда я знал, что люди, идущие под знаменем газавата, будут пить,— съязвил Чарахма, но вид у него все же был виноватый.— Наш имам в походах, кажется, не пил бузы, и Кораном это запрещено. А может, вас, мюридов, это не касается?

— В Коране, Чарахма, сказано, чтобы служители аллаха не пили вино, а о бузе там ничего не говорится. В пути, сам знаешь, буза веселит душу и снимает усталость. Так что не жадничай, ступай за бузой, а о своих душах мы сами как-нибудь позаботимся.

— Что мне жадничать. Думал — не будете пить, вот и все. Иди, Абдулатип, к Кайтмазу. Скажи — осенью мерку пшеницы отвалю, пусть сейчас даст бузы. Да чтоб воды не добавлял. Скажи, мол, самому господину офицеру нужна.

— Сходил бы сам, знаешь ведь жену Кайтмаза,— сказала Издаг.

— Ничего, и он справится, взрослый уже,— ответил Чарахма.

Взяв большой кувшин, Абдулатип отправился за бузой. Он точно передал слова отца жене Кайтмаза. Поговаривали в ауле, что они частенько обманывают людей, добавляя воду в бузу и самогон. Но сейчас, выслушав Абдулатипа, жена Кайтмаза обиделась.

— Скажи отцу, чтоб он на свой-то аршин людей не мерил,— зло ответила она.— Сам он всех обманывает, все разбогатеть хочет. Вот от зависти на нас и наговаривает,— но бузу все-таки черпала из огромного кувшина, куда вмещалось литров сто.

Абдулатип, прижав кувшин к груди, боясь расплескать бузу, торопился обратно. От бузы шел опьяняющий запах. «Почему мужчины так любят ее? А ну, если попробовать?» Он хлебнул на ходу. Буза была горькая, обожгла горло, Абдулатип закашлялся и чуть не расплескал содержимое кувшина. А в голове непривычно шумело. Сделал еще Абдулатип несколько глотков. Вдруг все вокруг словно потеряло свои обычные очертания, стало расплываться, и Абдулатип не помнил как приплелся домой. Издаг, торопливо выхватив кувшин у него из рук, не заметила его состояния. Она налила ему суп, посадив отдельно от старших.

Абдулатип прихлебывал горячий суп, не чувствуя его вкуса. Постепенно ему начало казаться, что перед ним сидят два Гусейна с куриной ножкой в руках. А вместо

одного усатого мюрида он видел троих, таких же носатых, в лохматых папахах. По усам у них стекал жир, а в глазах пряталась недобрая улыбка. Абдулатипу захотелось крикнуть: «Уходите, разбойники, вы съели нашего лучшего петуха», но крик застрял в горле вместе с чуреком, на глазах выступили слезы. И вдруг ему стало смешно: он совсем не боялся этих важных черноусых мюридов. Но что это с отцом? Какой он стал высокий, и форма офицерская на нем. И тут вся комната вместе с отцом и мюридами словно стала проваливаться куда-то, заплясали перед глазами тарелки и кувшины, стоявшие на полках у стены. Но вот к Абдулатипу подошла Издаг, бросила ему в тарелку горло петуха, взглянув с такой злобой, что Абдулатип сразу протрезвел. У него пропало желание смеяться.

— За нашего великого имама,— услышал он резкий голос Гусейна.

— За имама! — повторил усатый мюрид, он поднес рог с бузой ко рту и, громко причмокивая, стал пить. Буза текла по усам, по пыльной бороде.— Хороша буза!— довольно сказал он.— Налей-ка еще, Чарахма, хочу выпить за упокой души проклятых большевиков. При одном воспоминании о них на душе у меня муторно становится. Но ничего: скоро повстречается Атаев с мюридской пулей. Давненько у меня руки по нему чешутся.

— Смотрите, каким тигром сделала буза этого молодца,— засмеялся Чарахма.— А если Атаев тебя свинцом покормит? Слышал я — он тоже малый, бравый, служил в армии, офицером, говорят, был, и в бою у него рука не дрогнет.

— Был царским офицером, а стал большевистской сволочью! Продался красным. Но скоро мы рассчитаемся с ним,— злобно сказал Гусейн.

— За что ты с ним хочешь рассчитаться? Или он кровник твой? — спросил Чарахма.

— Он враг ислама, враг нашего имама!— почти кричал Гусейн.— Не будет ему пощады.

— Нехорошо, говорить так о человеке, с которым никогда не встречался,— покачал головой Чарахма.

— А что? Может, ты с ним встречался? Что-то не нравятся мне твои слова, Чарахма,— вскипел Гусейн.

— Где мне с ним встречаться... Я его знать не знаю, да только если смог человек собрать вокруг себя столько людей, и вояки, слышал я, у него неплохие, да и то:

в крепости держатся крепко,— стало быть, человек он стоящий. Иначе бы и ты не пришел сюда со своими мюридами.

— Да, я иду в поход против этих проклятых иноверцев, и аллах увидит, на что способен сын муллы Салих-Мухамеда!— Гусейн ударил волосатым кулаком по столу так, что задрожали тарелки.— Я этих большевиков заставлю на коленях ползать. Повешу всех до единого, пусть будет уроком для некоторых,— он злобно взглянул в сторону Чарахмы.— Пора избавиться от этой чумы. Чтоб и следа от нее не осталось. Всю Россию заразили эти проклятые гяуры, самого царя сбросили, хотят и до гор добраться! Ну уж нет, этого им не удастся, есть еще в горах честные мусульмане.

— Есть,— усатый мюрид обтер ладонью жирные губы.— И дома этих большевиков надо дотла сжечь, чтобы не будоражили честных людей. Царь с большевиками не справился, а мюриды имама положат им конец.— Иса взглянул на Гусейна.

— Видишь, какие у нас мюриды,— Гусейн покровительственно похлопал Ису по плечу.— Правда твоя. Мы еще покажем этим красным.

— На словах-то все можно,— спокойно сказал Чарахма.

— С нами аллах,— Гусейн выпятил губы.

— У них тоже, говорят, кое-что есть.

— Что есть? — резко повернулся к нему Гусейн. Лицо его побагровело.

— Общее одеяло,— захихикал Иса.— У них кровь в жилах чешется, вот и надо ее выпустить.

— Землю они обещают взять у богатых и раздать беднякам. И свобода...

— Ха, ха! Свобода! Их свобода лишает людей религии, семьи, собственности. Обещают... Разговоры одни. И есть же люди, которые верят этой болтовне. Или и ты, зять, не прочь получить часть чужой земли. Например, уважаемого мной Дарбиша?

— Мне чужого не надо, как-нибудь сам добьюсь себе побольше земли. Слава аллаху — конь теперь есть. Мне мир нужнее.

— Ха, ха! — недобро смеялся Гусейн.— Мирно жить захотел? Это теперь-то! А я слышал, между прочим, что твой кровник Асадулла у красных. И это тебя не касается?

— Это мое личное дело. Я отомщу ему и без вас.

— Ну нет, Чарахма! Ты должен мстить ему и ему подобным вместе с нами. В такие времена горцу не подобает греться у очага дома.

— Нет, Гусейн. Я не пойду с вами.

— Не хочешь— твое дело. Да только смотри, не пожалей потом,— Гусейн глянул пьяными ненавидящими глазами на Чарахму, залпом выпил стакан бузы.— Да, говорили мне тут, что ты завел дружбу с этим лудильщиком. Как его? Нуруллой... Смотри, не обожгись. Мы разберемся, кто он такой.

— Он человек спокойный. Мастер.

— Вот-вот, именно мастер. Мусульманам честным голову забивает. Большевиков, говорят, хвалит?

— Не знаю, я не слышал.— Чарахма встал из-за стола.— Хороший он мастер, все в ауле довольны его работой.

— Вах! А мне говорили, что как раз и ты был в тот день у него, когда он хвалил хурият. Петля по нему плачет!

— Болтать все можно! Язык без костей. А у того, Гусейн, кто это тебе сказал, я вижу, он слишком длинный. Если будете всех вешать, на кого подлецы клевещут, народ не простит вам, мюридам. А то вот говоришь, Гусейн, что вы в поход вышли, чтобы честных мусульман защищать. Ведь газават — священная война, а не братоубийство. Так ведь говорю? Не слушай этих ложных хабар, а то потом как бы не пришлось тебе ответить перед аллахом и честными мусульманами. Помни горскую пословицу: огонь бедствия легко зажечь, да трудно потушить.

— Вижу, Чарахма, спорить ты мастер. Спасибо за предостережение. Да только вот что,— красивые глаза его злобно сверкнули,— этот твой хваленый лудильщик, который так искусно подковал твою лошадь, отказался подковать моего коня! Не умею, говорит, подковывать коней, иди к кузнецу. Ну, да ничего! Я ему руки укорочу, будет знать, как перечить мне, офицеру! Проклятый большевистский лазутчик! Он у меня вот где! — Гусейн сжал кулак.

Абдулатип поперхнулся, чуть не подавившись чуреком. Хмеля как не бывало. Гусейн подошел к нему.

— Ну-ну! Смотри не задохнись. Мужчина...— он хлопнул его по спине.— А может быть, ты слышал, что

этот Нурулла людям говорил? Ты ведь там тоже частенько бываешь.— Сузившимися глазами Гусейн выжидающе смотрел на паренька.

— Не слышал я ничего,— шмыгнув носом, ответил Абдулатип.— Дядя Нурулла красивые кувшины делает, вот к нему все и ходят.

— Кувшины, говоришь, мастерит? — ехидно улыбнулся Гусейн.— Ну ладно. Тогда скажи, какие тебе в крепости Атаев подарки дал? А?

Абдулатип с удивлением уставился на белого офицера. Теперь ему казалось, что не один, а десять Гусейнов стоят перед ним и все они ненавистны. «Откуда он узнал, что я был в крепости? — лихорадочно думал он.— Ну, конечно же, от Назира. Ведь с сеновала он видел, как рано утром мюриды заходили во двор Дарбиша. Проклятый Назир. И о звезде, наверно, сказал»,— он с тревогой взглянул на стоявшего перед ним Гусейна.

— Ну, что молчишь? — Гусейн повертел в руке плетку.

— Ничего я не знаю, и в крепости не был,— сказал Абдулатип. Голова паренька напряженно работала. «Как бы выбраться из дома и сообщить дяде Нурулле о грозящей ему опасности». Когда Гусейн заявил, что отрежет мастеру руки, суп застрял у Абдулатипа в горле, он поперхнулся, это и выдало его. Гусейн обратил на него внимание, припомнив, кстати, и то, что услышал от Назира. «Ничего ты от меня не узнаешь,— думал про себя Абдулатип,— хоть сколько хочешь сверли меня глазами». Но что-то все-таки надо ему ответить, чтобы побыстрее избавиться от него и выйти из комнаты.

— Что же молчишь? — не отставал Гусейн.— Много там их в крепости? Может, ты обиделся, что мы не угостили тебя бузой? Пожалуйста. Вот тебе стакан. Пей,— и он протянул Абдулатипу полный стакан бузы.

— Я не хочу,— отвернулся Абдулатип.

— Как хочешь,— Гусейн поставил стакан, расплескав бузу.— Так что ты видел в крепости?

— Не был я там. Сапоги и гимнастерку я на базаре купил.

— Купил? А деньги откуда взял? — вмешалась Издаг.— А мне ты говорил...— но, увидев, что Чарахма зло смотрит на нее, замолчала, стала возиться с посудой.

— Может, и красную звезду ты на базаре купил? Ну-ка, покажи ее мне.

«Откуда он знает про звезду? Неужели Издаг рассказала?»

— Сломалась она у меня,— сказал Абдулатип.

— Ай, ай, ай,— смеялся Гусейн.— Как же можно ломать такой подарок. Ведь сам Атаев тебе ее подарил. А может, ты потерял ее, когда тебя били?

— Нет,— Абдулатип вскочил как ужаленный. «Значит, Назир еще болтает, что бил меня. Ну, погоди, трус!»

— Ха-ха,— смеялся Гусейн.— Видно, большевиком сделал тебя Атаев. Да,— самодовольная улыбка на его лице вдруг внезапно погасла,— эта большевистская зараза распространяется подобно чуме, даже молокососа успели обработать. Смотри-ка, Иса, с какой ненавистью смотрит на меня этот щенок. Ничего. Мы их быстро образумим. А если волка убить, с волчатами справиться легче. Уничтожим Атаева, а потом и в ауле порядок наведем.

— Так точно, сын досточтимого муллы,— подобострастно вторил Иса.— Всех красных уничтожим. На газават,— он положил руку на кинжал.

— Куда это ты собрался? — Гусейн резко повернулся к Абдулатипу, который направился было к дверям. Паренек стоял у дверей, не зная, что соврать. Гусейн так и сверлил его глазами. «Точно, как Издаг»,— подумал мальчик.

— Я за Горачем иду,— ответил он наконец.

— Поди-ка Иса, помоги ему отвязать собаку,— приказал Гусейн мюриду, многозначительно моргнув ему.

Абдулатип подошел к Горачу, стал медленно развязывать его, все еще не зная, как обмануть мюрида, незаметно уйти со двора. «Пугни-ка этого мюрида»,— Абдулатип показал Горачу на Ису. Пес понимающе посмотрел на хозяина. И стоило только Абдулатипу отвязать его, как он с лаем бросился к черноусому. Перепуганный мюрид, бряцая винтовкой, отходил к лестнице, чтобы в случае чего вскочить на веранду.

— Эй, щенок! Ты на меня собаку не науськивай. Думаешь, я не видел, как ты ее на меня натравливал. Убери пса, не то застрелю его, мне пули не жалко. Убежать хочешь, ну уж нет, и шага со двора не сделаешь.

«Видно, не так уж пьян этот мюрид,— подумал Абдулатип. Но ему необходимо убежать.— Что же делать?»

Из дома выскочила Издаг. Палкой замахнулась на Горача.

— А ты что смотришь, когда твой пес на гостя бросается? — крикнула она Абдулатипу.— Заставь собаку замолчать, не то велю сейчас пристрелить.

Горач понял, что лаять бесполезно, и замолчал. Виляя хвостом, виновато смотрел на хозяина: «Что, мол, друг, поделаешь». Абдулатип присел на пень, а Иса, держа винтовку между колен, устроился на лестнице, ведущей на веранду. Он уже слегка клевал носом, но продолжал исподлобья наблюдать за Абдулатипом.

— А у вас здесь неплохо,— миролюбиво сказал он.— Ишь, как сосной пахнет. И Акаро видно. Хорошо соснуть бы. С детства люблю на веранде спать. Особливо, если дождичек по крыше стучит. Завернешься в бурку — и сопишь в обе ноздри.

— Я тоже на веранде спать люблю,— сказал Абдулатип.— А еще лучше на сеновале. Сеном здорово пахнет, а на потолке в гнездах ласточки щебечут. Раньше я там часто спал, а наш белый петух меня по утрам будил. Знаете, какой боевой был, всех петухов одолевал.

— Что петушиный бой. Ерунда. Вот я люблю, когда собаки дерутся. Была у меня собака. Львом звали. Как завидит, бывало, чужака — и ну лаять, ну на цепи рваться. Первой в драках была. Да только один гад отравил ее за то, что собаку его одолела. И видел я это, да вступиться не мог.

— Почему же не вступились?

— Куда там. Он старостой аула был, мне супротив него идти — все равно, что войлочным топором дрова рубить.

— Я бы его...

— «Я бы, я бы...» Ничего бы ты не сделал. Ишь, шустрый какой. Давай спать. Ты вот тут на сене ложись, а я на постели лягу, да руку твою к своей привяжу. По глазам вижу — улизнуть собираешься. Да только ничего у тебя не выйдет: от Исы не уйдешь, ха-ха-ха. Прогони собаку. Пусть лучше коней стережет, это ее собачье дело.

В комнате утихли голоса. Видно, пьяный Гусейн улегся спать, заснули и отец с мачехой. Слышно было лишь тихое ржанье спутанных коней, да на другом конце аула лаяла, видно на непрошеных гостей, собака. Вот Иса, завернувшись с головой в бурку, захрапел. Но Абдулатип не спал, напряженно думая о том, как бы выбраться с веранды. Повернулся было на спину, но

дремавший Иса тут же вскочил. Дернул за веревку.

— Ты что, щенок, шутить думаешь со мной? Я и пальнуть могу. Хочешь красным сообщить о нас?

— И повернуться нельзя, что ли? Никуда я не убегу,— Абдулатип с ненавистью смотрел на мюрида. Он потрогал свою звезду, которую носил на внутренней стороне гимнастерки. Там Гусейн и не догадался ее искать. Но что же делать, как сообщить Нурулле об опасности. Ему необходимо быстрее бежать в крепость к Атаеву, иначе мюриды отрежут ему руки. Тогда бы и Атаеву он передал, что в аул прибыло много-много мюридов.

Ярко горели на небе звезды. Им не было дела до того, что готовится на земле. Слышно было, как храпит Иса. Может, не почувствует, если развязать веревку? Абдулатип приподнялся, но тут же услышал сонный голос мюрида:

— Куда? Ложись.

— По нужде мне...

— По нужде... не обязательно во двор выходить... И с веранды можно.

Заснул Абдулатип под утро и сразу же оказался на поле сражения. Вот он, согнувшись, пробирается вдоль речки к крепости. Одной рукой придерживает папаху, а другой штаны. Они без ремня, падают, мешают идти. Ему хочется побежать быстрей, ноги словно прирастают к земле. А спешить надо. Атаеву необходимо поскорей сообщить о мюридах. Вот они, выставив винтовки, движутся по зеленой равнине к крепости. Впереди них на белом коне — Гусейн. Вдруг он заметил Абдулатипа. «Эй Иса, смотри, этот парень направляется в крепость сообщить о нас, скорей поймай его»,— кричит он. Иса бежит за ним, направляет на него винтовку. Из-под лохматой папахи по темным щекам струится пот. «Стой, щенок,— ясно слышит Абдулатип,— стой, убью!» — Он направляет на него винтовку, вот-вот раздастся выстрел. Но тут вдруг, откуда ни возьмись, появляется Хабиб, в руках у него большая палка, вот он подкрадывается к Исе, поднимает палку. И в это самое мгновение Абдулатип слышит выстрел.

— Ой! — вскрикнул, просыпаясь, Абдулатип.

— Кого убили?— Иса тоже вскочил.— Это ты, щенок, крик поднял, поспать не дал.

«Значит, он тоже спал,— с тоской думал Абдулатип.— Как же я мог уснуть. Упустил время. Теперь не

предупредить дядю Нуруллу. Вот и рассветает уже».

Иса, ворча что-то себе под нос, стал совершать намаз. Склонил голову к земле. А уж если мусульманин молится, то тут хоть стреляй в него, он не встанет, не нарушит молитву. Абдулатипу только и нужно это было. Незамеченный, он шмыгнул к двери и в два прыжка оказался на улице. Со всех ног бросился к дому лудильщика.

Открыв ворота в дом Нуруллы, он чуть не вскрикнул от неожиданности. Что тут творилось... По двору разбросаны инструменты: вот молоток, которым он всегда работал, вот разрезанные шашкой кузнечные меха. В грязи блестят куски олова. Значит, успели мюриды уже побывать здесь. Абдулатип вбежал в комнату. В углу сидел заплаканный Шамсулвара.

— Не плачь,— тряс его за плечо Абдулатип,— расскажи лучше, что было.

— Мы спали ночью, а тут они ворвались и стали все шашками рубить. А отца связали и повели,— плача, рассказывал Шамсулвара.— Все кричали: «Большевистская сволочь». Отец просил хотя бы инструменты не трогать, а один из них сказал: эти инструменты хуже всякого оружия. И меня ударил сапогом, вот.— Только сейчас Абдулатип заметил, что левый глаз у друга совсем затек. В полутьме он не сразу разглядел его лицо.

— Кто это тебя?

— Этот, как его... Гусейн, брат твоей мачехи, твой дядька. Он и мехи сорвал, и шашкой их разрубил.

— Гусейн? — удивился Абдулатип. «Я-то думал, он спит», — думал мальчик про себя. Теперь ему казалось, что и он виноват в том, что произошло. Проспал. Еще вчера надо было вырваться из дома, а не сидеть за столом. И отец тоже знал, что грозит дяде Нурулле, и тоже его не предупредил; у мальчика поднялась обида на отца.— Никакой он не дядька мне. Он враг. И мы его убьем.

— Убьем? — Шамсулвара с удивлением уставился на друга.— Как это? У нас даже и винтовки нет... Они убьют моего отца, — Шамсулвара опять заплакал, толстые плечи вздрагивали.

— Хватит тебе... Не девчонка. Мужчины не плачут даже перед смертью. Мне это еще бабушка говорила. Даже в аду, говорила, мужчины не плачут.

— Да... хорошо тебе говорить. У тебя отец дома. А

мне что делать, если его убьют. Знаешь, как они его били, говорили, что живым не выпустят. Я бросился к отцу, когда его уводили, а этот Гусейн, меня ногой толкнул и сказал: из волчат волки вырастают. Чуть не убил.

— Сам он волк, — с ненавистью сказал Абдулатип.

— Этот Гусейн хотел заставить отца коня ему подковать, а отец не стал. Тогда Гусейн закричал: «Сапоги будешь мне целовать, сволочь...» — Может, твой отец поможет нам? — всхлипнув, поднял голову Шамсулвара.— Пошли к нему. Пусть попросит Гусейна отца отпустить. А коня мы ему все вместе подкуем.

— Пошли,— поднялся Абдулатип.— И не реви. Отец терпеть не может, когда мужчины плачут. Будем Издаг тоже просить. Пусть только попробует не помочь нам. Я ей тогда...

14

Абдулатип с трудом отыскал среди разбросанных вещей папаху Шамсулвары, надел на голову все еще плачущему другу.

— Пошли.

— Куда?

— Как — куда? Ко мне. Будем просить Гусейна, чтобы он освободил твоего отца.

— Освободит он... Как же.

— А я говорю — освободит. Его мой отец попросит.

Лучи солнца играли на вершине Акаро. Свежий утренний ветерок играл в ветвях распускавшихся деревьев. Вот и Хабиб, встав засветло, уже гонит стадо на пастбище, как обычно напевая что-то на своем языке.

И хоть утро было светлое, радостное, на душе у Абдулатипа и Шамсулвары было сумрачно. С узкой улочки они вышли на широкую главную, по которой обычно гонят коров на пастбище. Тут вдруг стук копыт заставил их вздрогнуть, ребята прижались к стенке. Мимо них пронесся вооруженный всадник. За ним второй. И вдруг с боковой улочки вылетел целый отряд мюридов.

— Куда это они?— испуганно спросил Шамсулвара.

— Наверно, в крепость. Давай сначала домой, — он схватил друга за руку. Во дворе стоял только Тулпар, коней Гусейна и Исы не было, Держа в руках метлу, посреди двора стояла гордая, по-праздничному одетая Издаг. «За брата радуется», — подумал Абдулатип. Заметив ребят, она вдруг сразу помрачнела.

— Только этого мне недоставало!— закричала она.— Смотри-ка, Чарахма, кого ведет в дом твой сын. Щенка этого проклятого партизана.

На ее крик вышел из дома Чарахма. Держа в руках шило и иголку, он с удивлением посмотрел на заплаканного Шамсулвару.

— Что случилось? — спросил он.

— Моего отца ночью мюриды увели, — всхлипывая, ответил Шамсулвара.

— Они хотят его убить, — добавил Абдулатип.

— Зачем ты привел сына Нуруллы ко мне в дом? Беду хочешь накликать на нас!— не унималась Издаг.

— Не кричи, Издаг. Тут что-то не так. Я знаю Нуруллу, он хороший человек.

— Знаю, какой он хороший... Проклятый партизан.

— Не твое это дело, Издаг. Подметай двор, твой братец оставил тут порядочную грязь. — Абдулатип первый раз слышал, что отец так сурово говорил с Издаг. Та, недовольно проворчав что-то, но, очевидно, испугавшись гнева мужа, стала подметать двор, лишь тонкие губы ее шевелились, словно шептали проклятья.

Чарахма чинил порванное седло. «Вах! — тихо говорил он, будто сам с собой.— Что же это делается. Честного спокойного Нуруллу арестовали. А мне-то, дураку, и в голову не пришло вчера, куда отправляется братец Издаг. «Пойду,— говорит,— проветрюсь». Я и поверил. Мне бы Нуруллу предупредить, а я спать пошел. Ну и Гусейн. Нет, никому нельзя сейчас верить, все потеряли честь и совесть». — Он взял седло, пошел седлать Тулпара.

— Куда это ты? — забеспокоилась Издаг.

— Когда человек собирается в дорогу, не спрашивают, куда он идет, а желают счастливого пути,— ответил Чарахма.

— Мало мне беспокоиться за брата, так и ты отправляешься невесть куда, в такую-то пору,— жаловалась Издаг.

— Не на войну еду. Твой братец арестовал невинного человека, надо вызволять друга из беды.

— Никак хочешь его освободить?— заволновалась не на шутку Издаг.

— Постараюсь, во всяком случае.

— Смотри, сам в беду не попади.

— Попридержи язык, Издаг. Не женское это дело вмешиваться.

— Муж ты мне или нет? Вдовой хочешь меня сделать,— почти плакала Издаг.

— Лучше быть вдовой мужчины, чем женой труса,— так, кажется, говоряг. Подметай-ка двор, терпеть не могу грязь, а твой брат, как я вижу, аккуратностью не отличается,— и Чарахма стал выводить Тулпара.

— Ишь он — грязь увидел, — ворчала она себе под нос. — Завидует Гусейну, вот и все. Офицером-то не все могут стать. — Она повернулась к Абдулатипу: — Не зря говорят: из-за плохого человека и рыба на море может страдать. А нам — терпи неприятности из-за этого лудильщика, — Издаг злобно посмотрела на притихшего Шамсулвару. Но, вспомнив, что Чарахма велел накормить ребят, нехотя пошла на кухню и вынесла остатки хинкала и чурек.

— Нате вот, подавитесь.

— Я есть не хочу, — тихо сказал Шамсулвара. Не ел он со вчерашнего дня, но от всего, что пережил ночью, есть ему действительно не хотелось. Абдулатип сочувственно посмотрел на друга. Бедный Шамсулвара. А ведь обычно он так любит поесть, вечно жует что-нибудь. «У него желудок — что бездонный сеновал, сколько в него ни клади, все не наполняется», — смеялся обычно дядя Нурулла. А когда шли мимо богатых домов, Шамсулвара так носом и потягивал: «Вкусно пахнет. Чуду, наверно, жарят. А у этих баранина варится», — и жадно облизывал языком толстые губы. «Поесть бы сейчас», — мечтательно говорил он обычно. А вот теперь даже и не дотронулся до хинкала. Зато Абдулатип не зевал. Стоило только Издаг на минуту выйти из кухни, как он быстро вытащил из буфета чурек, который она готовила брату, и сунул себе за пазуху. «Пошли», — сделал он знак Шамсулваре.

Растерянные аульчане, покрепче закрыв сундуки, выходили на веранды, тревожно переговаривались.

С той стороны аула, куда скакали вооруженные мюриды, раздавались выстрелы, слышны были крики. Со стороны крепости стреляли орудия.

— Ой, накликали на нас беду эти мюриды, — говорила, стоя на своей веранде, жена Гимбата. Прижимая к груди маленькую девочку, она вздрагивала при каждом выстреле. Еще вчера Гимбат, ничего не сказав ей, ушел прямо с поля неизвестно куда, но она догадывалась, где он теперь, с тревогой глядя в сторону крепости.

Никто из аульчан не вышел на работу, хотя день стоял ясный, солнечный, и пахота была уже начата. Мюриды принесли беспокойство, и не до работы теперь им было. Женщины тревожились за своих мужчин. Одни из них были с красными, другие с белыми, а третьи, не зная еще, чью сторону держать, молча чистили винтовки, а у кого их не было — кинжалы и напряженно ожидали чего-то.

Абдулатип торопливо шел по улице, толстый Шамсулвара едва поспевал за ним.

— Вчера трехмесячного ягненка у меня из сарая мюрид взял, — жаловалась женщина соседке.

— А у меня он курицу утащил,— отвечала ей та.— Будь мой муж дома, посмотрела бы я — посмел бы он забраться.

— Разбойники. Чистые разбойники, — причитала женщина.

— Прикусили бы языки, бессовестные, — зло крикнула им со своей веранды старая Ханича, — ее сын был среди мюридов. — Они, не жалея животов своих, вышли на газават с этими гяурами во имя ислама и всех нас, а вы про них такое. Красные партизаны крадут, а вы на мюридов имама вину валите.

— Глаз у нас нет, что ли? Ты, старая, поди, уж совсем не видишь. Мюриды тащили, а не красные, — сердилась женщина.

Тут Шамсулвара толкнул локтем Абдулатипа: старая Рукият вышла с веранды с кувшинами меда и масла и засеменила в сторону огорода.

— Куда это ты, Рукият? — полюбопытствовала соседка, та, что спорила с Ханичей.

— Пойду спрячу эти кувшины, кто их знает — этих белых да красных, того и гляди, стащат добро, разбойники. — И Рукият заторопилась в огород.

— Пойду-ка и я ковер в подвал спрячу. Для дочери делала, к свадьбе, а эти непрошеные гости, того гляди, и его к рукам приберут, — крикнула она Рукият и сердито посмотрела на мужа, который спокойно сидел на веранде, попыхивая трубкой.

— Ишь, старая, засуетилась, — вздохнул, посмотрев на жену, Гамзат.— Да, времена наступили. Брат с братом воюют, сын супротив отца идет. Эй, джигиты, далеко ли путь держите?— крикнул он Абдулатипу и Шамсулваре.— Что-то вид у вас подозрительный, уж не вое-

вать ли тоже собрались. Эх, времечко. Говорят, вон Осман-то, сосед мой, среди красных, а отец его, Аминтазе, сегодня с мюридами уехал на газават. Глядишь, и напорятся друг на дружку в бою. Ну и времечко.

А в это время за холмом, что слева от аула, уже разгорался бой. Слышна была стрельба, крики «лаила» и «ура» красных.

— Бежим, посмотрим, — Абдулатип потащил друга за рукав.

— А если нас убьют?— испугался Шамсулвара.

— Тогда стой тут, если боишься, а я сбегаю вниз к озеру, там с дерева хорошо видно.

— Я тоже с тобой, только на дерево не взберусь.

— Ты внизу постоишь, а я тебе все рассказывать буду, что увижу.

Мальчишки направились было по тропинке к озеру, где тесными рядами росли тополя, но вскоре натолкнулись на дозоры мюридов. Оказывается, никто не мог войти в аул и выйти из него. Мюриды прикладами отгоняли любопытных ребятишек. Кое-кто из старух и женщин в тревоге стояли тут же.

— Пустите меня, пустите! — неистово кричала какая-то женщина.— Один он у меня остался, пустите, они убьют его, — но мюрид оттолкнул ее.

— Дома сиди. Не твое дело туда лезть, — грубо сказал он.

К полудню с поля боя в аул начали таскать на носилках, всматривались в лица раненых — не свой ли. Привозили и убитых, их относили в мечеть.

— Видать, неплохо мельница работает, раз мешки то и дело носят,— усмехаясь в усы, говорил жене Гамзат.— Эй, джигит, долго там еще стрелять будут?— спросил он проходящего мимо мюрида, который вел раненого.

— Красные уже в третью атаку идут, да со стороны крепости стреляют. У них, оказывается, и пушки есть, — сказал мюрид.

К вечеру носилок с ранеными и убитыми становилось все больше.

«Крепость окружена, но эти красные и не думают сдаваться»,— говорили мюриды. Двое из них присели у источника рядом с Абдулатипом и Шамсулварой, не торопясь пили воду, видно, им не хотелось возвращаться туда, где раздавались выстрелы, и они мешкали тут. «Так вам и надо!— думал пор себя, глядя на них, Абду-

латип.— Атаев скосит вас всех и Гусейна». Он представлял, как красные идут в атаку, как строчат пулеметы со стен крепости.

— Пошли, — мюрид показал в сторону мечети, — там у меня кунак раненый.

Абдулатип подмигнул Шамсулваре, и они пошли следом за мюридами.

Около мечети толпился народ. В мечети носилки уже не помещались, их ставили у входа.

— Воды, пить! — стонал раненый с перевязанной тряпками головой. Тряпки покраснели от крови.

— О, аллах, покарай их, — слышался предсмертный стон умирающего.

Сельский лекарь Магди, едва держась на ногах от усталости, перевязывал раненых. По щекам у него катились капли пота, а в глазах была боль за всех этих страдающих, умирающих людей. Других врачей в ауле не было, и глаза раненых с надеждой смотрели на него.

Вот принесли новые носилки. Раненый кричал. Отрубленная шашкой рука едва держалась на мякоти. Заголосили стоявшие у мечети женщины. Магди быстро подошел, велел опустить носилки и тут же, вытащив из сумки нож, отрезал болтавшуюся безжизненную руку. Раненый страшно вскрикнул. Он дрожал в ознобе, зубы стучали.

— Потерпи, дорогой, потерпи, — успокаивал его, как мог, Магди.— Я прижег рану, заражения теперь не должно быть. — Мюриды, принесшие носилки, накрыли раненого, дрожавшего в ознобе, буркой.

Абдулатип с жалостью смотрел на него, забыв, что это мюрид. Мюрид, притащивший носилки с раненым, сел около безрукого.

— Много в крепости красных?— спросил у него Магди. — Долго ли еще носилки будешь таскать, — лицо его потемнело от усталости.

— Кто их знает,— махнул рукой мюрид.— Только крепко держатся, сволочи. Маленькими отрядами атакуют. Выскочат с поднятыми шашками — и в бой. В таком вот бою кунак, — он показал на безрукого, — и руку потерял. А в это время и с крепости палят. Откуда у них только пулеметы. Постреляют, свою атаку поддержат, и тихо. Ну, думаешь, нечем у них больше стрелять, да и самих немного осталось. Мы — вперед. Только к крепости подъедем, а они и пальнут, да так, что многие наши

тут же с жизнью расстаются. Метко стреляют, ничего не скажешь, — мюрид сплюнул.

Тут вдруг опять закричал в бреду раненый:«Шашки вон!», «Голову отсечь гяуру...» Магди подошел к нему, положил руку на пылающий лоб, но раненый продолжал метаться, рвал материю, которой были перевязаны раны. «Сам, сам воюй, имам, не хочу, не хочу умирать», — он дернулся и вдруг замер. «Улетела душа в рай», — качая головой, сказала какая-то старуха.

— Эй, паренек, сбегай-ка за водой, — попросил Магди, обращаясь к Абдулатипу. Мальчик схватил кувшин и помчался к источнику. Толстый Шамсулвара едва поспевал за ним.

— Куда ты? Давай лучше уйдем отсюда, я не могу смотреть,— просил Шамсулвара.

— Магди велел воды принести. Видишь, раненые пить хотят.

— Это мюриды. Они моего отца увели.

— Твой отец говорил, что слабых обижать нельзя, им надо помочь, — ответил Абдулатип.

Красный, словно облитый кровью, диск солнца стоял над вершиной Акаро-горы, готовый вот-вот скрыться. Стрельба понемногу стихала, и вскоре послышался топот коней. Это возвращался отряд Гусейна. Всадники ехали медленно, чувствовалось, что они очень устали. Ряды их сильно поредели. Впереди ехал Гусейн. Подъехав к мечети, он приказал копать могилы для убитых.

— Они попадут в рай, это свято умершие. Мы не жалеть их должны, а завидовать им.

— Сам небось не очень в рай торопится, — толкнув в бок приятеля, сказал мюрид, стоявший рядом с Абдулатипом.— Видал, как он вон в ущелье-то хоронился от пули, а в бой ни разу и не вышел. Знаем мы таких — чужой кровью в рай метит попасть.

— Атаев в ловушке. Не сегодня-завтра он сдастся, и мы отомстим ему, — говорил тем временем Гусейн. Он слез с коня и, отдав поводья Исе, подошел к Издаг, которая дожидалась его тут же. Абдулатип хотел было пойти за ними, спросить, где отец Шамсулвары, но, подойдя поближе, услышал, как Издаг говорила брату: «Мужа нет дома, слава богу. А знаешь, куда уехал? К самому имаму — выручать этого лудильщика».—«Дурак твой муж. Чего захотел — большевика освобождать. Имам никогда не даст согласия, а неприятности твоему

мужу могут быть». Абдулатипу стало тревожно за отца, он медленно, склонив голову, вернулся к Шамсулваре, сидевшему под тополем.

— Ну, как? Жив отец? — с тревогой вскочил он.

— Ничего он не сказал.— Абдулатип присел рядом.— Сейчас домой к нам не пойдем, туда Гусейн пошел, а отца дома нет. На, поешь чурека,— и он вынул из-за пазухи хлеб,

Друзья с аппетитом ели чурек, запивая водой из источника. Прибежал Горач, видно, Издаг, отвязав, прогнала его. Абдулатип кинул ему кусочек чурека. Мальчики сидели, прижавшись друг к другу, и молчали.

— Ты иди, Горач, домой, — сказал Абдулатип. — Издаг уж точно готовит что-нибудь вкусное своему брату, наверно, и курицу зарезала. Может, и тебе перепадет что. А мы уж тут посидим.

Горач, поняв хозяина, нехотя побрел домой.

— Зачем ты его прогнал, пусть бы сидел с нами, — сказал Шамсулвара.

— Голодный он. Может, Издаг даст ему что-нибудь.

— Эх, сейчас бы горячего супа поесть, — мечтательно сказал Шамсулвара.

— Попей вон из источника и хотеть не будешь, — посоветовал Абдулатип.

Шамсулвара напился, вытер ладонью толстые губы.

— Зачем, Абдулатип, люди воюют?

— Чтобы победить друг друга.

— А зачем? Пусть бы без драки решали, кто сильнее.

— Скажешь тоже, без драки. Так не бывает. Попробуй скажи Гусейну, что нам его имам не нужен, что бедные тоже должны хорошо жить. Так он и согласится. Или вон Дарбиш. Пойди ему скажи: раздай своих баранов бедным, дай им даром шашлык. Хотел бы я знать, что он тебе ответит.

— У Дарбиша выпросишь,— вздохнул Шамсулвара. — Он только для мюридов ничего не жалеет, всех их сегодня бесплатно в харчевне кормил. Отца моего Дарбиш знаешь как не любил. Как-то шел мимо нашего дома, остановился и кричит: «Эй, лудильщик, слышал я, ты с красными снюхался. Погоди, доберемся до тебя». Вот, наверно, он и послал к нам этого Гусейна.— Шамсулвара всхлипнул.

— Не плачь. Мы еще им покажем. И Дарбишу и Гусейну с его мюридами. Вот придут красные из крепости.

— Да... Когда они придут... Отца мюриды могут убить. Знаешь, как они его били. И меня один из них ногой ударил. «Щенков тоже надо уничтожать», — говорит. Я при отце не стал плакать, а когда его увели, наревелся,— шмыгнув носом, сказал Шамсулвара.— Как думаешь — жив еще отец?

— Конечно, жив,— пытался успокоить друга Абдулатип. — Вот увидишь — сегодня с моим отцом домой вернется.

15

Тучи заволокли Акаро-гору, становилось прохладно. Сумерки бросили свое покрывало над ущельем. Откуда-то доносился плач по убитому, где-то ругалась женщина: видно, опять кто-то из мюридов залез в хлев или сундук.

— Айда, послушаем, о чем там Издаг со своим братом говорит, — сказал, подымаясь, Абдулатип.

— А если поймают нас?

— Не бойся, иди за мной. — Абдулатип направился к дому, и вскоре мальчишки уже карабкались по стенке на крышу. Абдулатип вскарабкался легко: он знал в стенке каждый выступ, помог подняться Шамсулваре.

Горач, чувствуя своих, тихо сидел в своей будке. Он был на цепи.

— Сиди, сейчас я вниз посмотрю, во двор, — тихо сказал Абдулатип Шамсулваре. Через минуту Абдулатип вернулся. — У лестницы Иса сидит с винтовкой. Охраняет своего офицера. Заглянем в дымоход, чувствуешь, как оттуда вкусным тянет.

— Ага.

Мальчишки склонились над дымоходом, но горячий дым ударил в лицо. Абдулатип едва сдержался, чтобы не кашлянуть.

— Пусти меня, я рассмотрю, что там на плите, я дыма не боюсь, привык,— сказал Шамсулвара.

Он еще раз заглянул в дымоход, протер глаза.

— Кастрюля стоит и открыта. По запаху — курица варится. Нет, хотя, скорее, колбаса.— Он еще раз заглянул вниз, в дымоход.

— Точно, хинкал с колбасой. Вот бы достать.

— Стой. Я сейчас.— И Абдулатип тихонько полез на сеновал, там были аккуратно сложены палки, которые отец нарезал в лесу для заграждения огорода. Взял одну

из них, подлиннее.— На, попробуй ею достать, я конец заострил ножом,— сказал он, подползая к Шамсулваре.— Только смотри, осторожно.— Шамсулвара, склонившись над дымоходом, опустил палку и точно угодил ею в кипящий хинкал.

— Ну как? — нетерпеливо теребил его за рукав Абдулатип.

— Сейчас.— Он нащупал палкой колбасу и, ткнув ее острием, потянул наверх. Абдулатип подхватил ее, положил в подол рубашки.

— Айда!

— Постой, еще хинк достану,— разошелся Шамсулвара. Видно, ему понравилось орудовать палкой.

— Не надо. Пошли.— Но Шамсулвара достал еще и хинк.

— Скорей идем. Ведь Издаг может к плите сунуться,— потащил друга Абдулатип. Мальчишки бесшумно спустились по стене в огород и, спрятавшись в высокой траве, жадно принялись за еду.

— Сейчас эта ведьма полезет к кастрюле, а колбасы нет, вот потеха,— шепнул Абдулатип другу.

— Здорово вкусная,— облизывая губы сказал Шамсулвара.

— Еще бы. Она своему брату только хорошее дает. Она и отцу этой колбасы не дала, все Гусейну берегла. Да только — дудки. А здорово ты ее достал. Я б, наверно, не смог: дым глаза ест.

— Я привык, мне дым нипочем,— шмыгнул носом Шамсулвара.— Куда мы теперь пойдем? Что-то спать здорово захотелось.

— На сеновал, к бабушке. Там у меня старая бурка есть и сено прошлогоднее. Небось не замерзнем.

Мальчишки тихо крались вдоль забора. Вот и дом остался позади. Друзья ускорили шаг. Еще слышался то тут, то там плач по убитым. Мюриды, стоявшие дозорами на дорогах к аулу, негромко переговаривались. Постепенно гас свет в окнах, люди укладывались спать, хотя мало кто мог уснуть в эту тревожную ночь. Мальчишки шли осторожно, обходя стороной дозоры мюридов, от них добра не жди, если остановят, особенно Шамсулвару. Станут допытываться, чьи они да куда идут в такое позднее время. Незаметно добрались до авала нуцалов. Здесь окна были ярко освещены, горел свет и в окнах дома Дарбиша. Под большим окном мелькнула чья-то тень.

Кто-то встал у окна. Сначала ребята думали, что это мюрид охраняет дом богача. Они подошли поближе и вдруг узнали в стоявшем Хабиба.

— Что он тут делает? — прошептал Абдулатип. — По-моему, он что-то в руке держит. Пошли, посмотрим.

— Да ну его. Еще закричит, как нас увидит.

— Он нас узнает и не будет кричать, — уверенно сказал Абдулатип.

Хабиб, заметив приближающихся к нему людей, сначала было пустился бежать, но, узнав своих друзей, успокоился. Абдулатип сделал ему знак, чтобы молчал. В руках у Хабиба был большой камень. Жестами он объяснил ребятам, что пришел мстить Дарбишу. Вот, мол, брошу в окно и убью Дарбиша. Абдулатип попытался его успокоить, объясняя, что камня бросать не надо, так, мол, все равно Дарбиша не убить. Лучше завтра выстрелить в него из винтовки, когда он будет выезжать со двора. «А где мне взять винтовку?» — жестами спрашивал Хабиб, но камень, однако, бросил. «Мы тебе винтовку найдем, а сейчас иди спать. А то эти люди,— Абдулатип показал туда, где стояли в дозоре мюриды,— поймают и убьют тебя». Хабиб что-то тихо промычал в ответ, соглашаясь, и скрылся в темноте.

— Хабиб не забыл, как Дарбиш бил его тогда на базаре, помнишь?

— Угу! Только надо Хабиба уговорить не делать этого. Разве ему справиться с Дарбишем?

— Ты Хабиба не знаешь. Он обид никому не прощает. Его не уговоришь.

Они свернули на темную улицу, зажатую с обеих сторон стенами больших богатых домов. Чавкала под ногами мокрая глина, липла к рваным башмакам, мешая идти. Казалось, каждый их шаг был далеко слышен.

— Проклятая глина. Совсем завязнешь тут, — ворчал Абдулатип

Вдруг Шамсулвара схватил его за руку.

— Посмотри-ка.

Двое мюридов несли на плечах длинную лестницу.

— Куда это они? — удивился Абдулатип.

Ребята спрятались за угол дома, наблюдая за мюридами. Подойдя к дому вдовы Маседо, мюриды остановились. Приставили лестницу прямо к окну.

— Наверняка воровать лезут,— шепнул другу Шамсулвара. «Я поднимусь первым, — услышали ребята голос

одного из мюридов, — а ты здесь постой — карауль пулемет». Только сейчас ребята заметили какой-то предмет, который мюриды опустили недалеко от дома. Так, значит, это пулемет? Мальчишки в волнении переглянулись. «Лучше я первым полезу, — сказал другой мюрид, тот, что помоложе.— Знаю я тебя: что получше — живо к рукам приберешь, а мне что останется. Ты лучше покарауль пулемет».— «Что с тобой говорить, спорить ты горазд, — недовольно пробормотал старший. — Давай, тащи жребий, кому первому лезть». Наконец они разрешили спор, и молодой мюрид полез вверх по лестнице. «Лестницу отними и под окно положи,— едва слышно сказал он старшему.— Не дай бог кто мимо пойдет, заметит. Да посматривай там за пулеметом».

— А... куда он денется, — махнул рукой старший. Он и не думал отнимать лестницу, очевидно решив лезть тут же вслед.

— Пошли, — Абдулатип схватил Шамсулвару за руку.

— Куда?

— Возьмем пулемет.

— Пулемет?

— Тихо ты. Ну да — пулемет. Они и не услышат.

Они мигом подбежали к мешку с пулеметом и, схватив его, потащили в сторону от дороги.

— Тяжелый, — вздохнул Шамсулвара. Он вспотел, пот струился по толстым щекам. Оттащив пулемет подальше от дороги, ребята наконец отдышались. Пулемет был тяжелый. Может быть, в другое время ребята не дотащили бы такой тяжелый груз, но сейчас они даже не чувствовали тяжести.

— Эй, Хизири, — донесся вдруг до них голос мюрида. Видно, они уже спускались вниз.

— Потащили быстрее к кладбищу, туда они не догадаются идти,— сказал Абдулатип. Шамсулвара испуганно посмотрел на своего отчаянного приятеля, но спорить не стал

Шамсулвара никогда не был ночью на кладбище. Но сейчас он не испытывал страха. Ребята, тяжело дыша, тащили пулемет между надгробными памятниками.

— Давай спрячем у могилы шейха [1], там никто не найдет,— предложил Абдулатип.

---

[1] Святой.

Ребята втащили пулемет в маленький домик для паломников рядом с могилой шейха и присели отдохнуть на скамейку. Рядом с могилой шейха были могилы нуцалов. Надгробные памятники здесь были высокие, из хорошо высеченного камня. Опустившись, Шамсулвара наконец пришел в себя и со страхом осмотрелся: кругом теснились надгробия. Ветер шуршал в ветвях еще голых деревьев, выросших на могилах. Где-то совсем рядом залаяла уличная собака.

— Мне страшно, — заикаясь, сказал Шамсулвара, стуча зубами. Он прижался плечом к Абдулатипу.— Говорят, призраки мертвых ходят по ночам, садака [1] ищут. Вдруг сюда придут?

— Души мертвых не в могилах бывают, а улетают в небеса,— сказал Абдулатип.— А призраки — это ерунда. Выдумали взрослые детей пугать, чтобы слушались. Помнишь, как толстый Мирза умер здесь?

— Здесь?

— Ну да, от страха.

— Нет... не помню я.

— Тогда еще ребята на годекане поспорили. Одни говорили, что на кладбище есть призраки, а другие говорили, что нет. Помнишь?

— Не... — Шамсулвара весь дрожал.

— Ну вот. Тогда решили жребий бросить. Кто проиграет — тому ночью на кладбище идти к могиле шейха. Ну вот. Мирза проиграл. Боялся идти, но ребята над ним стали смеяться. Трус, говорят, трус. Пришлось ему идти. Пришел вот сюда и вонзил кинжал в могилу шейха, как было договорено с ребятами. Хотел подняться и убежать, а его кто-то за черкеску держит и не выпускает.

— Не надо... не рассказывай,— почти плакал от испуга Шамсулвара.

— Ну, Мирза тут так испугался, что упал и умер. Ребята его ждали, ждали, а потом пошли сами на кладбище. Смотрят, а Мирза лежит мертвый. Оказывается, он кинжал вонзил в землю через полу своей черкески. Если б не испугался, то и жив бы остался.

— А мне отец рассказывал, — успокоился наконец Шамсулвара, — как один лудильщик молился вечером у источника, потом с земли протянул руку к папахе, а прямо перед ним призрак стоит. Он скорей вскочил, папаху

---

[1] Жертвования родных душам умерших предков.

на голову надел и бежать домой. Бежит, а сам голову наверх поднять боится. Наконец до дома добежал. «Слава аллаху, спасся»,— говорит. Хотел папаху снять, руку поднял, а на папахе что-то шевелится. Лудильщик подумал, что это опять призрак появился, упал и умер. А к папахе, оказывается, соломинка пристала и вверх торчала.

— Вот видишь, никогда бояться не надо, — сказал Абдулатип.

— Все равно давай уйдем отсюда. Я даже днем на кладбище боюсь, — вздохнул Шамсулвара. — Пойдем к нам спать.

16

Под утро Абдулатипа и Шамсулвару, которые спали в холодной, с выбитыми стеклами комнате Нуруллы, разбудили чьи-то шаги. Абдулатип чуть было не крикнул: «Дядя Нурулла?» — но рот его так и остался раскрытым, когда в окне он увидел Гусейна. Двое мюридов и Иса стояли в стороне. Через разбитое окно Гусейн заглянул в комнату.

— Э, да тут, оказывается, не так уж пусто,— он усмехнулся в тонкие усы и, прыгнув в комнату, остановился перед ребятами. Шамсулвара не дыша прижался к стенке, испуганно глядя на офицера. Казалось, он вот-вот закричит, но Абдулатип зажал рот рукой. Не обращая внимания на ребят, Гусейн быстро оглядел все углы, заглянул под валявшуюся в беспорядке одежду и, наконец, очевидно, не найдя того, что искал, вышел.

— Ушел, не бойся, — шепнул Абдулатип другу. Со двора слышались голоса мюридов.

— И в сарае его нет, господин офицер, — говорил один из мюридов.

— Сволочи! — вне себя кричал Гусейн. — Я вам покажу. Повешу на первом дереве! Отдать красным такой пулемет!

— Наверное, они его уже в крепость утащили, — сказал Иса.

— Молчи ты! Все вы курицы! Были бы мужчинами, не было б в ауле ни одного партизана. — Гусейн в злобе так толкнул ворота, что они чуть не сорвались. Ребята тихо сидели в комнате. Долго еще был слышен с улицы топот мюридов.

— Они пулемет ищут. — На лбу у Шамсулвары выступили капельки пота.

— Думают, партизаны украли,— смеялся Абдулатип. Он выглянул в окно. — Хорошо, дождь шел, а то бы они по нашему следу на кладбище пойти могли. А теперь — попробуйте-ка найдите.

Днем в ауле только и разговоров было, что о ночном происшествии. Говорили разное. Одни уверяли, что ночью, мол, какие-то двое мюридов пытались залезть в дом вдовы Маседо, а в это время партизаны украли их пулемет и увезли в крепость, другие утверждали, что мюриды имама так не поступают, что в дом к Маседо лезли переодетые красные, а мюриды, мол, хотели их прогнать. Чего только не говорили. Хвалили храбрую Маседо, которая, не испугавшись ночных пришельцев, разбив кувшин об голову одного мюрида, с кинжалом бросилась на другого.

Абдулатип и Шамсулвара посмеивались над этими хабарами. Как только отряд Гусейна выехал из аула, мальчишки, не теряя времени, отправились на кладбище. Понадежнее спрятав пулемет, они пошли домой к Абдулатипу.

— Где тебя носит? Всю ночь дожидалась, не сплю, — набросилась на него Издаг. «Знаю, как ты меня ждала»,— подумал про себя Абдулатип.

— Мы у Шамсулвары ночевали. Отец не вернулся?

— Не вернулся. Как бы имам не арестовал его из-за этого большевика. Вот и брат мой то же говорил.

Из кухни донесся вкусный запах жарившихся чуду с творогом. Шамсулвара взглянул на Абдулатипа: мальчишки здорово проголодались.

— Ничего я не готовила. Когда отца дома нет, и огонь зажигать не хочется,— соврала Издаг.

Она пошла на кухню и вынесла сухой холодный чурек, который уже четвертый день валялся в тарелке.

— Нате вот. Больше ничего нет, — резко сказала она, поджав губы. Абдулатип понял, что просить бесполезно. Ребята взяли хлеб и вышли. Во дворе к ним подбежал Горач: видно, тоже был голодный. Абдулатип сунул ему кусочек чурека. По улице бежали ребята, крича, что поймали красного партизана. Абдулатип с Шамсулварой тоже побежали к краю аула, к тополям, где стояли дозоры мюридов. Со стороны крепости скакали двое верховых. Один из них тянул за собой длинную веревку. Абдулатип не сразу понял, что к ней был привязан человек. Руки у партизана были связаны сзади, мюрид дер-

жал веревку, заставляя партизана бежать наравне с конями. Одежда на партизане была порвана, лицо в кровоподтеках. Он бежал босиком: сапоги его мюрид привязал к седлу.

— Прочь с дороги! — крикнул на ребят мюрид, скакавший впереди. Мальчишки расступились, с жалостью глядя на партизана. Абдулатип протиснулся вперед и вскрикнул: в партизане он узнал Сааду, тот взглянул в его сторону, и на его запекшихся губах мелькнула улыбка. Он подмигнул Абдулатипу: смотри, мол, не выдавай меня. Но мюрид обратил внимание на крик мальчика, хотя и не успел заметить, кто кричал.

— Кто из вас знает этого человека? — спросил он.

Все молчали.

— Да он не из этого аула, кто его может здесь знать,— сказал ехавший позади мюрид.— Поехали. А вы расходитесь,— крикнул он в толпу.— А вот будем вешать эту свинью, всех позовем смотреть,— и мюриды направились к сараю Дарбиша, который был превращен в тюрьму.

Абдулатип подмигнул Шамсулваре. Приятели пошли вслед за мюридами. Открыв дверь сарая, они втолкнули Сааду туда. Потом закрыли дверь на тяжелый засов и защелкнули замок.

— Ты стой здесь,— сказал старший мюрид своему напарнику,— а я коней отведу. Да смотри в оба!

Мальчишки, толкавшиеся у дверей, стали расходиться — какой интерес смотреть на закрытые двери.

— Отсюда никуда,— шепнул Абдулатип Шамсулваре.— Может, сможем его спасти.

— Кого? Партизана? — удивился Шамсулвара.

— Да. Я его знаю. Это Сааду из крепости.

— Эй, мелюзга! — крикнул мюрид, стоявший в карауле у двери сарая.— Кто достанет мне табаку?

— Я достану,— вскочил Абдулатип.— А что вы за него дадите?

— Дам что-нибудь. Может, свисток смастерю из тополя. Иди, иди, не сомневайся. Да покрепче табак тащи. «Даром ничего не дадут, сволочи», — ругался про себя мюрид.

— Ты здесь меня жди, я сейчас вернусь,— шепнул Абдулатип Шамсулваре. И действительно, вскоре вернулся с табаком.

— А ты шустрый, — похвалил Абдулатипа мюрид. — Чей же такой будешь?

— Здешний, — неопределенно ответил Абдулатип. — Вы мне свисток обещали сделать.

— Иди-ка, паренек, принеси мне сначала огоньку, — сказал мюрид, скручивая цигарку.

— Сейчас.— Абдулатип подозвал к себе Шамсулвару.

— Я его отвлеку, а ты беги на ту сторону сарая. На крышу взберешься, а оттуда на сеновал спустишься, он как раз над сараем. Там, на сеновале, дырка есть, доской прикрыта. Я знаю: раньше Дарбиш через нее сено вниз бросал своим баранам. Ты эту доску найди и подними. А я мюрида отвлекать буду.

— Ну чего ты там застрял, — крикнул Абдулатипу мюрид. — Тащи огоньку!

— Сейчас, — крикнул Абдулатип и исчез, а Шамсулвара, боязливо оглядываясь по сторонам, направился к противоположной стороне сарая.

Перекидывая с одной ладони на другую горящий кизяк, прибежал Абдулатип.

— А ты молодец, — смеялся, глядя на него, мюрид. — Железные, что ли, у тебя руки?

— А он совсем и не горячий, попробуйте,— Абдулатип хотел положить горящий кизяк в руку мюриду.

— Ну, ну,— оттолкнул его мюрид.— Вот тут клади,— он подвинул камень. Наконец, он прикурил от горящего кизяка и жадно затянулся.

— А у меня же руки из воска. Смотрите, дядя,— Абдулатип левой рукой схватил палец правой руки, делая вид, что отрывает. Смотрите, — со стороны могло показаться, что он оторвал большой палец.

— Вах! — крикнул мюрид. Он потрогал руку Абдулатипа. И тут увидел согнутый палец. — Ну, и хитрец! Фокусник. Еще что умеешь?

— По-птичьему петь могу, — сказал Абдулатип, одновременно делая руками знаки Шамсулваре: лезь, мол, быстрей, а то поздно будет. Шамсулвара некоторое время колебался, но в конце концов исчез за сараем.

— По-птичьему, говоришь, умеешь?

Мюрид наконец с наслаждением затянулся

— Хорош табачок.

— Да... Вам пой, а вы ничего не даете, — Абдулатип сделал обиженный вид. — Обманываете...

— Ну-ну... Мюриды не обманывают, красные — вот это обманщики.

Абдулатип старался изо всех сил, подражая то перепелке, то соловью.

— Вах! Ну и фокусник,— мюрид, подобревший после трех-четырех затяжек, был в восторге.

— У меня еще собака танцевать умеет, — розошелся Абдулатип.

— Эта, что ли? — Мюрид ткнул сапогом в сторону Горача, который сидел тут же рядом тихо, внимательно глядя на своего хозяина.

— Не глядите, что он худой, он знаете какой сильный,— заявил Абдулатип. В тот же момент Горач вскочил: он завидел ненавистного ему дарбишевского пса, бегущего с добычей в зубах со стороны поля. Но и пес, видно, был не из трусливых: выпустив из пасти мертвую ворону, он с лаем бросился на Горача. Собаки сцепились, и началась потасовка, к великому удовольствию разомлевшего от табака мюрида. Он свистел, топал ногами, подзадоривая собак. Абдулатип, улучив удобный момент, незаметно шмыгнул за сарай, откуда уже выходили Сааду и Шамсулвара.

— Ребята, скорей веревку мне на руках обрежьте, — шепнул Сааду.

Абдулатип обрезал веревку.

— Дядя Сааду, бегите к кладбищу, там до реки рукой подать, — тихо сказал Абдулатип.

— Спасибо, ребятишки, — проворная фигура Сааду мигом скрылась за оградой.

Мюрид, увлеченный дракой, совсем, казалось, забыл о ребятах. Войдя в азарт, он так свистел, топал ногами, что привлек этим внимание бежавших мимо аульских ребятишек. Скоро их собралась около него целая толпа.

— Эй, эй,— кричал он на ребят.— А ну, дальше от сарая! — А заметив появившегося на дороге старшего мюрида, схватил винтовку и поторопился встать у дверей сарая.

Старший мюрид снял замок и заглянул в сарай.

— Вах! Ты что же это, сволочь! Пустой сарай стережешь? Упустил врага! Собачья драка тебе дороже чести мюрида.

Ничего не понимавший мюрид ошалело смотрел в мутные пьяные глаза старшего.

— Он тут, Джамал,— показал он на сарай, думая, очевидно, что тот пьяный, плохо смотрел.

— Тут, говоришь? Смотри, свинья! — Старший мюрид изо всех сил толкнул ногой дверь сарая.

Мюрид не верил своим глазам. Сверху на потолке сарая зияла огромная дыра.

— Вах! — Мюрид схватился за голову.

— Пока ты тут покуривал да развлекался, этот бандит вылез через эту дыру!

Мюрид, дрожа от злобы и страха, бросился вдоль улицы, стреляя на ходу. Из ворот вышла женщина, прикрыв лицо платком. Мюрид на ходу сорвал с нее платок, заглядывая в лицо.

— Вах! Простите. Думал — не партизан ли,— он бросился дальше, а растерявшаяся было женщина схватила камень и швырнула в мюрида.

— Будь дома мой брат, он бы голову тебе сорвал, — плача, крикнула она и, закрыв лицо руками, убежала.

А мюрид все бежал по улице, расталкивая прохожих.

— Партизан убежал, держите его, — кричал он. — Ах, бедная моя голова!

— Чего орешь как баба!— догнал его старший мюрид.— Лучше скажи, кто тут был еще, кто помог ему доску на сарае сверху снять.— Мюрид совсем обалдел. Маленькие черные глазки сбежались к переносице.

— Кто тут был? — Он стукнул себя кулаком по голове.— Да это ж он, этот фокусник.

— Какой фокусник?

— А... — мюрид махнул рукой. Тут он заметил подъезжавшего Гусейна и совсем замер от страха.

Узнав у старшего мюрида, в чем дело, Гусейн побагровел. Злые колючие глаза его сузились.

— Знаешь ли ты, болван, кого упустил? Красного лазутчика, правую руку Атаева.— И, размахнувшись плетью, он ударил мюрида по лицу.— Повешу, если не найдешь мне его! Иди, показывай, какие из мальчишек тут были тогда.

Мюрид бросился искать Абдулатипа и Шамсулвару, но среди аульских ребятишек, толпившихся у сарая, их не было.

— Удрали! — мюрид чуть не плакал. Гусейн приказал собрать перед мечетью всех аульских мальчишек. Скоро рваная босоногая шеренга выстроилась возле мечети.Перед ней с плеткой в руках расхаживал Гусейн.

— Ну, кто из этих? — крикнул он совсем потерявшему голову мюриду.

— Вроде их тут нет... Один худой был, я его враз узнаю, а с ним — толстый такой. И собака с ними.

В этот момент Горач, очевидно, в поисках Абдулатипа, протиснулся вперед.

— Вот она, эта собака! — заорал обрадовавшийся мюрид.

— Вот оно что,— хмыкнул Гусейн.— Ясно. Пошли. А вы можете расходиться,— крикнул он ребятам.

Гусейн с мюридами бросились к дому Чарахмы.

— Наверняка дома спрятались, куда им деться, — говорил старший мюрид.

Гусейн рванул ворота и, гремя шашкой, взбежал на крыльцо. Не взглянув на испуганную Издаг, выскочившую на веранду в одной рубашке, он бросился в комнату, обшаривая один за другим все углы. Мюриды рыскали на чердаке и на сеновале.

— Что случилось, дорогой? Кого ты ищешь? — дрожащим голосом спросила Издаг.

— Сынка твоего мужа! Он, подлец, освободил красного лазутчика и где-то спрятался.

— Красного лазутчика! — побледнела Издаг. — О аллах! — она присела на стул. — Я не видела сегодня этого щенка,— сказала наконец она.— В доме его нет.

— Куда же он мог деться? — Гусейн стоял посреди комнаты.

— Может во дворе прячется? — сделала предположение Издаг.— Клятый щенок! Одни неприятности из-за него!

— Не волнуйся, сестра. Найдем его.

Мюриды уже шарили во дворе. Гусейн сунул шашку в стог стоявшего у веранды сена, потом воткнул ее в стог кизяка.

— И тут нет...

А Шамсулвара и Абдулатип, прятавшиеся от Издаг на сеновале, услышав голоса приближавшихся к дому мюридов, скрылись именно за стогом кизяка. Через щели хорошо был виден весь двор. Шамсулвара дрожал от страха. От кизячной пыли першило в горле, мальчики едва сдерживались, чтобы не кашлянуть. Видя, что Гусейн направляется к кизяку, Абдулатип весь сжался, ему вдруг

стало холодно, но он сдержал себя, вовремя закрыв ладонью рот Шамсулвары.

Во двор заглянул Назир. Видно, он зачем-то искал Гусейна.

— Эй, Назир, иди-ка сюда! — позвал Гусейн. — Как думаешь, где могли спрятаться эти негодяи?

— Вы в сарае в сене ищите, он там всегда от Издаг прячется, — сплюнув, сказал Назир. — Или за кизяком.

«Ну, подожди, — Абдулатип, услышав это, задрожал от злости. Если жив останусь, разделаюсь с тобой»,— он сидел, боясь шевельнуться. Шашка Гусейна прошла около его локтя. Шамсулвара чуть не вскрикнул. Гусейн опять сунул шашку в щель, она скользнула как раз между ребятами, ободрав Абдулатипу локоть. «Если в третью щель сунет, попадет прямо в грудь мне», — подумал вдруг Абдулатип и, стиснув зубы, закрыл глаза.

Но в это время прибежавший Горач, неистово лая, бросился на Гусейна. Побледневший Гусейн резко обернулся, бросив шашку в ножны.

— Абдулатип где-то здесь, вот он и лает, — сказал Назир. А пес, словно поняв слова Назира, бросился на него с яростным лаем. Назир спрятался за спиной Гусейна.

— Проклятая собака. Глядишь, и укусить может, — и, вынув из кобуры пистолет, Гусейн выстрелил Горачу в голову. Абдулатип хотел вскочить, но теперь его держал Шамсулвара. Пес бешено закрутился на месте, отчаянно воя, а потом как-то сразу притих и замер. Гусейн пнул его ногой и пошел со двора.

17

Дотемна сидели Абдулатип и Шамсулвара за кизяком. Во дворе неподвижно лежал Горач. Абдулатипу временами казалось, что он просто прилег отдохнуть и стоит ему, Абдулатипу, выйти из своего убежища, как Горач тут же поднимет голову, вскочит и, как всегда, радостно залает.

Вечером Издаг вышла из дома за кизяком. Видно, она собиралась затопить печь. Но, увидя мертвую собаку, вскрикнула и убежала в дом.

— Давай выберемся, пока они не вернулись, — сказал Шамсулвара. Он совсем задыхался.

— Потерпи еще немного, пусть стемнеет.

— Здесь дышать совсем нечем. У меня сердце болит,— прошептал Шамсулвара.— А то еще они и кизяк могут поджечь, слышал, как этот Гусейн говорит, что будет сжигать дома партизан.

— Мой отец не партизан.

— А наш дом, наверно, уже подожгли. И ботинки мои новые, наверно, сгорели, отец недавно сшил.

— Подумаешь, ботинки. Я тебе мои новые сапоги дам. Партизанские.

Мальчишки поднялись, с трудом выпрямляя затекшие ноги. Упало несколько кизяков, но поблизости никого не было. Ноги так онемели, что некоторое время мальчики стояли, держась за стенку, чтобы не упасть. Прислушались. Где-то далеко слышались крики.

— Идем скорей. А то они опять придут,— торопил Шамсулвара.

— Посмотри-ка, какое зарево, будто с того конца весь аул горит. Ну, пойдем скорей.

— Подожди. Надо похоронить Горача.— Абдулатип склонился над верным другом.

— Ну вот, придумал. Надо бежать скорей, а он...— Шамсулвара чуть не плакал.— Слышишь, дверь стукнула. Наверно, Издаг опять идет.

— Ну иди, а я все равно сначала Горача похороню.— Абдулатип вырвал руку. Он попробовал поднять собаку на руки, но она была тяжелая.

— Да что с тобой спорить,— махнув рукой, Шамсулвара стал помогать другу. Ребята пролезли через ограду в огород и, выкопав неглубокую яму под грушевым деревом, закопали Горача.

Абдулатип всхлипнул.

— Прощай, Горач. Я отомщу за тебя. Отомщу мюридам.— Он достал нож и направился было в конюшню.

— Куда ты?— дернул его Шамсулвара.

— Отрезать хвост коню Гусейна.

— Чем конь виноват? Надо самому Гусейну мстить, конь ни при чем. Ты ведь красный, понимать должен.

— Ты прав. Пошли.— Мальчишки перелезли через ограду и стали пробираться к кладбищу.

Около памятника шейха Абдулатип остановился.

— Давай посмотрим, там ли пулемет,— сказал он Шамсулваре.

Пулемет стоял на месте.

— Там. Пошли скорей. Чего ты возишься, — волновался Шамсулвара.

— Сейчас. Только звезду сверху приколю. А то как я к Атаеву без звезды приду?

— Куда? — удивился Шамсулвара.

— Мы к Атаеву в крепость идем. Некуда нам больше идти.

— Да. Некуда, — Шамсулвара вздохнул. — А как мы туда доберемся?

— По следам Сааду пойдем. К речке сейчас спустимся, а там — зарослями.

— А пулемет?

— Сейчас не дотащим. Потом за ним с партизанами вернемся.

18

Осторожно ступая, ребята спустились к речке. От нее узкая тропинка вела к мельнице. Она уже давно не работала, с тех пор как мельник Нухи, отец Хабиба, исчез куда-то. Поговаривали, что он подался к партизанам в крепость, а некоторые, наоборот, утверждали, что он воюет в рядах мюридов. Как бы там ни было, мельница бездействовала, лишь изредка заглядывал сюда по привычке глухонемой Хабиб, надеясь, очевидно, разыскать здесь хоть немного муки.

Ребята прошли вдоль неглубокой канавы, на дне которой блестела вода.

— В случае чего, спрячемся в этой канаве,— сказал Абдулатип. — Там хоть и вода, зато место надежное. Доберемся сейчас до мельницы, а оттуда прямиком в крепость.

— А вдруг с мельницы нас увидят? — забеспокоился Шамсулвара.

— Нет там никого. Никто не увидит.

Из-за тучи вышла луна, ярко осветив все кругом.

— Идем ближе к кустам, светло очень, — шепнул Шамсулвара.

Действительно, луна залила молочным светом всю долину. Мальчики притаились в кустах.

— Лучше переждать. Смотри, тучи бегут, сейчас опять темно станет,— сказал Шамсулвара.

Вдруг со стороны мельницы послышались голоса. Они быстро приближались.

— Кажется, мюриды.— Абдулатип прижался к земле, пытаясь рассмотреть приближавшихся мужчин.

— Трое их. И точно — мюриды. Вон впереди Иса идет. По походке вижу — он, — шепнул Абдулатип.

— Наверно, на мельнице нас искали, — испуганно сказал Шамсулвара.

Мюриды были уже совсем рядом, но луна, к счастью ребят, зашла, и кустарник надежно укрывал их.

— Не надо было его связывать, — услышали они голос Исы. — Я так его отделал, что вряд ли он поднимется. Злой, сволочь. Видали, как на меня с топором бросился?

— Надо было его совсем прикончить, — сказал другой мюрид.

— Еще не хватало дурака убивать. И так в ауле о нас бог знает что говорят.

Шамсулвара шевельнулся, задев ветку. Иса настороженно остановился, втягивая острым носом воздух.

— Заяц где-то здесь в кустах. Да, жаль, — спешить надо, — и он двинулся дальше.

Мюриды наконец скрылись из виду.

— Бежим скорее на мельницу, они там Хабиба связали. — Абдулатип бросился вдоль канавы к мельнице, утопавшей в зелени ивы. Шамсулвара едва поспевал за ним.

В мельнице было темно, хоть глаз выколи. Абдулатип рванул дверь в комнату с низким закопченным потолком. Он и раньше бывал здесь с Хабибом и знал, где что лежит. Нашарив в темноте спички, лежавшие на печке, зажег коптилку. И тут ребята увидели Хабиба. Он лежал в углу, привязанный к подпорке, с кровавой пеной у рта. Рубашка на нем была разорвана и на голой груди краснели полосы от ударов плетью.

— Смотри, он умирает, — бросился к Хабибу Шамсулвара.

— Припадок у него. Беги, холодной воды из сеней принеси, я пока его развяжу.

Абдулатип плеснул водой в лицо Хабиба, тот медленно открыл глаза.

— Бу-бу-бу, — едва шевеля языком, проговорил Хабиб. Из глаз его катились слезы, он тихо стонал. Мальчики сами едва сдерживались, чтобы не расплакаться от жалости, пытались успокоить друга, жестами объясняя, что, мол, мюриды ушли и что они отомстят им.

Понемногу Хабиб успокаивался, по-своему пытаясь

рассказать ребятам, как все было. Как мюриды разбудили его, стали допрашивать — где, мол, отец, а потом один из них ударил, и тогда он, Хабиб, схватил топор. И мюриды все трое набросились на него и стали бить сапогами, а потом едва живого привязали,— жилы на худой бледной шее Хабиба напрягались, он с трудом дышал. «Все равно убью их», — знаками говорил он друзьям.

— А где твой отец? — спросил у него Абдулатип.

— Бу-бу-бу, — бормотал глухонемой, показывая в сторону крепости.

Из того, что пытался объяснить Хабиб, ребята поняли, что отец его, забрав винтовку, ушел к Атаеву, а ему наказал охранять мельницу. Здесь оставались два мешка пшеницы да немного сушеного мяса, — все богатство мельника и его обиженного судьбой сына. Но все это теперь забрали мюриды, а деревянный ящик, служивший меркой зерна, разрубили шашками. Казалось, Хабиба больше волновало то, что мюриды разорили мельницу, и меньше — его раны.

— Мастерскую моего отца мюриды тоже всю разорили, — вздохнув, сказал Шамсулвара.

Хабиб опять заволновался, побежал, схватил топор, показывая, что, мол, зарубит мюридов.

— Мы вместе убьем их,— успокаивал его Абдулатип. — Один ничего не делай, жди нас здесь, на мельнице, а мы пойдем в крепость за Атаевым. Приведем в аул красных партизан, и они отомстят за все.

— Бу-бу, — согласился Хабиб. Ему жаль было расставаться с ребятами, но раз им надо идти, что ж поделаешь.

Абдулатип и Шамсулвара, связав веревками чувяки и перекинув их через плечо, спустились к речке. Надо было перейти ее вброд, другого пути к крепости не было. Засучив штаны, мальчики вошли в воду. Она была холодная, жгла ноги, а острые камешки больно кололи их.

— Далеко отсюда идти? — заволновался Шамсулвара. Он уже начал дрожать от холода.

— Прямо вон от того моста — дорога в крепость,— показал Абдулатип на белевший впереди мост через речку.

Наконец ребята, порядком вымокнув, добрались до моста, но не успели вступить на него, как над головой

просвистели одна за другой пули. Стреляли со стороны аула. Видно, мост был под наблюдением.

Шамсулвара бросился к Абдулатипу.

— Что? Попало?

— Кажется — да.

— Давай под водой пойдем вдоль моста, тут неглубоко, только на середине проплывешь немного, — и Абдулатип скрылся под водой, таща за собой пыхтевшего Шамсулвару.

Когда мост остался позади, у красной скалы Абдулатип и Шамсулвара высунулись из воды и немного отдышались.

— Давай, посмотрю, где ты ранен.

— Я... я, кажется, не ранен, — свист пули оборвал его слова: теперь стреляли по мосту уже со стороны крепости, видно, мост охраняли партизаны.

— Нас заметили, — дрожа, сказал Шамсулвара. — Давай опять под воду. — Тут было неглубоко, иначе бы туго пришлось Шамсулваре, — плавал он плохо, его толстое тело всегда так и тянуло ко дну. Но, на его счастье, вода здесь доходила только до пояса, да к тому же можно было держаться за прибрежные камни и кусты.— Смотри, там впереди пропасть,— прошептал Шамсулвара, от холода он едва шевелил языком.

— Там в скале лесенка есть к крепости, только подниматься надо осторожно, — сказал Абдулатип. Он отряхнулся и стал ощупью искать лестницу, кем-то высеченную в скале кинжалом.

— Вот она, нашел, — шепнул он Шамсулваре.

— Не вижу я никакой лестницы. Давай подождем, пока луна взойдет.

— Ты что! Тогда нас увидят мюриды со стороны аула. Давай сюда руку, — и он уже поставил ногу на лестницу. Каменные выступы ее были настолько малы, что можно было лишь ногу поставить и, держась за выступы скалы, взбираться дальше, каждую минуту рискуя сорваться от одного неосторожного движения.

В жаркие летние дни дети окружных аулов, купаясь возле моста, любили подниматься по этой лестнице на нагретые солнцем каменные плиты у самой стены крепости и лежать на них, греясь на солнце.

Абдулатип частенько увязывался за старшими ребятами и приходил сюда купаться вместе с ними. Он ловко взбирался по узкой каменной лестнице и мог часами ле-

жать на горячей от солнца плите. Мог с самого высокого выступа скалы, закрыв глаза, прыгнуть в речку, туда, где было глубоко. Старшие ребята хвалили его за храбрость. Иногда утехи ради они просили его станцевать на краю пропасти. Они хлопали в ладоши, свистели, всячески подзадоривали его, а он был рад стараться. Солдаты, жившие в крепости, поднимались на стены крепости взглянуть на лихого танцора. Абдулатип хорошо запомнил румяного худощавого офицера в золотых погонах, любившего наблюдать, как он танцует, рискуя каждую секунду сорваться в пропасть. Офицер хвалил его — якши, якши,— и бросал ему медяки. Ловко поймав их в папаху, Абдулатип направлялся, бывало, к чайхане Дарбиша. Бывало, повар Тидурилав возьмет пятачок, посмотрит — не фальшивый ли, подбросит и спросит: «У кого украл?» — «Офицер дал за танцы».— «О,— скажет Тидурилав,— а ну-ка, и мне станцуй», но тут, как правило, кто-нибудь заглянет в шашлычную. «Э, мальчик, танцы в другой раз, на, возьми мясо»,— и протянет дымящийся шашлык на шомполе. Абдулатип должен был зубами схватить с шомпола горячий кусок. Раскаленное, в красном соку, мясо обжигало губы, и Абдулатип невольно начинал подпрыгивать на месте, словно ужаленный. А повар и его посетители от души хохотали. Как бы горяч не был кусок, Абдулатип, схватив его зубами с шомпола, уже ни за что его, бывало, не выпустит, хоть слезы из глаз. Да и попробуй выпусти: повар ни за что не даст больше шашлыка. И теперь, сидя на покрытой инеем каменной плите и дрожа от холода, Абдулатип мечтал о солнце, о пятаке, о шашлыке.

— Пойдем скорее отсюда, а то я умру от холода,— сказал Шамсулвара. Он наконец отдышался после подъема на скалу. Ребята по-пластунски поползли к стене крепости. У самого уха Абдулатипа просвистела пуля.

— От мюридов убежали, а теперь свои убьют,— захныкал Шамсулвара.— Никуда я больше не поползу, буду здесь лежать, и все, иди куда хочешь.

— Замерзнешь здесь.

— Ну и пусть. Лучше от холода умру, чем меня ранят.

Со стороны крепости перестали стрелять. Ребята лежали, прижавшись к земле. «Что же делать?»— думал про себя Абдулатип. И вдруг его осенило: ведь партизаны в крепости восхищались его умением подражать пению птиц! «Чиу-чи, чи-чи-чи»,— громко просвистел он.

— Стойте, ребята,— послышался голос со стены крепости.— Это же Абдулатип! — Ребята узнали Сааду — он выглядывал в узкий проем в стене.

— Эй, Абдулатип, кто там с тобой?

— Со мной Шамсулвара, вы его знаете!— Абдулатип хотел вскочить, но в это время с противоположной стороны моста затрещали выстрелы.

— Ползите к воротам! — крикнул Сааду.— Осторожней, к земле прижимайтесь. Мюриды с той стороны вас заметили.

Наконец ребята доползли до ворот, которые тут же почти бесшумно открылись. Встретивший их Сааду широко улыбнулся.

— Как это вы добрались? По реке, что ли, шли? Э, да у вас, братцы, все ноги в крови.

— Мюриды нас чуть не убили,— тяжело дыша сказал Шамсулвара. Он еще не пришел в себя после дороги.

— Горача моего убили, собаку, — вздохнул Абдулатип.

— Вы правильно сделали, что пришли к нам. А с мюридов мы еще все спросим. А теперь давайте греться. Снимайте-ка с себя все и марш под одеяло. А это я сейчас все заберу сушить.

Только ребята забрались под одеяло, как вошел сам Атаев.

— Ну, где эти герои?— и, увидев ребят, махнул рукой. — Лежите, лежите. Грейтесь.

Шамсулвара во все глаза рассматривал легендарного командира партизан. Он представлял его себе раньше высоченным, как гора Акаро, с большой звездой на лбу и невероятно пышными усами. Перед ним стоял невысокий человек, в простом кителе, с чуть заметными усиками. Темные глаза его улыбались.

— Ну, как дела в ауле? Много домов сожгли мюриды?

Мальчики наперебой рассказывали все, что знали.

— Показали мюриды свое подлинное лицо. Невиновных уничтожают. Ну, да недолго им еще осталось. Вот придет на помощь нам Красная Армия, мы живо выметем эту нечисть из наших гор. А вы молодцы — помогли Сааду бежать. Теперь отдыхайте, сейчас вам поесть принесут, а потом спите, отсыпайтесь. Ну, спокойной ночи, герои,— и он вышел.

19

На рассвете Абдулатипа и Шамсулвару разбудила стрельба. Ребята мигом вскочили, бросились одеваться. Высушенная одежда их была кем-то аккуратно разложена на стуле. В комнату заглянул Сааду.

— Встали уже? Но только не выходите. Мюриды с утра пошли в атаку, много их, сволочей. Да только крепости им не видать, пока жив здесь хоть один партизан.— Сааду вышел.

— Пошли, посмотрим, — сказал Абдулатип.

— Стреляют же...

— Ну и что ж. Прятаться нам, что ли, — и Абдулатип направился к двери. Вслед за ним поплелся и Шамсулвара.

Абдулатип выглянул во двор. Над крепостью висела дымовая завеса, через которую едва виден был поднимающийся из-за Седло-горы красный диск солнца.

Партизаны спешили с ящиками патронов к стенам крепости, откуда велся огонь. Сааду, прильнув к пулемету, установленному в проеме стены, возбужденно кричал.

— Что, получили, негодяи? А ну-ка еще, ребятки, покормим их свинцом.

Абдулатип подбежал к одному из проемов и выглянул. Отсюда, с высоты крепости хорошо была видна вся местность. Со стороны аула Хунзах двигались мюриды. Их было много — и верховых, и пеших. С криком «лаила» они шли в атаку, размахивая зелеными знаменами.

— Подпустить ближе! Патронов зря не расходовать!— командовал Атаев. Он переходил от одного проема стены к другому, где лежали партизаны, внимательно следя за продвижением белых.

Не отходивший от Сааду Абдулатип увидел, как к крепости приближается отряд конных мюридов.

— Огонь! — подал команду Атаев. Со стен крепости понесся град пуль. Сааду, вытирая локтем струившийся со лба пот, стрелял уже вторую обойму. Падали убитые и раненые мюриды, шарахались из стороны в сторону испуганные лошади.

Вдруг партизан, стрелявший рядом с Сааду, тихо застонав, упал, выпустив из рук винтовку. Она повисла в проеме.

Абдулатип, недолго думая, бросился к нему.

— Ты куда? — крикнул Сааду.

— Вон того ранило. Или, может, убит? — Абдулатип подозвал Шамсулвару.— Давай оттащим вон того раненого в комнату.

Партизан тихо застонал.

— Бери его под руки, осторожней, — командовал Абдулатип.

Мальчики передали раненого медсестре и, прихватив ящик с патронами, опять подошли к Сааду.

— Молодцы, ребятки. Ну вот и вы дело себе нашли. А мюриды-то пятки показали. Назад драпают, и знамя свое зеленое бросили.

Атака мюридов действительно была отбита. Партизаны присаживались покурить.

— Э, да я вижу, у нас и помощники объявились, — услышал Абдулатип знакомый голос. Возле Сааду стоял старый Хочбар. Так вот он, оказывается, где. Абдулатип уже давно не видел его в ауле.

— Дедушка Хочбар! Вы, оказывается, партизан? — обрадовался Абдулатип.— А что это у вас с головой? — спросил он, кивнув на забинтованную голову старика.

— Э, да пустяки. Задело тут малость, да у меня все быстро заживает. — Он достал из носового платка щепотку табаку и начал скручивать папироску.— Сам аллах, говорят, курит после еды, — улыбнулся он. — Правда, поесть у нас сегодня нечего, да зато вон сколько бандитов уложили, можно и табачком побаловаться.— Увидев приближающегося Атаева, Хочбар хотел было подняться, но тот махнул ему рукой: сиди, мол, сиди.

— Что, дядя Хочбар, с едой будем делать? Ребята здорово есть хотят. Может, коня зарежем?

— Мало их у нас. Да и худые они.

— Да... От Самурского и Кара-Караева никаких вестей. Где они? Их полки давно должны быть здесь.— Атаев задумчиво почесал бровь. — И гонцы не вернулись. Неужели мюриды схватили их в дороге?

— Надо бы еще гонцов послать в Голотли. Самурский должен быть там, — уверенно сказал старый Хочбар.

— И сестра твоя что-то запаздывает, — сказал Атаев Сааду.— Что там, в Хунзахе?

— Парида говорила, что сегодня обязательно придет. Да вот задерживается. Что-то не похоже это на мою сестричку, волнуюсь я за нее.

Атаев приложил к глазам бинокль.

— Смотри-ка, Сааду, не Парида ли это? Она! Точно — она! — он передал бинокль Сааду.

— Храбрая девчонка! И на десятерых братьев не променял бы такую сестренку, — улыбаясь, сказал Атаев.

— Я вижу ее! — обрадовался Сааду.

Теперь уже все, кто стоял на стене крепости, увидели на узенькой тропинке, вьющейся над самой пропастью, маленькую черную точку.

— Эка, куда забралась. Не всякий горец, и привычный в горах, на такое решится, — козырьком приложив руку ко лбу, сказал Хочбар.

Тропинка вилась над пропастью, то взбираясь вверх, по отвесной скале, то сбегая вниз, к бурной горной речке, которая, словно сердясь, швыряла в нее острые камешки.

Вот тропинка круто пошла вверх узкой лентой. Осторожно ступая, Парида продвигалась по ней наверх вдоль отвесной скалы. Вот и тропинка, наконец, оборвалась, дальше по скале вверх можно было продвигаться лишь по ступенькам, сделанным когда-то отважными скалолазами, чтобы собирать мед диких пчел. Теперь Парида должна была подняться по ним туда, где парили орлы. Там, между скалами, была узкая полоска вечнозеленой травы и аульчане пускали туда коз. Они месяцами паслись там на лужайках, прячась в непогоду в пещерах.

И вот Парида, привязав сумку с провизией для брата и его друзей к спине, сжимая в зубах нож, поднималась по ступенькам в скале наверх, к крепости. Если с крепости, считавшейся со стороны этой скалы неприступной, смотреть вниз, то голова начинала кружиться от высоты. Сколько смельчаков скалолазов, пытавшихся добраться до меда диких пчел, погибло здесь, сорвавшись вниз. Скольких унесла стремительная горная река, кипящая водопадами на дне ущелья.

Но особенно трудно было подниматься здесь вверх по утрам и в пасмурные дни, когда тучи собирались между скал словно на отдых и, досыта набрав влаги, неслись дальше, проливаясь дождем, или исчезали в небесной синеве, растаяв под лучами солнца. Рассказывают, как один пьяный сархинец [1] прыгнул в пропасть, приняв стелющийся по ней белый туман за груды хлопка, и родным пришлось косточки его собирать. Но аульским ребятиш-

[1] Одна из народностей, населяющих Дагестан.

кам по душе была другая легенда. Рассказывалось в ней, будто однажды пастушок из аула, пасший у стен крепости овец, поскользнулся и упал в пропасть. Уже родители оплакивали его, а дед взял хурджины и пошел кости его собирать. А пастушок-то, оказывается, жив остался. Была на нем рваная фуфайка, вот она-то возьми и зацепись за выступ скалы, слегка только ушибся мальчишка. И хоть Абдулатипу, когда он смотрел с крепости вниз, в пропасть, всегда приходила на память эта легенда, он все-таки весь сжимался от страха — не дай, аллах, сорваться туда. И теперь Абдулатип с удивлением, затаив дыхание, смотрел, как пробирается по скале Парида. Ей некогда было ждать, когда ветер унесет туман из ущелья, здесь, в крепости, ее братья-партизаны, они голодны, и никто, кроме нее, не принесет им еды. А мюриды идут и идут в атаку, там, в крепости, она хорошо знает, немало раненых, и, может быть, брат ее, Сааду тоже ранен. Вот почему спешит в крепость Парида. Она уже почти у цели, ползет вдоль крепостной стены к воротам, до них — метров двести. Но тут мюриды заметили дьявола-девчонку. Да-да. Именно дьяволом называли они бесстрашную Париду, ведь обычный человек не поднимется по такой скале. Мюриды открыли огонь. Парида неподвижно застыла в маленьком ровике у стены. Сааду хотел было броситься к ней, но Атаев остановил его.

— Не надо, Сааду, уверен — она обманывает их, делает вид, что убита. Не надо тебе под пули лезть. Лучше стреляй вон в тех, у моста, отвлекай их от Париды. — Сааду открыл огонь, и под прикрытием его Парида быстро поползла к воротам. Последние несколько шагов она не выдержала, побежала, и тут же чьи-то свои руки быстро втащили ее в ворота. Парида, с трудом переводя дыхание, вытерла прилипшую к лицу грязь и улыбнулась.

— Ой, и Абдулатип здесь? — удивилась она, стягивая со спины тяжелую сумку с едой.

— Еще вчера ночью эти герои прибыли сюда,— Сааду обнял сестру, взял тяжелую сумку у нее из рук.

Парида расплела косу и вытащила из нее бумажку — донесение Атаеву.

— Смотри, она, оказывается, разведчица, — шепнул Абдулатип Шамсулваре.— Вот бы и нам тоже.

— Я бы не смог вот так... по скале лезть, — вздохнул Шамсулвара.

— Днем, конечно, страшно, мюриды могут заметить, а ночью — другое дело.

— Как ночью?— испуганно спросил Шамсулвара.

— Раз Парида смогла, значит, мы сможем. Знаешь, как Атаеву разведчики нужны. И вообще — бойцы. Эх, дали бы мне винтовку. Я б показал этим мюридам. И в аул бы пробрался. Раненым лекарства нужны, вот и дядю Хочбара ранили...

Вечером, когда с обеих сторон стихла стрельба, Абдулатип разыскал Сааду. Он сидел в комнате Атаева. Там же был и тот русский с серыми добрыми глазами, которого Абдулатип хорошо помнил. Все трое склонились над картой и не заметили, как вошел Абдулатип.

— Ну, хорошо,— Атаев провел рукой по карте,— сюда, в Карадах, мы пошлем Париду, а в Голотли, к Кара-Караеву, кого?— И он в раздумье прошелся по комнате и тут замегил Абдулатипа, тихо стоявшего у двери.

— А, герой! Зачем пожаловал? — спросил Атаев.

— Дайте мне винтовку. Я тоже в разведчики хочу... Как Парида, — и хоть Абдулатип и не решался взглянуть в глаза Атаеву, голос его звучал твердо.

— В разведчики, говоришь? — суровое лицо Атаева смягчилось, глаза улыбались. Он что-то тихо сказал русскому, и тот тоже ласково взглянул на мальчугана.

— Товарищ командир, его попробовать можно. Сообразительный парнишка. И на разные птичьи голоса свистеть умеет. Вот и меня освободил, вокруг пальца мюрида обвел,— и Сааду подмигнул Абдулатипу.

— Верю, верю, — задумчиво сказал Атаев, шагая по комнате. Он подошел к Абдулатипу, положил руку ему на плечо. — Нелегкое это дело — в разведку ходить. И опасное.

— Я ничего не боюсь.

— А если мюриды поймают?

— Не поймают. А если поймают, ничего им не выдам.

— Да... Ну что ж. Разведчики нам нужны. Ну так как, друзья? Берем его в разведчики?— Атаев обернулся к сидевшим за столом Сааду и русскому.

— Парень стоящий. Я уже говорил,— сказал Сааду.

— Хорошо. Мы пошлем тебя в Голотли, с донесением Кара-Караеву. Как? Согласен?

— Конечно. Я все что надо доставлю.

— Поди-ка сюда. — Атаев взял со стола яблоко, из тех, что принесла Парида, разрезал его пополам и, аккуратно вырезав середину, вложил в нее маленький клочок бумаги. Потом ловко сложил обе половины.— Вот, держи. Если вдруг мюриды поймают тебя, сразу откуси яблоко и проглоти бумажку. Ясно?

— Ясно...

— Если будут спрашивать, куда, мол, идешь,— говори: яблоки продавать. Их тебе даст в ауле Хиниб бабушка Паридьі, Кавсарат. Туда и пойдешь сейчас с Паридой, а оттуда — каждый своей дорогой. А это яблоко в карман спрячь получше и, смотри, не спутай с другими. Ну, желаю удачи, — и Атаев крепко пожал руку Абдулатипу. — Ну вот и Парида пришла, — сказал он. В дверях стояла Парида. Атаев протянул ей бумажку-донесение Самурскому. Парида быстро сложила ее вдвое и спрятала в косе.

Абдулатип и Парида вышли в дорогу. На радостях Абдулатип как-то совсем не думал о предстоящих опасностях. Только жаль ему было расставаться с Шамсулварой, который оставался в крепости.

Вокруг крепости, выползая из ущелья, стелился туман, и трудно было заметить ползущих вдоль стены ребят. К тому же партизаны усилили стрельбу, отвлекая от них внимание.

Ребята вышли из крепости через отверстие в стене, где было вытащено несколько камней, и несколько шагов ползли вдоль стены, а потом Парида свернула в сторону реки. Абдулатип был рад этому: спускаться по той скале, по которой Парида добиралась сюда, он боялся, хоть и молчал.

— Снимай сапоги, речку будем переходить,— сказала Парида.

Ребята миновали реку и вышли к отвесной дороге, той самой, которой шли в крепость Абдулатип с Шамсулварой. Еле заметная, она, как тонкая нить, висела над пропастью. Осторожно ступая, ребята стали спускаться. Идти надо было боком, плотно прижимаясь к скале и стараясь не смотреть вниз. Парида шла впереди. Спускалась она легко, словно горная лань. Казалось, она только и знала, что ходить здесь. Там, где надо было прыгать через выступы, она протягивала тоненькую смуглую руку Абдулатипу.

— Не торопись. Прыгай осторожно, — предупреждала она.

Когда Абдулатип вступил на очередной выступ, из-под ног его вдруг взлетел огромный орел и, хлопая крыльями, закружился над ним. Видно, непривычный шум потревожил его. Обескураженный Абдулатип чуть было не сорвался вниз. Сдвинутый им камень, ударяясь о скалы, с грохотом полетел вниз, в реку.

— Прижмись к скале, отдохни немного,— крикнула Парида. — Смотри, орел улетел. Видно, испугался. Теперь уже немного осталось идти, пещера близко, — подбадривала она его. — А оттуда по ступенькам прямо в Хиниб спустимся.

Спокойствие Париды передалось и Абдулатипу. Вскоре они подошли к пещере. Около нее чуть теплилась зола: видно, охотники недавно жарили тут горную дичь.

— Давай посидим здесь,— сказал Абдулатип.

— Нельзя. Пока туман не рассеялся, надо успеть спуститься,— сказала Парида.

— Где? Здесь спуститься?— Абдулатип посмотрел на почти отвесную скалу.

— Да. Там ступеньки есть. Пошли, — Парида пошла вперед. Ох, какой это был спуск, не легче первого. Хорошо, кругом стоял туман и не видно было высоты...

Когда измученные ребята подошли к дому бабушки Кавсарат, она, держа кувшин в натруженных темных руках, сбивала масло.

— Кто же это с тобой? — спросила она Париду. Большие, цвета ореха глаза внимательно смотрели на Абдулатипа. Морщинистое, словно вспаханное поле, лицо было строгим.

— Это наш. Абдулатип,— сказала Парида.— Сааду просил, чтобы ты, бабушка, положила ему в хурджины яблок. Он пойдет их продавать, — и она хитро подмигнула Кавсарат.

— Как он там? Вон ведь оно как, стреляют да стреляют. Жив ли?

— Жив, бабушка. Даже не ранен. Велел тебе кланяться. И мне просил дать конопли, я тоже торговать иду.

— Ох, дети, дети. Знаю я эту вашу торговлю. Да что с вами делать. Ночами из-за вас не сплю, совсем поседела моя голова за эти дни. Что-то с вами будет? Один Са-

аду у меня из мужчин остался. Хочу, чтоб проводил меня в последний путь. И не знаю, дождусь ли его.

— Обязательно дождешься, бабушка. Скоро нам Красная Армия на помощь придет. Так Атаев говорит. Совсем другая жизнь в горах начнется.

— Эх, внученька, мне-то что с той жизни? Стара я. Помирать скоро. О вас, молодых, вся моя забота. Лишь бы вы жили хорошо. А тут стреляют. И когда это кончится? Сааду ушел, и ты туда же рвешься. Как не поседеть моей старой голове? Женское ли это дело — воевать? Сиди-ка ты дома, внученька. Голуби по-орлиному не летают. Ладно уж, Сааду ушел. Мужчины, как говорят у нас, в постели не умирают, а тебе зачем воевать, внученька?

— Не волнуйся,— Парида обняла бабушку.— Вот увидишь — ничего со мной не случится.

— Эх, — Кавсарат смахнула слезинку, — знаю, не удержать тебя.

— Бабушка, помнишь, ты рассказывала мне о девушке Шуайнат?

— Так то когда было, — вздохнула Кавсарат.

— И сейчас такое время настало, как тогда.

— Мала ты еще, — вздохнула Кавсарат.

— Мне уже тринадцать, и я хочу быть такой же, как Шуайнат. Не плачь, лучше дай нам скорее яблоки и зерна.

— Да уж что с вами делать, — и Кавсарат засеменила в дом.

Когда, набив хурджины, ребята вышли наконец на дорогу, Абдулатип спросил:

— О какой это ты Шуайнат говорила?

— Много лет назад в наши горы пришел с огромным войском Надиршах. Он хотел всех себе покорить. Тогда все горцы собрались и пошли с ним воевать. И вот в одном бою был убит брат этой самой девушки Шуайнат. Она узнала об этом и решила отомстить Надиршаху. Переоделась в одежду брата, взяла его оружие и коня и поехала воевать. Она так смело воевала, что многих солдат Надиршаха уложила. Враги боялись ее как огня. Тогда Надиршах решил во что бы то ни стало поймать такого храброго воина. Когда шел бой, сразу несколько солдат шаха набросились на Шуайнат и увели ее в плен. Когда Надиршаху сказали, что этот храбрый воин — переодетая девушка, он удивился и сказал: «Сто солдат променял бы на такую горянку».

Абдулатип не заметил, как они дошли до перевала Игитли. Никто их не остановил. Здесь он должен был расстаться с Паридой и дальше идти один. Ребята договорились, что вечером встретятся здесь.

Худая длинная шея Абдулатипа казалась еще длиннее от тяжелого хурджина за спиной. Бабушка Кавсарат не пожалела яблок, которые всю зиму хранила в сундуке. От них шел приятный запах, и Абдулатип едва удерживался, чтобы не попробовать одно из них. Но не решался. Он пощупал рукой яблоко, спрятанное за пазухой, то, что дал Атаев,— на месте ли. Там же с внутренней стороны гимнастерки была приколота и красная звездочка. Он погладил ее рукой. Потом достал из хурджина чурек с крапивой, который заботливая Кавсарат положила ему в дорогу, и на ходу начал есть.

Сразу за перевалом открывалась взору зеленеющая молодой травкой Заибская долина, разрезанная сверкавшей на солнце бурной Аварской койсу! С той стороны реки поднимались цепи гор, разноцветные, с причудливыми очертаниями. Вот знакомая ему с детства Седлогора, за ней — Тляротинские горы с вечными снегами на вершинах. А там, за Акаро-горой, открывался новый, незнакомый Абдулатипу мир. С Акаро-горы надо было спуститься в долину. Можно было спуститься к ней по шоссе, которое лентой вилось в горах, а можно — по тропинкам, узким и опасным. Абдулатип стал осторожно спускаться по тропинке, круто сбегавшей вниз по скале. Она оборвалась у родника, бившего ключом из-под самой скалы. Шоссе было в нескольких шагах, но идти по нему было рискованно. Размышляя, как пройти дальше, Абдулатип присел у родника. «Если встретишь кого по дороге,— вспомнил он слова Атаева,— не обращай на того внимания, постарайся пройти мимо. Главное — не показывай, что испугался, а то будут допрашивать: кто да откуда?»

Абдулатип напился. Ледяная вода как рукой сняла усталость, и Абдулатип уже хотел встать и посмотреть, нет ли где тропинки, как вдруг услышал скрип колес арбы. Со стороны Хунзаха кто-то ехал. Абдулатип присмотрелся. На арбе сидел пожилой человек с редкой седой бородкой.

— Дяденька, довезите до Заиба,— крикнул Абдулатип. Аул Заиб лежал по дороге к Голотли.

— А что у тебя в хурджине? — спросил в ответ аробщик.

— Да яблоки там. Продавать иду.

— Яблоки, говоришь? Ну коли так — садись. Яблоками расплачиваться будешь.

— А много попросите?

— Это смотря какие у тебя яблоки. Если крупные...

— Крупные. Вот смотрите,— Абдулатип достал из хурджина яблоко.

— Тю... хорошие,— улыбнулся крестьянин.

— Только много дать не могу. Бабушка их считала. Вот, возьмите,— и Абдулатип протянул аробщику несколько яблок.

— Не спеши, молодой человек. Одно яблоко за версту. Три версты — три яблока. Я больше, чем положено, не возьму. Такое уж мое правило. В долгу быть не люблю: за добро добром и плачу. Другие вон добро делают, чтоб искупить свои грехи перед аллахом, а у меня их, грехов-то, нет, братец. Вот и люблю получить добро обратно. Ты мне, я тебе.

— А вот у нас в ауле один мастер был, так он говорил, что добро надо делать просто так, что люди должны выручать друг друга. Так еще, мол, деды завещали.

— Это какой же такой мастер говорил? Не тот ли, что с неверными связался и служил им?

— А вы откуда его знаете? — Абдулатип даже рот открыл от удивления. «А не знаст ли этот аробщик что-нибудь о дяде Нурулле, хотя бы, где он?» — подумал мальчик.

— Сам-то я его никогда не видал. Братец про него рассказывал.

— Ваш брат — мюрид?

— Наш-то Курбан? Ха-ха. В ауле его все воришкой называют. Что и говорить — на руку не чист. Такого вора — поискать. В семье, говорят, не без урода. Да... А теперь куда там. К нему и не подъедешь — мюридом заделался. Эх,— аробщик махнул рукой,— перевелись в наших горах настоящие-то мюриды. Раньше-то мюриды святому делу, не жалея живота своего, служили. Слыхал небось о мюридах Шамиля? Э! Люди были. О Хаджи-Мурате и Ахбердиле Магомеде песни пели. Как-то в бою Магомед был ранен. Так он раненую руку себе оторвал и, держа другой шашку, на врага шел. А эти разбойники Нажмудина Гоцинского — какие там мюриды. Название

одно Воры да пьяницы. Один вон к нам вчера с Курбаном пожаловал и сразу кулаком об стол — выпить, мол, тащи. У-у подлюги. Я б их всех.

— А вы что — партизан?— тихо спросил Абдулатип.

— Партизан? Ха-ха,— засмеялся крестьянин.— К чему мне это? Арба есть, волы есть — что мне еще? Иду куда хочу, живу как хочу. А эти болваны пусть дерутся между собой как петухи Мне с ними не по дороге. «Вот и отец мой так же говорит,— подумал про себя Абдулатип.— Нет ему никакого дела ни до партизан, ни до мюридов. Лишь бы ему торговать с выгодой».

Незаметно доехали до аула Заиб. Абдулатип слез с арбы.

— Ну, счастливого пути, парень Да смотри, не попадись мюридам или партизанам. Прощай тогда твои яблоки.

Не успел Абдулатип пройти двух верст по шоссе, как вдруг навстречу ему вышли трое вооруженных мюридов. Сердце у Абдулатипа бешено забилось, но он взял себя в руки, вспомнив наказ Атаева.

— Эй, парень! Далеко ли идешь и что у тебя в хурджине? — спросил высокий носатый мюрид. Абдулатипу показалось, что он где-то видел его, но где — он не мог сейчас припомнить.

— Яблоки на базар несу. На кукурузу обменивать,— сказал Абдулатип.— В ауле у меня маленькие братья без хлеба сидят.

— Ха-ха,— засмеялся носатый.— Слыхали? Этот паршивец говорит, что идет в Голотли яблоки на кукурузу обменивать. В Голотли! Где яблок полным-полно! Ха-ха! Здорово врешь, парень.

— Не в Голотли я иду А через Голотли в Телетли.

— Ну, будет врать! Говори лучше, кто тебя послал в Голотли? Уж не партизаны ли? — Носатый мюрид зло посмотрел на Абдулатипа. Теперь мальчик вспомнил его: носатый частенько сиживал в харчевне Дарбиша.

— Да что вы, дяденька! Партизаны у нас козленка отняли. Не люблю я их. Мое дело — торговать. Вот яблоки несу. Братья у меня в ауле голодают. Зачем мне партизаны да мюриды? — для пущей убедительности сказал Абдулатип.

— Зачем, говоришь, мюриды? Ах ты, паршивец! — закричал носатый.— А ну, ребята, обыскать его хурджин.

Двое других начали стаскивать тяжелый хурджин с плеч Абдулатипа, а он, делая вид, что обливается слезами, быстро достал из-за пазухи яблоко и надкусил его.

— Вай! Мои яблоки!— плакал Абдулатип.— Как вам не стыдно! А еще мюриды! В Хунзахе меня мюриды хвалили, на арбу посадили, чтобы я в Голотли ехал, а вы...

— Высыпай яблоки,— не слушая его, крикнул носатый другому мюриду. Тот так тряхнул хурджин, что яблоки покатились по пыльной дороге.

— Куда сыплешь, дурак!— кричал носатый.— Вот сюда, на траву надо было. А ты в пыль,— и он грубо толкнул приятеля.

— Вай! Где мои яблоки! — кричал Абдулатип.— Теперь бабушка побьет меня! — и он бросился собирать яблоки.

— Эй! — крикнул носатый приятелю.— А ну-ка обыщи этого паршивца,— и он цепкой рукой схватил Абдулатипа за плечо. Вдруг его рука наткнулась на звезду.— А это что такое? — Он рванул рубашку и вырвал клок вместе со звездой.

— Вай! Моя звездочка! — притворяясь обиженным, закричал Абдулатип.— Мне дядя ее подарил,— плакал он, держа в руках надкусанное яблоко.

— Какой еще дядя? — спросил носатый.

— Какой... какой. Галбацилав его зовут,— это был известный мюрид из отряда Гусейна.— Вот расскажу ему, как вы у меня яблоки отняли.

— Галбацилав, говоришь?— носатый был явно озадачен. Видно, это имя было ему знакомо.— Так что он? Дядя твой?

— Конечно. Он самый смелый из всех мюридов, вот расскажу ему... Он приедет сюда на своем сером коне.

— Ну, ну, перестань,— голос мюрида звучал примирительно.— На сером коне, говоришь? Почему на сером? У него белый конь.

— Нет. Это у дяди Гусейна — белый, а у Галбацилава — серый. Я его на водопой водил, точно знаю.

Мюриды переглянулись. Видно, им показалось убедительным то, что говорил мальчик.

— Вот подождите, я все дяде расскажу. Он вам покажет,— продолжал плакать Абдулатип.

— Да отдай ты ему эти яблоки! — сказал наконец носатый приятелю.— Кто это еще сюда едет?

— Убирайся отсюда,— крикнул носатый Абдулатипу.

— Я все равно Галбацилаву про вас расскажу. И звездочку мою отдайте.

— А ты знаешь, что мы воюем против тех, кто носит эти звезды? — спросил один из мюридов и хотел уже бросить звезду в кусты.

— Вай! Моя звездочка!— делая вид, что не понимает его слов, закричал Абдулатип.

— Да отдай ты ему эту игрушку,— сказал носатый.— На вот тебе еще пятачок в придачу, только уходи скорей.— Носатый явно не хотел, чтобы ехавший сюда мюрид застал Абдулатипа.

Делая обиженный вид, Абдулатип забросил хурджин за спину, засунув надкушенное яблоко обратно за пазуху. Взял звезду и пятачок и торопливо зашагал по дороге. Когда уже подходил к Голотли, его опять остановили, но теперь уже свои, партизаны. Они начали было обыскивать его, но Абдулатип стал требовать, чтобы его проводили к самому командиру.

— Смотри, какой шустрый,— смеялся партизан, глядя на Абдулатипа.— Еще молоко на губах не обсохло, а туда же — воевать. Поди, мать-то и не знает, куда сынок ее запропастился.

Абдулатип обиженно сопел в ответ на его слова.

— Ведите меня к командиру,— твердо стоял он на своем.

— Это к какому же командиру? — спросил молодой партизан.

— К Кара-Караеву, известно,— Абдулатип недовольно шмыгнул носом.

—Смотри, знает,— удивился парень. На всякий случай обыскав Абдулатипа, партизаны привели его в штаб к Кара-Караеву.

Кара-Караев, загорелый, молодой, с пышными черными усами, с интересом посмотрел на мальчугана. Он был даргинец, но хорошо говорил по-аварски.

— Так, говоришь, Атаев тебя послал? — спросил он.

— Да. Вот возьмите.— Вытащив из-за пазухи надкушенное яблоко, Абдулатип разломил его и, достав оттуда записку, подал ее Кара-Караеву.

— Бахарчи [1],— похвалил Кара-Караев.— Покормите хорошенько этого орленка и пусть сегодня отдыхает,—

---

[1] Храбрец.

обратился он к молодому партизану.— Мы, сынок, скоро пойдем на помощь Атаеву и тебя с собой возьмем.— Он хотел уже уйти, но Абдулатип вскочил.

— Товарищ командир, мне сейчас же обратно нужно! Вечером мы должны встретиться в Хинибе,— сказал Абдулатип, но с кем встретиться, умолчал, помня наказ Сааду — лишнего не говорить: разведчик должен уметь молчать.

— Ну что ж. Раз надо...— сказал Кара-Караев.— Тогда поешь — и в путь.— Он крепко пожал руку мальчику.— Передай Атаеву, что завтра на рассвете выступаем ему на помощь. Да только, смотри, передай это лично Атаеву. Трудно сразу узнать всех, кто тебя окружает. Осторожность никогда не мешает.

Абдулатип, подняв на плечо хурджины, наполненные кукурузой, вышел в обратный путь. Хоть ноша и была потяжелее прежней, на душе Абдулатипа было легко и радостно. Ведь задание Атаева он выполнил, и ничто теперь ему было не страшно. Поэтому и шел он теперь быстрее, чаще тропинками, стараясь, где возможно, не выходить на шоссе. «Вот бы опять повстречаться с аробщиком»,— мечтал, шагая по дороге, Абдулатип. Увесистые хурджины тянули назад, особенно на подъемах. Но никто не встречался ему. Не было видно и мюридов. Да и встретятся они ему теперь, он отнесется к этому спокойно: ведь донесение уже доставлено, и теперь он их не боялся.

Когда он, вспотевший и усталый, поднимался к перевалу Иготль, где должен был встретиться с Паридой, над Хунзахским плато уже сгущались сумерки. Погрузился в темноту маленький, утопавший в садах аул Хиниб. «Придет ли сюда Парида? Сумела ли она выполнить задание Атаева»?,— на душе у Абдулатипа вдруг стало тревожно. Он присел у источника и стал ждать. Они условились с Паридой ждать здесь друг друга дотемна, и если здесь встретиться не удастся, то идти в Хиниб и ждать там.

Абдулатип ждал Париду, пока темнота не окутала перевал Иготль. Париды все не было. Больше ждать не было смысла. «Может, Парида пошла другой дорогой и ждет его в Хинибе?» Абдулатип поднялся, вскинул хурджины и быстро зашагал вниз, к аулу Хиниб.

Становилось совсем темно. Абдулатип теперь не торопился. Он представлял, как партизаны Кара-Караева

придут на помощь атаевским, и на душе у него становилось весело. «Достанется этому противному Гусейну и его мюридам»,— думал он, радуясь, что в этом есть и его заслуга. Абдулатип незаметно для себя стал потихоньку насвистывать, а потом, забыв об осторожности, разошелся, разливаясь соловьем, хотя и считается у горцев, что свистеть и петь в горах грешно. Но Абдулатип вряд ли вспоминал об этом. Вот уже замигали огоньки в ближней сакле, до нее — рукой подать. Абдулатип ускорил шаг, но тут кто-то огромный обрушился на него. Абдулатип упал.

— Смотри, Галбацилав, не задуши его,— сказал чей-то хриплый голос.

Абдулатип весь съежился... Так, значит, один из самых свирепых мюридов здесь и, того гляди, задушит его.

— Эй, Галбацилав,— слышался тот же хриплый бас,— что-то этот свист мне знаком, но убей — не помню, где слышал?

Тяжелая рука мюрида схватила Абдулатипа за шиворот и подняла с земли.

— Что, щенок? Улизнуть хочешь? Не выйдет,— и мюрид грубо толкнул паренька в спину.— Не атаевский ли разведчик? Как думаешь, Узаир? Да и девчонка та на подозрения наводит.

— Мал больно. Куда ему в разведчики,— ответил хриплый голос.— Помнишь, Камиль из крепости говорил...

— Может, ты и прав, Галбацилав.

Абдулатип не видел лица Галбацилава, в темноте была видна лишь его огромная фигура. Папахой он касался макушки высокого дерева. «И зачем я только свистел? — с досадой на себя думал Абдулатип. И Париду, оказывается, они поймали. Но она, он уверен, ничего им не сказала.— Что же делать? Как передать то, что просил Кара-Караев? И надо предупредить Атаева, что у него в крепости сидит мюридский лазутчик по имени Камиль. Что делать? — лихорадочно думал Абдулатип.— Неужели в ауле среди мюридов окажутся и те, которых он встретил по дороге в Голотли? И какой же это Камиль? Камиль... Камиль.— Абдулатип напрягал память.— Не тот ли с рыжими усами, которого он видел в комнате Сааду? Кажется, Сааду называл его именно так».

Теперь хриплый голос прозвучал у самого уха Абдулатипа:

— Он не шевелится, Галбацилав. Жив ли?

— Жив. Чего ему сделается.— Галбацилав так дернул мальчика за ухо, что он вскрикнул.— А ну, вставай! — и мюрид с силой тряхнул Абдулатипа.

— Ой, мои хурджины! Кукуруза вся высыплется.— заплакал Абдулатип.

— А он живуч,— засмеялся Галбацилав.— Возьми, Узаир, его хурджины да проводи вон в ту ближнюю саклю к старухе Кавсарат. Там наши разберутся, кто он таков.

Когда Абдулатип в сопровождении двух мюридов вошел в саклю Кавсарат, посредине комнаты на ковре сидели по-турецки несколько мюридов. Посреди ковра стоял большой таз, из которого шел запах вареного мяса, и бутылка водки. Абдулатип быстро окинул взглядом сидевших, его беспокоило, нет ли среди них тех мюридов, которые остановили его по дороге в Гологли. Нет, лица были ему незнакомы, и это немного успокоило его.

— Вот! Еще лазутчика поймали! — Галбацилав толкнул вперед Абдулатипа, который едва не налетел на таз с мясом.

— Давай, давай его сюда! — Мюрид, державший в лоснящейся от жира руке баранью ногу, перестал жевать, уставившись пьяными глазами на Абдулатипа.— Лазутчик, говоришь? — Мюрид икнул.

— Так точно.— Галбацилав вытянулся. Видно, говоривший мюрид был здесь главным.

— Наше мясо едите, а меня еще обзываете,— сделав обиженный вид, захныкал Абдулатип.— Может, я тоже есть хочу,— и он протянул руку к мясу.

— Посмотрите-ка на этого нахала,— удивился главный мюрид.— Уж не тебя ли мы поджидали в гости?

— Здесь моя бабушка живет, я в свой дом пришел.— Абдулатип понял, что нельзя показывать мюридам и тени растерянности, лучше смело нападать на них. И он сел на ковер поближе к тазу с мясом.

— Ха-ха! — засмеялся главный мюрид.— Вижу, парень стоящий. Эй, Кавсарат! Иди-ка сюда.

«Что, если Кавсарат не признает меня, тогда все пропало»,— в тревоге думал Абдулатип, Как только Кавсарат появилась на пороге, он бросился к ней.

— Бабушка, чего они меня обижают, есть не дают. Я голодный.

— Вернулся, дорогой! Ну и слава аллаху,— закивала

головой Кавсарат.— Ну как? Поменял ли яблоки на кукурузу? Вот и Парида уже по тебе плачет.— В эту минуту в комнату заглянула Парида.

— Ой, брат вернулся,— она бросилась было к Абдулатипу, но Галбацилав грубо оттолкнул ее к стене.

— Ну, чего раскричались! Еще посмотрим, какой он тебе брат,— он взглянул на главного, ища поддержки. Но тот был занят бараньей ногой и не обращал на него внимания.

— Ну-ка, поди сюда! — Главный мюрид, уже изрядно захмелевший, поманил пальцем Абдулатипа.

— Выпей-ка за здоровье своей любимой бабушки,— и он протянул Абдулатипу полный стакан самогона.

— Мусульманам грешно пить, и бабушка так говорила.— Абдулатип отстранил стакан.

— Вах! Посмотрите на этого петуха! Истинного мусульманина из себя строит, не пьет, не курит, только торгует. А теперь скажи: как тебя красные через готлинский мост пропустили. А? — Он исподлобья злобно посмотрел на мальчика.

— Пустили... Как бы не так. Они так набросились на меня, вот и гимнастерку разорвали. А один винтовкой ударил, и я даже сознание потерял,— Абдулатип всхлипнул.

— Гимнастерку, говоришь, порвали? А может, и правду говорит? — главный посмотрел на сидящих дружков.— А много там красных?

— На мосту пятеро было, а в ауле их полно, говорят, — шмыгнув носом, сказал Абдулатип.

— Это кто же тебе сказал?

— Мюриды в Заибе. В ауле, сказали, полно красных, смотри — береги свои яблоки. Я ни одного им не дал.

— Не дал, говоришь? Это хорошо, — главный протянул Абдулатипу объеденную баранью ногу. — На вот, ешь.— Он словно потерял интерес к Абдулатипу.

— Чего стоишь? Иди, — Галбацилав толкнул Абдулатипа к двери.

— Сдается мне — прикидывается этот паршивец, — сказал он тихо главному, но мальчик хорошо слышал его слова.

— Ты, Галбацилав, своей тени стал бояться. За каждым кустом тебе партизаны мерещатся. И чего ты их так боишься. А? Или трусишь? — прищурив левый глаз, главный ехидно взглянул на Галбацилава.

— Да я против их сотни лотов один выступить.— Галбацилав обиженно засопел, маленькие злобные глазки сбежались к переносице.

— Зря не веришь мне, Булач, нюхом чую: мальчишка — красный лазутчик.

— Говорят, кто летом змею видел, зимой веревки боится, — усмехнулся главный.

— Вспомнишь мои слова, Булач,— Галбацилав махнул рукой.— Налей мне стаканчик. Хочу выпить за упокой души большевика Атаева. Завтра уж он от меня не уйдет.

— А здорово ты ему прислуживал во время войны с германцами. А? Небось дружком был? — съязвил главный.

— Никогда не был он мне дружком. Тогда еще я чуял — продался он красным.— Галбацилав залпом выпил стакан. — Еще в окопах я почувствовал, что он за птица, знал — царю изменит. Все о революции говорил. Ну, я с ним и сцепись, хоть и ниже чином был.— Галбацилав поджал губы. — А он меня плетью. Не забыл я про то. Ну да ничего. Разочтусь.

— Ха-ха, — смеялся главный. — Говоришь, плетью тебя? — Он уже окончательно опьянел. — Так, значит, старый у тебя должок, ну-ну.

— Будь уверен, Булач. Я в долгу у него не останусь.

— Ну-ну.

— Атаев в западне. Говорил же Камиль — в крепости жрать нечего. Долго они не продержатся. Да и боеприпасы, наверно, тю-тю. Боюсь, как бы Атаев руки на себя не наложил, сам хочу с ним расправиться.

— Нет, братец, дела Атаева не так уж безнадежны, как ты думаешь, — Булач нахмурился, пьяные глаза блеснули недобрым блеском. — Сегодня его двоюродный брат с отрядом партизан пришел в Обода ему на помощь. А завтра, того гляди, Караев в Голотли да Самурский в Карадахе выступят. Тогда плохи наши дела. Одним кулаком по нас ударят, сорвут нам наступление.

— А ты тут для чего?! — Галбацилав стукнул волосатым кулаком по полу. — У нас же есть свои люди в Обода.

— А,— махнул рукой Булач.— Люди... Ни на кого положиться нельзя.

— А Наху-Гаджи? Он подаст сигнал как договорено: зажжет костер на скале, как только красные уснут. Х-ха! Попляшут они у нас, проклятые гяуры. И опомниться им не дадим. Часть наших отрежет путь к крепости Караеву. А угречком мы и нагрянем к Атаеву. Камиль обещал испортить там пулеметы.

— Болтаешь много,— недовольно прервал его Булач,— говорят, и стены уши имеют. А тебя несет, как выпьешь.

— Вечно ты на меня цыкаешь. Слова не дашь сказать. Только себя умным считаешь,— Галбацилав недовольно засопел.

— Помолчи. Тут я командую. Так что изволь слушаться.

— В ауле женами своими командуй. Чем я хуже тебя? Я еще в царской армии не последним был.

— Ты моих жен не трогай. Они мне преданы и берегут свою честь. О своей лучше позаботься. Она, говорят, за большевичком пошла? А?

— Не смей о Хандулай говорить! — Галбацилав аж зубами заскрипел.— А не то — голову, как арбуз, отрежу,— и он схватился за рукоятку кинжала.

— Может, я раньше продырявлю твое петушиное сердце.— Булач положил руку на кобуру.

За дверью Абдулатип и Парида внимательно прислушивались к тому, что говорили мюриды. Ребята волновались.

— Оказывается, Камиль — их разведчик,— шепнула Парида.

— Какой это?

— Рыжий такой.

— Что же делать? — Абдулатип тревожно посмотрел на девочку.

— Надо отсюда выбраться — и как можно скорей.— Парида решительно тряхнула головой.— Я пойду в крепость по скалам. Передам Атаеву, что завтра утром Кара-Караев придет им на помощь. И о Камиле скажу. Надо, чтобы пулеметы проверили. Вдруг он уже успел их испортить? А ты в Обода пойдешь, к двоюродному брату Атаева. Надо, чтобы они схватили этого Наху-Гаджи.

— А как мы отсюда выберемся?

Кавсарат, догадываясь, о чем шепчутся дети, бросила готовить чурек.

— Никуда я вас не выпущу. Малы еще воевать,— тихо сказала она.

— Бабушка, если мы будем здесь сидеть, там Сааду и его друзья погибнут,— тихо шепнула ей Парида.— Лучше помоги нам.

Кавсарат задумалась. Она тревожилась за ребят, но и не могла не думать о тех, кто ждал помощи в крепости.

А в комнате разгорался спор между Булачом и Галбацилавом. Казалось, они вот-вот начнут драться.

Кавсарат сняла с полки пустой кувшин.

— На-ка вот,— подавая его Париде, сказала она.— пойдешь на хутор к Омару, а через его двор есть спуск к речке, а оттуда до Обода — рукой подать. А ты подожди пока,— сказала она Абдулатипу.— Надо что-то придумать, а то мюриды не выпустят тебя со двора,— и она открыла дверь в комнату.— Ох, дети мои! Вышли на священную войну, не знаете, какая судьба кого ждет, а ругаетесь,— сказала она.— Лучше-ка вот отдохните перед походом да поешьте получше,— и она положила перед ними горячий хлеб.— Э, Парида! — выглянула она в дверь.— Сходи-ка к дяде Омару, пусть продаст бузы.

— Вот бабушка святые слова говорит,— сказал Булач. Видно, он не желал связываться с пьяным Галбацилавом.— Пусть его буянит,— он махнул рукой в сторону Галбацилава,— не будем обращать на него внимания. А вот поесть и выпить перед походом не мешает. А ты, Алилав, проводи девочку. Ночь темная, чего доброго — напугает кто,— и он многозначительно подмигнул сидевшему рядом с ним мюриду.

А Галбацилав выпил залпом еще стакан, с важным видом подкрутил усы.

— Ежели меня кто иголкой кольнет, то я шилом могу. А ну-ка друг Гулла,— он толкнул в бок соседа,— спой песню перед походом, порадуй душу.

— Эй, сынок! — крикнула Кавсарат Абдулатипу.— Поди-ка, станцуй гостям.

— Давай, давай танцуй! — стали кричать мюриды. Пьяный Гулла схватил таз, отбивая лезгинку.

Абдулатип вышел в круг. Мюриды сдвинули к стене тарелки, освобождая ему место.

— Арс! — Абдулатип стремительно сорвался с места. Вот он сделал круг, другой, потом вдруг на какую-то секунду припал на колено, снова вскочил и пошел на цы-

почках, медленно жестикулируя руками, с пола столбом поднялась пыль, но мюриды, не обращая на это внимания, увлеченно хлопали.

— Арс! — Абдулатип вновь стремительно закружился по кругу, а сам внимательно наблюдал за Галбацилавом. Он один смотрел на него и не хлопал. Абдулатип нарочно прошелся прямо перед его носом, и тут вдруг Галбацилав, сбросив с плеч бурку, вскочил и вошел в круг. Даже усы у него вздрагивали.

— Арс!— Он медленно развел руками и, ногой оттолкнув Абдулатипа к стене, один пошел по кругу.— Арс! Я вам покажу, как танцуют настоящие горцы! Эй, щенок, учись! — Он надменно взглянул на присевшего у стены Абдулатипа.

— Вах! А ну-ка, быстрей, Галбацилав,— подзадоривал его Булач, вместе с остальными хлопая в ладоши. Гулла бил в таз.— Арс! Арс!

Мюриды так увлеклись пляской пьяного Галбацилава, что не заметили, как через открытое окно Абдулатип спустился на веранду. Рядом с ней к дереву была привязана лошадь Булача. В один момент Абдулатип развязал уздечку и вскочил на лошадь.

Мюриды опомнились, лишь услышав стук копыт. С криком «партизаны!» они вскочили и бросились к коням. Кто-то выстрелил.

— Убежал, щенок! — Галбацилав выругался.— Что я говорил!

В это время во двор вбежал Алилав, провожавший Париду до хутора Омара.

— Девчонка исчезла! Вошла во двор — и след простыл,— кричал он свозь шум Булачу.

— Поймать их! — Булач бил себя кулаком по лбу.— Обманули. И кого? Меня, старого волка! Поймать их!— Он повернулся к Кавсарат: — А все ты, ведьма! Ты все подстроила,— и он с размаху ударил Кавсарат плетью.— Вот они какие, оказывается, твои «родненькие!»

— Пусть у тебя руки отсохнут! — Кавсарат поднялась. Но мюриды уже не обращали на нее внимания. Толкая сапогами тарелки с едой, опрокидывая бутылки, они бросились к коням. В ночной тьме слышны были их проклятия, выстрелы и топот коней.

— Спаси, аллах, моих детей.— Кавсарат воздела руки к небу.

По каменистым тропам серый конь Булача нес Абдулатипа в сторону Обода. В ушах мальчугана свистел ветер. Казалось, конь летит по буграм и ущельям, ноги его едва касались земли. И хотя ночь была темная, конь мчался уверенно, не замедляя бега, словно понимал положение всадника. Крики мюридов, выстрелы и стук копыт постепенно отдалялись. А в ушах Абдулатипа еще стоял хриплый голос Булача. Главарь мюридов был вне себя от бешенства. «И надо же было этому щенку украсть именно моего коня,— кричал он,— ведь это не конь, а орел, я выбирал его в лучшем табуне ахвахцев! Разве его догонишь теперь! Улизнул мальчишка. Задушил бы его собственными руками!»

Абдулатип, прижавшись к гриве коня, все погонял его, все просил не замедлять бега. Со стороны Акарогоры дул сырой ветер, похоже, оттуда шел дождь. Абдулатип был в одной рубашке, ветер надувал ее колоколом, но Абдулатип не чувствовал холода.

На перевале конь повернул было в Хундах, но Абдулатип успел направить его к пашням, в сторону Обода. Мальчик поглаживал взмыленную шею коня. «Скачи, дорогой, скачи, в Обода отдохнешь. Я сам накормлю тебя. Теперь будешь служить красным партизанам».

Вот и аул Обода. В домах кое-где виднелись огоньки. Здесь располагался отряд партизан, прибывших из Ботлиха.

Абдулатип позволил наконец коню перейти на шаг. Мальчику еще не верилось, что он у цели. «Скорее, скорее найти командира, двоюродного брата Атаева, и все ему передать. Главное, скорее сообщить, что среди его людей есть предатель. Его имя Наху-Гаджи,— это он запомнил хорошо. Наху-Гаджи. Он зажжет сегодня огонь на скале, когда партизаны уснут. Галбацилав хвалился, что они нападут тогда на Обода и всех перережут. Но вам это не удастся, проклятые мюриды. Он, Абдулатип, уже здесь в ауле. И Парида, наверно, уже дошла до крепости. Прошла ли она через скалы в такую ночь? Ей труднее, чем ему».

Из задумчивости вывел Абдулатипа окрик часовых. Двое партизан остановили его на краю аула.

— Кто такой?

— Я свой, партизан, мне к командиру скорей надо.

— Ха-ха! Партизан! Видали мы таких.

— Ведите меня к командиру! — Абдулатип ловко соскочил с коня.

— Смотри-ка на него. Молоко на губах не обсохло, а ездит как настоящий джигит,— сказал вихрастый парень в заломленной на самый затылок папахе.— Ну-ка, проверим — нет ли у тебя какого оружия за пазухой.— Убедившись, что оружия нет, партизан кивнул в сторону штаба.— Ну, пошли.

В небольшой, хорошо освещенной сакле, в которой расположился штаб, навстречу Абдулатипу поднялся высокий человек, лет двадцати пяти, с такими же, как у Атаева, темными, чуть лукавыми глазами.

— Вот, товарищ командир, на коне прискакал, заявил: лично с вами говорить желает,— сказал вихрастый парень.

— Хорошо, Сулейман. Выйди на минуту. Ну, докладывай,— командир кивнул Абдулатипу.

Абдулатип стал торопливо рассказывать.

— Так, так,— брат Атаева кивал головой, время от времени поглядывая на паренька.

— А где же твоя лошадь? — спросил он.

— Да во дворе здесь стоит.

— Посмотрим.— Командир выглянул во двор.

— Да... Конь Булача. Я его знаю. Только все-таки трудно поверить, как ты один мог обвести вокруг пальца целый отряд мюридов. Булача трудно провести, он — хитрая лиса.

Абдулатип недовольно сопел, ему было до слез досадно, что здесь еще не совсем поверили ему.

Вскоре привели Наху-Гаджи. Тот зашел боязливо, понурив голову.

— Когда ты должен был зажечь огонь на скале? — в лоб спросил его брат Атаева.

— Я? Огонь? — Наху-Гаджи попятился к двери. В глазах у него был страх.

— Нам все известно. Одно слово неправды — прикончу на месте.— Лицо командира стало суровым.

— А если правду скажу, не убьете меня? — голос у Наху-Гаджи дрожал.

— Не трону. Слово большевика.

Наху-Гаджи рассказал все. Слушал командир, широ-

кими шагами ходил взад-вперед по комнате точно так, как его брат, Атаев.

— Иди, сынок, отдохни, — он кивнул Абдулатипу. — Спасибо тебе, и уж прости нас, что не сразу поверили Да ты и сам понимаешь — иначе было нельзя. Теперь мы уж постараемся получше встретить бандитов Булача. С ним лично давно встречи жду. С ним у меня личные счеты. Хотел он для нас ров вырыть, да сам в него угодит. Ты, Наху-Гаджи, иди вместе с Сулейманом, зажги огонь на скале. Все делай так, как велел Булач. А об остальном мы позаботимся, — и он снял со стены шашку и маузер. Вооружившись, вышел.

Абдулатип не помнил, как уснул. Во сне он видел какой-то хутор, и хоть он не был похож на тот, откуда он прибыл, бандиты были те же. Страшный, с налитыми кровью глазами Галбацилав привязывал его к подпорке двери. Абдулатипу хотелось кричать, но крика не получалось. Он проснулся в холодном поту, вскочил, с трудом вспомнив, где находится, и только тогда немного успокоился.

В окно виден был бледный рассвет, слышались крики ослов, мычание коров. Абдулатип вышел на веранду, осмотрелся. У стойла, привязанный, тихо стоял его конь и жевал сено. Других коней не было. Не было видно и партизан. Абдулатип забеспокоился. «Неужели все ушли? И что было вчера после того, как Наху-Гаджи зажег огонь на скале?» Абдулатип злился на себя: все проспал.

— Бабушка, куда все ушли? — спросил он у старухи, которая вышла доить корову.

— На войну, сынок, — она вздохнула. — Видано ли: брат супротив брата, сын супротив отца идет. Болит мое сердце за детей. Правду говорят: война детей не рожает, а убивает. Двое у меня орлов воюют. Вернутся ли? Уж семерых своих братьев похоронила. И за что аллах беду такую послал.

— Скоро, бабушка, красные партизаны везде победят, и тогда война кончится. Товарищ Атаев сказал, что тогда у всех будет что кушать.

— Эх, сынок. Что мне старой шашлыки да свобода, коли орлы мои не вернутся.

— Вернутся, бабушка. Обязательно вернутся. Скажи лучше, сегодня Булач со своим отрядом был здесь?

— Слыхала я — ждали сегодня наши Булача, да, видно, раздумал он — не заявился. Ну, наши-то наргизаны в крепость и поехали, благо никакой помехи им не было.

— В крепость поехали?

— Да, сынок. Окружили там атаевских-то воинов — ну, они, значит, и поехали им на выручку.

Абдулатип подошел к коню, поправил седло.

— Куда это ты, сынок, собрался? Уж не в крепость ли?

— Да, бабушка.

— Зачем тебе-то туда? Ведь мал еще воевать! Сидел бы тут или домой поезжай.

— Мне домой нельзя.

— Чего так?

— Мне в крепость надо. — Абдулатип погладил коня, и тот поднял голову, ударил копытами об землю и заржал, словно говорил: «Непривычно мне без дела стоять, привык я к походам».— Сейчас поедем, мой хороший,— Абдулатип взял коня под уздечку. — До сих пор ты мюридам служил, а теперь будешь воевать против них вместе с нами, — и, подведя коня к воротам, Абдулатип ловко вскочил в седло, а конь, будто только и ждавший этого, пулей полетел в сторону крепости по следам партизанских коней. Абдулатип не заметил, как доскакал до перевала. Отсюда расходились две дороги: одна вела к крепости, другая к родному аулу. «Заеду-ка на мельницу Нухи, может, и Хабиб там. Узнаю от него новости. Может быть, и о моем отце он что-нибудь знает?» И, пришпорив коня, Абдулатип повернул его к реке.

Мальчик торопился. Он бы с радостью сейчас же направился в крепость, но боялся нарваться на первый же дозор мюридов. «Надо, — решил Абдулатип, — сначала заехать на мельницу. Может, Хабиб окажется там, узнаю у него, где лучше ехать к крепости, а заодно и об отце спрошу: может, он слышал о нем что-нибудь. Вернулся ли он в аул?» С этими мыслями Абдулатип медленно ехал к реке. Он промок под дождем, его знобило, и он прижался к шее коня — от него шло тепло. Конь неторопливо прошел речку вброд и стал подниматься на каменистый берег. И тут вдруг над головой Абдулатипа просвистели одна за другой пули. Конь вздрогнул и, тревожно заржав, шарахнулся в сторону. Пули продолжа-

ли свистеть, конь метался, не зная, куда отскочить, и, не найдя, очевидно, другого выхода, прыгнул через камни обратно в реку, увлекая за собой прижавшегося к нему Абдулатипа. Подняв фонтан брызг, конь в два прыжка перемахнул реку. Впереди была канава, наполовину заполненная водой. Она вела к мельнице. Конь направился было к ней, но вдруг, дико заржав, упал на передние ноги. Он был ранен. Абдулатип, перелетев через его голову, мешком свалился в канаву с водой, на несколько минут потеряв сознание. С трудом подняв передние ноги, конь попытался было встать, но тут же, тихо заржав, рухнул всем телом в канаву. Придя в себя, Абдулатип увидел рядом в канаве бездыханно лежавшего на боку коня и, словно сквозь сон, услышал знакомый резкий голос Гусейна:

— Держите этого сукиного сына, мы с него шкуру снимем! — Тут же трое мюридов бросились на Абдулатипа и, прижав к земле, связали ему сзади руки. Он попытался вырваться, но мюрид прикладом винтовки сбил его с ног. Абдулатип был как в бреду. Он не чувствовал боли от сломанных при падении ребер, не чувствовал ударов приклада. Он словно окаменел. В ушах его еще стояли монотонный шум реки, ржание коня.

— Ведите его на мельницу. — Гусейн сел на коня, положив руки на маузер. Он довольно улыбался в черные, лоснящиеся усы, словно поймал самого опасного партизана.

Абдулатип мельком исподлобья взглянул на него. Как он ненавидел его в эти минуты. «Хоть убей, ничего я тебе не скажу, противная морда», — думал он про себя.

Теперь он нисколько не боялся ни плети Гусейна, ни смерти от его пули.

Мюриды привели Абдулатипа на мельницу и привязали к той самой подпорке, к которой еще недавно был привязан глухонемой Хабиб. Гусейн, расставив ноги, встал перед ним, размахивая плеткой. Сначала Абдулатип почти не слышал его голоса, он звучал где-то слишком далеко, и смысл слов не доходил до него. Мальчик видел лишь тонкий, кривящийся в усмешке рот, злобные, близко посаженные глаза. Постепенно шум в ушах Абдулатипа стихал, и он уже мог разобрать то, что вне себя от ярости кричал брат Издаг.

— Ты что, оглох? Я с тобой разговариваю. Где ты был, повторяю? В крепости?

— Отвечай господину офицеру. — Ординарец Гусейна, уже известный Иса, ударил Абдулатипа по щеке. — Улизнул от меня в тот раз! Теперь не уйдешь.

— Обыскать его! — приказал Гусейн.— Не иначе в крепости он был. Наверно, Атаев послал за чем-нибудь. Надеялся, что мальчишку не заподозрят. Ну, уж кого-кого, а этого щенка я знаю. Будешь говорить? — Он ударил Абдулатипа плеткой.

— Ничего я вам не скажу. — Абдулатип закусил окровавленные губы.

— Не скажешь? — Иса так дернул Абдулатипа за ухо, что у мальчика потемнело в глазах.

— Хоть убейте, ничего от меня не узнаете!

— Не беспокойся, убьем, как свинью, твоя песенка спета, — и Гусейн, прищурив левый глаз, стал вынимать маузер из кобуры. — Только скажу тебе — умереть не такая уж приятная вещь. Подумай-ка. Я дам тебе коня и оружие, если все нам расскажешь. Все равно партизанам конец, они окружены в крепости и скоро сдадутся. Атаев через несколько часов будет у нас в руках, его повезут к имаму и там повесят.

— Нет, — крикнул Абдулатип, — все вы врете. Вы не сможете его поймать никогда, никогда! — Он хотел кричать: «Атаеву на помощь идут Кара-Караев и Самурский, они разгромят всех вас»,— но, вспомнив слова Атаева, что лучше молчать, когда тебя допрашивает враг, Абдулатип сжал губы.

Ведь Гусейн ждет того, когда Абдулатип заговорит и выдаст секретные сведения.

— Твой Атаев продался иноверцам, — говорил между тем Гусейн.— Он враг ислама и будет наказан. Подумай о своем отце. Ведь из-за тебя и он может пострадать.

Абдулатип молчал. Он мысленно представлял себе отца. Где-то он теперь? Вернулся ли? А вдруг его убили? И во всем виноват этот проклятый Гусейн. Это он арестовал дядю Нуруллу. Гусейн и Горача его убил, и вот теперь мучает его. Ярость ослепила Абдулатипа. Если б не были связаны руки, он бы вцепился в горло Гусейну, никто бы не успел остановить его.

Гусейн, словно отгадав мысли мальчика, видя его горевший бешенством взгляд, невольно отступил.

— А ну, Иса, привяжи-ка его покрепче.

Иса стянул веревки.

— Ну вот что,— Иса приложил маузер ко лбу Абдулатипа. — Не скажешь все, сейчас же прикончу, никто не узнает, как и где ты погиб.

— Убивай! — закричал Абдулатип. — Ничего от меня не узнаешь, проклятый! — и Абдулатип закрыл глаза, ожидая выстрела. Почему-то вспомнились ему в эту минуту слова бабушки. Она говорила, что после смерти душа отделяется от тела и улетает к небесам, к душам родных. Может, и его душа встретится скоро с душой бабушки и матери. А тело его партизаны все равно найдут и похоронят. И Атаев обязательно скажет речь на его могиле: «Он славный был партизан, этот Абдулатип, он не испугался мюридов, достойно носил красную звезду, и на могиле его надо высечь звезду». А потом партизаны молча дадут залп из винтовок. И Парида принесет потом цветы на его могилу. А Шамсулвара будет плакать. Бедный Шамсулвара. Кто теперь защитит его от мальчишек? И отец, наверно, тоже будет плакать по нему. Только Издаг будет радоваться его смерти. Остаться бы жить назло ей... Дядя Нурулла говорил: лучше умереть героем, чем жить трусом. Жаль только умереть, досыта не поев шашлыка.

Абдулатип стоял с закрытыми глазами, ощущая на лбу холодный металл маузера. «Чего он медлит? — думал мальчик. — Почему не стреляет?»

— Гусейн, Кара-Караев уже в крепости. Быстрее! — услышал вдруг Абдулатип чей-то голос.

— Эй, Иса, заставь поговорить этого щенка. А будет по-прежнему упрямствовать — брось через скалу в реку.— Сунув маузер в кобуру, Гусейн вскочил на коня.

Абдулатип открыл глаза. Он увидел спину Гусейна. Мюриды в растерянности бегали по мельнице. «Так вам и надо,— думал Абдулатип.— Это я сообщил Караеву, что Атаев просит его помощи. А вы от меня ничего не узнали». И вдруг ему стало страшно. Ведь Иса убьет его. Теперь, когда красные наступают и вот-вот будут здесь, ни за что не хочется умирать. Обессиленный Абдулатип уронил голову на грудь.

— Ну-ну, не подумай, что я про тебя забыл, — Иса ударил мальчика сапогом. — Уж я-то жалеть не буду, щенок.

— Ты сам собака! — Абдулатип сплюнул кровью. — Вот подожди, придет мой отец, отомстит за меня.

— Ха! Чем испугал! Ему тоже не долго жить осталось. А ну, говори, куда тебя Атаев послал? Чей конь у тебя? Говори, щенок. — Удары один за другим сыпались на Абдулатипа. Мальчик уже потерял способность чувствовать их, он был почти без сознания. Упрямство его еще больше бесило Ису. Скрипя зубами, он начал засучивать рукава черкески. — Ну, подожди! Я не таких заставлял говорить. Ты еще узнаешь Ису. — Он, очевидно, решил во что бы то ни стало вырвать признание у Абдулатипа.

Вдруг шум шагов у дверей заставил Ису повернуться. Не успел он прийти в себя, как неожиданно появившийся Хабиб изо всех сил ударил его поперек лица толстой палкой. Мюрид схватился было за кинжал, но Хабиб, не давая ему опомниться, дубасил его по рукам, по груди. Мюрид упал. Абдулатип сделал знак Хабибу: развяжи, мол, меня. Глухонемой закивал, быстро вынул из ножен мюрида большой острый нож и развязал веревку, которой был связан Абдулатип. Потом бросился было к Исе, жестами показывая другу, что хочет зарезать мюрида, но Абдулатип также остановил Хабиба. «Свяжи его», — показал он Хабибу. Мальчики разоружили обессиленного мюрида и связали. Взяв его кинжал и винтовку, ребята бросились вон из дома.

«Иди за мной»,— жестом показал Абдулатип Хабибу. И тот послушно пошел за ним вдоль канавы наверх, в сторону кладбища.

Около кладбищенской ограды Абдулатип услышал чьи-то мужские голоса.

— Мюриды-то удирают, говорят, Атаеву помощь подоспела, слыхал? — говорил один.

— Слыхал, — отвечал второй.

Абдулатип и Хабиб притаились за кустом. Когда односельчане удалились, Абдулатип, пригнувшись, направился в сторону кладбища, таща за собой Хабиба.

«На кладбище, там, — показывал он, — пулемет есть: та-та»,— объяснял Абдулатип. Хабиб кивал, он прекрасно понимал друга.

Пробравшись между могилами, ребята добрались наконец до могилы шейха. Абдулатип хотел было уже войти в часовню, где был спрятан пулемет, но вдруг увидел

стоявшую на коленях около памятника старуху. Она молилась. Присмотревшись, Абдулатип узнал мать одного из мюридов.

— Ты проси аллаха, шейх Саид, — молила она, — пусть сбережет моего единственного сына от пуль этих гяуров.

Услышав шаги, старуха поднялась, но, увидав Абдулатипа и Хабиба, продолжала молиться.

Ребята незамеченными вошли в часовню, вытащили пулемет и поволокли его на край кладбища. Установили его между памятниками, направив дулом в сторону аула.

«Наши придут, будут из него стрелять», — жестами объяснил он Хабибу.

— Га-га, бу-бу, — радостно кивал глухонемой, счастливый оттого, что тоже будет воевать. Глаза его лихорадочно горели.

21

Дождь перестал, но серые тучи, словно стада овец, еще кочевали по небу. Со стороны крепости не прекращалась стрельба; время от времени слышались и орудийные залпы.

Абдулатип и Хабиб залегли у пулемета между двумя памятниками. Отсюда хорошо была видна дорога в аул и ближние к кладбищу дома.

Винтовочная и орудийная стрельба становилась все ближе. «Наверно, партизаны погнали мюридов и подходят к аулу», — думал про себя Абдулатип. По дороге в аул то и дело несли носилки с ранеными и убитыми мюридами.

Бой приближался. Совсем близко от ребят пробежал в разорванной одежде мюрид, за ним второй. Они обогнули кладбище, направляясь к мельнице.

«Мюриды с поля боя бегут,— жестами объяснил Абдулатип Хабибу. — В горы драпают».

Мюриды появлялись все чаще, они уже десятками бежали с поля боя. Ребята переглянулись и без слов поняли друг друга. Абдулатип опустил гашетку и дал первую очередь. Еще Сааду в крепости учил его стрелять. Правда, первые снаряды пролетели мимо цели, ведь Абдулатип стрелял впервые в своей жизни. Мальчик дал вторую очередь. Одна из пуль попала в ногу коня мюрида. Конь упал, сбросив седока в реку. Остальные

мюриды, не поняв, откуда стреляют, бросились врассыпную.

Хабиб радовался, тормошил друга: «Давай, давай еще», — жестами говорил он.

На дороге показались четверо конных мюридов. Они ехали со стороны аула, направляясь, очевидно, куда-то в горы. Две лошади были сильно навьючены. Абдулатип присмотрелся. Теперь он хорошо видел тех, кто сидел на конях. Впереди, без сомнения, ехал Гусейн, за ним — незнакомый мюрид. А сзади на сильно навьюченных лошадях — Дарбиш и его сын Назир. «Неужели бегут из аула? — подумал Абдулатип.— Значит, партизаны где-то уже совсем близко. Нет, нет, он не ошибся — это точно Гусейн и ненавистный Дарбиш». Абдулатип внимательно всматривался, боясь ошибиться. И вдруг совершенно отчетливо увидел своего Тулпара,— да, да, проклятый Гусейн ехал на их красном коне, их Тулпаре. «Украл коня у отца! — Абдулатип бросился к прицелу пулемета.— Только бы не промахнуться, не попасть в Тулпара». Руки у мальчика дрожали. Вдруг он услышал крик Хабиба. Глухонемой паренек, так же как и Абдулатип, напряженно всматривавшийся в тех, кто ехал по дороге, узнал своего давнего врага и, громко что-то крича, бросился к дороге. В руках у него был большой охотничий нож, который он обычно носил за поясом. Увидев несущегося прямо на него глухонемого с ножом в руках, Дарбиш вскинул винтовку и выстрелил. Хабиб, вскрикнув, согнулся и, держась за живот, опустился на землю, выронив нож. «Убили, убили Хабиба»,— Абдулатип с трудом пришел в себя, нажал на гашетку. Пулемет заговорил.

— Засада! — крикнул ошеломленный Гусейн и пришпорил коня. Абдулатип дал очередь еще. Он увидел, как Дарбиш вдруг схватился за грудь, едва не вылетев из седла. Его конь, словно обезумев, рванулся, направляясь обратно в аул. А Гусейн был уже далеко, Тулпар нес его в горы. Следом на ним несся конь Назира. «Упустил, упустил»,— чуть не плакал Абдулатип. Вне себя от досады и горя, он бросил пулемет и побежал к Хабибу. Тот лежал в луже крови и тихо стонал, едва шевеля губами. Видно, что-то пытался сказать на прощанье другу и не мог. В голубых глазах застыло страданье. Правой рукой он зажимал рану на животе. Левая рука была про-

стрелена и безжизненно повисла. Абдулатип приподнял друга.

— Что случилось? Что с ним? — Из аула бежали люди.

— Посмотрите, посмотрите! — услышал вдруг Абдулатип женский голос.— Дарбиша лошадь волочит!

— Видно, кто-то из партизан подстрелил,— сказал стоявший в толпе старый Гамзат.— Хватит, попил он нашей крови. Хотел со своим добром убежать, да не удалось.

— Абдулатип!— Мальчик узнал голос отца. Он стоял над Абдулатипом и гладил его вихрастую голову.

— Папа!

— Сынок! Живой,— голос отца задрожал.— Отпусти Хабиба, видишь — он уже не дышит. Не плачь, пойдем. Теперь ему уже не поможешь.

— Папа, нашего Тулпара увел Гусейн,— Абдулатип всхлипнул.

— Знаю, сынок. Еще вчера ночью увел, прозевал я коня. В ту ночь я у дяди Нуруллы был, доктора к нему привел.

— У дяди Нуруллы?

— Да, сынок. Мюриды отрезали ему руку. Руку мастера,— отец не мог говорить от волнения.

— Скоро всех мюридов прогонят, папа!

Когда отец с сыном вошли во двор своего дома, Издаг навьючивала тюками стоявших посреди двора двух ослов.

— Пусть горит этот проклятый дом. Не было мне здесь никакой радости,— кричала она.

— Дом наш не сгорит, зачем ему гореть,— сказал отец, устало садясь на скамью.— Прощай, Издаг. Ты только горе принесла мне в дом. Ты и твой брат.

— Не смей произносить имени моего брата! — кричала разъяренная Издаг.— Мужчины там воюют с этими иноверцами, а ты дома сидишь. А еще усы носишь, как верный мусульманин.

— Ну, нет, Издаг. Теперь-то я не буду сидеть дома. Теперь я знаю, с кем мне по пути. Не с твоим братцем, нет. Я пойду с красными, против таких, как твой брат. Я отомщу этим разбойникам. За все горе, которое они принесли людям. За руку Нуруллы и за коня! Уезжай, да побыстрее.

— И не думаю оставаться в твоем проклятом доме! Очень нужно! Хоть не буду видеть противную морду этого щенка,— она ткнула пальцем в сторону Абдулатипа.— Я-то не пропаду,— и она стала привязывать к рогам коровы веревку.

— Иди, сынок, закрой ворота,— сказал отец, когда Издаг наконец покинула двор.

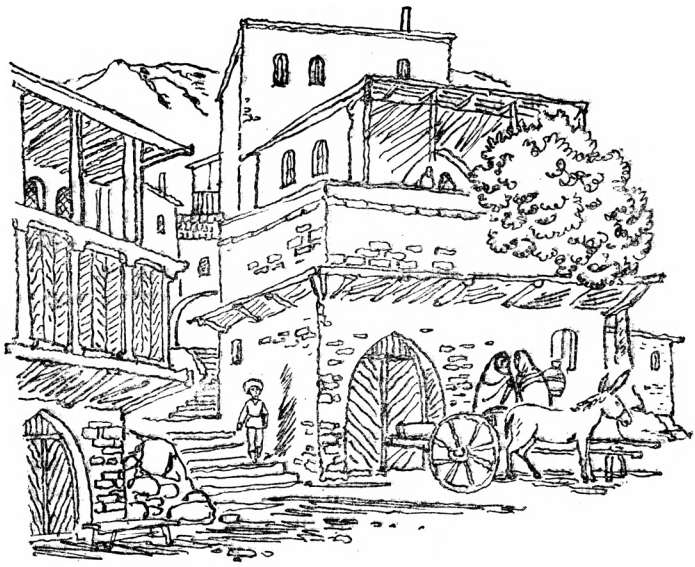
Вдруг на улице послышался стук копыт, крики «ура». Абдулатип выскочил на улицу. Из домов выходили люди, мальчишки со свистом мчались навстречу появившемуся на дороге отряду.

— Партизаны едут! Партизаны едут! — слышались голоса.

Абдулатип бросился вслед за мальчишками.

Отряд красных атаевских партизан входил в аул. Впереди на своем коне медленно ехал Атаев. Абдулатип еще издали сразу узнал его. А вот рядом с ним Сааду, в руках у него красное знамя. Вот они уже совсем близко.

— Абдулатип!— услышал мальчик сразу два голоса. И он узнал голоса Париды и Шамсулвары.



В ТЕСНИНАХ ГОР

Все имеет свое начало: каждая река, каждая гора, всякое дерево и всякий цветок. Идешь ты эдак осенью по дороге, ешь спелый абрикос и, ни о чем не подозревая, бросаешь косточку в траву. Лежит она до поры до времени, греется в животе матери-земли. И вдруг зашевелится в, казалось бы, мертвой косточке жизнь, и, расколов скорлупу, потянется к солнцу росток, напьется дождем, полезет наверх. И не заметишь, как вырастет возле дороги деревцо, зашелестит листочками, радуя прохожих.

Так и эта повесть, дорогой читатель, имеет свое начало. Мне пришла мысль написать ее в тот солнечный летний день, когда я, уже дядя в летах, с седеющей головой, шел по кривым улочкам родного аула, где оставил когда-то свое босоногое детство.

Навстречу мне бежал мальчуган лет шести с курчавыми черными как смоль волосами, курносый нос его

лупился от загара. На ходу кусая яблоко, он гнал по дороге мячик.

— Здравствуй, малыш! — сказал я ему.— Чей же ты будешь?

— Здравствуйте,— удивленно смотря на меня, ответил он.— Меня зовут Абдурахман. А вы кто, дядя?

— Я, милый, из этого аула.

— Из нашего? — удивился мальчуган.

— Из вашего.

— А почему я вас никогда не видел? — Он задумался, внимательно разглядывая меня.— А-а, наверно, вы в армии служили, как мой брат Тажудин, да? — Мальчуган ударил ногой мячик.— А я буду лесником.

— Это почему же? Может, лучше станешь моряком или космонавтом?

— Нет. Я лесником буду,— упрямо повторил мальчуган.— Мой дедушка Абдурахман был лесником. И я тоже буду. Он знаете какой был... Со всеми зверями и птицами умел разговаривать, и его даже рысь боялась. А когда давно шла война, мой дедушка шпиона ловил.

— Шпиона, говоришь? — Я вдруг понял, о каком деде Абдурахмане говорит мальчуган. Как живого представил я высокого, худого лесника Абдурахмана. И передо мной отчетливо встали события, участником которых был я сам. Вот о них и пойдет речь в этой небольшой повести.

1

Я стою за партой и медленно мучительно краснею, видя, как темные глаза учителя Махмуда Халидовича становятся суровыми и с его круглого добродушного лица исчезает улыбка.

— Ну, так как же, Султан, какие породы деревьев в наших лесах? — спрашивает он, сидя за своим столом.— Вспомнил?— Я тупо смотрю на его рано облысевшую, гладкую голову, будто на ней написано что-то о лесах, и одним ухом слушаю, что шепчет сидящий рядом со мной за партой Халича. Ребята смотрят на меня, одни посмеиваясь, другие с жалостью.

— Сосна,— едва слышно повторяю я вслед за Халичой.

— Помолчи, Халича, я, кажется, не тебя спрашиваю,— хмурит брови Махмуд Халидович.— Стыдно под-

сказывать, Султан сам должен знать, что растет в его родных лесах.

«Придирается,— с досадой думаю я про себя об учителе.— Всегда он именно ко мне придирается. Уж я-то знаю почему: хотел он жениться на моей сестре Маседо, а она сказала, что выйдет только за Хасбулата. Вот Арбуз мне и мстит». Учителя мы звали «Арбуз» за лысую голову. У них в семье все мужчины рано лысели, чуть ли не в двадцать лет. Как-то брат учителя, Муслим, сказал: «В наших головах мысль рано созревает, оттого и лысеем. Ведь и персик становится гладким, когда созревает». Дед научил его говорить так.

Учителя я всегда побаивался. Мне казалось, что он нарочно часто вызывает меня, чтоб я краснел перед ребятами. В естествознании я был не силен, и Махмуд Халидович всегда ставил мне в пример моего же приятеля Халича.

Халича — по-аварски ковер. У нас в ауле имя такое только одно. Халича говорит, что так звали только его деда. Вернее, у деда не имя это было, а прозвище. Настоящее имя деда было Мухамед. Рассказывают, будто дед Халича, когда еще молодым был, привез из Табасаранского аула жену, которая ткала чудесные ковры. Он возил их на базар продавать, и аульчане завидовали ему. Кто-то однажды назвал его Халича-Мухамед. С тех пор и пошло: Халича-Мухамед да Халича-Мухамед. А потом стали называть и просто Халича. Вот это имя и внуку дали.

Халича я любил, хоть временами ужасно злился на него. Часто, особенно зимой, я целыми днями пропадал у него в доме, ел вместе с ним. Мы любили играть в их большом дворе в жмурки и слушать длинные сказки, которые в зимние долгие вечера рассказывала нам его бабушка.

Все, что ни привезет его отец из города, Халича обычно раздавал ребятам: игрушки ли, конфеты ли. Все катались на его велосипеде и гоняли его мяч. За это я его любил. Но когда родители или учитель начинали ставить его мне в пример, я злился. Когда мокрый и грязный я возвращался с пруда, мама ворчала: «Посмотри вон на Халича, какой он всегда аккуратный да бережливый, а тебе что ни надень, все изорвешь в два дня». Если я припрятывал конфеты, которые мне дарил кто-нибудь из взрослых, отец обычно стыдил меня: «Вон

Халича всегда всем с тобой делится, а ты все для себя прячешь. Нехорошо». Уж не говоря об учителе. Он только и знал, что ставить мне Халича в пример. Вот тогда я и злился на друга, ругал его про себя: «Все Халича да Халича, надоели. Одни мне неприятности из-за него».

Вот и сегодня. Подсказал-то едва слышно «сосна», уж не мог написать на бумажке, чтобы я видел, а то шептал себе под нос, вот Арбуз и услышал. Стою я, и ничего вспомнить не могу. Вернее, деревья-то я знаю, а все названия их из головы выскочили.

— Долго нам ждать, Султан? — недовольно спрашивает учитель.— Как же так, свои родные леса не знаешь? Ведь орехи-то собираешь осенью?

— Он их в дупле прятал, а белка их у него украла,— засмеялся Халича. Я так и опешил: друг и так меня выдал, да еще смеется, за ним и все ребята засмеялись. Я обиделся и сел. Но в ту же минуту вскочил как ужаленный.

— Что с тобой? — спрашивает учитель, а я стою и ничего сказать не могу: к штанам пристала сосновая ветка, кто-то положил ее мне на сиденье, конечно, это Халича положил, больше некому. Он смотрит на меня как ни в чем не бывало, а ребята вокруг хихикают. Хотел я ему дать как следует и уже поднес кулак к его курносому носу, как вдруг что-то сильно кольнуло меня в спину.

— Ой,— вскрикнул я и тут от своего же крика проснулся. Оказывается, я сидел, привалившись спиной к стволу сосны около самой муравьиной кучи. Муравьи уже давно пошли на меня в атаку, а я все спал и ничего не чувствовал. Я стал стряхивать муравьев, а они все ползли и ползли на меня, видно, здорово я их растревожил. И вдруг где-то совсем рядом послышалось рычанье. Я поднял голову и замер: в десяти шагах от меня над убитым туренком стояла рысь и жадно расправлялась с ним. Я вскочил. Корзина, стоявшая у меня на коленях, опрокинулась, и крыжовник рассыпался по поляне. Но мне теперь было не до крыжовника, не до муравьев. Я весь дрожал от страха. Глаза у рыси горели, как светлячки, и, казалось, были обращены на меня. Во рту она держала окровавленный кусок мяса. Я теснее прижался к стволу, не зная, что делать. Вдруг рысь бросит туренка и прыгнет на меня? Будь у меня вин-

товка, я бы мог выстрелить в нее и ослепить, а так что сделаешь? Взобраться на дерево или позвать на помощь? Но как? Ведь стоит только шевельнуться или крикнуть, как рысь тут же набросится на меня. Какая она страшная, я, не отрываясь, смотрел на нее. И тут вдруг, словно лошадь рядом пробежала и остановилась. Я обернулся и увидел старого рогатого тура. «Глава стада»,— подумал я, вспомнив деда Абдурахмана. Тур поднялся на выступ скалы, обозревая окрестности. Видно, он искал пропавшего туренка. Мне хотелось крикнуть, что туренок его тут, я взглянул на рысь, и крик замер у меня в горле. Горящие глаза ее были устремлены на тура. Тут и тур заметил врага. Он прыгнул со скалы вниз, упав на свои могучие рога и, сильно оттолкнувшись задними ногами, стремглав полетел к врагу. Рысь, бросив жертву, прыгнула в сторону, в кусты. Но тур настиг ее, ударил острыми рогами. Рысь зарычала и, волоча зад, скрылась в кустах.

Я вскочил и, забыв от опасности, бросился к туру. Но он не замечал меня и, мотая из стороны в сторону головой, бил копытом о землю. Казалось, так он выражает свой гнев и горе. Потом подошел к растерзанному туренку, посмотрел. Мне показалось, что в маленьких, медового цвета глазах старого тура блеснули слезы. Я тоже чуть не плакал. Хотел было подойти к туру, сделал несколько шагов, но он, взглянув на меня, постоял еще секунду и ускакал к оврагу.

2

С пустой корзиной бежал я к сторожке лесника, деда Абдурахмана. Страх мой прошел. Чем ближе к сторожке, тем больше я смелел. Я вспоминал рысь, но теперь она совсем не представлялась мне страшной. Расскажу Хаже, что я рысь прогнал и спас туренка, вот она удивится. Хажа — внучка Абдурахмана. Она всегда всему верит и удивляется. Только, конечно, при деде Абдурахмане я врать не буду. Он страшно вранье не любит. Однажды я ему соврал, так тот случай на всю жизнь запомнил. Это еще до войны было. У Абдурахмана в саду росли чудесные красные яблоки. Когда они поспевали, лесник приходил из леса домой собирать урожай. Яблок было много, и дед Абдурахман отдавал часть их соседям, а часть раскладывал в большие глиняные кувшины

и заливал кипяченой водой. Зимой и весной он ездил на базар продавать эти моченые яблоки. Когда в ауле кто-нибудь болел, Абдурахман приходил наведать и обязательно приносил тарелку моченых яблок. Какие же они были вкусные, его яблоки. Бабушка говорила, что этот сорт дед Абдурахман сам выводил. Когда яблоки поспевали, мы, ребята, только и знали, что бегать к Абдурахману, и он всегда давал нам по яблоку.

Как-то я шел мимо сада лесника с моим двоюродным братом Али. «Смотри, сколько яблок,— толкнул меня Али,— вот бы за пазуху набить». Он частенько залезал в чужие сады, хоть и не раз доставалось ему за это.

— Лучше попросить,— неуверенно сказал я,— Абдурахман и так даст.

— Ну даст два яблока, а так мы полную запазуху наберем,— сплюнув, сказал Али. Он был старше меня и я привык ему подчиняться.— Ты вот что,— сказал Али, подтолкнув меня к забору,— иди отвлеки его, а я в сад заберусь и на твою долю наберу.

— Да... Как я его буду отвлекать,— тянул я.

— Беги, скажи ему, что его конь сорвал веревку и скачет к табуну.— Когда Абдурахман бывал дома, его конь всегда пасся на поляне над рекой. Дед привязывал его к вбитому в землю колу. Конь съедал вокруг всю траву, и тогда дед переносил кол в другое место.

— Ну, чего стоишь! — Али подтолкнул меня.— Беги, скажи Абдурахману, что его конь отвязался. Десять яблок получишь.

Я задумался: «Что я теряю? Ведь воровать-то Али будет. А яблоки и мне достанутся»,— и, толкнув калитку, я вошел в сад. Дед Абдурахман сидел на веранде, играя на пандури. В саду никого не было. Слышно было, как падают зрелые яблоки, глухо ударяясь о землю. Вон сколько их, только собирай. Целую запазуху набить можно. И, не долго думая, я крикнул:

— Дедушка Абдурахман, ваш конь отвязался и к табуну, к Шайтан-горе поскакал.— На Шайтан-горе обычно находился сельский табун, и лошади из аула часто убегали именно туда.

Дед Абдурахман положил пандури и, туго затянув пояс с маленьким кинжалом, направился к реке. Когда он порядочно отошел от сада, Али ловко раздвинул колючие кусты шиповника и пролез в сад.

В тот же день вечером мы с Халичем, вдоволь накупавшись в пруду, играли на веранде. У меня живот от яблок вздулся, столько я их съел, да еще за пазухой несколько штук припрятал. Вдруг открывается дверь, и входит дед Абдурахман, а в руках у него корзина с яблоками. Я сразу покраснел и взглянул украдкой на отца. Он подошву к моим чарыкам пришивал.

— Асалам алейкум, Камал,— сказал Абдурахман, обращаясь к отцу.— А яблоки вот тебе принес,— кивнул он в мою сторону.— Сказал бы мне, что яблок хочешь, я б тебя в сад впустил, ешь сколько хочешь. А врать старому человеку нехорошо.

— Что случилось, дядя Абдурахман? — Отец отложил в сторону чарыки.

— А, дорогой,— старик махнул рукой.— Пусть тебе сын сам расскажет,— и, поставив корзину у двери, он вышел.

В тот день я получил от отца такой урок, что уши до сих пор горят. А деду Абдурахману с тех пор никогда уже не врал.

Вот и сегодня. Все, что я сочинил про рысь, Абдурахману, конечно, говорить не буду, а только Хаже и то по секрету.

Дедушка Абдурахман взял меня в лес недавно, после того как мы получили «черное» письмо (так называли у нас в ауле похоронные извещения) о моем отце. В моей памяти навсегда останется тот день, когда наша почтальонша, тетя Сакинат, дрожащими руками вручила мне письмо. Сначала я даже не обратил внимания на то, что она грустная, а скорей схватил письмо. Но это был не треугольничек, который мы обычно получали от отца. Письмо было в четырехугольном конверте с напечатаными буквами. Я с удивлением разглядывал его. Может, это письмо не нам? Отцовский почерк на конверте я узнавал сразу и обычно стремглав мчался тогда к маме — читать письмо. Отец писал ласковые письма, раньше, когда он был дома, он не был таким ласковым. Он работал бригадиром в колхозе и домой приходил поздно вечером, усталым и голодным. Помню, мама молча ставила ему на стол обедать. «Когда голодный, он сердится, а вот поест и веселым станет»,— говорила нам мама. Она часто сердилась на отца. «Ты только все о колхозе думаешь, а о своей семье тебе подумать некогда,— ворчала она.— Посмотри, вон все уже свои участки вспа-

хали, а наш все невспаханный стоит. Возьми пару быков в колхозе».

«Неудобно мне пахать свое поле, когда колхозное не вспахано еще».— «Все тебе неудобно да неудобно. И что это за муж у меня!»— так поругавшись и надувшись друг на друга, они некоторое время не разговаривали, а потом, бывало, отец первый скажет что-нибудь смешное, так что мама и не хочет, а улыбнется. «Помнишь,— говорил он как-то маме,— как я сам к твоему отцу явился: «Люблю, Меджид, вашу дочь, выдай ее за меня». А он мне: «Умный был у тебя отец, да ты, знать, не в него вышел — кто ж так невесту сватает. Приходит и сам просит дочь у отца». И от таких вот воспоминаний обоим становилось смешно и радостно.

Когда началась война, отец уехал на фронт. Поехал на коне деда Абдурахмана. Мать и сестра Маседо плакали. Отец посадил меня в седло и вез далеко, до самого конца аула. «Ты теперь дома единственный мужчина, сынок. Береги маму»,— говорил он. Я молча кивнул, от слез я не мог говорить.

С нетерпением ждал я писем от отца. Он писал каждую неделю. В начале письма шли приветы всем родным, соседям, потом всего несколько строчек отец писал о себе, почти всегда одно: «Воюю, бью фашистских гадов». А потом уже все письмо было маме: «Ты, моя голубка, жди меня, не тоскуй. Прости, что иногда бывал груб с тобой. Тут, вдали от тебя, я понял, как ты дорога мне, родная...»

Это мне читать было не интересно, и обычно я пропускал эти места. Пропускала их и Маседо, когда, возвращаясь с гор, вслух читала письма отца. «Ну, сначала тебе, мама, ты сама потом это прочтешь»,— обычно говорила при этом она.

Мать, читая письма, всегда плакала, украдкой взглядывая на фотографию отца, висевшую на стене. Отец был снят уже в солдатской форме. Он смотрел прямо на нас и улыбался. Иногда мать, прочитав письмо, прижимала меня к себе, ласково гладила по голове, вздыхала.

Спрятав полученное письмо, мать обычно садилась отвечать отцу. Правда, слова ее были не такие ласковые, как у отца, наверно, она стеснялась писать так, даже слова «дорогой» не напишет. Только скажет, что мы очень скучаем, и просит отца беречь себя. Вначале, когда

я нес мамины письма на почту, я читал их, а потом мне скучно стало их читать. Зато в конверт я обычно вкладывал письмо от себя. Уж я-то знал, что отцу интересно будет читать: хвастался отметками, расписывал скачки на ослах, которые мы устраивали вечерами, встречая табун. Писал отцу об учителе Махмуде Халидовиче, о том, что он вернулся с фронта хромой, а никакого ордена ему на войне не дали, и даже медали никакой. Я писал так о Махмуде Халидовиче потому, что про себя злился на него, хотя о том, что он ставит мне тройки, а частенько и двойки, в письмах умалчивал. Пусть там, на фронте, отец не беспокоится за меня. Зачем, думал я, буду зря расстраивать его. Отцом я всегда гордился. Когда, бывало, до войны он выступал на собрании, так все, и даже старики, соглашались с ним. И красное знамя три года подряд его бригада держала у себя. Теперь вместо отца бригадиром старая Салихат. Где уж ей заменить отца, сама едва ходит, хоть и любит она покричать, поругаться, да кто ее станет особенно слушать. Вот и бывшая отцовская бригада теперь в отстающих. И кукурузу прошлой осенью собрала последней. Я об этом, все как есть, отцу написал,— мол, плохо здесь без тебя.

Мы привыкли, что отец пишет каждую неделю, а тут одна неделя прошла, другая, а письма все нет. Целый месяц прошел, а письма все не было. Женщины успокаивали мать, говорили, что на фронте, мол, чего не бывает. И письмо может задержаться где-нибудь в дороге. Прошли еще три месяца. И вот, когда я как-то утром собирался уже уходить в школу, в окно раздался знакомый стук почтальонши, тети Сакинат. Я схватил у нее письмо и побежал к маме, она полола пшеницу в поле. Я так торопился, зажав письмо в руке, что чуть не сбил с ног бригадиршу Салихат. «Никак, от отца письмо? — попыталась она остановить меня.— Вот мать-то обрадуется, заждалась бедная, все «черного» письма боялась». Мне некогда было разговаривать с Салихат, махнув ей рукой, я помчался дальше и вдруг до меня дошли слова Салихат о «черном» письме. Я остановился и только теперь рассмотрел письмо. Ведь оно было не похоже на прежние. Я сел на траву и стал быстро его распечатывать. Вдруг выпала бумажка с напечатанными буквами: «Погиб, защищая Родину»,— прочел я последние слова. Там было написано что-то еще, но я уже ничего не видел, все вокруг вдруг потемнело и расплылось, словно

в тумане. Плача, катался я по мокрой, пахнувшей цветами траве. Салихат подбежала ко мне и, увидев «черное» письмо, горько вздохнула, вытирая глаза платком.

Кто-то сказал матери, она с криком прибежала ко мне с поля, схватила мокрое от слез письмо. Как сквозь сон я услышал ее страшный крик. Прибежали женщины, окружили маму, а я все лежал на траве. Мне вдруг ясно представилось, как отец на коне мчится в атаку, в руках у него знакомая мне шашка деда. Она всегда висела у нас дома на стене. Мой дед воевал с ней еще в первую мировую войну, против германцев, а потом в гражданской рубал этой шашкой белых бандитов. И вот отец скачет на коне Абдурахмана, и в руках у него наша шашка. Он врезается в самую гущу фашистов и вдруг падает с коня, а сам держится за грудь и смотрит на меня. Точь-в-точь как смотрит с фотографии на стене.

Крик матери вернул меня к действительности. Царапая себе лицо, с растрепанными волосами, она со словами: «Сиротка мой несчастный», бросилась ко мне, прижала к мокрому от слез лицу. Я слышал, как стучало ее сердце, и капли слез падали мне на щеки.

— Не разрывайся так, дочка,— гладя ее по плечам, успокаивала мать Салихат.— Не гневай аллаха, будь терпелива. На войне чего только не случается, может, еще и жив твой сокол, вернется, ведь там и ошибиться могут. Вон Махмуда-то ведь тоже погибшим считали, а вернулся, хоть и без ноги, а вернулся.

Мать отпустила меня, не переставая причитать: «Ненаглядный ты мой, да какая пуля проклятая тебя взяла. Милый ты мой... Родной ты мой»,— выкрикивала рвущиеся из сердца слова. Женщины, поддерживая мать с обеих сторон, повели ее к дому.

Вскоре к нам в дом собрался чуть ли не весь аул. Женщины плакали, говорили какие-то слова об отце, о том, каким всегда был он смелым, как все его любили, а мужчины молча выражали соболезнование нашей семье.

Вечером почти все разошлись, осталось лишь несколько женщин из близких родных. Приехавшая с гор сестра Маседо без слов бросилась к матери, и обе заплакали.

Мы сидели на веранде за столом, и стул, на котором обычно сидел отец, был пустым. В эту минуту я особенно ясно вдруг почувствовал, что отца больше никогда не будет с нами. Не раздастся больше во дворе его звонкого голоса, никогда больше не сядет он за этот стол. Я вспом-

нил, как он возвращался домой с поля, усталый, но веселый. Войдет, снимет бурку, стряхнет с нее капельки дождя и повесит на гвоздике у подпорки, а свою серую каракулевую папаху положит около себя на стуле. Я и сейчас слышу его голос: «Ой, проголодался ж я сегодня. Целого барана готов съесть». И я все смотрел и смотрел на его пустой стул. «Никогда теперь не вернется мой папа. Никогда... никогда»,— слезы душили меня.

Ночью я был словно в бреду, то засыпал и видел во сне отца, он въезжал в ворота на белом коне. «Откуда этот белый конь?» — мучительно думал я. И бурка на отце была белая и папаха. «Так, значит, ты жив?» — кричал я во сне и просыпался от своего крика. Слышал, как плакала мать, не так как днем, а тихо, глухим голосом. Около нее сидела бабушка, вся в черном, с четками в руках. Голова у нее качалась из стороны в сторону, как маятник. «И за что аллаха прогневали, где ты, сынок, в какой земле лежишь? Не найти могилы твоей»,— причитала бабушка.

Маседо сидела около меня на постели и молчала. При свете лампы мне хорошо видно ее лицо, воспаленные от слез глаза, закушенные, растрескавшиеся губы. Она старается не плакать, лишь изредка из груди ее вырывается судорожный вздох, но она крепится. Неприлично ей, невесте, при матери и бабушке кричать и бить себя в грудь.

Я знал, что Маседо очень любила отца, хоть и стеснялась обычно быть ласковой с ним. Когда отец бывал дома, она ходила тихо, тихо говорила, словно боялась нарушить его покой. С завистью смотрела, как я бросался к отцу на шею, когда он приходил.

Хотя по обычаям аула после смерти родного человека раньше чем через месяц работать на поле никто не выходил, теперь не было возможности соблюдать обычай. Да и сама мать не хотела сидеть дома. «Не могу я без людей, места себе дома не нахожу»,— говорила она бабушке. Та была недовольна, что мать вышла на работу. «Не у меня одной горе, вон нас сколько теперь вдов, вместе-то легче горе сносить»,— говорила мать. Дед Абдурахман, хоть и не приходился нам родней, но в доме у нас был за своего, к нему прислушивались, даже суеверная, сварливая бабушка. «Иди к людям, дочка,— сказал Абдурахман моей маме,— поглядишь на тебя, сердце разрывается. Почернела вся. С людьми-то оно легче.

А о сыне не беспокойся. Я его с собой в лес возьму. Вон и Хажу к себе беру, обоим-то не скучно будет Да и голодными не останемся. В лесу как ни на есть, а еда найдется: и ягоды, и дичь какая-никакая».

«Тяжело мне без сына будет, Абдурахман», — печально вздохнула тогда мать. Ей не хотелось отпускать меня, но другого выхода у нее не было. Дома у нас было хоть шаром покати, а что оставалось на дне сундука, на поминки ушло. Теперь мы варили хинкал из травы, добавив туда горсточку кукурузной муки, которую колхоз отпустил вдовам фронтовиков, и с нетерпением ждали нового урожая. Это и заставило маму согласиться. «Что делать, поезжай, сынок. Хоть сыт будешь, а то душа у меня изболелась, когда вижу в глазах у тебя голод»,— сказала она мне.

Маседо поехала к своей отаре в горы, а я с дедом Абдурахманом и со сверстницей моей, Хажей, отправился в лес.

3

Я спешил рассказать деду Абдурахману и Хаже о событиях, свидетелем которых я оказался. Сторожка Абдурахмана прилепилась к невысокой скале, а с трех других сторон была окружена деревьями. Подойдешь уже совсем близко, а ее все не видно. Разве только печь топится, тогда виден тонкий столбик дыма над деревьями. Вот и сейчас я его заметил. Значит, Хажа готовит обед. Дедушка Абдурахман оказался прав: голодными мы не были — жарили заячье мясо или варили из него хинкал, готовили рыбу, которую я ловил на удочку и прямо руками в горной речке, протекавшей недалеко от сторожки. Хажа рвала траву для приправ.

Сегодня дедушка Абдурахман, взяв охотничье ружье, ушел рано. «Раньше-то легко было,— говорил он.— И сам помоложе был, и конь подо мной. Каждый день, бывало, лес обходил. А теперь вон и сам постарел, и коня нету. А еще теперь я и егерь». Он обычно возвращался усталым и, кряхтя, садился на крыльце. Мы старались приготовить к его приходу обед. Вот и сейчас, наверно, Хажа старается. Я тоже проголодался, с удовольствием думал о хинкале.

Хажу я застал у входа в сторожку. Она кормила туренка. Маленького туренка, еще безрогого, на высоких тонких ножках мы застали на прошлой неделе в лесу,

в кизиловых кустах. Он был ранен в ногу. Когда мы подходили к нему, он с трудом поднялся, пытаясь убежать, но, сделав три шага, упал и застонал. Хажа подбежала к дрожавшему от испуга туренку.

— Я первая увидела, он мой,— сказала она, обнимая туренка.

— Хинкал из него будет вкусный,— сказал я.

— Ты что! Ни за что не зарежем,— чуть не плача, сказала Хажа.— Ты, Султан, жестокий. Я видела, как ты в галку стрелял.

— В галок можно, они только посевы портят,— заявил я.

— Нет, нельзя. У них тоже есть свои мама, папа и дети,— говорила Хажа.

Удивительная эта Хажа. Раньше я ее вообще не замечал, хоть она и училась в одном классе со мной и жила в нашем авале. Я редко встречал ее на улице. После школы она сразу уходила домой и уж не выходила. Помогала матери по хозяйству, кормила ягнят, кур да всяких приблудных кошек, которых она приводила к себе домой, несмотря на упреки матери. В классе она отвечала уроки тихим голосом, неслышным на задних рядах, где я сидел. Тогда мне и в голову не приходило, что эта, как мне казалось, тихоня, станет моим другом. А случилось это вот как.

Как-то я пришел на озеро искупаться, день был жаркий. Хотел я уже было влезть в воду, вдруг вижу, верзила Абулгасан делает мне знаки, подожди, моя.

Хоть Абулгасан и был из нашего авала, мы его своим не считали, потому что все его братья жили в верхнем авале, и он часто пропадал там. Но и с нами, нижнеавальскими ребятами, он враждовать боялся, как-никак жил-то ведь он у нас, и выступи он во время драки на стороне братьев, мы бы уж ему не простили. Вот он и держался обычно в стороне, когда мы дрались с верхним авалом, за это его и прозвали «Абулгасан-середняк»,— там Абулгасан и тут Абулгасан.

Так вот этот самый Абулгасан делает мне знаки. Ну, я подошел.

— Чего тебе?

— Хочешь Хамзе отомстить? — говорит он.

У меня аж глаза загорелись. Хамза был моим заядлым врагом из верхнего авала.

— Хочу,— говорю я.

— На вот, это его штаны. Брось в речку, пусть достанет,— шмыгнув прыщеватым носом, сказал Абдулгасан.

Я обрадовался. Наконец-то отомщу Хамзе, я обиду не забыл. Недавно бабушка послала меня в верхний авал за нюхательным табаком. Хамза подкараулил меня из-за своего забора и науськал на меня свою собаку, когда я проходил мимо. Та набросилась и разорвала мне сверху донизу мои единственные штаны, пришлось мне домой бежать чуть не нагишом. А проклятый Хамза хохотал мне вслед. Вот, думаю, сейчас я ему отомщу. Схватил штаны у Абулгасана и бросил в речку.

— Эй, Али,— слышу вдруг голос Хамзы,— посмотрика, Султан твои штаны в речку бросил. Лови скорей.

Я так рот и разинул. Бросился бежать, а мой двоюродный брат Али за мной.

— Ах ты, собака,— слышу голос Али,— я тебя защищаю всегда, а ты...— Я бегу что есть силы, знаю, какие тяжелые кулаки у моего двоюродного брата, недаром его так боятся ребята из верхнего авала. Я слышу стук босых ног Али и готов разреветься. Вот-вот он настигнет меня.

И тут вдруг откуда ни возьмись Хажа. Гонит корову в стадо. Остановилась и громко так крикнула: «Ох, ребята! Посмотрите-ка туда». Я остановился, остановился и Али. А Хажа стоит между нами и так удивленно смотрит вверх в сторону верхнего авала, что и мы невольно глаза таращим.

— Чего там? — не выдержал наконец Али. А сам, как кот на мышь, смотрит на меня. Вот-вот бросится.— Уходи с дороги!

— Там,— заикаясь, говорит Хажа,— там Раиса Семеновна в окно смотрит, а ты в одних трусах. Не стыдно?

Я знал, что Али очень нравится наша молодая учительница Раиса Семеновна, но, оказывается, и Хаже это известно. Али растерялся, оглядел себя, словно только сейчас увидел, что стоит в одних трусах. Потом посмотрел на окно Раисы Семеновны и, прячась за деревьями, побежал к реке. «Я тебе покажу, погоди только»,— оглянувшись, погрозил он мне кулаком.

Ох, как я обрадовался. Теперь-то я знал, ничего мне не будет от Али: пойду к нему вечером и все объясню. Расскажу, как этот верзила Абулгасан меня надул, он на нашего Али зуб имеет, это я точно знаю. Смотрю

в прищуренные, с хитринкой глаза Хажи, спрашиваю с удивлением:

— Это ты нарочно?

— Конечно,— говорит.— Иначе он побил бы тебя. А в Раису он влюблен, я же знаю. Вот и стесняется ее.

И откуда только Хажа знает про Али? Я-то думал, что только нам с Халичей известно о его любви к молоденькой учительнице. Он ей даже стихи пишет. Мечтает быть летчиком, как Байдуков, и прилететь к нам в аул на самолете. «Прилечу,— говорит,— и женюсь на Раисе Семеновне». Он дрова ей ходит рубить, и крышу от снега очищать, и в магазин за керосином с ее бидончиком бегает. Год назад она временно жила у них в доме и всегда шутила, что он — ее жених. Вот Али и влюбился на самом деле. Нам с Халичей он все уши о ней прожужжал: и какая она красивая, и какая веселая, какие песни знает. Он носил ей цветы с гор, и они всегда стояли у нее на столе. Рассказывал он нам о своей любви под большим секретом и каждый раз предупреждал никому об этом не говорить, пока он не прилетит в аул на самолете. И мы — кровь из носа — клялись никому об этом ни звука. А вот Хажа, оказывается, все знает.

С того дня я подружился с Хажей, оказывается, она не такая уж тихоня, как я раньше думал. Я теперь часто подбегал к ней на перемене, предлагая побегать вместе, но она только отмахивалась. Сидит, бывало, в углу школьной веранды, наблюдает, как ласточки гнезда вьют или в школьному саду копается. В салочки ни за что не уговоришь ее играть. Как-то я подбежал к ней.

— Салочка, салочка,— кричу. Мы играли в это время.

— Не хочется мне.— Хажа как-то виновато взглянула на меня.— Посмотри-ка, маленькие, а такой большой кусок тащат,— кивнула она на муравьев.— Смотри-ка, смотри, что делают! — На пути муравьев был «овраг» шириной сантиметра в четыре. Но они, несколько муравьев, сцепившись друг с другом, сделали мостик, и другие по нему начали быстро переходить. Хажа бросила муравьям хлебные крошки. Я неосторожно наступил на одного из них.— Ой, что же ты, разве не видишь? — Хажа с упреком посмотрела на меня.

— А зачем они нужны? — шмыгнув носом, спросил я.

— Дедушка Абдурахман говорил мне, что все живые существа нужны.

— Вот тоже, сказала. Тогда и волки нужны.

— Дедушка Абдурахман говорит, что без волков овцы бы стали болеть. Сам знаешь, волки чаще всего задирают отстающих от стада, больных барашков.

В сторожке дедушки Абдурахмана Хажа чувствовала себя как дома. Возилась с ягнятами, курами. Мне это не очень-то нравилось, я к зверям был равнодушен, а из птиц меня интересовал только беркут, я потом расскажу почему, а деревья меня занимали только те, на которых росло что-нибудь съестное. Больше всего я любил ходить за крыжовником, собирая по дороге яйца горных фазанов. Я искал фазаньи гнезда между кустов крыжовника и радовался, когда находил в них сразу несколько пестрых яичек. Еще я любил слушать рассказы деда Абдурахмана о боях диких зверей и о его приключениях в лесу. Отдохнув, дед Абдурахман любил рассказывать о встречах с медведем, волками. «Э, милые, много повидал ваш дед на своем долгом веку. Без малого шестьдесят лет в лесу, мальчонкой еще лесничить стал. Сколько тут браконьеров переловил. Любили некоторые туров пострелять, да лес почем зря рубить. Их к порядку призывал».

Слушая деда Абдурахмана, я тоже мечтал поймать браконьера и привести его в сельсовет. «Вот, мол, на что способен Султан». Однако зверей я боялся. Недаром же дед Абдурахман говорил, что в наших лесах водятся и медведи, и рыси, а однажды он даже повстречался со львом. Да, да, с настоящим львом. Правда, лев тот был очень старый, ослепший, лежал себе, притаившись за кустами, и ждал, что ему аллах поесть пошлет. Дед Абдурахман наблюдал за ним, спрятавшись за скалу. Мимо бежала отбившаяся от стада коза. Дед крикнул, чтобы спугнуть ее — беги, мол, а она, глупая, бросилась прямо туда, где лежал лев. Ну, он, не будь дурак, прыгнул и схватил козу. Дед Абдурахман часто ходил в то место посмотреть на льва. Лев так и лежал там за кустами, тихо, словно дремал. А потом вскоре умер. Дед снял с него шкуру, она и теперь лежит у его кровати. Других львов дед не встречал и говорил, что это, наверно, был последний лев в наших лесах...

Хажа держала в руке палочку и учила туренка прыгать через нее. Прыгнет — получит чурек.

Когда мы привели раненого туренка в сторожку, он сначала ничего не хотел есть, не брал и чурека.

— Совсем плох, бедняжка, вряд ли выживет,— говорил тогда даже дед Абдурахман.

— Обязательно выживет,— чуть не плача, отвечала Хажа.— Я его выхожу, дедушка.

У Абдурахмана были всякие лечебные настойки. В аптеке он никогда ничего не покупал, а лечился своими средствами. «Еще дед мой травы знал, от всех болезней есть в природе средства, да только не всякий знает, где его взять»,— говорил Абдурахман. Когда у него болел живот или ломило поясницу, он лечился березовыми почками. Собирал их весной, когда они смолистые и ароматные, сушил, а потом настаивал на водке. Этот настой втирал в суставы и пил, если болел живот. Вот этим самым настоем и начала лечить Хажа своего туренка. Натирала рану на ноге и аккуратно обвязывала ее тряпкой. Потом, сидя перед туренком на корточках, просила: «Ну, миленький, поешь чурека, поешь и поправишься». И действительно: не прошло и недели — туренок стал щипать траву, пить овечье молоко, за которым Хажа ходила в горы к чабанам.

Вскоре туренок уже с удовольствием ел чурек и пил студеную воду из источника. А на вторую неделю уже стал, прихрамывая, ходить возле дома. Первое время Хажа привязывала его к крыльцу веранды, боясь, что он убежит или полезет в будку. Галбац и тот прибьет его. Старый пес дедушки Абдурахмана Галбац, что по-аварски значит лев, не любил, когда его беспокоили. Туренок лишь издали поглядывал на Галбаца. Тот сначала лаял на него для порядка, как на чужака, но потом привык к туренку и перестал обращать на него внимание. Тогда Хажа стала пускать туренка свободно гулять по двору. Туренок скачет возле будки Галбаца, а тот, положив голову на лапы, смотрит, как резвится туренок. Галбац буркнет иногда что-то про себя, отчего туренок испуганно прыгнет в сторону, а потом снова уляжется поудобнее и дремлет. Постепенно Галбац по-стариковски привязался к туренку, стал ласкаться к нему. Пойдет Хажа с туренком за водой к источнику и Галбац за ними, словно бы оберегает их. А если, случалось, он задремлет, и Хажа с туренком одни уйдут за водой, Галбац, проснувшись, вскочит и беспокойно бегает по двору, ищет туренка, обнюхивает все углы и, забыв об еде, пойдет по следу навстречу им. А встретив Хажу и своего любимца, сначала делает обиженный вид, не отвечает на ласки Хажи и заигрыванья туренка, но вскоре забывает об оби-

де, и, полаяв для порядка, поругавшись, снова приходит в хорошее настроение.

Вот и сейчас Галбац и туренок греются на солнышке, и когда я, запыхавшись, ворвался во двор, Галбац недовольно тявкнул, что, мол, нарушаешь наш покой.

— А где же крыжовник? — спросила Хажа.

— Я... я его рассыпал,— задыхаясь, ответил я.— Там рысь и тур дрались!..

— Рысь?

— Да. Сам видел. Я сначала спал, а потом проснулся и вдруг...

— Во сне, наверно, видел? — засмеялась Хажа.

— Да нет же. Рысь туренка загрызла, а тур напал на рысь.

— Ой! — испуганно воскликнула Хажа, все еще с недоверием глядя на меня.

— Пойдем, покажи.

Галбац, сквозь дремоту прислушивавшийся к нашим словам, вдруг поднялся, словно понял, о чем шла речь.

Мы пошли на место происшествия.

— Вон там,— показал я на видневшуюся из-за скалы поляну.

Хажа первая подбежала к растерзанному рысью туренку.

— Вай-вай! Бедный! Уйдем скорее отсюда, Султан. Ведь рысь и нашего туренка может убить.

— Не вернется она. Тур ей живот распорол.

— Не обманываешь меня?

— Наверно, на этот раз не обманывает,— услышали мы сзади знакомый голос деда Абдурахмана.— Случается иногда такое — тур на рысь нападет. Редко, но случается.— Он стоял над нами худой, высокий, и его папаха касалась верхних веток сосны. Узкое морщинистое лицо было темным от многолетнего загара, и оттого особенно белой казалась седая щетинистая борода.

— Дедушка! — обрадовалась Хажа. Около него мы чувствовали себя вне опасности.

В ауле рассказывали, каким сильным был в молодости дедушка Абдурахман. Я много слышал о нем от нашей бабушки. Рос он без отца. Старшие ребята, случалось, подсмеивались над ним. «С чего это он так вверх растет, словно тополь?» — «С сыворотки»,— отвечали со смехом другие. Своей коровы у матери Абдурахмана не было, вот и работали они на чужом поле. Кто

чурек даст, кто молока, а кто и просто оставшуюся после творога сыворотку.

Абдурахман рос тихим, терпеливым мальчиком. Когда кто-нибудь от нечего делать задирал, бывало, его, он не обращал внимания, так бык равнодушен к укусам мухи. Абдурахман не обращал внимания на обидчиков. Мать задевало это. «Что ты, сынок, больно терпеливым растешь? — частенько с упреком говорила она ему.— Другие над тобой смеются, а тебе хоть бы что. Не давай им спуска».

Абдурахман молча слушал мать, не возражал ей. А как-то вдруг выпал случай, и мать убедилась, что сын ее далеко не трус.

Сосед собирался резать быка. Его надо было сначала уложить, связать. Сосед позвал мужчин, в том числе и Абдурахмана. Он только вернулся с гор от чабанов. Сбросив бурку с плеч, один пошел на быка. Мать что-то закричала ему с веранды, но Абдурахман лишь рукой махнул. Смело подошел к быку и, схватив за рога, так скрутил голову, что разъяренный бык не устоял на ногах, упал.

Тогда мать поняла, что сын ее такой спокойный и невозмутимый от избытка силы. С тех пор уже никто не решался задевать Абдурахмана, побаивались, а в ауле прозвали его «Абдурахман-бык». Когда случались тяжелые работы, звали его, знали — Абдурахман никогда не откажется помочь.

Когда в горы пришла революция, Абдурахман стал помогать красным партизанам. Однажды он вез им оружие. Запряг быков, положил в подводу винтовки, а сверху — сено. На беду в лесу сломалась арба. Абдурахман выпряг быков, а сам стал рубить жерди для починки арбы. Тут-то на него и наскочили белые бандиты. Главарь их, Далгатбег, остановил своего коня.

— Эй ты, верзила, почему не в войсках имама? Что у тебя в подводе?

— Сено везу, сам видишь,— спокойно ответил Абдурахман.

— Сено, говоришь! А под сеном что у тебя? Откуда едешь? — бряцал оружием Далгатбег. Четверо бандитов, окружавших его, готовы были броситься на Абдурахмана. — Откуда идешь, болван? — орал Далгатбег.

Абдурахман легко поднял одной рукой колесо арбы,

которое и четверым нелегко было поднять, и показал в сторону аула.

— Оттуда иду.

Бандиты растерялись.

— Куда идешь? — Голос Далгатбега уже не был таким уверенным: он со страхом посмотрел на великана.

— Туда,— сказал Абдурахман, подняв второе колесо.

Бандиты, поняв, что шутки с этим силачом плохи, поторопились убраться прочь. А позже, узнав, что этот великан провел его, Далгатбег кусал локти, клялся, что сам расправится с Абдурахманом, попадись он ему. Говорят, даже готовил специальную пулю для Абдурахмана. Да сам вскоре попал в руки к партизанам.

И вот теперь я смотрю на деда Абдурахмана, на его ссутулившуюся, худую фигуру и с удивлением думаю: неужели это он совершал когда-то такие чудеса? От того «великана-быка» будто и ничего не осталось. Разве что длинные худые ноги. В одном его шаге четыре моих помещалось. Да, да. Я любил мерить моими шагами его следы, оставшиеся после дождя на мокрой траве. Дедушка Абдурахман говорил, что в магазине он никогда себе сапог не покупал, нет их на его ногу. Только сельский сапожник, горбатый Зубаир, шил ему их. А потом уж он сам чинил их и носил долго, долго...

Мы стояли над растерзанным рысью туренком.

— Надо его похоронить,— сказала Хажа, снизу вверх, словно на макушку дерева, посмотрев на деда.

— Зачем хоронить. Для Галбаца возьмем,— предложил я.

— Не станет Галбац есть его,— сказала Хажа.

— Не расстраивайся, внучка. Закон зверей такой — сильный на слабого нападает. Закопаем мы его, а волки или какой другой зверь вытащит его да съест, пусть уж лучше Галбац съест. Мясо это как раз для него, мягкое, зубов-то ведь у Галбаца нет.

Хажа грустно гладила по шее своего туренка.

— Не отходи от меня. И тебя может рысь загрызть,— говорила она ему.

— А что ты делать станешь, если на тебя рысь нападет? — спросил я Хажу.

— Я? Я? Я дедушку позову. Его все звери боятся. Правда, дедушка?

— Да кто ж их знает — боятся они или нет. Я-то их никогда не боялся. Да стар вот теперь стал.

— А правда, дедушка, что ты медведя одним ударом кулака убил? — спросил я.

— Конечно, правда,— ответила за него Хажа.— Дедушка знаешь какой сильный был!

— Медведя я убил, правда, не кулаком...— стал рассказывать дедушка случай, о котором я уже слышал от бабушки.

...Это было уже после гражданской войны. Абдурахмана назначили тогда лесником. Однажды он возвращался домой и вдруг услышал во дворе яростный лай собаки. Не Галбаца, конечно, его тогда и на свете не было. «Что это пес так волнуется, забрался, что ли, кто?» — подумал Абдурахман, входя во двор. В руках у него был топор, которым он рубил сухие ветки для топки. Подходит к дому и видит: дверь с петель снята, а в доме хозяйничает медведь. Его хорошо было видно в открытое окно. Медведь задел стоявшее на печке ведро, и оно с грохотом опрокинулось на него. Это обозлило незваного гостя. Он схватил горячую железную печку (эту печку Абдурахман привез как трофей из города Темир-Хан-Шупе, когда оттуда прогнали белых бандитов) и вышвырнул ее в открытую дверь. Боль в обожженных лапах вызвала новый взрыв гнева у зверя. В это время и подбежал Абдурахман. Разъяренный медведь с ревом бросился на него. Удар топора, нанесенный впопыхах, не причинил зверю большого вреда, а Абдурахман, задев за что-то ногой, поскользнулся и упал. Выручила его собака. Она сзади вцепилась зубами в медведя, тот, взвыв, повернулся на какое-то мгновение. Его оказалось достаточно Абдурахману, чтобы собраться с силами. Когда зверь вновь бросился на него, Абдурахман нанес ему мощный удар топором. Медведь отпрянул и упал замертво...

4

Мы возвращались с места происшествия в сторожку. Тропинка вилась между кустарником, то вырываясь на полянки, то пропадая под высокими гладкоствольными дубами. Вот она вышла к зарослям осины, молоденьких березок и лип. На березах дедушка кое-где подвесил стеклянные баночки, подвязав к стволам,— из маленьких надрезов в коре капал сок. Им Абдурахман поил нас и пил сам.

— От него в человеке сил прибавляется,— говорил он. И мне действительно начинало казаться, что от выпитого сока я становлюсь сильнее.

Дед Абдурахман присел отдохнуть у своего любимого места, на выступе скалы, куда недавно еще приходил наблюдать старого льва. Теперь лев умер, и Абдурахман смотрел туда, где, блестя на солнце, серебристой нитью тянулась Аварское Койсу. Вдоль берега реки бежало шоссе, по которому редко проезжали машины. Покажутся время от времени навьюченные ослы или какой-нибудь всадник проедет в аул. Абдурахман долго смотрел на дорогу. О чем он думал тогда? Может быть, о своем сыне Хасбулате, который уехал по этой дороге на фронт и от которого уже давно не получал он никаких вестей. Раньше я тоже любил смотреть на эту дорогу, она проходила и мимо нашего аула. Мне казалось тогда, что в один прекрасный день я увижу, как едет по ней с войны отец, веселый, весь в орденах. Но теперь я уже не смотрел на дорогу.

Откуда-то издалека, со стороны Сталь-горы глухо прогремели орудия. Там рвались бомбы, и по ночам небо озарялось вспышками рвущихся вдали снарядов.

— Дедушка, фашисты и сюда придут? — спрашивала Хажа, прижимаясь к Абдурахману.

— Не придут, внученька. Скоро под Сталинградом наши Гитлеру шею сломают.

— Дедушка, ребята рассказывают, что Гитлер — людоед. Он людскую кровь пьет? Правда это?

— У всех фашистов руки в крови. Да скоро эти руки им поотрубают,— он сжал кулаки. — А Гитлера судить будут. Не уйдет от наказания.

— Его наши солдаты поймают? Может быть, даже наш дядя Хасбулат его схватит, правда, дедушка? — говорила Хажа. Девчонка и есть девчонка. Думает, Хасбулат главный на фронте, будто, кроме него, никаких других командиров нет. Правда, ее дядя, Хасбулат, действительно храбрый, шестьдесят фашистов уничтожил, да только Гитлера, конечно, поймает какой-нибудь настоящий герой...

— И дядя Хасбулат,— говорит дедушка, и серые глаза его становятся грустными.— Э, сбросить бы мне сейчас эдак годков двадцать, повоевал бы я вместе со своими сыновьями, не сидел бы здесь в лесу. Я бы этого самого Гитлера, как того медведя... топором рубил.

Вдруг залаял Галбац. Из-за деревьев появился странного вида человек. Грязный, оборванный. Нечесаная сальная борода свисала клочьями до самого пояса, на голове — вытертая пожелтевшая серая каракулевая папаха, поверх линялой рубашки — старая солдатская шинель с разорванной полой. На ногах — рваные чарыки, из них во все стороны топорщилась трава, которой они были набиты. За спиной у человека болтался почти пустой холщовый мешок.

— Хи-хи-хи,— вдруг визгливо засмеялся он.— Так вот где твоя крепость, Абдурахман-даци. Хи-хи-хи. А я из Мекки иду. Хи-хи-хи.

— Из Мекки? — Абдурахман сурово взглянул на оборванца.— Что? Хаджи [1] стал? Не место там для подлецов, чтоб тебя черти взяли.— Дед Абдурахман повернулся к нему спиной.

Только теперь я узнал в оборванце дезертира Чупана, который, как я слышал, сошел с ума.

— Хи-хи-хи,— засмеялся Чупан.— А пророк со своими асхабами кишмиш ест.— Хи-хи-хи. Привет тебе от деда Халида. Он на райском там кладбище сторожем. Хи-хи-хи.

— Иди с глаз долой,— Абдурахман сердито отстранил его от себя. Ему неприятно было, что Чупан произносит имя его покойного друга. Еще отец рассказывал мне о его друге Халиде. Было это в то время, когда в горах появились первые колхозы. Много бандитов, бывших богатеев бродило тогда по нашим дорогам. Как-то в то время Абдурахман заболел. Наверно, первый раз в своей жизни. Болезнь его была от молнии, рассказывал мне отец. Абдурахман шел как-то себе в лесную сторожку, была сильная гроза. Вдруг молния ударила в мощную сосну, Абдурахман был как раз рядом с ней. Он упал и потерял сознание. Нашла его жена. Он едва дышал. Привезли его в аул и по совету знахаря деда Давуда закопали в землю, одна голова торчала. Так и лежал он почти сутки, пока врачи из района не приехали. Они вылечили Абдурахмана, он быстро стал поправляться. А пока он болел, лес сторожить назначили его друга, известного в ауле охотника Халида. Был он не таким сильным, как Абдурахман, но таким же бесстрашным.

---

[1] Так называют мусульмане тех, кто побывал в Мекке, где находится священная для них могила пророка.

Однажды он пошел в обход и увидел, как бандиты рубят лес и грузят его на подводы. Видно, узнали, что грозный Абдурахман заболел, и решили использовать удобный случай. Наверно, думали, что Халид не станет с ними связываться. Халид был один, а бандитов — человек пять. Но Халид не испугался и потребовал, чтобы бандиты следовали за ним в сельсовет. Порубщики стали было совать ему деньги, но он их не взял, а стал наступать на бандитов. Тогда один из них схватил топор и ударил Халида. Нашли его через неделю, закопанным в лесу. Абдурахман очень переживал смерть друга, и теперь воспоминание о его гибели было для него тяжело. А этот ненормальный Чупан словно специально растравлял его.

— Ай, ай, ай,— голосил Чупан,— Абдурахман-дади сердится. Ай, ай, ай.— Он волчком кружился перед нами, дико вскрикивая, пускался в пляс, хлопая себя по бокам.— Хлопайте Чупану, хлопайте— он женится на лесной королеве.

— Ведьма тебе жена,— отворачиваясь, сказал Абдурахман.

— Не любит меня Абдурахман-даци, не любит, не любит,— задыхаясь, тараторил Чупан. Он почесывал заросшую щеку, а налитые кровью, злобные глаза его боязливо косились на Галбаца. Тот следил за каждым его движением.

— Чего тебе надо в лесу? — оборвал Чупана дед.

— Ха-ха-ха! Отдай Абдурахман мою королеву. Отдай, отдай! Вот тебе приданое,— и он высыпал из мешка шишки, огрызки яблок.

— Эх, Чупан, Чупан. Родная мать и та от тебя отвернулась,— устало сказал Абдурахман.

— Мать похороню скоро,— деловито заявил Чупан, запуская в нос грязный палец и выкатывая глаза.— Вот будет байрам. Приходи, Абдурахман, халву есть, ха-ха-ха,— подпрыгнул Чупан.

— Уходи,— махнул дед, — не то Галбаца натравлю.

— Хорошая собачка Галбац, хорошая собачка,— ненормальный попятился в сторону, боязливо оглядываясь на собаку. Вдруг, когда Чупан уже ушел довольно далеко, до нас донесся его крик, словно на него волки напали.

— Наверно, его убили,— сказала Хажа, но дед Абдурахман только рукой махнул.

— Отчего он такой? — спросил я Абдурахмана, хотя уже слышал кое-что о Чупане от аульских мальчишек.

— Трус он. Еще до войны все от армии увиливал, а как война началась — дезертиром стал. Всякие ядовитые травы ел, табачный раствор пил, чтоб по негодности не призвали, ну вот и отравил, говорят, себя, с ума спятил. Жена ушла, родная мать прокляла. В горах не прощают труса.

— Трус, а в самую глушь леса пошел,— сказал я.— Что он? Зверей не боится?

— Он в глушь и не пойдет. Хоть и придурковатый, а дорогу безопасную знает: по опушке леса. А там вдоль реки до самого аула дойдет, как стемнеет. Днем-то ему прохода нет от сельских ребят.

5

Появление Чупана испортило настроение деду Абдурахману. Обычно вечерами он играл нам с Хажей на пандури или рассказывал всякие случаи из своей жизни, но сегодня, поужинав, дедушка молча сел к горевшей на столе лучине и, надев очки, развернул замусоленную газету, которую постоянно носил во внутреннем кармане старой гимнастерки. В этой газете было написано о его сыне Хасбулате. Лучина сухо потрескивала, излучая слабый свет, и мы с Хажей пристроились рядом с Абдурахманом, хоть и знали, что дед вряд ли будет что-нибудь рассказывать сегодня.

Мне нравилось сидеть вот так вечерами при свете лучины. В ауле у нас была, как и у всех, коптилка, но керосина для нее чаще всего не было, и мать торопилась засветло состряпать что-нибудь на ужин и гнала меня спать, да и какой интерес сидеть в темноте. А вот у деда Абдурахмана были хорошие сосновые лучины, и после темных ночей в ауле они казались мне лучше любой лампочки. Мы с Хажей держали по очереди лучину, а дед про себя читал о своем сыне. Мы хорошо знали, о чем там написано, ведь Абдурахман не раз читал нам газету вслух. Хажа знала статью наизусть, и она первая рассказала ее мне, когда я приехал сюда, в сторожку. Тогда я даже удивился, как она складно говорит, будто стихи читает.

«...Это случилось возле маленького осетинского села,— говорилось в этой статье.— Наш эскадрон торо-

пился преградить путь гитлеровцам, которые, перебравшись через реку, намеревались ударить по нашим с фланга. И сын дагестанских гор Хасбулат тоже торопился к реке со своим пулеметом. Добравшись до реки, он замаскировал свой пулемет в кустарнике, залег и стал ждать. Вот первая вражеская автоколонна приближается к реке. Первая машина ворвалась на мост, вслед за ней вползает вторая... И тут заговорил пулемет Хасбулата. На врагов обрушился град пуль. Раздался страшный взрыв — загорелась первая машина: пуля угодила в бензобак. Застигнутые врасплох фашисты выскакивали из стоявших сзади машин и в панике разбегались кто куда. Но снайперский огонь Хасбулата достигал их всюду. В этом бою отважный пулеметчик уничтожил шестьдесят гиглеровцев, сжег три вражеских машины...» Дальше говорилось о том, где родился Хасбулат, кто его отец и какой он скромный парень...

Дед Абдурахман читал, и постепенно лицо его светлело, мне даже казалось, что он вдруг помолодел. Вот встанет сейчас молодой сильный Абдурахман, возьмет винтовку и скажет: «Пойду фашистских гадов бить». А в лесу тихо шумел ветер в листве, посвистывали ночные птицы, где-то вдалеке слышался вой волка, а небо над лесом то озарялось от далеких взрывов, то опять становилось черным. Вдруг над самой сторожкой послышался шум мотора самолета. Мы с Хажей выскочили во двор.

— Как думаешь, это наш самолет? — взволнованно спросила Хажа, вглядываясь в огоньки самолета, мерцавшие в темном ночном небе.

— Кто его знает... Может, и немецкий,— сказал я.

— Это наш. По мотору слышно,— тихо сказал, выйдя на крыльцо, Абдурахман.

Иногда к нам приезжала моя сестра Маседо. Она считалась невестой Хасбулата. Обычно она рассказывала о новостях на фронте, а сама ждала от дедушки новостей о Хасбулате.

— Целую неделю в ауле не была. И газет мы в горах давно не получали. Как там? — Она испытующе глядела на деда.

Я-то знал, какими новостями она больше всего интересуется,— конечно, письмом от Хасбулата. Прямо она об этом дедушку никогда не спросит, стесняется. А Абдурахман, бывало, тоже с нетерпением ждет Маседо, а стоит ей появиться, как сначала внимательно по-

смотрит на нее — не встревожена ли чем? И тоже ждет от нее новостей о сыне.

Так, таясь друг от друга, тревожились они об одном человеке, дед — о сыне, Маседо — о женихе.

— Ты осторожней, Маседо,— говорил дед на рассвете, когда моя сестра седлала коня, собираясь обратно к себе в горы.— Сейчас даже и днем небезопасно в дороге. Дезертиры-то — они хуже зверей.

— Я, папа, сама зверь против таких.— Она всегда звала деда Абдурахмана папой.— За меня не бойтесь,— сказала Маседо, похлопывая коня по шее. Конь ее хромал на одну ногу, оттого его и не взяли на фронт, а оставили чабанам.

— Знаю, знаю, ты у нас смелая, Маседо. Только понапрасну-то не горячись. Смолчи лучше,— вздохнул дед.— Был, помню, со мной случай. Давно еще, эдак лет пятьдесят назад. Возвращался я однажды с нагруженным ослом с поля по горной тропе. Тропинка узкая, двоим не разойтись: внизу река шумит, сверху — скала. Вижу вдруг: навстречу мне наиб[1] Абдула верхом на коне. Откуда его только черт принес. Будь на моем месте кто другой — несдобровать бы бедняге: этот Абдула чуть что сразу в ход плеть пускал. Но меня-то он сразу узнал. Посмотрел на палку, которую я в руке держал, стоит молчит: знает, значит, что обиду я не потерплю. Ну и я молчу. Так и стоим. А потом он говорит: «Прошу тебя, Абдурахман, пропусти меня, очень тороплюсь». Ну, что же — раз по-хорошему просит. Взял я осла, поднял на скалу: «Проходи, — говорю, — да больше не попадайся мне на дороге». А погорячись я тогда — одному из нас купаться в речке. А река у нас, сама знаешь, шутить не любит. Так что: не горячись зря, дочка, береги себя.

— Не беспокойтесь, папа. — Маседо, как джигит, вскакивала на коня. А дед Абдурахман, с восхищением смотря ей вслед, качал головой: «Десятерых парней стоит наша Маседо. Да больно горяча, боюсь я за нее».

Я тоже гордился своей сестрой. И скучал по ней. Теперь мы редко виделись с ней: только в те дни, когда она приезжала к нам. Да и в такие дни мне не удавалось вдоволь поговорить с ней, она обычно старалась

---

[1] Так до революции называли в Дагестане начальника округа.

помочь дедушке по хозяйству и была занята. Хаже повезло: она спала вместе с Маседо на сеновале, они болтали и смеялись чуть ли не до рассвета. Иногда Маседо, пригладив мои торчавшие во все стороны вихры, спрашивала:

— Ну, как, джигит, не скучаешь здесь в лесу?— Она ласково заглядывала мне в глаза.— Ничего, ничего, осенью вернешься в аул, в школу уже будешь ходить. Все хорошо будет.

— А вы уже не пойдете в школу?— спрашивала Хажа.

— В школу — нет. Буду в техникум поступать — зоотехником решила быть: очень я к барашкам привязалась,— улыбалась Маседо.

— У вас, у молодых — вся жизнь впереди. Война кончится — тогда хоть в техникум, хоть в институт поступай. Вернутся орлы с фронта, не надо будет женщинам чабанить. Да и лесник молодой, глядишь, найдется, — сказал дед Абдурахман.

— Вы еще тоже не старый, папа. И другого лесника нам не надо, — сказала моя сестра.

— Рассказывают, как одному андийцу, у которого украли осла, посоветовали: проси, мол, своего аллаха, чтобы он помог найти твоего осла. Андиец ответил: «Характер своего аллаха я лучше знаю, без десяти туманов теперь и он не поможет найти мне осла». А как я молод, Маседо, я и сам знаю. Мне бы сейчас быть дома в ауле у очага, нянчить внуков да рассказывать им, какую и горькую, и радостную жизнь я в лесу прожил, а не сидеть здесь в старой сторожке. Да что поделаешь... Молодые на фронте воюют, а нам, старикам, здесь воевать надо, народное добро стеречь...

6

Меня разбудили солнечные зайчики. Они скакали по макушкам деревьев и, переломившись там, врывались через маленькое окошко к нам в комнату, играли на потемневшей от копоти неровной стене, на наших постелях, горьковато пахнувших полынным сеном. Вчера Хажа с дедушкой набили матрацы свежим сеном, спать было легко и прохладно. Оттого, наверно, я и спал так долго. Минуту я еще лежал, смотрел, как играют сол-

нечные зайчики. Видно, ветер качал верхушки деревьев, вот солнечные лучики и прыгали по стене. Вместе с ними в комнату врывалось пение лесных птиц,— и они радовались ясному дню. До меня донесся со двора негромкий разговор. Я узнал голос бабушки Салтанат, жены Абдурахмана.

— Еще вчера письмо получила...— говорила она деду.— Всю ночь глаз не сомкнула, едва утра дождалась — и сразу к тебе: радость-то какая.

— Бывало, раньше ты и ночью ко мне прибегала, Салтанат,— голос у деда был веселый, видно, в письме были хорошие новости.

— Будет тебе, Абдурахман. Дожить бы, сыновей дождаться. Сердце по ним изболело. Давно ли Хасбулат наш по сакле ползал, а теперь вон, воюет.

— Еще как воюет, вон какой герой. И весь в меня.

— Дай, аллах, ему выжить в этом аду,— вздохнула Салтанат.— Ничего ведь в жизни еще не видел, И свадьбу еще не играли...

— Ничего, Салтанат. Еще какую мы ему свадьбу сыграем, увидишь. Сам на ней с тобой плясать буду. А невеста у него хорошая.

— Ой, забыла совсем, — спохватилась Салтанат. — Ведь и Маседо письмо есть. Вот оно.

— Покажи, покажи. Твердое. Наверно, и ей фотографию прислал.

— Нехорошо, Абдурахман, чужое письмо открывать.

— С чего ты взяла, что я его открывать буду. Просто так посмотрю сверху,— заворчал дед.— Точно, фотография. На свет вижу. Вот такое время пришло, Салтанат: жених невесте письмо шлет да еще свою фотографию прикладывает. А в наше-то время на нареченную и взглянуть нельзя было, не то что ей писать или говорить с ней. Помнишь, как мы с тобой в поле встретились. Я тогда сено косил. Помню, дождь пошел, ну я и укройся под стогом, а тут ты с сестрами прибежала, и тоже — к тому стогу от дождя прятаться. Да меня и увидела. Помню, даже в лице изменилась. Сестры смеются, устроились возле меня, а ты отбежала эдак шагов десять, стоишь под дождем, платье к телу прилипло, а под стог не идешь. Сестры зовут: иди, мол, промокнешь. Я не выдержал, выскочил из-под стога и в лес убежал. Тоже, видать, застеснялся. А мне бы схватить

тебя в охапку да рядом с собой посадить, пусть все радуются на жениха с невестой.

— Ой,— вскрикнула бабушка.— Стала бы я около тебя сидеть. Да со стыда б сгорела. Да и сестры бы меня засмеяли: с женихом до свадьбы сидит — видано ли.

— Эх, Салтанат, Салтанат. Одни воспоминания от этого остались,— Абдурахман поднялся и заглянул в комнату. Я зажмурил глаза, будто еще сплю. Слышу, как дед снимает со стены свой старый пандури, тихо пробует струны и идет на веранду. И вскоре оттуда послышались негромкие звуки — я хорошо представлял, как дед склонив набок голову, закрыв глаза, сидит на ступеньках веранды и, перебирая струны старого пандури, думает какую-то свою думу.

Еще бабушка рассказывала мне, что в молодости Абдурахман был лучшим танцором в ауле и неплохо пел, играя себе на пандури. Когда он служил в партизанском отряде легендарного Атаева, его пандури был всегда с ним, висел за спиной рядом с винтовкой. Когда выпадали недолгие часы отдыха после жарких боев, Атаев слушал Абдурахмана. А нередко Абдурахман играл в походе, сидя в седле, и партизаны слушали его. Пандур в двух местах был пробит пулей, и дед еще давно заклеил эти места кожаными заплатками.

И теперь дед частенько снимал свой пандури со стены, усаживался на ступеньках веранды и, перебирая тонкие струны, негромко пел. Чаще всего это были грустные песни, и слова в них были какие-то печальные. Спев, дед сидел молча, опустив пандури на землю, и о чем-то думал. Но сейчас в его песне не было грусти, Абдурахман играл что-то бойкое, радостное, и, слушая его через открытое окно, я мысленно переносился в ту беззаботную довоенную пору, когда отец работал в поле, а я играл с мальчишками на гумне. Мне виделся наш тогдашний дом и мама, она готовит гуду из свежего творога, которое я так люблю. Я даже чувствовал его запах.

Я прислушался к словам. Дед пел о легендарном Хаджи-Мурате, о Шамиле, о том, какими храбрыми воинами были они, как любили они родные горы. Потом он запел о наших бойцах, как смело сражаются они против ненавистных фашистов.

Я выглянул на веранду. Бабушка Салтанат плакала, вытирая глаза кончиками платка. «Ненаглядный ты мой (это она о Хасбулате), и где ты теперь?»

Проснулась на сеновале и Хажа. Быстро спустилась по ступенькам на веранду, обняла бабушку Салтанат.

— Ой, бабушка пришла! А от кого письмо?

— От Хасбулата, внученька, — Салтанат опять всхлипнула. Хажа быстро пробежала глазами письмо, она очень хорошо читала, наверно лучше всех в классе.

— Так чего же ты плачешь, бабушка? Дядя Хасбулат жив и вот даже фотографию прислал.

— Ой, внученька. Тревожно мне за него, отчаянный он у нас, ох, отчаянный, — и вдруг бабушка с удивлением взглянула куда-то наверх и воскликнула:— Пришел! Смотри, Абдурахман, он пришел! — Она так радовалась, что мне на минуту даже показалось, что это Хасбулат появился где-то рядом. Я с удивлением обернулся и увидел, что на старом рассыпавшемся пне стоит наш беркут. Несколько дней назад он вдруг исчез из сторожки, и мы решили, что он уже больше никогда к нам не вернется. Наверно, думали мы, погиб где-нибудь в драке, или просто надоело ему жить в сторожке, и он улетел к своим собратьям. А он, поди же ты, вернулся.

Этот беркут был не обычный. Дедушка Абдурахман рассказывал, что беркут поселился у него еще прошлой весной. «Сижу, — рассказывал он, — как-то под вечер на веранде, играю себе тихонько на пандури, вдруг по земле вроде бы тень какая мелькнула. Поднял я голову, смотрю — беркут надо мной круги описывает, все ниже норовит спуститься. Смотри же ты, думаю, что бы это такое значило? Положил пандури на ступеньку, смотрю — беркут выше поднялся. Неужели, думаю, беркут музыку слушать спускался? Взял я в руки пандури, ударил погромче по струнам. Беркут опять ниже спустился, сел на землю, на меня серьезно так смотрит. И вдруг сделал прыжок ко мне. Ну, тут я понял: это ему музыка понравилась. С тех пор и повелось: стоит мне сесть на крыльце с пандури, как беркут словно из-под земли появляется. Сядет где-нибудь поблизости и замрет. Слушает. А потом и совсем у меня поселился. Может быть, когда-то он ручным был, вот и привык к музыке».

Мы потом тоже привыкли к беркуту, хотя и поглядывали на него с опаской, на его массивную, с острым изогнутым клювом голову и горящие хищные глаза.

Беркут ел мясо из рук деда, пил воду, налитую для него в деревянную тарелку.

Галбац сначала долго не хотел признавать крылатого пришельца, косо смотрел, когда тот прыжками разгуливал около дома, но потом с его пребыванием в сторожке смирился и перестал обращать на него внимание.

Хажа боялась, как бы беркут не убил ее туренка, но беркут даже не обратил внимания на ее любимца, когда тот доверчиво резвился около него. Казалось, беркута интересовали лишь дед и его музыка. «Старый он, как и я. Вот стариковская душа к стариковской и тянется»,— говорил мне дед, когда я огорчался, что беркут ничего не берет из моих рук. Этот беркут был очень гордый, любил, взлетев на старый пень, поглядывать вокруг себя — словно бы проверял, все ли в порядке в его доме. Птицы, завидев его, скрывались в деревьях, не решаясь петь. Когда дед ходил проверять лес, беркут летел с ним, словно охранял своего хозяина. Возвращались они вместе. Дед сядет на крыльце отдохнуть, и беркут тут же, недалеко от него устроится.

— Ну что, дорогой, устал наверно? — вытягивая свои длинные худые ноги, говорил дед. — Вот так и живем. Да уж скоро, видать, отходимся. Стары мы с тобой.

Беркут, будто понимая, спокойно сидел, поглядывая на деда то одним, то другим глазом. А когда дед уходил в дом, беркут, поднявшись высоко над сторожкой, летел в сторону гор, видно, охотился там. К вечеру он возвращался.

— Дедушка, разве беркут понимает тебя?— с удивлением спрашивала Хажа.

— А как же. Обязательно понимает. Какой ни на есть зверь, пусть даже самый страшный хищник, а как однажды с человеком подружится, так уж навсегда этой дружбе верен останется, без человечьей-то ласки не сможет жить.

И мы верили дедушкиным словам. А когда три дня назад беркут вдруг исчез, нам стало грустно, особенно деду. Он все смотрел в небо, несколько раз принимался играть на пандури, но беркут не появлялся.

— Наверно, погиб,— грустно говорил дед. И когда вдруг теперь беркут прилетел и уселся на своем привычном месте, дед очень обрадовался.— Посмотри-ка, Салтанат, никак, у него сбоку кровь запеклась.

Он встал, отложил пандури и подошел к беркуту.

— И в самом деле кровь. Так ты воевал, дружок? Зачем тебе в твои-то годы в драку лезть, сидел бы возле меня. Вот и я теперь не воюю. Прошло, говорят, твое время, Абдурахман. Ну-ка, дай посмотреть, что там у тебя. — Он приподнял крыло беркута.

— Ничего страшного, дружок. Рана, правда, загноилась немного, ну да ничего. Вылечим.— Дед принес из дома настойку из березовых почек и протер беркуту рану. Беркут виновато поглядывал на деда, переступая с одной лапы на другую.

— Ой, боюсь я его. Глаза-то вон так и сверкают. Смотри, Абдурахман, как бы он тебя клювом не ударил,— сказала Салтанат.

— Не ударит.

— Ну, да как знаешь, мне пора: кукурузу полоть надо, да теленок что-то захворал. Да и в саду работы невпроворот. Весна. Она, вон, не ждет. Знай только поспевай. А чуть за чем не углядишь, — и пропало. Вон вчера: речка чуть корову Загидат не унесла. У нас сейчас этот, глухой Абдула пасет, ну, и не углядел.— Салтанат загоропилась.— Ой, да чуть не забыла.— С письмом-то к Маседо как быть. Может, сам ей в горы отнесешь?

— Схожу сегодня. Мне все равно в те края надо: кто-то на днях здоровую сосну около харчимского берега срубил, очистил, бревно приготовил. Похоже, сегодня за этим бревном пожалует.

— Смотри, Абдурахман, из-за бревна не губи себя. Неровен час — нарвешься на какого подлеца. Немало их сейчас по дорогам ходит, дезертиров всяких. Злые они. Слыхала я тут, будто скоро конец придет колхозам, война-то вон куда зашла.

— Вранье это!— рассердился дед.— Кто это такие хабары разводит? А войне конец скоро. Это я тебе точно говорю.

— Дай-то, аллах, — вздохнула Салтанат. — Теперь чего только не наслушаешься. Ну пойду я, а письмо — на вот, отдай Маседо. Она, бедняжка, тоже, поди, ждет от него весточки.

— Бабушка Салтанат, давай мне письмо, я отнесу.— крикнула Хажа.— Мне давно хочется к Маседо сходить.

— Вай, девочка моя! Куда тебе через лес идти, не приведи, аллах, что случится. Не пускай их, Абдурах-

ман. Дети ведь еще,— она жалостливо посмотрела на Хажу, потом на меня.

— Ступай, Салтанат. Ничего с ними не случится. Иди. А мы тут что-нибудь придумаем.

7

Дедушка Абдурахман проводил нас до трех сосен-сестер. Три одинаково стройные красавицы сосны стояли почти вплотную одна к другой, словно сестрички. За ними начинался кустарник, через который тропинка вела прямо по скалам в горы.

— Поднимитесь к источнику, вниз не смотрите, шагайте только вперед, — глуховатым голосом говорил Абдурахман.

— Дедушка, ты за моим туренком присмотри, он, бедняжка, наверно будет скучать без меня.

— Ладно, ладно, присмотрю.

Мы с Хажей заторопились.

— Обратно-то этой же дорогой ступайте,— напутствовал нас дед.— Да не задерживайтесь. Письмо Маседо отдайте и айда домой.— Он долго смотрел нам вслед, стоя у сосен-сестер, и беркут парил над ним.

Вскоре мы с Хажей поднялись к источнику, названному когда-то Саратским. Рассказывают, будто однажды, еще в старые времена, через этот перевал девушку по имени Сарат вез богатый жених к себе в другой аул. Они ехали верхом на конях, и лицо невесты было закрыто шалью. Богач вез Сарат не по доброй воле: в родном ее ауле остался любимый, но родители не хотели выдавать дочь за бедняка. Когда кони добрались до источника, Сарат попросила у жениха разрешения напиться из родника родного аула. Сошла с коня, да и бросилась вниз со скалы: она предпочла умереть, чем быть с нелюбимым. С тех пор, говорят, и зовется этот источник Саратским. Вода в нем студеная, зубы стынут. Двумя глазками пробивается вода из скалы, звонко падая на камни.

— Это глаза Сарат, — сказала Хажа. — Говорят, с тех пор плачут они.

— Все это выдумки,— заявил я. — И никакой Сарат, наверно, не существовало. Источник как источник. И никакие это не глаза.

— Тебе, Султан, лишь бы поспорить. Всегда ты не веришь ничему. А мне вот бабушка говорила, что это

случилось, когда она еще девчонкой была. А Сарат была очень красивая, наверно, как твоя сестра Маседо.

— Ладно. Пошли. Да вниз не смотри, голова закружится, — сказал я, сам боясь взглянуть вниз, в пропасть. Тропинка вилась в скалах, время от времени она становилась такой узкой, что приходилось держаться за выступы. По этой тропе чабаны едут на конях в горы. При одной мысли об этом у меня слегка закружилась голова и пересохло в горле. Я вдруг представил, как наша Маседо скакала здесь ночью в аул, когда узнала о «черном» письме. Храбрая Маседо у нас.

— Знаешь,— болтала, не унимаясь, Хажа,— здесь однажды пастух вниз сорвался, его, говорят, так и не нашли.

— Да хватит тебе выдумывать,— наконец рассердился я. Мне и так было страшно, а она — со своими случаями. — Перестань болтать! — кричу я, боясь повернуться к ней. Она осторожно ступает следом за мной и болтает без умолку.— Дома так молчишь, а здесь разболталась, когда нельзя.

— Так я ж нарочно, чтоб дорога быстрее прошла,— едва слышно говорит Хажа. — Когда говоришь, не так страшно, — призналась она.

— Тогда про что-нибудь хорошее рассказывай, а то заладила — кто как упал, да кто шапку уронил.

— Хорошо, Султан, я не буду больше. Только ты не кричи, мне и так страшно, прямо дрожу вся. Дай руку...

Мне понравилось признание Хажи. Оказывается, и ей страшно.

— Маседо рассказывала, как здесь один пьяный чабан вниз сорвался,— сказал я, не замечая, что тоже начинаю говорить про страшное.

— А что, если навстречу нам кто-нибудь пойдет? — испуганно сказала Хажа.— Не разойдешься здесь. И в эту самую минуту послышался лай собак и крик чабанов.— Страх сразу прошел, а дорога, казалось, стала шире. Мы сделали еще несколько шагов, и перед нами открылась зеленеющая долина, будто мы неожиданно оказались на большой плоской крыше. Это и была стоянка чабанов. Поднимался к небу дым от костров — чабаны готовили завтрак. Кругом — отары овец. Долина пестрела цветами, а там, дальше, снова начинались горы, сверкали на солнце снежные вершины, оловянными струями текли из-под снега родниковые воды,

с шумом низвергаясь вниз, торопясь слиться в одну бурную реку. Над лениво бродящими овцами парили орлы, высматривая добычу — ягненка или горного фазана. Гнезда орлов — высоко в скалах, а сюда, в долину, они прилетают охотиться.

Усталые за ночь собаки, завидев нас, сначала лежали смирно, но, когда мы подошли совсем близко, вскочили было и залаяли. Но удаман Али прикрикнул на них, и они снова мирно улеглись на своих местах. Али держал за шею большого барана, а молодой чабан Хаджи-Мухамед забинтовывал барану ноги.

— Смотри-ка, кто к нам пожаловал, Хаджи-Мухамед, — улыбаясь, сказал Али. — Ну и ну. Добрались?— Он с удивлением разглядывал нас.

Еще не так давно, до войны, Хаджи-Мухамед вместе с нами, ребятами, играл на аульском гумне, он был старше меня лет на шесть. А теперь он чабанил вместо ушедшего на фронт отца.

Хаджи-Мухамед перевязывал барану ногу, а вид у него был недовольный.

— Надоело мне с этими баранами возиться. Уйду отсюда. На фронт поеду, — говорил он.

— Эка загнул. На фронт. Годами еще не вышел, — усмехнулся удаман Али. — Здесь тоже фронт, только трудовой.

— Трудовой... — ехидно протянул Хаджи-Мухамед. — Ни орденов, ни славы. А я хочу как Хасбулат воевать.

— Заладил — воевать да воевать. Тебя и в восемнадцать в армию не возьмут. Винтовку держать пальцы нужны.— У Хаджи-Мухамеда пальцы на правой руке были оторваны во время взрыва патрона. Когда это случилось, ему было лет десять. Где-то нашел он тогда старый патрон от охотничьей винтовки и ударил по нему камнем. Патрон неожиданно взорвался у него в руках, и с оторванными пальцами Хаджи прибежал домой. «Хорошо еще, что всю руку не оторвало, а то и совсем убить могло», — делая ему тогда перевязку, сказал врач.

— Раз овец стричь могу, значит, из винтовки тоже смогу стрелять,— упрямо твердил Хаджи-Мухамед. Видно, они не первый раз спорили на этот счет с Али, и удаману нравилось поддразнивать простодушного Хаджи-Мухамеда.

— Да тебя и по росту в армию не возьмут,— смеялся Али.— Вон какой длинный. В кавалерию-то уж точно не возьмут, ноги по земле будут волочиться. С такими длинными руками тебе только в пекарне работать, удобно хлебы в печь забрасывать. Нет уж, браток. Лучше уж тебе чабанить. Что? Правду я говорю, ребятки? — обратился он к нам.

— Верно. Еще раньше, когда в войну играли, мы из-за тебя проигрывали,— сказал я Хаджи-Мухамеду.— Отовсюду тебя видно было.

— Ха-ха-ха,— смеялся удаман Али. А Хаджи-Мухамед зло смотрел на меня и даже кулаком погрозил. Но я не обиделся на него. Мне вспомнилось, как раньше мы беззаботно играли в войну на аульском гумне. Хаджи еще тогда приклеивал усики, изображая Гитлера, а мы его ловили. Бабушка говорила, качая головой: «Не играли бы вы, деги, в войну, разве других игр мало».

Но мы не слушали ее. А когда действительно пришла война и стали приходить похоронные — мы больше в войну не играли...

Я засмотрелся, как Хаджи перевязывает ногу барашку. Барашек дергал ногами, стараясь вырваться,— наверно, ему было очень больно. Но Хаджи-Мухамед держал его крепко.

— Ой!— вскрикнула вдруг Хажа. Не успел я обернуться, как почувствовал удар сзади по мягкому месту. Я не удержался и упал, больно ударившись головой. Поднялся, чуть не плача от боли, смотрю с удивлением кругом: кто же это ударил меня из-за спины? И вижу: совсем рядом со мной — серый козел с огромными шишкастыми бровями. Стоит с воинственным видом: вот-вот снова бросится.

— Ах ты, проклятый! Опять из сарая вырвался, — закричал Хаджи-Мухамед.— Второй раз петли с двери срывает. Надо зарезать его.

— Что ты, Хаджи. Такого красавца и — зарезать, — возразил удаман Али. — Сколько лет здесь в вожаках ходит, и теперь вон другому места не хочет уступать. Вот и бесится от зависти. Хажа, отойди от него.

А Хажа стояла перед козлом и стыдила его.

— Ишь ты, злой какой! Чего на Султана набросился? Не стыдно? — А козел, нагнув голову, гордо пово-

дил рогами, бил копытом землю, и, казалось, вот-вот бросится на Хажу. В это время послышался стул копыт: со стороны гор вихрем скакал верховой. Козел замер на месте. А верховой, ловко спрыгнув с седла, подошел к нам. Только теперь я узнал Маседо. На ней была черная папаха, высокие сапоги, на плечах — черная бурка, из-под которой виднелась рукоятка отцовского кинжала с серебряной насечкой. Эта форма очень шла к ней. «Наша Маседо — настоящий джигит»,— с восхищением подумал я. Мне вдруг вспомнился день, когда провожали на фронт молодых чабанов. Они уезжали все вместе — Хасбулат, Омар и Салих. По всему аулу слышался тогда плач их матерей и сестер. Дед Абдурахман провожал чабанов вместе со всеми. «Деритесь храбро, джигиты, — помню, говорил он тогда. — Слава одного — весь род славит, и аул, и все горы наши, а позор лишь одного— для всех горцев позор».

Маседо стояла тогда в толпе аульских девушек и так же, как все они, молча подавала руку ехавшим на фронт чабанам. Я помню, как она покраснела, когда к ней подъехал Хасбулат. Мне вдруг показалось, что она закричит, заплачет, но она лишь молча пожала руку Хасбулата, с тоской поглядела вслед ему. Хасбулат на перевале повернул коня, последний раз помахал рукой. Я понял, что он прощается с Маседо.

В тот же день, придя домой, Маседо заявила матери, что едет чабанить в горы. Мама плакала, никак не хотела ее отпускать. «Женское ли это дело, дочка? Да и незамужняя ты, что люди говорить будут? — сердилась мама. — Виданное ли дело — одна среди мужчин!»

«Сейчас все мужские дела женщины делают,— отвечала ей Маседо.— В колхозе у нас совсем чабанов не осталось, инвалиды да старики чабанят. А я себя в обиду не дам, не волнуйся».— Маседо решительно надела отцовскую папаху и сняла со стены шашку.

Мама побежала к деду Абдурахману, чтобы он уговорил Маседо остаться дома, не уезжать в горы. Я увязался тогда за ней. «Отца дома нет, вот она и надумала,— жаловалась мама.— С мужчинами хочет чабанить. Хоть ты, Абдурахман, образумь ее», — плакала она. Дед Абдурахман молча выслушал маму, а потом взял ярлыгу [1] Хасбулата, подал маме и говорит: «На-ка

[1] Чабанская палка.

вот, передай Маседо. Да скажи ей, что одобряю ее решение. А о чести ее не беспокойся. Маседо — настоящая горянка и честь свою где хочешь сохранить сумеет».

Так и поехала Маседо в горы. Надела отцовскую бурку, пристегнула к ремню кинжал, вскочила на хромого коня, которого дал ей Абдурахман, и ускакала. Издали даже и не видно было, что конь хромает, так ловко скакала на нем моя сестра, любой джигит мог бы позавидовать ей.

И вот теперь, соскочив с того же хромавшего на правую ногу коня, она отогнала неподвижно стоявшего козла и подошла к нам. Козел гордо повел головой, словно удивился, кто это посмел согнать его с места, и взглянул на меня своими маленькими глазками. Ух, как я его ненавидел. «Хоть бы волк тебя разодрал,— с досадой подумал я.— Опозорил меня перед чабанами».

— Что ты носом шмыгаешь? Козел обидел? — улыбнулась мне Маседо.

— Кто ж еще! Мы и оглянуться не успели, как он к нему подлетел. Не козел, а шайтан, — сказал Али.

— Беда с этим козлом, — поддержал его и Хаджи-Мухамед.— И на чабанов бросается, и коз обижает. И отару чуть не погубил, повел к пропасти. А эти глупые бараны чабана так не слушаются, как его.

— Пошлем его в аул, пусть в заготовку сдают,— сказал Хаджи-Мухамед.

— Старый он стал, капризный,— сказал Али.— А бывало, один, без чабана отары водил. Однажды во время пурги отару к стоянке вывел. Тогда уж думали — пропали бараны... А он вывел. Хороший был вожак... Эх,— Али поднялся.

8

— Ну? Зачем пожаловали? — с улыбкой глядя на меня с Хажей, спросила Маседо. Но лицо у нее было встревоженное, я сразу заметил: наверно, волнуется, чувствует — мы принесли какое-то известие.

— Письмо вам, тетя Маседо,— сказала Хажа. Она достала конверт из-за пазухи, где бережно держала его, чтобы не помялась фотография, и протянула моей сестре. Я считал, что мне неудобно передавать сестре письмо от ее жениха. Маседо взяла письмо, и глаза ее, похожие на спелые вишни, радостно блеснули. Я не-

вольно залюбовался ее пушистыми темными ресницами, приподнявшимися, когда она читала, словно крылья ласточки. Очень красивая была наша Маседо. Нос у нее тонкий, с едва заметной горбинкой, губы словно спелые абрикосы, шея длинная, загорелая, а овал лица удивительно нежный.

Маседо читала, забыв обо всем на свете, не замечая больше ни нас, ни удамана, то улыбалась, то хмурилась.

А я глядел на нее и вспоминал почему-то тот день до войны, когда к нам пожаловал дед Абдурахман с председателем колхоза Мухамедханом. Они и раньше частенько заходили к нам, но в тот день они были не простыми гостями. Я почувствовал это по тому, как мать начала готовить праздничный хинкал, а меня послала в магазин за вином. Почувствовал я это и по смущенному виду Маседо, которая не выходила почему-то из своей комнаты, делая вид, что читает, а на самом деле все прислушивалась к чему-то, взволнованно глядела в стоявшее у стены зеркало.

Я с любопытством прислушивался к разговору, который вел с гостями отец. Сначала говорили об урожае, о трудоднях — мне это было не интересно, но я не уходил, чувствуя, что пришел Абдурахман с председателем не за тем, чтобы говорить о колхозных делах.

— Да...— вздохнул наконец, обращаясь к моему отцу, дед Абдурахман. — Не знаю, как и начать, дорогой Ислам. Хоть и не первый раз хожу по такому делу, а все не научился. Да и правду сказать — одно к другим ходил, а то к тебе. Люблю тебя с тех пор, как вместе партизанили с тобой в гражданскую войну, тогда ты вот каким голопузым мальчонкой был, и дом твой для меня родной. Вот и не хотелось бы из него уходить теперь как из чужого.

— Чего там тянуть, Абдурахман, говори сразу, с чем пришел,— подбодрил его председатель Мухамедхан. — Ислам — свой человек.

— Ах, нелегкое это дело, Мухамедхан, быть сватом своего любимого сына. Последний он у меня, — махнув рукой, сказал дед Абдурахман.— Так вот, Ислам, с чем мы к тебе пожаловали. У тебя — дочь, у меня — сын. Неплохо бы нам породниться. Хочешь, чтоб мой сын стал и твоим сыном и братом твоему сыну, отдай Маседо за него. Ну, а уж не отдашь,— тоже не обижусь. Такое

уж это дело — каждый поступает по своему желанию. Не зря говорят — коли собрался замуж дочку выдавать или сына женить, уйди, закройся за семью замками да обмозгуй все как следует. Тогда и решай. В таком деле просчет дорого может молодым обойтись,— ведь раз и навсегда семью создавать.

— Да ты, Абдурахман, настоящий дипломат, вон какую мораль развел,— засмеялся Мухамедхан.— Не в первый раз хожу с тобой сватом, да первый раз ты вдруг этак разговорился.

— Одно дело за чужого человека сватать, а другое — за своего,— проговорил Абдурахман.— Другим и соболезнование выразить легче, а вот когда тебе выражают, тут горе-то и почувствуешь по-настоящему.

— Ну вот... Что ты вдруг о соболезновании, когда мы пришли по такому, можно сказать, радостному делу: у тебя сын — орел, а у него дочь — красавица. Любой джигит счастлив будет жениться на ней. Что там говорить — достойная пара, — громко говорил Мухамедхан, наверно, специально для того, чтобы Маседо в другой комнате слышала.

— Какими бы хорошими они ни были, Мухамедхан,— сказал отец,— а судьбу их мы самовольно решать не вправе. Что до меня, то о лучшем зяте, чем Хасбулат, я и не мечтаю. Но коли дочке он не по душе, тут уж, пусть дорогой Абдурахман мне простит,— слова дать не могу.

— А без ее согласия мы и сами не желаем взять у тебя слова,— сказал Мухамедхан.— Да она дома, наверно, зови. Чего откладывать.

— Ой! — вырвалось у моей матери. — Да она при вас стесняться будет на такой вопрос отвечать.

— Чего ж ей стесняться. Девушка она самостоятельная, сама свою судьбу решать будет. Маседо! — крикнул он.

Маседо вошла тихо, опустив глаза. Щеки у нее горели.

— Вот какое дело, дочка, — начал Мухамедхан. — Хотим мы задать тебе один вопрос. Хочешь сейчас отвечай, хочешь потом, да только просим тебя — надолго не откладывай! Согласна ли ты выйти замуж за сына Абдурахмана — Хасбулата? Не стесняйся, прямо скажи.

Маседо подняла голову, посмотрела на отца, потом на Абдурахмана. Ох, как трудно было вымолвить одно

это слово, на носике у нее даже капельки пота выступили.

Мне вдруг показалось, что она скажет «нет» и убежит, но она сказала:

— Я согласна,— и вышла. Все облегченно вздохнули. «Спасибо, доченька», — крикнул ей вслед Абдурахман. Мама прослезилась, а Мухамедхан, поудобнее усевшись на диване, довольно сказал:

— Ну что ж, мои дорогие. Теперь не грех и выпить по одной. Дай, аллах, здоровья нашим детям. Пусть счастливы будут.

— Будьте счастливы, дети мои,— сказал Абдурахман и тоже выпил.

Маседо и Хасбулат должны были пожениться осенью сорок первого года. В нашем ауле свадьбы обычно играют осенью, когда весь урожай собран, а бараны откормлены. Проводив трудовой год, аульчане любят повеселиться. Был бы лишь предлог к этому. А уж где и повеселиться, как не на свадьбе.

Мать начала уже потихоньку шить для Маседо белое свадебное платье, готовить одеяла и кувшины. Шесть кувшинов, шесть одеял, шесть подушек — почему-то все у нас делают по шесть.

Дед Абдурахман тоже не терял времени даром: ремонтировал свой старый дом, стелил новые полы в двух комнатах, которые предназначались новобрачным. Одну из них моя мать и старая Салтанат даже измерили, чтобы заказать в размер ее ковер. Его должны были соткать к осени.

Я тоже с нетерпением ждал этого дня. Мне вообще нравилось повеселиться, погулять на свадьбах, а уж на свадьбе собственной сестры тем более. Я представлял, как соберется в нашем дворе чуть ли не весь аул. Как будет играть на своей знаменитой зурне Нурмагомед, как придут за моей сестрой друзья жениха. Но тем летом началась война, а с ней кончились и наши ожидания свадьбы. И теперь вот Хасбулат шлет Маседо письмо с фронта. «Интересно, что он там пишет? Может, о том, как ходил на разведку и взял «языка»? Или о том, как дрался один на один с фашистом? Это он, наш Хасбулат, может». Маседо опять улыбается чему-то, читая письмо, и тайком от нас смотрит на фотографию. Хажа, вот что значит девчонка, теребит Маседо за руку, просит показать фотографию. «Ну, с чего ты взя-

ла — никакой фотографии нет, — улыбаясь, говорит Маседо.— Ну, мне пора за отарой. Вы ступайте, а то дедушка волноваться будет».

— Уже домой?

— Пора, пора, Султан, к вечеру только доберетесь.

— Идите, ребятки, поживей. В горах ночью лучше не ходить, — сказал и удаман Али. — Нате-ка вот свежего сыра деду возьмите. Скажите — старый приятель салам шлет. Скоро, мол, война кончится, пойдем с ним на отдых. Сыновья вернутся, заменят нас.

Мы завернули душистый сыр в платок Хажи и нехотя отправились в обратный путь.

— Ступайте как пришли, иначе заблудитесь, тропинки пугаются,— крикнула вслед нам Маседо и поскакала к отарам.

— Ну вот и обратно отправили. А мне так хочется с ягнятами поиграть.

— Вот еще, — буркнул я. — Забыла того козла? Он так и ждал, чтобы опять на меня налететь. — Я почесал ушибленное место.

Тропинка бежала вдоль альпийских лугов. От аромата альпийских цветов немножко кружилась голова. Слышалось еще со стороны блеянье овец, крики чабанов, а издали, со стороны ущелья громыхали орудия — там шла война.

— Дедушка говорил, что скоро война кончится, и мой папа вернется,— сказала Хажа.

— А мы с мамой после войны обязательно найдем могилу отца, — проговорил я. — В том письме сказано, что она — в каком-то осетинском селе. — Мои слова заглушил шум моторов. Прямо над нами, сверкая на солнце, низко летели два самолета. Казалось, они вот-вот коснутся земли.

— Ой! — воскликнула Хажа. Она даже пригнулась. — Смотри, красные звезды на крыльях. Наши! Надо же — какие храбрые... Ой, Султан, как мне тоже хочется вот так летать.

— Где тебе! Девчонкам только телят пасти. А вот я, может, даже стану летчиком. Если захочу. Как Чкалов буду.

— А в аул тогда прилетишь?

— В наш?

— Ну да. В какой же? Возьмешь меня с собой?

— Сначала я буду воевать, а когда война кончится, тогда прилечу за тобой,— шмыгнув носом, сказал я.

— Скажешь тоже, — недоверчиво посмотрела на меня Хажа.— Ты ведь еще маленький, такой же, как я. Пока вырастешь, уж всех фашистов разгромят. И даже самого Гитлера повесят.

— Мне бабушка говорила, — сказал я, — что Гитлера посадят на осла задом наперед и повезут по всем аулам. Все будут плевать ему в лицо, а дети станут бросать в него камни. А уж потом его повесят.

— Ой! — воскликнула вдруг Хажа и прижалась ко мне.

— Ты чего?

— Посмотри, посмотри — они дерутся. — Хажа показывала рукой куда-то в сторону. Я обернулся. На скале дрались козлы. На какую-то минуту они отпрянули друг от друга, а потом вновь столкнулись, сшибаясь рогами. Далеко был слышен стук их рогов. Козлы яростно бились, стараясь сбросить один другого в пропасть, расходились и снова бросались в бой.

И тут вдруг я узнал в одном из них своего обидчика, того самого старого козла с шишкастыми бровями. Против него стоял высокий черный козел со скрученными рогами.

Мы подошли поближе к ним.

— Ой, они убьют друг друга. Надо их разнять,— зашептала Хажа.

А я стоял и с удовольствием смотрел на это зрелище. Я и раньше видел, как дрались козлы, но такой азартной драки еще не видел никогда. Сначала мне казалось, что серый одолевает черного, потому, что черный то и дело норовит уйти, а серый упорно его преследовал и опять бил рогами. Вот они стоят, скрестив рога, и налитые кровью глаза серого козла — мне его виднее — горят от злости. Вдруг черный сильным рывком отпрянул назад и нанес серому страшный удар. Серый с криком отлетел.

— Давай его, давай! — в азарте кричал я. Черный мне нравился все больше. Вот он снова бросился на моего обидчика, приподнялся на задние ноги и еще раз с налета ударил серого рогами. Тот не удержался и полетел в пропасть.

— Вай! — закричала Хажа. Тут, крича что-то, прибежал Хаджи-Мухамед, прискакала Маседэ.

— Вай! Погиб старый вожак,— вздохнула сестра.— Все твоя беспечность, Хаджи-Мухамед. Погубил старого козла,— ругала она молодого чабана.

— Старый да глупый, — шмыгнул носом Хаджи-Мухамед.— Сидел бы себе спокойно в стойле, а он — нет, прибежал к отаре и ну — нового вожака задирать. А новый не дурак — на глазах барашек позориться. Вот и сцепились.

— Чего ж ты вовремя драку не остановил? Ведь видел, как они к пропасти мчались, — ругала Хаджи сестра.

— Да надоел мне этот серый со своими капризами! Давно хотел его проучить. Только не думал, что этот новый так с ним разделается.

— Будешь отвечать перед правлением,— поворачивая коня, сказала Маседо.

— Я его, что ли, убил? Он сам на рожон лез, а мне отвечай! — сердился Хаджи-Мухамед. — Он от старости совсем из ума выжил, вот и лез ко всем. Сами за него отвечайте, а я вообще уйду. На фронт поеду! — он бросил ярыгу.

— Ну, ладно! — смягчилась Маседо. — Если надоело тебе пасти овец, иди к удаману и сдавай отару, а то отвечать будешь за каждую потерянную овцу. Эх, ты... Правда, говорят, непутевый,— уже ласково сказала сестра.— А вы что тут делаете? — прикрикнула она на нас.— А ну домой — живо! Видите, тучи какие.— И на самом деле на краях скал, откуда ни возьмись, застелился туман. Словно ночевал где-то в пещере, а теперь вот вылез и полез к вершинам. Маленькие облачка, сливаясь друг с другом, быстро росли и, поднимаясь, окутывали небо.

— Ой, пойдем скорее! Дождь скоро начнется, — дернула меня за руку Хажа.

— Это здесь в горах дождь будет, а внизу — ясно. Видишь! Бежим лучше посмотрим старого козла.

— Жалко мне его,— вздохнула Хажа.— А как мы туда спустимся?

— Я дорогу знаю. Еще давно с Хаджи-Мухамедом за крапивой туда ходил. Там у красных скал самые первые подснежники бывают.

— Ну пошли,— согласилась Хажа. Уж лучше бы она не соглашалась! Тогда бы мы не свернули к тому покрытому мелким кустарником ущелью, на дне кото-

рого бежит, далеко отбрасывая брызги, горная речка. Тогда бы мы не оказались там...

Держась за руки, мы спускались все ниже, к краю леса. За нами тянулись серые дождевые тучи. Они быстро бежали, гонимые ветром. Осторожно ступая, мы скоро очутились у самого края пропасти. Там лежал разбившийся серый козел, а над ним стояли две собаки. Нам показалось, что собаки рвали тело козла, стараясь оттащить его подальше к кустам. Мы вышли из-за камней и хотели уже было подойти ближе, как собаки подняли морды.

— Волки! — вырвался у меня крик. Мы стояли, боясь пошевелиться. Правда, мы находились выше их, и под ногами у нас были камни. Но ведь можно и промахнуться. А волки, обнажив клыки, уже шли прямо на нас. Их было трое: одного мы сначала не заметили. Те двое, которых мы заметили сразу, видно, не подпускали его к козлу, и теперь третий, улучив момент, бросился к своей жертве и вырвал большой кусок мяса. Тогда один из двоих побежал обратно к нему, а другой шел на нас.

— Ой! — прижалась ко мне Хажа. Она вся дрожала.

— Не кричи! Он поймет, что мы боимся,— шепнул я, тоже дрожа от страха. Волк подходил все ближе, в два прыжка может оказаться рядом с нами: убьет меня, потом Хажу,— от страха я весь вспотел. А Хажа лишь молча жалась ко мне.

Я схватил большой камень, и, размахнувшись, что было силы бросил в волка.

— Уходи! Ну!— Волк остановился в нерешительности. Но тут рядом с ним появился второй, а потом и третий.

— Ой, они окружают нас!— закрыв лицо руками, кричала Хажа.

— Бери камень! — крикнул я и сам схватил первый попавшийся мне под ноги. Я силился внушить себе храбрость, но коленки у меня так и дрожали. Вот первый волк с раскрытой пастью уже совсем близко. Говорят, когда волки неожиданно обнаруживают отару, они иногда забывают открыть пасть от растерянности и долго топчутся возле баранов, а не сразу задирают их. А вот когда они нападают с открытой пастью, каждый из них может задрать на ходу нескольких баранов. Вспомнив об этом, я снова схватил камень. «Ударю

прямо в открытую пасть». И тут вдруг раздался выстрел. Один из волков, перекувырнувшись через голову, с воем покатился по земле. Двое других бросились прочь.

Мы с Хажей растерянно оглянулись: из-за кустов вышел незнакомый мужчина в серой солдатской шинели, в пилотке, в кирзовых сапогах. Он был молодой, темное лицо заросло щетиной. Положив пистолет в кобуру, он, прихрамывая, подошел к нам.

— С волками воюете?

— Они чуть не убили нас,— ответила дрожащим голоском Хажа. Но она уже успокоилась.— Если бы не вы, дядя...

— Да уж, если бы не мой пистолет, туго бы вам пришлось. С камнями против волков не пойдешь,— сказал он, доставая кисет с табаком. — Кто же вы такие будете?

Мы сказали. Солдат прищурил зеленоватые глаза.

— А! Так, значит, знаменитого старика Абдурахмана внуки? Как же он отпустил вас одних в такую даль? Или удрали?

— Мы в горах, где отара, были. А там хотели на мертвого козла посмотреть... А вы кто, дядя?

— Солдат я... С фронта в отпуск еду. А зовут меня Серажутдин.

— Спасибо, дяда Серажутдин, — сказала Хажа, опасливо смотря в ту сторону, куда скрылись волки. — Хорошо, что у вас пистолет был. Они и вас могли задрать.

— Оружие мое надежное, подарок командира полка, — усмехнулся солдат.

— Можно я посмотрю?

— Посмотреть можно, а вог баловаться им не стоит.

Я взял в руки блестящий револьвер. На рукоятке было высечено: «Бойцу Серажутдину за храбрость. От комполка Майорского».

— Вы фашистов били? — спросил я.

— Фашистов да вот еще волков, — засмеялся он.

— А мой дядя Хасбулат тоже шестьдесят фрицев из своего пулемета уничтожил,— хвасталась Хажа.

— Хасбулат, говоришь? Это не младший ли брат Юсупа?

— Да... Юсуп — мой папа. А вы откуда их знаете?

— Ну и ну... Дочка, значит, Юсупа? А где ж их отец, знаменитый Абдурахман?

— Дедушка в лесу. Он нас сейчас дожидается. Пойдемте с нами, дядя Серажутдин,— пригласил я. Мне хотелось спросить его, не видел ли он на фронте моего отца, ведь на войне, говорят, из разных аулов люди встречаются, но солдат шел о чем-то задумавшись, опираясь на палку, и мне неловко стало его беспокоить расспросами.

Подходя к сторожке, мы еще издали увидели на тропке деда Абдурахмана. Он уже, наверно, начинал волноваться и вышел нам навстречу. Увидев с нами хромавшего солдата, он очень удивился и, приставив козырьком руку ко лбу, внимательно всматривался в Серажутдина.

— Ваалейкум салам,— отвечая на приветствие солдата, сказал Абдурахман и подал Серажутдину большую темную руку.

— Дедушка, дядя Серажутдин нас от волков спас, там, в ущелье. Они уже почти набросились на нас, а дядя выстрелил вот из этого своего ружья и убил их,— опередив меня, тараторила Хажа. Ух, и злился я на нее — мне самому не терпелось все рассказать дедушке, а она всегда вперед меня лезет. Я дернул ее за косу, и Хажа замолкла на полуслове.

— Там козел со скалы упал, а волки...— начал было я, но дедушке сейчас было не до моих рассказов: он пригласил хромого солдата в дом, подал ему подушку и, усадив у очага, подал всем нам дымившуюся уху.

— Да... вот ведь какие дела. Как же ты шел раненый? Отчего в госпиталь не лег?

— В город я торопился. Семья у меня там оставалась. Да не нашел там никого: в городе в это время голодно было, вот они и перебрались в аул. Сейчас вот туда направляюсь. Этой дорогой я не зря пошел: слово дал Юсупу — буду в его краях, родным от него привет передать.

— От сына моего, Юсупа, привет?— забеспокоился дед и ближе придвинулся к солдату. — Жив он?

— Я видел его живого.

— Аллах милостив! Как он там? Может, тоже ранен? — торопил солдата Абдурахман. — Шутка ли. До войны еще мы его со старухой на службу проводили, перед самой войной письмо получили, и все... не было больше ни слуху ни духу. Уж год как старуха моя извелась совсем. Где же ты видел-то его?

— В окружении, дед.

— В окружении? Вот как... Сынок, сынок... Сердцем чувствовал — не погиб... Живой, где ж сейчас-то он?

— Где сейчас, сказать затрудняюсь, дед. А встречался я с ним далеко отсюда, в Белорусских лесах. Там я до войны на границе служил. Немцы напали неожиданно, стали мы отступать. Я шел в паре с одним украинцем. Пробирались с ним лесом, болотами, набрели, наконец, на дом какого-то лесничего. Устали, дальше идти-то сил нет. Слышим, в доме голоса. И чтоб ты думал, дед, по-аварски ругаются. Я тут последние силы собрал, ворвался в дом. Вижу: сидят трое солдат и картошку едят. Руки вверх — кричат, чуть было не прикончили меня. А я им по-аварски: что, мол, черти, своих не узнаете? Тут твой Юсуп встал и меня обнимать. Сам обросший, грязный. Давно, видно, отступал. Ну, отдохнул я, сил поднабрался, говорю им: «Ну что ж, ребятки, не пристало нам, аварцам, тут сложа руки сидеть. Пробиваться к своим надо». Собрал я за три дня целый взвод, меня командиром выбрали, и мы двинулись. Да только недалеко ушли. Напали на немецкую заставу, нас — только взвод, а их — наверно, целый полк. Ну и взяли они нас в плен. Привели в лагерь. Русских — отдельно от нас, мусульман, посадили. Потом нас одному хозяину-немцу передали. Работайте, сказали, пока ваш Дагестан от большевиков не освободят. Ничего не поделаешь, дед, стали мы работать. Сыты, обуты, и ладно. Да и от войны подальше,— Серажутдин украдкой взглянул на Абдурахмана.— Да ведь душе неймется. Как-то говорю Юсупу: бежать надо. К своим пробиваться. А он меня уговаривает: сиди, мол, куда теперь бежать, у немцев — сила, скоро всю Россию захватят, а там и весь Дагестан. Зря, мол, только рисковать будем. Ну все-таки я его уломал. Ночью выбрались мы из барака, убили караульного и побежали полем к лесу. Там отсиделись немного и — дальше. Добрались эдак до железной дороги. Тут нас заметили и с той и с другой стороны. С одной немцы стреляют, с другой свои — партизаны. Юсуп меня ругает на чем свет стоит: все, говорит, из-за тебя, погибай теперь ни за что ни про что. Так, думаешь, говорит, нам партизаны и поверят, ежели живыми до них доберемся. Тут же к стенке и поставят. И зачем я только, дурак, тебя послушал? Добрались мы перебежками до леса, решили ждать ночи. Издали,

с той стороны, где партизаны, слышим, нас окликают то по-русски, то по-немецки: пароль спрашивают. Без пароля, мол, лучше не подходите. Мы что есть силы кричим: свои, мол, мы из плена бежим, а пароля не знаем. А нам в ответ: знаем мы таких. Давайте пароль или ни с места! Не имели, мол, права в плен сдаваться. Ну, Юсуп опять на меня напал: видишь, говорит, не поверят нам. А я ему — свое! Идем вперед, будь что будет. Расскажем им все, должны они понять. А он — ни в какую идти не хочет. Ну, говорю, смотри сам: я пойду и, коли жив останусь и доберусь до твоего аула, передам, что попросишь. Так мы и простились. Я побежал вперед, к партизанам, а он на месте остался. Ползу, а сам думаю: наверно, сейчас меня сзади Юсуп окликнет. Много так прополз, обернулся — нет его. Значит, думаю, остался все-таки. Вокруг меня пули свистят: партизаны стрельбу открыли, вот тут меня в ногу и ранили. Схватили, привели в штаб. Долго расспрашивали, поверили. А как поправился немного, опять на фронт пошел. Да опять не повезло: в ту же ногу немцы ранили, пришлось в госпитале отлеживаться. А комполка меня к награде представил и револьвер вот подарил, — Серажутдин опять украдкой взглянул на дедушку. Абдурахман сидел мрачный, ссутулившийся и молчал.

— Ну, а Юсупа так и не видел? — наконец спросил он, поморщившись. Глаза его глубоко запали, он устало прикрыл их рукой и тяжело вздохнул.

— Юсупа больше не видел. А вот обещание, данное ему, сдержал: иначе б вы меня здесь не видели. — Серажутдин глубоко затянулся дымом папиросы, продолжая внимательно смотреть на деда. — Ничего, дед, Юсуп везучий: верю, жив останется.

— Спасибо,— сказал дед и, сгорбившись, вышел, словно этот солдат принес ему «черное» письмо об Юсупе. Зато мы с Хажей все еще приставали к солдату.

— А сколько вы фашистов убили? — приставала Хажа.

— Фашисты тоже люди, и неглупые, они всякому там голову свою не подставляют,— отвечал Серажутдин.

— Дедушка говорил, что фашисты хуже зверей, они детей и стариков даже убивают, — недовольно сказал я. — Их уничтожать надо всех.

— Ну, конечно. А ты вот в лесу сидишь и даже вол-

ков и тех уничтожать не можешь,— с усмешкой сказал Сережутдин, сплевывая папиросу.

— Вот только вырасту, тогда им покажу,— сжав кулаки, сказал я.— Они моего отца убили...

— Да ну? Вот как,— прищурившись, сказал Сережутдин. Он почти не слушал, что я говорю, а внимательно разглядывал висевшие на стене пандури и винтовку деда.— А много людей из вашего аула убито?— спросил он.

Я насчитал больше десяти.

— Наверно, в ауле и мужчин теперь нет?— сказал Сережутдин.

— Одни старики да Хаджи-Мухамед, и он на фронт собирается, — сказала Хажа.

— Кто это — Хаджи-Мухамед? — спросил солдат.

— Да чабан. Длинный такой. У него на руках пальцев нет, вот его на фронт и не берут, — торопливо ответила, перебивая меня, Хажа.

— Без пальцев, говоришь?— засмеялся почему-то Сережутдин. — А до Килдиба отсюда далеко? — вдруг перестав смеяться, спросил он.

— Нет. Рядом, за рекой. Там тоже мужчин нет. Одни старики.

— Килдибские женщины как увидят чужих мужчин, так с крапивой нападают, — сказала Хажа. — А еще там сумасшедший Чупан живет. Смеется так: ха-ха-ха, громко, громко. И пляшет.

— Сумасшедший? — заинтересовался солдат.

— Ну да, конечно, — кивнула головой Хажа. — Говорят, он на фронт не хотел идти, все прятался, а потом с ума сошел.

— А-а... — неопределенно протянул Сережутдин.

Дедушка Абдурахман, тяжело ступая, поднялся на веранду за кисетом табака.

— Ну-ка вот, дед, попробуй мой,— сказал солдат, протягивая свой кисет.— Крепкий. Ты уж извини, дед, если я твой покой нарушил. Знал бы, не заходил.

— Да... не обрадовал ты меня. Трое у меня сыновей. Среднего убили, младший воюет как герой, а вот Юсуп — старший. Не ожидал я. Лучше б... — Он взглянул на Хажу и замолчал.

— А вы, дед, суровый... Сидя здесь, легко судить, а нам там нелегко доставалось,— недобро взглянув на деда, сказал солдат.

— На войне никогда легко не бывает... И я воевал. Две войны прошел. В империалистическую рядовым был, а как в аул вернулся — тут гражданская случилась. Измену и трусость мы не щадили. Враг — он есть враг.

— Небось и сам ты, дед, в те годы многих порубал? — прищурившись, спросил Серажутдин.

— Не считал. Некогда было.

— И тебя б, дед, не пощадили, если бы попался.

— Это уж конечно,— кивнул дедушка.— Со многими здешними богатеями были у меня в те годы счеты. Жил тут до революции один местный царек. Дарбишем звали. Богатый был. Своя харчевня, дом что дворец, а уж земли... Хоть и богатый был, а жадный. Как и все богачи. Был у нас с отцом тогда единственный конь. И вот как-то сорвись он с привязи да уйди за ворота. В самый раз на поле Дарбиша попал. Ну, потравил малость, густо там кукуруза росла. Работник Дарбиша коня поймал и запер у хозяина на конюшне. Я узнал, прихожу к Дарбишу, прошу отдать единственного коня, а за потраву осенью расплатиться. Да куда там. Дарбиш меня со двора палкой погнал. «Откуда, мол, у вас, босяков, деньги возьмутся. Вас самих надо в телегу запрячь». А коня не отдал. Что делать? Залез я ночью к нему в конюшню, нашел своего коня. А он избит так, едва двигается. Повел мутными от боли глазами, узнал меня и жалобно так заржал. У меня аж сердце закипело. Можно ли так животное мучить. Веду его к воротам, да тут дарбишевские работники на меня накинулись. Человек шесть. От злобы такая во мне сила взялась, разбросал их в две минуты как котят. А тут на крики их сам Дарбиш с сыном из дома выскочили. Сунул работнику здоровый мешок из-под кукурузы, тот его на меня и набросил. Остальные мерзавцы тут же навалились, связали. А Дарбиш еще сынка своего паршивенького такого науськивает: ну-ка, сынок, дай ему хворостиной как следует, так его, голодранца. Как волк волчонка учит. Ну, думаю, негодяй, жив останусь, лучше мне не попадайся. А ведь попался...

— Кто? — вздрогнув, вдруг спросил Серажутдин.

— А Дарбиш тот. Уж во время гражданской. Я тогда в партизаны ушел, за свою правду воевать. Немного нас еще тогда было вначале, но зато народ отчаянный. Вот как-то стою в карауле, вдруг вижу обоз: присмотрелся — точно Дарбиш на своем коне с серебряной

уздечкой. Рядом с ним сын на кобыле. А сзади — работнички баранов гонят. Видно, на базар. Выхожу им навстречу. Дарбиш узнал меня сразу и — за пистолет. А рука аж дрожит. «Ну,— говорю,— хозяин, не пора ли нам счеты свести?»— Дарбиш выстрелил, да промахнулся. А я и кинжала вынимать не стал, больно чести много было для него. Для такого и палка хороша. Свалил его с коня одним ударом. Пополз он по земле, прощения просит. А сына его, помню, Назиром звали, плачет, словно баба какая. Жалко мне его стало. «Ладно, говорю, ступайте, я лежачих не бью».

— Душно у вас что-то,— сказал Серажутдин, расстегнув пуговицы гимнастерки, и вышел.

Дед снял со стены пандури, и, присев на ступеньки веранды, тихо тронул струны. Раздался глухой жалобный звук, словно кто-то царапнул кору дерева. Дед играл свою самую грустную песню, и беркут, появившись вдруг невесть откуда, сидел на своем обычном месте и, грустно опустив голову, одним глазом внимательно смотрел на деда. Даже резвый туренок Хажи вдруг замер в углу сарая и мелко дрожал, печально глядя на нас. Может, вспомнил он дни, когда был вместе со своей матерью в стаде диких туров. А мы с Хажей тихо сидели, слушая грустную песню и боясь пошевелиться, чтобы не нарушить думы деда Абдурахмана.

9

К вечеру пошел мелкий дождь. В лесу рано смеркалось. Абдурахман, взяв кувшины, отправился к источнику: гостя полагалось угостить студеной водой. Вернулся он вместе с бабушкой Салтанат. Бабушка направлялась к нам в сторожку и встретила деда на тропинке. Оказывается, она уже знала, что у нас гостит солдат.

— Откуда же ты узнала, что у меня гость?— спрашивал ее удивленный Абдурахман.

— А вот и узнала, — подбоченясь, говорила бабушка.— Земля-то слухом полнится. Хаджи-Мухамед мне рассказал.

— Вот ведь какой,— покачал головой Абдурахман. — Просил его никому не говорить.

— И мне?

— И тебе.

Накануне вечером Хаджи-Мухамед заходил к нам проститься с Абдурахманом: он уезжал на фронт. Дедушка уговаривал его не торопиться: чабаны тоже сейчас очень нужны, но Хаджи не хотел ничего слушать. Он твердо решил ехать. «Я, дедушка Абдурахман, очень уважаю вас и всегда слушался, а вот на этот раз не могу. Не пустят на фронт, сам доберусь»,—горячо говорил Хаджи-Мухамед. Он с завистью смотрел на пистолет Серажутдина, на котором красовалась серебряная надпись.

— Что, солдат? Ведь, правда, доберусь? — приставал он к Серажутдину.

— Доберешься,— равнодушно отвегил тот, затягиваясь дымом.

От Хаджи-Мухамеда Салтанат и узнала о солдате.

Теперь, усевшись рядом с Серажутдином, бабушка донимала его расспросами: «Где ты его оставил? От меня, солдатик, ничего не скрывай. Мать все знать хочет». Но Серажутдину. видно, не хотелось больше рассказывать. Бабушке так и не удалось узнать от него больше того, что она узнала от Хаджи-Мухамеда. А самого главного не знал и тот: что Юсуп остался в плену, не захотел уйти к партизанам.

Я видел, как переживает дедушка Абдурахман. Он как-то сразу ссутулился, лицо у него потемнело, глаза глубоко запали.

— Что с тобой, Абдурахман?— допытывалась бабушка. — Чувствую, что-то скрываешь от меня, или заболел?

— С чего ты взяла?

— И воду вон все пьешь, словно горит у тебя что внутри. И куришь часто.

— Говорю тебе — из-за детей волновался. Понесла их нелегкая к ущелью, нет чтоб той же дорогой возвращаться, какой я велел. Хорошо, вот он подоспел, — дедушка кивнул в сторону Серажутдина.— Следующий раз — смотрите у меня,— кричал на нас дедушка. Но я-то знал, не о том он сейчас тревожится.

Прискакала и моя сестра. Увидев с порога сидевшего к ней спиной солдата, она сначала чуть было не вскрикнула от радости — наверно, подумала, что это Хасбулат вернулся, но, разглядев чужого, смутилась, робко подошла и подала руку: «С приездом!» И села в сторонке. Хажа подбежала к ней, обняла.

— Ой, Маседо, нас чуть волки не убили, — торопливо начала она.

— Недаром на душе у меня было неспокойно, как они ушли, — взволнованно говорила Маседо бабушке.— Словно сердце что недоброе чувствовало, места себе не находила. Не выдержала, отпросилась у удамана и — сюда. Как же вы так, а? — говорила она, прижимая к себе Хажу. Я хоть и очень любил сестру, но такие телячьи нежности презирал. Как и подобает настоящему мужчине, молча слушал, о чем говорят женщины.

Серажутдин то и дело взглядывал на Маседо, и по его толстым губам скользила едва заметная улыбка. Он щурил хитроватые зеленые глаза, пуская к потолку кольца сизого дыма.

— Я сначала подумал — какой-то джигит приехал, а вы оказывается, девушка, — сказал он, обращаясь к Маседо.

— Да, вот и девушкам теперь пришлось мужскую одежду носить да чабанить, чего только война не делает, — вмешалась бабушка.

— И то верно. А быстро немцы к нашим горам подошли,— сказал Серажутдин, затягиваясь папиросой.

— Быстрый дождь, быстро и перестает,— заявил дедушка, недовольно взглянув на Серажутдина. — Сюда, к горам, мы немцев не пустим.

— Слышала я — близко уж они, — сокрушенно вздохнула Салгачат.— Говоряг, Гитлер для Дагестана уж имама назначил и мюридов.

— Помолчи, Салганат,— дедушка уж совсем рассердился. — Где ты только такие хабары собираешь, хотел бы я знать. Видели мы этих имамов и мюридов. В двадцатых годах прочили нам найти одного такого имама. Да только поймали его наши в Чечне и убили как собаку.

— Уж и сказать ничего нельзя, — обиделась бабушка.— Не сама придумала, в газетах, говорят, напечатано.

— Напечатано...— буркнул дедушка. — Газету уметочи читать надо. И я читал. Да только совсем не то там сказано. А то, что, мол фашисты хотят заманить мусульман райскими обещаниями, сулят им всякие блага, независимость и имама. Да только, мол, нельзя верить этим лисьим хабарам. Конечно, что говорить — и у нас

В горах найдутся такие, кто бы хотел старые времена вернуть. Недобитое кулачье и наибские сынки. Они-то ждут не дождутся, когда колхозов не будет и фашисты расправятся с коммунистами. Да только таких раз-два и обчелся. О них и говорить нечего. А народ наш крепко за Советскую власть стоит.

— Эх, дед. Народ-то — он тоже разный, как деревья в густом лесу,— медленно сказал Серажутдин.

— Конечно, разный. Рядом с большим дубом, глядишь, и кривая сосна растет,— недовольно сказал дед и направился к выходу.

— Вот и я тоже говорю, — вмешалась было бабушка Салтанат, но дед строго взглянул на нее: — Не болтай, старуха, всякую ерунду.

— Вай! Опять я виновата. И молчу виновата, и говорю — виновата,— вздохнула вслед ему бабушка.— Ой, Маседо, чует сердце — о чем-то тревожится старый. Да только мне сказать не хочет. Вот и серчает. А все, наверно, из-за вас, пострелов, — погрозила она мне пальцем.— Ишь, вздумали — козла смотреть.

— Ну, мне пора,— сказала, надевая папаху, Маседо.

— Куда же ты в такую темень, дочка! — остановила ее бабушка.

— Нельзя, тетя Салтанат. Сейчас там каждый чабан на счету. В такую ночь волки не спят. Ну, до свиданья,— и она ловко вскочила в седло.

— Подождите. Я вас провожу,— крикнул, вставая Серажутдин.

— Спасибо, я сама доеду. А к нам в горы приходите, милости просим. Расскажете, как там на фронте. Удаман Али будет доволен.— Маседо ехала не торопясь, и Серажутдин, прихрамывая, шел рядом, взяв коня под уздцы.

— Что это солдат-то? Никак, за нашей Маседо ухаживает? А ты сидишь, старик,— недовольно сказала вслед им бабушка. — О чем они там говорят?

— Помолчи, старая, — отрезал дед Абдурахман. — Не такая наша Маседо, чтоб Хасбулата на такого вот променять. Постыдись, чего придумала: Маседо подозревать.

— Да и не подозреваю я... Сказать ничего нельзя. Думаю, может, об Юсупе он что ей расскажет. Что от нас скрывал.

— Ничего он больше не расскажет. Что знал, то уж сказал...

— Ну и девушка, — возвращаясь, говорил Сержутдин, щуря зеленоватые глаза.— Прямо джигит. Одна в такую ночь поскакала. Имя такое странное у нее — Маседо.

— Сына моего невеста,— поджав губы, сообщила бабушка, ставя на стол дымящийся хинкал.— У меня все невестки хорошие.

— Маседо наша — молодец, — сказал, усаживаясь за стол, дедушка. — А Маседо — значит золотая.

— А почему, дедушка, ее так назвали? — вдруг заинтересовалась Хажа.

— Э, внученька, это целая история.

— Дедушка, расскажи,— приставали мы с Хажей. — Какая история?

Сержутдин, зевая, отсел к окну, а мы с Хажей примостились около дедушки.

— Ну так и быть, расскажу, — сказал он. — Да только после этого сразу спать. Договорились?—Он устало прикрыл глаза ладонью, словно вспоминая.— В двадцатые годы партизанили мы в горах, за новую власть воевали. Были мы в одном отряде с Исламом, отцом Маседо. Твоим отцом,— дедушка прижал меня к себе. — Ислам тогда еще почти совсем мальчонкой был. Вот однажды днем прискакал к нам в отряд верховой. В бурке, в папахе, на поясе кинжал. Смотрим, никак не поймем — неужто Салим? Разведчик наш. Как же так? Ведь погиб он, сами хоронили. А может, думаем, брат его? Уж очень похож. Да нет, говорят, у него брата. Двое их у матери было: он, Салим, да сестра, годом его младше. Кто такой, спрашиваем? А он — ведите меня к командиру. Что ж, привели к командиру. А похожий на Салима — вдруг папаху долой. Тут мы и ахнули: косы из-под нее упали, да по плечам и рассыпались. Вот оно что: джигит-то девушка. Командир нахмурился: «Мы женщин в отряд не берем». А она на своем стоит: «Возьмите, я должна отомстить за брата. Лучше мне в отряде воевать, чем одной. А домой, не отомстив, я не вернусь». Командир головой качает: «Милая девушка, не женское это дело — воевать. Дни у нас сейчас горячие: некогда сабли в ножны ставить, некогда винтовки охладить. Куда тебе в такое пекло. Вижу: и на коне хорошо сидишь, и оружие держать

умеешь, да только все равно — не место тебе среди мужчин». Тогда девушка взглянула в небо, увидела высоко парящего ястреба и выстрелила. Да так точно: ястреб прямо к ногам командира упал. «А теперь, говорит, пусть кто-нибудь из твоих джигитов выходит со мной на саблях драться».

Командир долго смотрел на красивое лицо девушки и наконец спросил: «И откуда ты взялась такая? Как твое имя?» — «Маседо»,— отвечает. «Маседо? — удивился командир. — Золотая, значит? Не ошиблись, наверно, когда тебе такое имя давали. Ну, что ж, джигиты, — обратился он к нам, — возьмем Маседо в наш отряд?» Мы, конечно, хором: «Возьмем!» Очень нам всем она понравилась. Такая красивая и такая храбрая. Каждый из нас старался понравиться Маседо, отличиться в бою, чтоб командир похвалил перед девушкой.

Был у нас в отряде один такой Билал. С виду красивый парень, но уж очень болтливый. Что и говорить: умел зубы заговаривать, такое сочинит — ребята и уши развесят. Да только поганый оказался человек. Тогда-то мы этого не знали. Так вот, стал я замечать: этот Билал все возле Маседо крутится, всякими хабарами ее развлекает. Эх, думаю, жаль, если она свое сердце этому Билалу отдаст, не нравился он мне. Мало разве, думал я, настоящих ребят в отряде.

Маседо часто ходила в разведку. Брата своего она действительно заменила: тот тоже был разведчик бесстрашный. И никогда, бывало, с пустыми руками не вернется. Ценные сведения приносила. Однажды трудно нам пришлось: засели мы в ущелье в окружении банд Гоцинского. Надо было срочно пробраться в другой отряд, просить его командира прийти нам на помощь. Вызвалась идти Маседо. Ехать надо было по горной дороге над пропастью, другие пути были отрезаны солдатами Гоцинского. Выехала Маседо ночью. Одолела самый опасный участок дороги, проскочила незамеченной. В долине увидела чабанов, стороживших отару. Собаки, почуяв неожиданного верхового, насторожились, залаяли. Чабаны удивились: кого это несет в такую пору? Не шайтан ли? А Маседо прямо к ним: «Асалам алейкум! Принимаете гостей?» — «Ваалейкум салам,— отвечают ей чабаны.— Спина гнется у тех, кто не любит гостя. Грейся, нам огня не жалко. И места

на траве хватит, а дом у тебя с собой»,— показали они на ее бурку. «Спасибо, но ночевать не могу. Тороплюсь,— ответил верховой, то есть наша Маседо.— Лучше, земляки, скажите, как мне добраться до Верхнего Коло?» Чабаны переглянулись. «А кто ты такой?— спрашивают.— Не знаем, стоит ли тебе дорогу показывать на Коло».—«Неужели не узнают? Это хорошо. Значит, и враги не узнают», и Маседо сняла папаху. Чабаны так и ахнули: «Это же наша Маседо!» Стали они уговаривать ее подождать до утра. «Утром проводим тебя». Но Маседо не согласилась, до утра надо было добраться до хутора, где стоял отряд. Чабаны только головами покачали: разве уговоришь Маседо. «Осторожней поезжай,— напутствовали они,— пропасть там впереди. Не сорвись. А как до нижнего хутора доберешься, скачи быстрей вперед. Там — бандиты Гоцинского стоят».

В пропасть Маседо не сорвалась, но из нижнего хутора вырваться ей не удалось, уже рассветало, и караул Гоцинского заметил всадника. И тут бы не узнали ее, если б не тот самый Билал. Три дня назад перед тем, после боя возле Унцукуля, исчез он: думали мы, что погиб, а он, оказывается, перебежал к Гоцинскому, который в свое время послал его к нам лазутчиком. Когда Маседо привели в штаб, Билал сразу узнал ее. Сам вызвался допрашивать. Но Маседо лишь плюнула ему в лицо и не сказала ни слова. Тогда он расстрелял ее на берегу Койсу. Думал, что никто из нас не узнает о смерти Маседо. Да только совсем скоро нам все стало известно. Вскоре судили мы этого шакала суровым революционным судом. А Маседо осталась у нас в сердцах. Вот и отец твой,— сказал, обращаясь ко мне, дедушка, — назвал твою сестру в честь ее — Маседо — золотая, значит.

* * *

Есть у меня одна проклятая привычка: утром чуть свет, когда особенно хочется спать, просыпаюсь я по малой нужде. Лег до семи, помню, мама, бывало ругала меня, когда я делал свое дело прямо в постели. Тогда сквозь сон мне казалось, будто стою я на полянке, где никого нет, и отправляю свою нужду. До сих пор помню, как что-то теплое пробегало по телу, и просыпался я только тогда, когда лежал весь мокрый. Но уже до того мне не хотелось вставать, что заодно я при-

пускал и еще, да так и лежал, притворяясь спящим, пока не подсыхал матрац. Стыдно мне было за свою слабость.

И долго еще со мной это случалось. И вот теперь, живя в сторожке деда Абдурахмана, я больше всего боялся этой своей привычки. Вдруг проснусь, а постель вся мокрая. Со стыда сгоришь перед Хажей. Вот от этого-то страха я и вскакивал здесь каждый раз чуть свет, как от выстрела.

И в тот день так же вот проснулся. Смотрю, и Серажутдин не спит, рукой под подушкой у себя шарит. Убедился, наверно, что пистолет на месте (я видел, как он его туда с вечера положил), успокоился, опять лег. А я потихоньку вышел во двор и думаю: отчего это он так рано вскочил и вид у него испуганный. Может, на войне привык вот так, озираясь, от взрывов просыпаться. И теперь, наверно, ему показалось, что он на войне. А когда увидел, что в сторожке и все кругом спят, и уснул. Решив, что, наверно, так оно и есть, я вернулся в комнату, пролез под одеяло, но уснуть больше не мог. Скоро за окном рассвело, запели первые птицы, и встала бабушка. Она всегда вставала раньше всех, когда ночевала в сторожке, хотя дедушка и ворчал на нее. «Чего тебе здесь-то не спится, старая,— говорил он обычно.— Ведь тут ни коровы нет, ни двор чистить не надо. Спи себе». Но бабушка только рукой махнет: «Не могу я утром долго спать, не привыкла». И находила себе работу: чистила кастрюли или тихо разговаривала сама с собою, пряла нитки или ходила за водой к источнику. Вот и в тот день она, как обычно, встала рано, зажгла огонь в очаге и, поставив кастрюлю, вышла. Вслед за ней вышел и дедушка.

— Что-то тебе не спится, старый? И ночь всю ворочался, — глядя на деда, спросила бабушка. — Или тревога какая?

— Теперь спокойных нет. Время не то,— ответил дед.

— Ох, Абдурахман. Всю-то жизнь я в тревоге прожила: то ты партизанил, не знала, дождусь ли, то вот теперь сыны воюют, покою и нет. От Юсупа-то ничего нет, ни письмеца.

— Иди-ка лучше, Салтанат, вари хинкал. Мясо, что осталось, все положи. Гостя кормить надо.

В это время во двор вышел и сам гость.

— Эх, хорошо тут у вас,— потягиваясь, сказал Серажутдин. — Недельку бы в такой тишине отдохнуть.

— Да и живи, милый, отдыхай, — сказала бабушка. — Оставайся хоть месяц, потешь стариков.

— И то правда, отдыхай, — сказал и дедушка. — Сегодня вот на охоту пойду. Дичь будет.

— Хотелось бы, да надо домой поторапливаться. Хоть мать у меня не родная, радоваться мне не будет, да все-таки.

— Вот и оставайся, — повторила приглашение бабушка. — Жены-то у тебя нет?

— Не успел, мамаша. Я ведь еще до войны в армию уехал, как и ваш Юсуп, думал вернусь, после службы свадьбу сыграю. И невеста у меня была, красивая, вроде вашей Маседо.

— А что ж с ней?

— Да не дождалась. В письмах-то ждать обещала, в любви клялась, а как война началась, и года не ждала. За какого-то лейтенанта вышла.

— Да...— покачала головой бабушка.— Да ты не горюй, сынок, теперь девушек-то красивых много останется без женихов...

* * *

Серажутдин второй день гостил у нас в сторожке. Днем бабушка Салтанат ушла в аул, а мы с Хажей собрались в лес за ягодами. С нами вызвался пойти и Серажутдин.

— Пойду-ка я, пожалуй, с вами. Давненько в горной речке не купался. А вы купаетесь?

— Я купаюсь, а Хажа боится, — с независимым видом ответил я.

Незаметно подошли мы к речке. После ночного дождя вода помутнела, камешки на дне едва виднелись.

— Знаете, здесь вода какая вкусная. Попробуйте,— сказал я солдату.

— Мутная она.

— Это ничего. Все равно вкусная,— я зачерпнул ладонями воду и стал пить.

Вдруг тишину нарушил знакомый крик: «Га-га-га... Ха-ха-ха-ха»,— это был сумасшедший Чупан.

— Ой, опять здесь он, — испуганно сказала Хажа и прижала к себе увязавшегося за ними туренка, —

каждый раз сюда теперь приходит. Чего ему только надо?

— Кто это?— удивленно подняв брови, спросил Сеpажутдин.

— Да сумасшедший тут один. Чупан,— сказал я.— Хажа его боится.

— Да... Он в меня камнями бросает и кричит как Тарзан.

— Интересно было бы на него взглянуть, — сказал Сеpажутдин.

— Он теперь сюда за водой ходит для чабанов, — сказал я, показав рукой на водопад, куда чабаны иногда гоняли отары на водопой.

— Он в нашу Маседо влюблен, вот ей воду и таскает, — заявила Хажа.

— Ха-ха-ха, — рассмеялся Сеpажутдин. — И она его любит?

— Что вы! Очень он ей нужен. Сумасшедший. Она — невеста нашего Хасбулата,— гордо заявила Хажа...

«Га-га-га... ха-ха-ха»— снова услышали мы.

— Ой, он совсем близко. Давайте мы с Султаном спрячемся, а вы ему навстречу ступайте, — предложила Хажа.— Вас он не тронет, он мужчин боится. А как кого с винтовкой увидит, прямо весь дрожит. Вы его не бойтесь, у него только борода страшная.

Мы с Хажей спрятались за выступ скалы, так что Чупан нас не видел, а Сеpажутдин пошел ему навстречу. Прыгая как козел по ступенькам в скале, Чупан с кувшином в руках направлялся к водопаду. В отверстие скалы нам он был хорошо виден. Вот сумасшедший поднял голову и вдруг заметил Сеpажутдина. Кувшин застыл у него в руке, он замолчал и какую-то минуту стоял неподвижно, а горящие как угли глаза его внимательно смотрели на солдата. Черная борода шевелилась на ветру. Он был босиком, в одной рубашке.

— Назир!— вдруг негромко сказал он и, бросив кувшин, шагнул к Сеpажутдину.

— Что этот дурак кричит? Птицу, что ли какую увидел?— громко крикнул нам Сеpажутдин.

Мы вышли из своего укрытия, а Чупан вдруг запрыгал, заулыбался.

— Да, да, птица! Птица! Вон она! — кричит он, показывая куда-то рукой, где никакой птицы не было. Зато совсем с другой стороны стрелой вылетел из тра-

вы горный фазан. Сержутдин выхватил револьвер и выстрелил. Птица, перевернувшись в воздухе, косо начала падать вниз. В этот момент из-за выступа скалы показалась Маседо. Наверно, она и спугнула фазана.

— Эй, дурак, беги, притащи фазана, а не то — вот это видел? — Сержутдин потряс пистолетом.

— Сейчас, сейчас, я больше не буду кричать,— заторопился, улыбаясь, Чупан.

— Зачем вы его так? — подходя, упрекнула Маседо. Она была без бурки, в свитере и шароварах. — Он ведь безобидный. Сошел с ума, а злые языки говорят про него всякое: будто не хотел на фронт идти. Только я в это не верю. Он услужливый и нам, чабанам, помогает как может.

— Шайтан с ним, этим твоим дураком, — положив револьвер в кобуру, сказал, усмехаясь чему-то, Сержутдин.— Пусть красавице чабану воду таскает.

Маседо покраснела. Сержутдин, взяв из рук Чупана фазана, передал его Маседо.

— Это вам в подарок.

Маседо взяла фазана, посмотрела на подбитую красивую птицу. Шея была прострелена умело, голова висела на коже.

— Жаль ее, птенцы, наверно, в гнезде остались, — сказала Маседо.

— Вот не знал, что вы такая жалостливая.— Сержутдин облизал толстые губы и, прищурив зеленоватые глаза, усмехнулся.— А ваши глазки разве мало джигитов ранили? Вот их пожалеть стоит.

— Скажете тоже, — недовольно пробормотала Маседо.— Хажа, возьми фазана, пусть бабушка хинкал сварит.— Она взяла кувшин, наполнила его водой и собралась уходить.

— А вы хинкала побольше варите, вечером в гости к вам нагрянем, — крикнул вслед ей Сержутдин. — А ты что, дурак, рот разинул, — прикрикнул он на Чупана,— ступай помоги девушка воду через скалу перенести.

— Я сейчас, ха-ха-ха, — гримасничая, запрыгал Чупан.

— Я тут покупаюсь, а вы идите в лес за ягодами, — громко сказал нам Сержутдин. — Да на меня не оглядывайтесь, купаться буду в чем мать родила. Как оденусь, крикну вам.

— А когда Меседо безо всего купалась, я караулила, — начала было Хажа, но я резко дернул ее за косу.

— Ты чего? — чуть не плача, захныкала она.

— Болтать научилась, как бабушка Салтанат.

— А ты зато ворчишь, как дедушка.

Незаметно мы подошли к лесу. Хажа юркнула под куст.

— Ой, смотри-ка. Наверно, здесь гнездо фазана было... яички тут.

— Теперь фазаньи яйца есть нельзя, в них уже птенцы растут. Идем ягоды собирать.

— А солдат злой какой-то. Правда? — вдруг сказала Хажа.

— Солдаты все злые бывают, они ведь с фашистами воюют.

— Но тут же нет фашистов... И зачем он фазана убил...

Мы дошли до серых скал. У подножья их росли могучие сосны, а выше стелился мелкий ельник. В выступах скал было полным-полно кисло-сладких ягод с черно-синим отливом.

— Иди сюда, тут ягод полно,— крикнул я.

— У тебя уж губы черные, — смеялась, глядя на меня Хажа.

— А у самой, у самой-то, — дразнил я ее.

— Ой! — вдруг вскрикнула Хажа и отскочила в сторону. Чуть ли не из-под ее ног вылетел орел и взмыл в небо. — Может, тут гнездо его? — в испуге спросила Хажа.

— Давай посмотрим. — Я начал осторожно спускаться.

— Тут же пещера, — крикнул я. Только подойдя вплотную, можно было заметить вход в пещеру: он был прикрыт большим, хорошо обтесанным камнем. Словно кто-то нарочно обтесал его и пригнал к скале так, что он как навес прикрывал вход в пещеру. Я обошел камень и заглянул внутрь пещеры. Она была очень широкая.— Там что-то лежит,— сказал я, не осмеливаясь войти внутрь один.

— Пойдем посмотрим.

Хажа спрыгнула ко мне и, присев на колени, тоже заглянула в пещеру.

— Вай! — воскликнула она, точь-в-точь как бабушка. — Тут можно целую отару спрятать! А помнишь,

нам дедушка как-то рассказывал о пещере в серых скалах? — сказала вдруг Хажа.— Он еще тогда партизаном был и в ней скрывался с раненым другом. А враги прошли рядом и их не заметили.

— Наверно, это та самая пещера,— тоже вспомнив рассказ деда, взволнованно сказал я.

— Вай! Сюда кто-то идет! — Хажа испуганно прижалась ко мне. Я поднял голову, боясь увидеть идущего прямо на нас льва или рысь, чувствуя, что какой-то зверь стоит за спиной и притаился, увидев нас. И как же я обрадовался, увидев удивленно смотревшего через кусты нашего туренка.

— Это же он! — крикнул я.

— Кто? — испугалась Хажа.— Ой, туренок, хороший мой. Зачем ты прибежал? — А туренок подошел, потерся о плечо Хажи и как ни в чем не бывало зашел было в пещеру.— Не ходи туда! — Хажа изо всех сил держала рвавшегося туренка, но тот уже прогуливался по пещере, и вдруг под копытами у него что-то звякнуло.

— Банка какая-то, — сказал я, заглядывая в пещеру. Держась за мою руку, туда вошла и Хажа. Она подняла банку. Это была консервная банка, ко дну которой прилип еще свежий кусок мяса.— Смотри-ка. Кто-то недавно открыл. Наверно, орел мясо и доедал здесь. А мы его спугнули.

— Ой! — дернула меня за руку Хажа. — Там лежит кто-то в глубине. — Мы прошли глубже в пещеру. Под брезентовым покрывалом лежало что-то твердое. Мы сдернули брезент. В ящике аккуратно сложенные лежали бинокли.

— Чье это?

— Не знаю.

— Давай уйдем. Скорее. Скажем дяде Серажутдину. Может, он знает.

— Я один бинокль возьму. — Мне не хотелось уходить с пустыми руками.

— Не надо. Пойдем скорей,— волновалась Хажа.

— А может, тут склад у шпионов? — предположил я. — Помнишь, учительница рассказывала, как...

— Вай, вай, пошли скорей, Султан.— Она дернула за собой туренка.

Я взял бинокль, и мы вышли. Поднялись на скалу, все смотрим вокруг — не следит ли кто за нами. За каждым кустиком нам что-то мерещится. Поднявшись

на вершину скалы, мы немного успокоились: тут, если кто и идет — видно, и кричать отсюда лучше. Хотя если и кричать, ни дедушка, ни Маседо нас отсюда не услышат, не услышит и Серажутдин. Он далеко остался. Приставил я к глазам бинокль и посмотрел туда, где речка. Сначала ничего не увидел, одни круги. Я повращал стекло. Вот уже что-то можно различить. Деревья, трава, а вон и речка... А вот и Серажутдин. Но только что это? Он сидит с Чупаном. И они о чем-то говорят. Чупан не гримасничает как обычно, а понимающе кивает Серажутдину головой. Я, не отрываясь, смотрел в бинокль. Теперь я уже хорошо пригляделся к тем, кто сидел у реки. Они говорили, близко нагнувшись друг к другу, как давние знакомые. Серажутдин протянул Чупану руку, и тот, встав, торопливо зашагал в сторону своего аула. Серажутдин разул ноги и опустил их в воду, значит, он и не думал купаться, просто обманул нас...

— Что ты там так долго смотришь? Дай и мне,— дернула меня за рукав Хажа.

— Пошли скорее к дедушке, — заторопился я.

— Зачем? Мы же обещали Серажутдину вместе вернуться.

— К нему идти нельзя. Пошли, потом объясню. — Мне хотелось как можно скорей рассказать обо всем увиденном дедушке.— Ты знаешь, как отсюда быстрей до сторожки дойти?

— Через сосен-сестер...

— Бежим, — схватил я ее за руку.

— Да не тащи меня. Не туда, вот сюда...

Дедушка сидел на веранде и заряжал ружье.

— А где же солдат? Вы вроде б вместе ушли,— увидев нас, спросил дедушка.

— Дедушка, что мы нашли, — начала было Хажа, но я перебил ее и рассказал все, что увидел в бинокль. Удивленная Хажа во все глаза смотрела на меня.

— Вот оно что. Сразу он мне не понравился. И знакомое вроде что-то в лице есть, а не припомню никак.

— Дедушка, Чупан его сразу узнал и окликнул. А мы думали он птицу зовет так.

— Как? — насторожился дедушка.

— Ой, никак не вспомню, — наморщив лоб, силилась припомнить Хажа.

— Он крикнул — Назар,— выпалил я

— Назар? Назар... — дедушка встал. — Гм... Назир! Вот как, наверно?

— Правильно, дедушка, Назир! Назир, — обрадовавшись тому, что вспомнила, закричала Хажа.

— Так... Вот откуда я его знаю. Ах, подлец. И об Юсупе врал.

— Что об Юсупе? — не понимая, встревожилась бабушка. — Солдатик об Юсупе что-нибудь говорил еще?

— Солдатик.... Никакой он не солдат, — глаза у дедушки потемнели,— хуже отца оказался. Продался...

— Кто продался-то, Абдурахман? Объясни, ради аллаха, — причитала бабушка

— С Юсупом он, конечно, встретился, — вслух рассуждал сам с собой дедушка. — Встретился, окаянный. Может, и в плену. Да только знаю — сын мой Родине не изменит, в жилах его моя кровь течет. Может, этот подлец и убил его.

— Абдурахман, скажи мне, ради аллаха, жив Юсуп? — перебила его бабушка.

— Это, Салтанат, мы у того гостя спросим, а пока на губах замок повесь. А то все дело погубим. Давай, неси посылку.

— Какую посылку?

— Ты же хотела Хасбулату посылку послать. Вот я сейчас и пойду, сдам ее в райцентре на почту. Ну, дети, никому ни слова. Ступайте, следите за пещерой. Смотрите, осторожней. Он не пощадит, если узнает, что обнаружен. Лучше б, если вы бинокль там оставили. Ну да что теперь делать.

— Я ему говорила,— надо положить,— начала было Хажа.

— Ну ладно. Спрячьте бинокль, чтоб он его не видел. Придет, спросит, где я, скажите посылку в райцентр понес.

10

— Ой, Султан, я устала, — жаловалась Хажа. Мы сидели на огромной сосне и, раздвинув ветки, наблюдали за пещерой, по очереди глядя в бинокль. Прошло уж, наверно, больше четырех часов, а около пещеры так никто и не появлялся.

— Может, и не придет никто. А мы тут сидим, сидим, — вздохнула Хажа.

— Придет, — уверенно сказал я. — Там точно шпионы скрываются. Дедушка же сказал, что бинокль не наш, заграничный. А тот ящик, наверно, рация. По ней шпионы всякие сведения передают.

— А если он придет, что мы будем делать?

— Следить за ним.

— А если он ящик возьмет и пойдет?

— Следом пойдем. — Я переложил бинокль в другую руку и уселся поудобнее.

— А вдруг он нас заметит?

— Не заметит. Замолчи.

Хажа вздохнула.

— Есть как хочется. Бабушка, наверно, уже хинкал сварила...

— Ну, ступай к бабушке,— разозлился я. У меня самого все в животе подвело от голода, а она — о хинкале.

— Я боюсь одна идти.

— Тогда молчи. — А сам подумал: как бы бабушка не сказала Сержутдину, если он придет в сторожку, что в лесу появился какой-то шпион. Тогда он сразу все поймет и может даже убить бабушку. Но об этом я не сказал Хаже.

— Ой, — вскрикнула Хажа. — Руки устали держаться, не могу больше.

Пришлось спуститься вниз отдохнуть.

— Все-таки ты зря бинокль взял. Может, пока мы дома были, шпион уже приходил в пещеру и заметил, что там кто-то был.

— Если бы я бинокль не взял, мы бы и не знали сейчас ничего.— А сам подумал: «Может, и в самом деле лучше положить бинокль? Вряд ли шпион уже приходил. Тогда он придет и будет спокойно себе сидеть в пещере. За это время приедут из райцентра и его поймают. А если он теперь вот придет и уйдет, куда мы за ним пойдем? Да и стемнеет скоро. Как же быть? Пожалуй, лучше всего положить бинокль обратно. И скорее, пока не поздно».

— Бежим в пещеру! — шепнул я Хаже.

— Зачем?

— Надо положить бинокль.

— Ой, Султан. А вдруг он придет, когда мы класть будем.

— Я пойду один. А ты будешь сидеть в кустах

и наблюдать кругом. Если кто появится, сразу свистнешь, и я убегу.

Хаже понравилось мое предложение, но, когда мы уже почти подошли к пещере, она заявила:

— Давай пойдем вместе в пещеру, положим и убежим, а то я боюсь здесь одна стоять.— Что с ней поделаешь.— Идем, никого вроде не видно.

Стало уже темнеть. Я вошел в пещеру, за мной — Хажа. Смотрим — где же ящик? Он ведь почти у самого входа стоял?

— Может, он дальше? — говорит Хажа. В темноте я лишь слышу ее голос.

— Нет, он точно тут был, — шарю я руками. И вдруг совсем рядом слышу тяжелые шаги.— Хажа! — кричу я, но в этот момент что-то тяжелое стукнуло меня по голове, и я упал.

— Султан! — словно сквозь сон слышу голос Хажи. Она плачет и трясет меня за плечи. — Султан! Вставай скорей! Нас закрыли.

— Что? — не понимаю я. — Что закрыли? — Я стараюсь поднять голову, но она словно свинцом налита.

— Вход в пещеру завалили!

Глаза уже привыкли к темноте. Сквозь щели заваленного камнем входа сочился слабый свет. Я пополз к входу, ощупал его руками: всюду неподвижный камень.

— Они тот камень-навес взорвали и завалили вход,— плача, сказала Хажа.— Что теперь нам делать?

— Тихо! — шепнул я. Хоть в голове у меня все еще гудело, я отчетливо услышал разговор у входа в пещеру. Приложил ухо к щели. Голос Серажутдина я узнал сразу. Вторым, наверно, был Чупан, но его голос узнать было нелегко.

— Лучше дождаться, когда стемнеет. Да и отдохнуть надо. До утра горы перевалим, — говорил Серажутдин. — По разным дорогам пойдем. Вместе нельзя. Сюда я шел с одним. Так нас заметили. Едва открутился.

— С кем шел?

— Да из местных бывших. Кажется, только притворялся нашим. Сомнение меня взяло, в ущелье его прикончил. Да и ты хорош. Чуть не выдал меня при первой встрече: «Назир, Назир»,— передразнил он Чупана.

— Я ж не знал, что они рядом. Обрадовался тебе.

От радости и обалдел. Думаешь, легко сумасшедшим притворяться. Эх, устал я... Сколько раз к врачам таскали. Я все смеюсь да танцую. А сам думаю: долго ли еще ждать-то? Когда ж немец наконец сюда придет? Эх, устал я. Во, где у меня злость к этим Советам сидит. Как отца в двадцать седьмом раскулачили, так как есть все поотнимали. И сегодня помню, как их мать моя проклинала. Потом — что ж, ничего не поделаешь. Ты вот там был, а я здесь. Пришлось от отца родного отказаться да в колхоз пойти. Да ждать своего часа. Когда тут наш объявился да сказал — тебя ждать надо, я сумасшедшим и заделался. Не то б на фронт упекли. Не дождался б тебя. Мстить, мстить надо. Они вон мои поля пашут, с моих баранов шерсть стригут, а я сижу и сделать ничего не могу. Эх, устал я. Все надежда — придут немцы, новую власть установят. Стану наибом. Маседо в жены возьму... Красавица. Хоть и не из наших, да ничего. Кнутом-то дурь выбью, как женой станет.

— О-о! У тебя аппетит неплохой! — усмехнулся Серажутдин.— У нее, говорят, жених — коммунист. И не робкого десятка.

— Немецкая пуля его достанет! А не то и здесь прикончим. Сила-то еще есть, а? Как я сегодня старика-то свалил. А он здесь когда-то силачем считался.

— Здоров был старик. У меня с ним свои счеты. Вчера едва сдержался, когда он о моем отце рассказывал. Едва не выстрелил в него. Ну, думаю, подожди, рассчитаюсь скоро и за себя и за отца. Вот и рассчитались. Как он сегодня в район-то спешил... О нас сообщить хотел. «Куда, спрашиваю, торопишься, дед?» А он ласково так: «В район посылку несу». Ну, тут я его к пропасти тесню, не пускаю. Попался, старый черт. Догадался он, не окажись ты рядом — не осилить бы мне его. Еще силен был.

— Да, повезло тебе, что вас я увидел. Не зря бежал.

— Спасибо тебе. Ловко ты его в спину толкнул. Как думаешь — готов он? Или, может, жив, старый черт.

— Куда там! Пропасть-то какая! Оттуда никто не возвращается. Если и река его не унесла, то кто его там найдет. Будь спокоен. А теперь и эти попались. Поорут да перестанут, — слышно было, как Чупан сплюнул.

— Пригодился мой динамит. Думал, так и брошу без дела,— сказал Серажутдин.— Теперь в чеченские леса надо двигать. Позже сюда придем и заберем все.

— Одни?

— Почему одни. С десантом. Место тут — в самый раз. Плохо, что быстро сматываться приходится — надо бы людей надежных в ауле подыскать. Чтобы десант встречали.

— Тут, брат, таких нет. Здесь другая сила нужна.

— Ничего, придет время — в железный кулак их зажмем. Немецкие оккупационные власти опорой нам будут. Тогда не одна Маседо будет у тебя и у меня... А она, между прочим, не из робких.

— Мне такие нравятся.

— Она, видно, жалеет тебя. Даже защищать стала передо мной. Действительно дурачком тебя считает.

— Ничего, полюбит, — убежденно заявил Чупан.

— Ну, пора уходить.

Хажа, прижавшись ко мне, плакала. На какую-то минуту она замолчала, прислушиваясь к разговору, а потом снова начинала всхлипывать. А я, прильнув к щели, прислушивался изо всех сил, хоть и очень болела голова, а звон в ушах не проходил. Камень в щели нагрелся от моего дыхания.

— Кричи, пусть они нас выпустят,— всхлипывая, дергала меня за руку Хажа.

— Так они и выпустят, — я опять прильнул к щели.

— Смотри-ка, Назир, добыча к нам сама идет,— услышал я голос Чупана.

— Да это туренок той девчонки. Пристрелить его надо, а то по нему найдут этих щенков. Он за девчонкой как тень гоняется. Нет, не стреляй, ножом... Вот так.

Видно, он броском ножа убил туренка, слышен был лишь хриплый крик и шум падения.

— Ловко ты его, — сказал Чупан. — Захватим его с собой, в дороге жрать нужно.

— Что там? — спрашивала меня сквозь слезы Хажа, но я не ответил ей.

После их ухода мне вдруг стало еще страшней. Я вспомнил песню бабушки о молодом чабане, который погиб в пещере вместе со своей отарой. Он укрылся там от града, а скала обвалилась и закрыла ему выход. Два дня пел чабан, надеясь, что кто-нибудь услышит его. А на третий голос его охрип, а голодные бараны

стали есть друг у друга шерсть. На третий день, говорилось в песне, ничего уже не слышно было из пещеры. Чабана с отарой нашли, но было уже поздно. Когда я слушал эту песню, мне всегда бывало грустно и жалко молодого чабана.

А теперь вот мы сами закрыты в пещере, и никто не слышит нас. Помню, когда умирала бабушка, она велела поднять ее. Положили ей под спину подушки, и она немного приподнялась, словно сидела. «Ты зачем так?» — спросил я тогда. «А вот смерть придет, увидит, что я сижу, да, может, обратно и уйдет, подумает: есть еще у бабушки силенки». А нас никто и не поднимет даже. Мама будет искать нас в лесу и на речке, подумает, что мы утонули... и дедушку Абдурахмана они убили. Он-то знал, где эта пещера и нашел бы нас. «Дедушка, дедушка...» — чуть не плача, думал я.

— Что нам делать? — всхлипывая, говорила Хажа.— Ну придумай что-нибудь.

А что тут придумаешь. Кричи — не кричи, все равно никого рядом нет.

— Слышишь, что-то шумит, — говорит Хажа.

— Это река. Кто сюда ночью пойдет. Тут и днем-то никого не бывает.— Я думал, как бы мне немного успокоить Хажу.

— Помнишь,— говорю я,— как в сказке «Али-баба и сорок разбойников» есть какие-то слова? Скажешь их — и двери в скале откроются.

— Помню. «Сим-сим, открой ворота»,— всхлипнув, сказала Хажа. Она перестала плакать и немного успокоилась. А я мучительно вспоминал какую-нибудь сказку, чтобы рассказать Хаже, но как назло в голову ничего не приходило.

— Слышишь? Кто-то идет, — опять сказала Хажа.

— Это деревья от ветра скрипят. К дождю.

Вдруг за стеной отчетливо послышался чей-то стон и хрип. Я прильнул к щели. Теперь ясно слышалось глухое урчанье какого-то большого зверя.

— Хажа! Там зверь огромный! — обернувшись, крикнул я.

— Какой?

Зверь заревел громко, протяжно.

— Медведь! — Хажа схватила меня за руку, и мы притаились у стенки пещеры. И вдруг огромная каменная глыба, закрывавшая нам выход, откатилась, и мед-

ведь, с диким ревом ринулся в пещеру и упал около нас. Еще не совсем понимая, что произошло, мы бросились бежать. У входа чуть не поскользнулись на луже крови. Наверно, медведь был ранен и пришел умирать в пещеру. Этим и спас нас. Но об этом мы подумали позже, а тогда, держась за руки, мы мчались без оглядки к стоянке чабанов. Не чувствуя боли от ударов о камни, забыв об осторожности, мы неслись по тропинкам, по которым и днем нелегко пробираться. Маленький тусклый серп месяца не мог осветить дорогу, да и он то и дело скрывался за тучами.

Громкий лай собак у стоянки чабанов заставил нас наконец остановиться. Одна из собак, очень похожая на моего Галбаца, прямо так и подлетела к нам.

— Алмас, ко мне! — услышали мы голос Маседо.— Кто там? — крикнула она в темноту.

— Это мы! — ответил я.

Только теперь Маседо разглядела нас.

— Откуда вы? Что случилось?

— Убежали шпионы... В пещере закрыли нас,— торопливо начала Хажа.

— Какие шпионы? Где?

Я все рассказал.

Маседо заторопилась. Приведя нас в хижину чабанов, она сняла со стены кинжал, накинула бурку. Винтовка была у нее в руках. Быстро вышла и привела коня. На шум подошел удаман Али.

— Что это вы в такой час? Может, с дедушкой что случилось? — встревожился он.

— В ауле враги, Али. Тот хромой солдат — совсем не солдат, — Маседо быстро седлала коня. — А Чупан — с ним заодно. Не сумасшедший он вовсе. Я догоню их,— она вскочила в седло.

— Маседо! Остановись! Я сам! — кричал удаман Али, но стук копыт все удалялся, и скоро Маседо скрылась из вида.

— Ну и девушка! Джигит! Ну-ка, молодцы, возьмите мою ярыгу, айда к отаре, помогите старикам, в такую ночь волки не дремлют. И надо же было и этому Хаджи-Мухамеду уйти с гор.

— А вы куда, дядя Али? — спросила Хажа.

— Пойду сообщить в район. Абдурахман-то где?

— Они его в пропасть сбросили. В Адскую долину,— едва сдерживая слезы, сказал я.

— Ах, негодяи, и на старика руку подняли. Ну, ничего, они от нее не уйдут.

Мы до утра стояли у отары, помогая старым чабанам, Гусейну и Кади. Уставшая Хажа уснула в бурке деда Гусейна. Она вскрикивала и вздрагивала во сне. А я все бегал вокруг отары, и в мыслях гонялся вместе с Маседо за шпионами. То настигал их возле перевала и стрелял в них, то они стреляли в меня.

Едва дождавшись рассвета, я разбудил Хажу, и мы заторопились в сторожку, к бабушке. «Вдруг шпионы и ее убили?» — беспокойно думал я, но Хаже ничего не сказал.

Подойдя к нашей сторожке, мы с удивлением остановились. Возле нее стояло несколько оседланных коней, а за столом, окружив бабушку, сидели вооруженные люди в гражданской одежде. Бабушка плакала, сокрушенно качая головой: «Вай, вай, беда-то какая...» Увидев нас, она привстала.

— Ненаглядные вы мои. Хоть вы-то живы...— и снова расплакалась.

— Дядя, надо скорей шпионов ловить. Они там, за перевалом, — взволнованно заговорила Хажа.

— Их поймали, дочка. Ночью поймали,— успокоил ее высокий седой военный.

— А Маседо где? — спросил я. Только тут я с тревогой заметил ее хромого коня, привязанного к старому дубу. Со рта у него медленно стекала белая пена.

— Маседо в больнице. Молодец она, и вы молодцы, — сказал седой военный.

— Вай! Невестушка моя! — плакала бабушка Салтанат. — Беда-то какая!

— Расскажите, как их поймали? — попросила Хажа у седого военного.

И он рассказал нам о том, что произошло ночью.

Зная, что враги постараются перевалить до рассвета за горы, Маседо поскакала наперерез им к горному перевалу через ущелье. Дорога шла краем пропасти. Маседо не ошиблась. Непрошеные гости, усталые, с тяжелой ношей, на рассвете поднялись к перевалу. При тусклом свете Маседо хорошо разглядела их: впереди шел Чупан, а сзади хромой «солдат». Они тоже заметили верхового, остановились.

— Ни с места, стрелять буду! — крикнула Маседо. Только тут они узнали ее.

— А, это ты, Маседо? Не ждали тебя здесь в такой час, — сказал как можно спокойнее хромой.

— Это она меня поджидает! Ха-ха-ха! Бери свои вещи, я тебе не грузчик,— он бросил мешок хромому. — Вот моя хозяйка! Ха-ха-ха, — смеялся Чупан, приближаясь к Маседо. — Я за водой пойду. Хинкал будем варить, ха-ха-ха.

— Назад, мерзавец! Назад, говорю! — крикнула Маседо, направляя на него дуло винтовки.— Давно было пора раскусить тебя! Ну, ничего, я тебя не выпущу.

— Ты, Маседо, добрая, красивая. Вспомни, как я воду тебе таскал, — он подходил все ближе. Еще шаг — и он бросится на нее. Маседо выстрелила. Чупан, вскрикнув, упал. И в этот момент Назир бросил нож. Удар пришелся Маседо в грудь, под сердце. Она выронила винтовку и, выдернув нож, толкнула ногой коня. Опешивший было конь рванул и стрелой помчался по перевалу. Над плечом Маседо пролетела пуля. Стрелял хромой лишь раз, видно боялся выстрелом обнаружить себя. Очевидно, был уверен, что и та рана для Маседо смертельна. А она, зажимая одной рукой рану, другой держась за уздечку, — все погоняла коня. Торопилась, боясь, что враг уйдет. Конь принес ее в аул Килдиб. Маседо толкнула калитку первого же дома. Из дома выскочила женщина — вдова солдата. Теряя сознание, Маседо успела сообщить ей, что перевал переходит враг. Та велела дочери помочь девушке, а сама побежала к председателю сельского Совета. Тот быстро собрал старых партизан, и они направились к перевалу. Но их уже опередил оперативный отряд района. Али уже успел все сообщить. Назира окружили и поймали...

А Маседо лежала в сельской больнице. Сердце не было задето, но она потеряла много крови. Так сказал дежуривший около нее врач.

— Состояние у нее пока тяжелое, — сказал седой военный.

— Отвезите меня скорей к ней,— волновался я.— Пусть у меня кровь для нее возьмут.

— Там и без твоей крови обойдутся,— сказал военный.— Сейчас тебя отвезут к Маседо. А теперь вспомни-ка, что эти двое,— он имел в виду Назира и Чупана,— говорили о дедушке Абдурахмане?

Я рассказывал, а бабушка плакала.

— Бедный мой, и похоронить-то тебя не смогу, косточек твоих не соберу... Вай, беда-то какая...

Плакала и Хажа. Не будь здесь посторонних, я бы, наверно, не сдержался, но сейчас я крепился изо всех сил. Наш дедушка Абдурахман и теперь бы десятерых таких, как Чупан и Назир, уложил, если б они его не перехитрили... Я все пытался представить, как дедушка лежит мертвым, и никак не мог.

— Ой, смотрите, наш беркут! — крикнула вдруг Хажа. Все посмотрели в ту сторону, куда она показывала. Старый беркут медленно летел над лесом.

— Наш беркут! Наш беркут! — радостно кричала Хажа.

— Смотрите-ка, у него что-то в клюве зажато, — сказал седой военный.

Но беркут, сделав несколько кругов над нами и видя столько незнакомых людей, не стал спускаться во двор, а полетел к скале и, сев там, глядел на нас. Я бросился в комнату и вынес пандури. Вот когда я пожалел, что не умею играть на нем. Военные удивленно смотрели на меня.

— Что-то ты не вовремя играть собрался, — сказал мне один из них.

— Он прилетит сюда, если пандур услышит,— объяснила за меня Хажа.

— Вот оно что,— седой военный взял пандури у меня из рук.

— Играйте, он и спустится,— вытирая глаза, сказала и бабушка Салтанат.

Седой военный уверенно провел по струнам, и мне вдруг почудилось — будто дедушка Абдурахман сидит, как обычно, на своем любимом месте на веранде и перебирает струны. Беркут, услышав музыку, покосился в нашу сторону, поднялся в воздух и стал спускаться к нам. Сел на крыше, и теперь все хорошо видели кусок белой окровавленной материи у него в клюве.

— Да это, оказывается, не простой беркут,— сказал седой военный.— Он, кажется, известие принес. Только вот как его достать?

— Можно я возьму? — вскочила Хажа. — Только вы играйте, а то он улетит.— Она ловко вскарабкалась на крышу, что-то ласково говоря беркуту. Тот косил на нее глазом и не улетал. Хажа тихо подошла к нему, продолжая ласково говорить с ним. Беркут переступил но-

гами, словно устраивался поудобнее, и опустил белый кусок материи. Схватив его, Хажа быстро спустилась к нам. Это оказался кусок рубахи дедушки Абдурахмана. На ней кровью дедушка писал, что находится между белыми камнями в Адской долине и не может двигаться. Буквы, написанные кровью, были огромные и шли вкось: видно, рука у дедушки дрожала.

Через час дедушку привезли в сторожку. Все тело у него было разбито о камни, а правая нога сломана. Оказывается, он упал в бурный поток. От холодной воды к нему вернулось сознание и, зацепившись за бревно, взобрался на маленький островок, лег между камней, не в силах двигаться. «Смотрел я, — рассказывал дедушка,— на небо, на облака, думал — в последний раз. Но не хотелось умирать, не узнав, пойман ли враг. Как дать о себе знать? Тут, думаю, промеж камней и не увидит меня никто. Вдруг вижу в небе беркута. Не мой ли, думаю, знакомый? А, может, это Азраил летит в образе беркута душу мою забрать? Ну, ему-то думаю, не покажу, что ослаб. Собрался с духом да хотел песню запеть. А из груди — один хрип, да и только. А беркут, гляжу, все ниже спускается. Смотрю — точно, мой беркут. Обрадовался я ему. А он сидит, на меня смотрит. Тут я и сообразил. Отодрал от рубахи клочок, царапнул об камень палец, да и кровью написал. И что бы вы думали? Понял меня мой беркут. Клочок в клюве зажал и полетел...

Вот и кончилась эта история. Маседо так и не смогли спасти, рана была слишком глубокой. Похоронили ее на сельском кладбище, и Хасбулат, вернувшись с фронта Героем Советского Союза, посадил на ее могиле вишню. Каждой весной стоит она в белом убранстве, словно невеста. Десять лет спустя, когда у Хасбулата родилась дочь, он дал ей имя Маседо, а родившегося через год сына назвал Абдурахманом. Дедушка Абдурахман умер уже после войны, прожив почти сто лет. И сейчас его помнят в горах, а знаменитый его пандури бережно хранит сын.

Все это я вспомнил, встретив маленького Абдурахмана на узкой сельской улице. Загорелый, радостный, он вихрем помчался дальше, а мне хотелось крикнуть вслед ему: «Счастливой тебе жизни, мальчик, расти таким, каким был твой дед...»



МАГДИЛАВ

— Надо напоить коня,— сказал шофер, показывая на горячий пар, идущий из радиатора. Был жаркий июльский день, солнце стояло в самом зените, когда мы доехали до Кахибского моста.

— Не помешало бы и самим подкрепиться, — ответил я, доставая дорожную сумку.

Мы выбрали чудесное прохладное место в тени у речки. Вдруг я услышал знакомый хохот школьного друга Амирхана — дорожного мастера. Его заразительных смех, заставляющий улыбнуться даже самого сердитого Гаруна в ауле, я узнал сразу. Сидел он у подпорки моста, в тени, в кругу нескольких мужчин, и обедал. Я был в нерешительности: подойти к нему сейчас или подождать. Но Амирхан заметил меня и, продолжая смеяться, вскочил и направился ко мне. За ним встал и Надирбег — его я тоже узнал, как только он поднялся. Низенький, с большим горбатым носом, в комбинезоне.

— А что этот «карапузик» тут делает? — спросил я после обычного приветствия Амирхана, кивая головой

в сторону Надирбега. Мы в школе так и называли его — «карапузик» и даже однажды предложили растянуть его, как ахальчинцы бревно. Если бревно не доставало от одного конца стенки до другого при строительстве дома, ахальчинцы опускали его в воду на сутки, потом брались за оба конца и начинали тянуть в разные стороны. Но Надирбег на шутки не обижался.

— Он инженер-электрик,— ответил мне Амирхан.— Вот тянет электропровод в горные аулы из Гергебиля, высоковольтную линию, чтобы в самых отдаленных уголках гор, в каждой сакле горели лампочки Ильича... Большим человеком стал «карапузик»!..

— Кто большим стал, кто маленьким остался, потом разберемся, пошли пообедаем с нами, — потянул меня Надирбег и, сложив руки трубкой у рта, закричал, обращаясь к высоким скалам, склонившимся над рекой: — Магдилав! Ва, Магдилав! Сходи вниз, шайтан!

Тут я заметил на выступе высокой скалы столбик, а на макушке его человека. Он, видимо, прикреплял стеклянные изоляторы, через которые будут тянуть провода.

— Какая высота! Как он не боится? — удивился я.— Сорвись оттуда, костей не соберешь.

— Магдилав не сорвется. У них род такой — не боится высоты,— ответил гордо Надирбег.— Говорят, его прадед, тоже Магдилав, был большой, как утес, а лазил по скалам, как горный тур. Даже орлы завидовали ему. Видал у красного моста скала — высокая, гладкая, так там он снял мед диких пчел! А когда войска Надиршаха ворвались в горы, он спустился с такой горы, чтобы разрушить мост — преградить врагу дорогу. Вот каким был Магдилав — восконосный.

— Восконосный? Что это значит?

— О, друг, это целая история. Кстати, тебе она пригодилась бы. Загляни в новый аул Гондох. Он теперь в степи, недалеко от Махачкалы. Старики расскажут тебе о Магдилаве...

Через два месяца я был в степном поселке, построенном недавно Гондохе, по случаю «Праздника черешни». Я вспомнил тот утес у Кахибского моста в скалах и рассказ Надирбега о восконосном Магдилаве и начал расспрашивать стариков. После я побывал в горах, в старых сторожевых башнях, построенных горцами на высотах, чтобы в случае опасности зажечь огонь — сообщить

о приближении врага. Я как бы шел по следам Магдилава. И вот, дорогой читатель, что я услышал и узнал о нем.

I

Единственный сын мельника из Гондоха Магдилав (отца его звали Магди, а сына Махмуд, но все его звали просто Магдилав, что означает по-аварски — сын Магди) в тот осенний день 1735 года возвращался с кородинского базара, на который собирались люди со всей Аварии, а также из соседних с Аварией мест. Цудахарцы (даргины), кази-кумухцы (лаки), табасаранцы продавали свои изделия, скот, обменивались нужными товарами. Кроме того, базар служил местом, где обычно проводились всякие состязания в ловкости и силе.

Шел Магдилав по извилистой тропинке, протянувшейся по скалистому склону, как ленточка. На уздечке он вел коня, без седла, блестевшего под лучами солнца, как черный ворон. Небо было чистое, без единого облачка, лишь кое-где парили редкие орлы, ищущие добычу, да ласточки обучали своих птенцов перед отлетом в далекие жаркие страны на зимовку. По преданию, ласточки-матери никогда не возвращаются в горы — они разбиваются о финиковые деревья и погибают где-то в Аравии. А дети их прилетают по дорогам отцов и матерей к тем же гнездам, прилепившимся на горских саклях. На своих быстрых и легких крыльях приносят ласточки весну в суровую страну гор.

Магдилав любил ласточек, и ему всегда бывало грустно, когда они улетали. Казалось, вместе с частичкой солнечного тепла уносили они на своих крыльях душевный покой и радость. Как забавно они щебетали под окнами, трудились над своими гнездами, которые они мастерски свивали из крупиц глины на прибитой к бревну подкове.

Молодой горец вглядывался до боли в глазах в прекрасное лазурное небо, слушал веселые песни птиц, и на душе у него становилось радостно и легко. Конь его с хрустом ел траву, временами поворачивал голову в сторону хозяина. А Магдилав смотрел на родные горы, такие неприступные и суровые для чужих и такие близкие и доступные горцам. Вон там, наверху, в стороне от дороги зеленели леса — они начинались от самой

тропинки — мелкие, редкие, а дальше, поднимаясь по склонам, обретали мощь, делались выше, стройнее, гуще. Между сосен, берез и елей встречались и деревья кизила, диких яблонь, груш, грецкого ореха. Бывало, с ребятами ходил Магдилав вырубать деревья, отмеченные хозяином для продажи, и всегда ему было грустно при виде падающего дерева. Будто друга, жалел он его.

Там, на солнечных лужайках, косули играли со своими детенышами, а на узенькую каменную тропинку выбегали красавцы фазаны. Внизу в глубоком ущелье бурная Аварская Койсу пробивала себе веками дорогу, долбила горы, шумела мутными потоками. Обильные дожди и вечные снега Цоринских гор, что громоздились на границе с Грузией, поили ее. Злобная, как тигр, которого загнали в клетку, бросалась она на каменные уступы, превращая их в гладкие круглые плиты, а потом подползала змеей к прибрежным полям, деревьям и опять мчалась дальше, унося в своих мутных волнах все, что попадалось ей в пути. Своим монотонным шумом река заполняла окрестности, а сюда, к горной тропинке легкое дуновение ветерка доносило лишь шум, похожий на жужжание пчелы. По восточному берегу реки тянулась лента плодородной земли, каждый клочок которой разделывали крестьяне в поте лица своего под кукурузу и абрикосовые деревья.

Там, в ущелье, где много воды и горячее солнце, быстрее созревал урожай, и бывал он щедр и обилен. Дай, аллах, такой удачливый год, как этот, когда Койсу спокойна, душа владельца этих полей, так напоминающих заплатки на старой шубе, радует и ликует. Еще бы! До самой весны хватит кукурузных лепешок и вяленых фруктов. Но уж зато беда большая, если лето дождливое и Койсу взбунтуется, как зверь, — выскочит из своего русла и затопит все вокруг, прощай тогда крестьянский труд! Недаром рассказывают про тех, кто живет по побережью: в урожайный год хиндалалца за версту видно и слышно — папаха набекрень, осла погоняет, встречным кричит: «Дайте дорогу, корзины полны!» — а в худой год и папаха до самых глаз, и голос тонкий, и дорогу уступит сам. Так-то!

А от самого Гондоха, что приютился за тем седлообразным хребтом в лощине, вниз, к Койсу по солнечным скалам каскадом разбежались сады. В начале весны поспевают сладкая черешня и тутовник, позже

золотые абрикосы, яблоки, инжир, завершает урожай фруктов медовая хурма. На высоких яблоневых и абрикосовых деревьях вьются виноградные лозы. Сквозь листву виднеются тяжелые грозди, то черные как ночь, то золотые, будто сбрызнутые солнцем. Где еще найдешь такой виноград! Причудливо назвали его люди «пчелиный», «лошадиный глаз», «сердце красавицы». Только высоко в горах, по склонам их, в изобилии солнца зреет он. И все богатство — и леса, и сады — принадлежит одному хозяину — богачу из Гондоха Арсахану (серебряному хану).

Магди и другие крестьяне только любуются ими, да иногда, когда ночь потемнее, забираются тайком в сад, спускаясь с кручи скал лакомиться плодами богача. Но боже упаси, если овчарки хозяина поймают тебя — на куски разорвут, из сада живым не выпустят.

Однажды, когда Магдилав залез на большое грушевое дерево, выскочила здоровенная овчарка. Что делать? Остаться на дереве — значит, попасть в руки Арсахана, и тогда пощады не жди. Услышав, что все друзья разбежались, бросив его на произвол судьбы, разозлился Магдилав. Будь что будет, и он прыгнул прямо на собаку, та успела отскочить, но, видимо, он ей отдавил лапу, она взвизгнула, а Магдилав, пользуясь моментом, скрылся. В свои пятнадцать лет был он рослым, сильным и ловким. В одну минуту он взобрался на скалу, как тур, и был таков. В зубах у овчарки остался только его огромный чарык.

Всю ночь не спал Магдилав, все ждал, вот-вот явится Арсахан со своими слугами и поведет его на виду у всего аула к мулле, ведь он вершил суд и расправу. Хорошо хоть отец на мельнице, не увидит позора сына.

Но Арсахан не появился ночью, не появился он и днем, лишь на следующий день показался он у ворот дома мельника в каракулевой папахе, с серебряным кинжалом на поясе, в черкеске с газырями. В руках он держал чарык, завернутый в белую материю.

— Асалам алейкум, Магдилав!

— Ваалейкум салам! — ответил Магдилав, отложив в сторону топор, которым рубил пень, и вытер пот со лба, а про себя подумал: «Нагрянула беда! Только почему он один?»

— Ты, конечно, догадался, зачем я пожаловал? — Арсахан развернул белую материю, положил перед

Магдилавом чарык. — Такой большой чарык никто не носит у нас, кроме тебя. Я сразу узнал, чей он.

— Да, это мой,— признался Магдилав.— Суди меня, Арсахан, я залез в твой сад.

— Нет, судить я тебя не стану, хоть и следовало бы разок проучить, — улыбнулся старый богач. — Не за тем я пришел. Хочу предложить тебе работу: хочешь садовником, хочешь лесником, будешь сыт, одет и...

— И что я должен делать?

— Природа наградила тебя силой и ловкостью, я видел, как доставал ты мед диких пчел с отвесных скал, видел, как, шутя, словно тыкву, поднимаешь мешки с мукой на мельнице. Тебе бы борцом стать, прославить наш аул да мое имя. Сам знаешь, как люблю я горячего скакуна, собачьи бои. У киндибцев есть свой борец — Мустафа. Он уложил нашего Шагидава и ушел из аула победителем.

— Хотите, чтобы я боролся с ним, прославленным Мустафой?

— Слава, сынок, вещь капризная, сегодня у одного, завтра ей понравится другой. Знаешь пословицу: «Для бугая бугай найдется». Я найду тебе достойного учителя, и наступит день, когда ты выйдешь в базарный день на площадь. На тебя набросят платки гондобские девушки, имя твое полетит по всей Аварии... Но сам знаешь, на отцовских харчах далеко не уедешь!

Магдилав раздумывал недолго.

— Согласен, — сказал он.

Так сын мельника стал садовником у Арсахана, а заодно и тренировался в борьбе. Старый Шагидав научил его разным приемам, передавал все хитрости чугары [1]. Он был доволен Магдилавом — ученик оказался способным. Арсахан частенько заходил любоваться молодым борцом, приказал даже сделать специальную площадку для занятий. И Магдилав закалял свое молодое прекрасное тело — боролся, бегал, купался в ледяной реке, метал камни на сельской площади. Никто из аульчан не мог равняться с ним. И все ждали с нетерпением того дня, когда встретится парень с первым силачом Аварии — Мустафой. Только самого Магдилава не оставляла тревога — а вдруг Мустафа победит его?

---

[1] Народная борьба.

— Хоть он и не молод, и толст, но еще силен и мастер своего дела. Правда, есть у него одна слабость — старайся зацепиться за его левую ногу,— поучал его Шагидав и сам показывал, как это надо делать. Шагидав считал, что ноги слабоваты у Мустафы для его слишком тяжелого тела. Змеей надо обвиться вокруг ног соперника, и тогда рухнет Мустафа.

— В тот проклятый день мне не удалось это сделать, он, хитрец, увиливал от моего трюка и так цепко держал меня за пояс, что я чуть не задохнулся,— рассказывал Шагидав,— руки у него, как железные клещи, пока не измерил силу, не выпускал меня, а потом поднял и бросил на лопатки. Так он стал победителем. А ты молодой, силы у тебя больше, правда, опыта не хватает, ну, да ничего, все придет!

Не пришлось Магдилаву ждать базарного дня. В один весенний день прискакал гонец от аварского хана. Он приглашал Арсахана на сухмат — торжество в честь рождения сына.

— У хана большой пир будет, соберутся все знатные люди Аварии и соседних ханств. Собирайся, Магдилав,— говорил Арсахан и сам оседлал коней: на одного навьючили подарки для новорожденного, да еще, в придачу жеребенка с седлом в золотой чеканке. К седлу привязали саблю из амузинской стали. Из стада Арсахан приказал вывести самого крупного быка, чтобы зарезать его в честь новорожденного. Посадил на коней Шагидава, Магдилава с отцом, кроме того, взяли с собой и певца Ахмадудина для услады пирующих.

Злобную собаку Арсахана, которую специально готовили к собачьим боям, слуга Джамалудин увел еще ночью — чтобы люди не сглазили. В Ханзахе слуга присоединился к хозяину, и всей свитой двинулись в ханский двор. Впереди на сером коне с богатым седлом важно восседал Арсахан,— чуха из атласа, папаха из каракуля сур,— под стать самому персидскому шаху. Он гордился, что может ехать к хану с такими щедрыми подношениями, как говорят, так, чтобы «ногой открыть дверь» — руки заняты подарками. А какую собаку покажет он на пиру, злее ее не сыщешь во всей горной стране. В собачьих боях нет ей равной по силе и свирепости. Но самое главное, везет он молодого борца, дай, аллах, победить ему Мустафу! Слава Магдилава,

его слава, Арсахана. Такие мысли бродили в голове богача. Временами он оглядывался на юношу, так неуклюже еще сидевшего на коне, невольно любовался молодым его лицом, будто высеченным из камня. Магдилав, видно, тоже о чем-то задумался. Темные густые брови его сошлись на переносице, ноздри большого горбатого носа вздрагивали, как у нервного скакуна, черные, как уголь, глаза смотрели прямо перед собой. Но общее выражение лица еще дышало детской наивностью и доверчивостью, точки-родинки забавно примостились на подбородке и около левого глаза на щеке. В плечах Магдилав был широк, а талия узкая, почти девичья, длинные ноги волочились по земле, и когда он сгибал их, чтобы поставить в стремя, всякий невольно начинал улыбаться. Каждый раз, когда юноша ловил на себе взгляд хозяина, он чувствовал себя неловким и неуклюжим, ибо был таким огромным, будто глыба, оторванная от скалы.

2

Столько народа собралось в огромный двор хана, обнесенного высоким каменным забором, что Магдилав растерялся. Хан встречал гостей, а его служанки принимали подарки. Потом он садился на свое почетное место, а тех, кого он приводил с собой, усаживали дальше. Зурначи и барабанщики играли, а горцы танцевали, делая два круга — ибо желающих танцевать на торжествах в честь ханского сына столько, что в один круг все никак не успевали. Мужчины сидели отдельно, а женщины чуть дальше — тоже отдельно. Служанки выносили из кухни на подносах жареную дичь, плов и мясо, ставили перед гостями на ковры. Тут же кувшинами бузы в руках гостей обносили слуги, подавая по очереди рога, а за ними и мазачи[1] — с ножом и с ляжкой баранины, давали каждому, кто выпил рог, кусок мяса.

Рядом с ханом помещались приближенные и почетные гости. Там же сидел Арсахан. Магдилав, откусывая чурек с сыром или мясом, временами бросал робкий взгляд в его сторону, ибо невдалеке с ханской свитой находился и знаменитый Мустафа. Он не был высо-

[1] Тот, кто дает закуску.

кого роста, зато шея его была, как у бугая — плотная, жирная. Живот свисал через колени, касаясь земли, а на пухлых красных щеках и гладко выбритой голове блестело солнце. Большие усы отливали глянцем. Говорили, что Мустафа их красит сажей, чтобы скрыть предательские серебряные нити. Рукава у него были засучены, волосатые руки, бронзовые и толстые, казалось, были сделаны из железа. Обеими руками он держал большой кусок мяса и так аппетитно жевал, что любо было смотреть.

«Так вот он какой, прославленный Мустафа! — думал Магдилав.— И как он сложен, какие у него добрые глаза!»

Вдруг все будто застыли на месте: кто с ляжкой барана, кто с наполненным рогом — его не поставишь на ковер. По дороге к ханскому двору показались девять всадников; у всех красные папахи, все заседланы одинаково, одеты как один — в черкески с газырями, в черных каракулевых папахах, с кинжалами за поясами, с серебряной насечкой. Только девятый всадник оказался девушкой — в красной китайской шали.

— Это проклятый Исилав,— шепнул отец Магдилава.

И верно, впереди ехал сам глава рода Исилав. Сошел он с коня у самых ворот хана, затем — молодцы и девушка.

— А это кто с ним? — спросил Магдилав у отца.

— Сыновья его.

Семеро братьев, будто рожденные в один день — все похожи один на другого, смуглолицые, красивые, молодые, как тополя, стоящие рядом, вошли во двор. Хан встал с подушки и вышел им навстречу. Протянул руку Исилаву, потом приветствовал сыновей и дочке кивнул головой. Исилав снял с седла саблю, видимо, в подарок новорожденному и, поцеловав рукоятку, протянул хану. Тот тоже взял ее в руки и поцеловал.

Люди болтали, что аварский хан недолюбливает своенравного Исилава, завидует его храбрости, его сыновьям. У самого хана до сих пор не было сына, вот вторая жена обрадовала его наследником к пятидесяти годам. А у Исилава их было семеро; на базар, на сборище и в гости к хану он приходил вместе с ними, будто выставлял свое богатство — красивых, стройных наследников рода. Будучи отцом таких джигитов, ему,

Исилаву, бояться, конечно, было нечего. Правда, и без этого он славился в горах своим бесстрашием. Вот почему аварскому хану приходилось скрывать свою враждебность, вести гибкую политику с этим «полураняtом» [1]. Дело в том, что маленькое владение Исилава находилось на самой границе трех ханств Дагестана: аварского, кази-кумухского и кайтагского, над бурной рекой в скалах, откуда, казалось, было видно всю горную страну. Давным-давно тут была каменная сторожевая башня, где зажигался костер, извещавший людям гор о приближении врагов. Дед Исилава — Георгилав, привезенный когда-то вместе с другими пленниками из Грузии, вырос в горах, получил свободу и участок земли в этих скалистых местах, женился на горянке и стал трудиться, как пчела, создавая себе гнездо. Родился у него сын — отец Исилава и дочь — красавица Сами, которая вышла замуж за доброго и храброго человека из ханского рода. А отец Исилава остался в отцовской сакле. Со своими друзьями возводил он стену вокруг сторожевой башни, построил дома, а потом его сын Исилав продолжал отцовскую работу. И теперь его поместья превратились в настоящую крепость, стоящую на границе трех ханств. Ханы старались быть с ним в дружбе, привлекая его на свою сторону, ибо все дороги их друг к другу проходили через эту крепость.

Сам Исилав рос свободолюбивым, храбрым, неподкупным горцем. Зорко следил он за внешним врагом, который часто покушался на горную страну. И сыновей своих обучал он мужеству, готовил сражаться за эти родные горы в тревожный час. Не раз аварский хан старался натравить на него своими коварными хитростями другого хана, посеять между ними вражду, но пока это не удавалось, так как своей добротой и мужеством Исилав убивал в сердцах людей злой дух. Только однажды хану удалось нанести удар этому «полурайяту». Мечь мести повис над головой Исилава, но и тогда удача сопутствовала ему. Но об этом разговор будет дальше.

Только утешался аварский хан тем, что считал себя чистокровным нуцалом — высшей расой, а Исилава «полураиятом», полурабом, ибо дед его был пленни-

[1] Раият — раб.

ком. Но при встречах он старался скрыть свою ненависть.

Вот и сегодня хан усадил Исилава рядом с собой, а его сыновья, верные горским обычаям, не решались сесть рядом с отцом, отошли в сторону и сели в круг приглашенных простых горцев. Тех самых, с которых драл хан своими налогами и тяжелой работой три шкуры. На пир он их пригласил потому, что чувствовал, будет скоро в них нужда, ибо иранский шах — Надир начал наступление на Ширваны и может войти в горы, так что воины ему будут нужны дозарезу.

Дочь Исилава ушла к женщинам, села рядом с молодыми горянками, одетыми по-праздничному и украшавшими сегодняшнее торжество ханского двора.

Магдилав невольно засмотрелся на нее, позабыв обо всем на свете. Была она стройна, как виноградная лоза. В ее черных больших глазах таилось и отцовское мужество и удивительная нежность весеннего солнечного утра. Юноша не слышал еще ее голоса, но ему казалось, что голос ее подобен чудесной музыке, и все девушки улыбались ей и с завистью смотрели на нее.

— Ты не забывай, зачем пришел сюда, — толкнул его в бок отец.— Опозоришься в первый раз, пятно всю жизнь смыть не сможешь. И нечего глазеть по сторонам, в этом саду фрукты не для тебя, сынок, нечего прыгать туда, куда все равно никогда не достанешь. Мы, бедняки, должны знать свое место.

— Хорошо, отец,— покраснел Магдилав,— а кони у Исилава хорошие.

— У этого «полураията» и сыновья неплохие, и дочка ничего, дал же аллах одному все, а другим ничего.

— Говорят, он убил моего дядю, твоего брата?

— Да, это он убил моего брата Зубаира.

— И ты простил ему?

— Да, я простил ему, — голос у отца дрожал. — А что было делать, когда пришел подлый человек просить прощения?

— Говорят, во всем виноват был хан, будто он любил Майсарат, дядину жену. Поэтому и взял служанкой к себе после смерти дяди.

— Язык, сынок, не для болтовни дан мужчине аллахом,— отрезал, как кинжалом, отец разговор.— Еще многое услышишь ты, раз у тебя такие длинные ослиные уши.

3

Больше Магдилав не сказал отцу ни слова и в сторону прекрасной дочери Исилава глаз не поднимал. Он ждал своего часа.

И час его наступил. Перед скачками и боем собак сразу же начались состязания борцов. В круг вышел магуш — глашатай, пригласил от имени аварского хана гостей насладиться борьбой. Слуги расстелили ковер.

Первым вышел келебский Джахбар. На вид он был худощав, но высок и строен. Его соперник — плотный Хочбар из Андыха. Боролись они недолго. Сопели, пыхтели, пот градом катился по смуглым телам. Джахбар наступал, а Хочбар старался увернуться, но вот Джахбар поймал его за шею, да так прижал, что тот чуть не задохнулся и, обессиленный, упал на ковер. Все захлопали Джахбару. Женщины бросали в него шали, легкие разноцветные гормендо с головы, а хан подарил ему золотую монету.

Так на ковре побывали три пары борцов, а Магдилав сидел ни жив ни мертв — вот-вот придется и ему выйти, пошли аллах сабру — спокойствие, чтобы не растеряться на ковре перед таким грозным противником. Он жалел борцов, которые уходили с ковра побежденными, и сам внутренне холодел, представлял себя опрокинутым на лопатки. Честно говоря, он не был убежден, хотя Шагидав и старался внушить ему это в превосходстве своей молодой силы над Мустафой. Вид у Мустафы был внушительный, слава его гремела в горах, и Магдилаву, не искушенному в борьбе, трудно было поверить в себя.

Но вот наконец магуш произнес имя всемогущего Мустафы — гордости Аварии, перечислил победы, одержанные львом Дагестана. У Магдилава дрожали ноги от волнения, на лбу выступил пот.

— Ничего, сынок, не бойся, это все было и прошло,— шептал ему в самое ухо Шагидав.— Нет непобедимых борцов. Не так страшен черт, как его малюют. Только ты уложишь, дай аллах, Мустафу и прославишься на всю Аварию.

Слова старого борца немного успокоили Магдилава. А Мустафа тем временем не спеша снимал рубашку; его мускулистое, отливающее бронзой тело, казалось,

вылеплено опытным мастером. Он стоял посреди ковра и горделиво озирался, когда магуш объявил:

— Кто хочет похвалиться своей силой, выходите, не стесняйтесь, лев Дагестана очень добрый, он не сломает вам ребра... ха-ха-ха.

Как было условлено с Арсаханом, Магдилав должен был выйти не сразу. Все с восхищением смотрели на борца. И вдруг сквозь ряды гостей вышел вперед худой парень и молча начал снимать рубаху.

— Ну и смельчак! — шептали люди.

— Да это же чабан Курах, он пьян,— кричали другие. — Мустафа его сомнет одной рукой.

Но Курах оказался не из робкого десятка. Он первым бросился на Мустафу, а тот, как взбесившийся бугай, нагнул голову и, казалось, прирос к земле. Для начала он отголкнул смельчака, а потом цепкой рукой притянул к себе, крепко ухватился за пояс, поднял над головой и бросил на ковер. Еле-еле поднялся побежденный с ковра и, хромая, опозоренный, ушел. А Мустафа снова застыл в своей живописной позе, будто говоря: «Неужели не найдется больше смельчаков попробовать свою силу?» Но смельчаков пока не находилось.

Тут Арсахан дал знак Шагидаву — пора, мол. Тот подтолкнул Магдилава:

«Иди, сынок, пусть аллах поможет тебе, только не бойся, ковер не любит трусов».

Магдилав вышел на ковер, начал стягивать рубаху, как во сне слышал чьи-то слова:

— Вот еще бычок нашелся!

— Тоже спьяну небось!

— Нет, братцы, у этого длинного вон какие мускулы, смотри, как он красив, сын шайтана!

Магдилав стоял напротив Мустафы, высокий, худой. Старый борец сразу определил его возможности и понял, что вышел этот парень не спьяну и не в шутку. И когда для пробы начали они, как бараны, наклонив головы, держась руками друг за друга, топтаться на месте, почувствовал Мустафа, что руки соперника тяжелы, как железные. Магдилав крутился вокруг Мустафы, стараясь увильнуть от его цепких рук, а внутренняя дрожь все не покидала его. В ушах звучали то слова Шагидава: «Ты должен, должен победить его, он уже потерял былую силу. Ты молодой, помни это!», то предостережение отца: «Если ты проиграешь сегод-

ня, никогда больше не выйдешь на ковер!» Бедный отец, как он хочет, чтобы сын победил, вышел в люди. Ведь из-за него только Арсахан милостив к мельнику, а ведь если победа достанется Мустафе, выбросит он Магдилава, как ненужный хлам. Тогда опять сгибать ему спину на мельнице под чужими мешками. А мать? В слезах проводила сына, с полным кувшином вышла она за порог и полила дорогу от дома — чтобы удача сопутствовала ему. И Шагидав тоже надеется на него. Старый борец, когда-то первый силач аула,— это о нем говорили гондохцы: «Он может так сжимать скалы, что масло потечет из них!» Как он воспрянул духом и помолодел!

— Ты возьмешь обратно славу гондохцев, отнятую у меня Мустафой! Только помни его приемы и то, чему учил я тебя.

Эти мысли роились в голове молодого борца, а умный, видавший виды Мустафа, почуяв силу противника, хитрил, делал вид, что отступает. В один миг бросился он на зазевавшегося соперника. И вот уже он держит его обеими руками за пояс.

— Теперь пропал парень! — услышал Магдилав чей-то изумленный возглас. Все, затаив дыхание, следили за борьбой, ждали, когда Мустафа применит свой коронный прием — оторвет от земли соперника и бросит наземь. Не было еще такого случая, чтобы кто-то выходил победителем из его железных объятий.

— Ох, проклятый! — шептал Шагидав. На лице его появились капельки пота, он скрипел зубами, будто это его, как тогда на базаре, сжимает своими каменными руками Мустафа.

А Магдилаву казалось, что набросили на него железный аркан, вот-вот хрустнут кости в груди, все труднее дышать, и глаза застилает красная пелена. «Оставь меня, я задыхаюсь»,— хотел он крикнуть. Совсем близко увидел он лицо Мустафы. Глаза его уже не казались веселыми и добрыми, они сузились и потемнели, на лбу залегли глубокие складки, на гладкой, как тыква голове, блестел пот. Ему оставалось только оторвать от земли обессиленного соперника и положить на лопатки. «Ничего, молодчик,— думал он, завидуя молодости Магдилава, — хоть ты и молод и силен, но на этот раз уляжешься подо мною. А дальше аллах знает, будет ли у тебя охота пробовать силы Мустафы!»

— Смотрите, смотрите, Мустафа отрывает его от земли! — воскликнул кто-то.

— Крепись, сынок! — закричал Шагидав. Не выдержал старый борец. Больно ему видеть, как в тисках соперника никнет молодое, могучее тело его питомца.

И Магдилав услышал этот голос. Всю свою молодую нерастраченную силу собрал он и, казалось, окаменел. Как ни старался Мустафа, не мог он оторвать от земли соперника. И вдруг железное кольцо разорвалось. Один миг — и уже Магдилав длинной рукой держит толстую шею противника. Еще миг — и ловким маневром он скручивает ногой правую ногу Мустафы, а потом, сгибая влево, особым приемом бросает его на ковер. Лопатки дагестанского льва коснулись пола.

Все оцепенели, а опомнившись, закричали, приветствуя победителя. Женщины бросали к ногам Магдилава тонкие шали. В стороне стоял старый Шагидав и мельник. Магдилав увидел их и облегченно вздохнул. Будто во сне он слышал, как из уст в уста передавалось его имя, видел, как Нуцал-хан подозвал казначея своего с золотой монетой, как Арсахан, улыбаясь, говорил ему что-то. Но дороже всего молодому горцу была нежная улыбка прекрасной дочери Исилава. Это она первая выбежала из пестрой толпы девушек и набросила на его широкие могучие плечи красную шаль.

4

Вернулся Магдилав домой багадуром — победителем. В кармане у него звенела золотая монетка — ханский подарок, душа пела от людской молвы и славы. Арсахан посадил его на лучшего коня, купил ему у хунзахского торговца богатую одежду. «Отныне твое имя полетит, как орел по горным аулам; его будут произносить и стар и млад», — говорил он, тоже радуясь, что его слуга уложил самого прославленного борца — Мустафу. Казалось Магдилаву, что он стал другим, даже немножко загордился. «Смотри, сынок, не будь похож на петуха, который кичится в ветреный день своим хвостом. Слава — вещь капризная, приобретается с трудом, а сохранить ее еще труднее» — поучал своего питомца старый Шагидав. В те дни Магдилав ходил как пьяный: перед ним сверкали глаза дочери Исилава, они, как две пули, пронзили его сердце. И вспомнил он последние

слова Мустафы. Тот встал с ковра, взял обеими руками руку молодого соперника: «Отныне я не буду выходить на ковер, буду тобою любоваться, береги честь борца Дагестана, не замарай ее!»

И в самом деле, когда теперь он — Магдилав появлялся на кородинском базаре, люди окружали его, превозносили его силу и ловкость. Он был желанным гостем на торжествах хана. Арсахан всюду возил его за собой. И везде искал Магдилав ту, что жила в его сердце — после очередной победы над борцами, на торжествах хана во дворце, и жил надеждой, что встретит девушку когда-нибудь и скажет ей о своей любви. Родители говорили Магдилаву: «Женись, сынок, мы постарели, хотим нянчить внуков, рано рожденный ребенок отцу и сын и брат». А он отказывался, находя всякие причины, скрывая от них, о ком мечтает. Между тем он рос и развивался, как виноград под солнцем, молодая сила играла в его мускулах. Иногда казалось, что стоит чуточку приподняться и протянуть руку — достанет он с неба звезду, захочет и прыгнет через Койсу и оставит ее под собой, положит на плечи высокие горы и понесет их, как хурджины, на любое место.

Сельский сапожник сшил ему чарыки широкие и чуть ли не полметра длиной. Шапочник из двух шкур ягненка сделал ему папаху, а хунзахский портной из шести метров сугуры — самодельного крепкого материала — сшил чуху — черкеску. Шел он по аульским улицам, то боком поворачиваясь, чтобы пройти между узких стен, то сгибаясь, чтобы не задеть навесных крыш. Деревянный мост через аульскую речку, по которому ходили нагруженные ослы, дрожал, когда он ступал своими пудовыми ногами. Двери в отцовском доме были узки для него, а когда спал он зимою в комнате, ноги его торчали через дверь на балконе. А уж если храпел он, казалось, что маленький их дом весь дрожал, и земля ходила ходуном. Сверстники, рослые, крепкие, около него казались цыплятами около петуха. Был он душой добрым, отзывчивым, казалось, никогда и ничем невозможно обозлить великана-багадура; мелкие ссоры, обиды его не касались, не тревожили, но не дай аллах вызвать его гнев. Тогда, казалось, и скалы вокруг гондохцев дрожали, горы хмурились, а земля гудела. Обидчику же лучше было бы на время скрыться из аула, противнику исчезнуть с глаз — пока не успокоится

Магдилав. Был он похож тогда на разлившуюся реку, которая, ударяясь о прибрежные скалы, выходит из русла и затопляет все вокруг или на рассвирепевшего бугая, который рогами и копытами взрывает землю, все разрушая.

Арсахан, жаждавший славы, многое прощал Магдилаву-багадуру. У кого самая злая собака? У Арсахана. Чей конь одержал победу на скачках? Арсахана. Вот и теперь у него есть борец, которому равного нет во всей Аварии. Сам Нуцал-хан завидует ему.

Неизвестно, как в дальнейшем сложилась бы судьба Магдилава, если бы внезапно не скончался гондохский богач. Умер он, даже не успев сказать завещательных слов, ведь никто не знает, когда наступит его последний час, так и Арсахан не собирался умирать. У него не было наследника — сына, лишь прикованная к постели старая жена — Шамсият да трое замужних дочерей. Все они были в отца — рыжие, некрасивые, но из-за богатства их взяли красивые парни Гондоха и один бакдабец — из соседнего аула. В приданое дочери Арсахана, кроме овец, коров и домашней утвари, не получили ни земли, ни садов, ни лесов. «Знаю я, за что эти парни женились на моих дочерях, но им не видать ни аршина моей земли, — говорил хитрый богач. —Богатство делает человека умным и сильным. Пусть зятья идут ко мне с поклоном, пусть служат мне, а если получат все богатство сразу в руки, то перестанут уважать меня».

А когда Арсахан скончался, развязались руки у зятьев, как волки на падаль, набросились на богатство тестя. Так померкла слава гондохского Арсахана; на скачках не видно было уже его чистокровных скакунов, в собачьих боях не грызлись его знаменитые собаки, да и о Магдилаве будто все забыли. На базарах уже никто не похвалялся силой и сноровкой молодого борца, да и сам он будто охладел к борьбе. К тому же умер его наставник и вдохновитель старый Шагидав.

В этом году не повезло гондохцам. Долгая изнурительная зима измотала их силы, рано кончились запасы хлеба, корм для скота, поэтому крестьяне были голодными и злыми. А хиндалалцы такой народ — уж если веселятся — хохочут до слез, а в несчастье — рыдают так, что в дальних аулах слышно.

Вот в такое зимнее время, когда у них в сундуках пусто, сидят, посиживают они на годекане в шубах, оку-

танные табачным дымом, лениво перебрасываясь словами. Придет кунак из далекого края, скажет, «салам алейкум». Еле слышно ответят гостю, и никто не позовет его домой. Староста аула сам назначает кунака каждому по очереди. Зато уж в урожайный год годекан жужжит, как растревоженный улей,— столько интересных рассказов наслушаешься здесь, удивительных историй и просто веселого шума. А уж кунака издали заметят, все встанут навстречу и начнут тащить на угощение.

Вот почему и про Магдилава все забыли, будто и не он прославил родной аул, будто и не аульчане закидывали его папахами, красавицы не бросали в него шалей, когда он побеждал на кородинском базаре. А какой крик стоял тогда там: «Это наш гондохский лев!» Будто не гордились гондохцы, что живет он с ними рядом — в детстве играли вместе, — что не пьет он воду из одного источника с ними, не ест хлеб, испеченный из муки, которую мелют на одной мельнице. Да, так и было, и вот все стало иначе. После смерти Арсахана зятья его смотрели на Магдилава, как на дармоеда. «Наш хлеб ешь»,— упрекали они его. Им не было дела до его силы и славы, они прогнали его из сада, со двора и стал он опять тем, чем был — сыном бедного мельника Магди. Опять он таскал чужие мешки с мукой, опять питался кукурузными лепешками с крапивой, которые пекла его хромая мать.

Опять будил его соседский петух на заре, а отец уже ждал его, чтобы идти на мельницу: «Вставай, сынок, бедняку надо вставать до утренней звезды».

И опять играл он с ровесниками в бурдичвай на сельских гумнах. Не было у него и коня Арсахана, чтобы разъезжать по торжествам; никто не приносил ему целого барана, говоря: «Крепни, багадур, для новой встречи». Ходил он теперь на базар, держа за хвост осла, нагруженного корзинами фруктов.

А время было неспокойным. Со всех сторон Дагестан окружали враги. Персидский правитель — Надиршах разорвал мирные отношения с турецким султаном, объявил ему войну и вторгся на Кавказ. Первым он поднял меч над Ширваном, воротами в Нагорный Дагестан, где властвовал Сурхай-хан. Сила была такая у Надира, как пели в песнях: «Войска у него столько, сколько звезд на небе, а пуль столько, сколько листьев

на полях». Закованные в железо, жаждущие наживы, полились буйным потоком в сторону гор многочисленные полчища иранского шаха. И, чувствуя, что не устоять перед ним, Сурхай-хан отступал со своим малочисленным войском в Кабалу, который стоял в стороне, и постепенно начал строить укрепления. Вот почему и Нуца-хан Аварский начал готовиться к кровопролитной войне.

В кузнях кузнецы ковали шашки и кинжалы, искусные оружейники день и ночь потели над цедехами [1]. А в своих владениях хан тоже начал строить укрепления, собирать по аулам людей для войска.

5

Сегодня встал Магдилав раньше соседского петуха, чтобы поспеть на кородинский базар. Отец еще спал, утомленный вчерашним днем. Накануне чинили они с сыном мельницу после зимы, заменили жернова, латали крышу. Магдилав видел, как суетилась во дворе его хромая мать, такая маленькая, сгорбленная, в стареньком залатанном платье.

Сердце у него сжималось, глядя на нее. Он достал из кармана старой чухи золотую монетку — единственное свое богатство и дал себе слово купить матери сугуры на одежду.

Базар был в самом разгаре, когда появился Магдилав. В первую очередь юноша зашел к базаргану и купил пять метров сугуры, а потом с легким сердцем отправился бродить вдоль рядов. Магдилав любил веселую сутолоку базара. Она напоминала ему большой растревоженный муравейник. Юноша не приценивался к товарам, так как в кармане его уже было пусто, он просто смотрел, как это делали другие. Люди, в свою очередь, с любопытством взирали на него. Дети ватагой ходили за ним. Еще бы! Совсем недавно это был знаменитый на всю Аварию борец, да и сейчас взглянуть на него было интересно. Такой великан, а ноги-то, ноги! Один чарык в полметра! Правда, похудел багадур и лицом грустный, но зато как он возвышается над толпой!

На площадке, где обычно продавали овец, играли пехлеваны, а чуть подальше, на песчаном берегу Койсу

[1] Вид оружия того времени.

готовили коней для скачек. Магдилав очень любил наблюдать за игрой пехлеван, но без гроша в кармане тут нечего делать. Вот-вот пойдет помощник пехлевана в волчьей шкуре и маске. Обычно помощники начинали кричать на весь базар, расхваливая на все лады стоящего и прося денег за игру. И какой стыд, если кто-нибудь не подаст. «Волк» осрамит его, назовет скупым, скрягой и будет позорить до тех пор, пока несчастный не унесет ноги!

Уж лучше посмотреть на скачки, там не требуется платы. Стой сколько хочешь и наслаждайся красавцами скакунами. Чем больше народу, тем хозяину приятнее— больше похвал достанется.

Коней было пять. В стороне стояли владельцы, договариваясь об условиях. Любители скачек с нетерпением ждали их начала, спорили, какой конь придет первым. Тут же толклись и просто зеваки, плели всякие хабары-новости о боях с Надиршахом, о будущем урожае — слава аллаху, всходы по всей Аварии хорошие, лишь бы не уничтожил их град, не опалило солнце.

— Салам алейкум! — услышал Магдилав приветствие, повернулся и увидел знакомого техинца, по имени Будагилав.

Познакомились они в ханском дворе в тот памятный день торжества, когда Магдилав, раздвигая широкими плечами толпу, шел на свой первый бой.

Маленький, щупленький техинец в атласной черкеске с золоченым кинжалом, шашкой, кончик которой царапал землю, в белоснежной папахе набекрень преградил ему дорогу.

— Хочешь попробовать свою силу, бычок? — сказал он, пренебрежительно глядя снизу вверх на Магдилава.— Смотри, готовь заранее бурку, а то не на чем выносить тебя будет. Мустафа, мой дядя, не таких валил!

Магдилав ничего не ответил наглецу. Небрежно отодвинул карлика со своего пути и вышел на ковер. Как бесновался потом после боя маленький техинец.

— Не обращай на него внимания, сынок, — говорил старый Шагидав,— этот барановод из Техина Будагилав доводится племянником Мустафе. Низкорослые и хромые часто бывают злыми. Видишь, как он взбесился, что ты уложил Мустафу.

И вот теперь опять перед Магдилавом маленький техинец. Сам улыбается, а глаза хитрые, злые.

— Ваалейкум салам, — ответил Магдилав на приветствие и подал свою огромную тяжелую руку.— Вот пришел посмотреть на скачки!

— Смотри, смотри,— говорил Будагилав, опираясь о рукоятку кинжала, — однако шея твоя что-то тоньше стала после смерти Арсахана. Некому больше кормить тебя барашками? Конечно, на одной сыворотке да муке не потолстеешь!

Магдилава задела речь техинца, но он и виду не подал, вспомнив Шагидава, а сам подумал: «Однако, братец, хоть ты и богат, но, видно, глуп. По-прежнему ненавидишь меня, бедняка...»

Тут начались скачки, и Магдилав отвернулся от Будагилава. Сначала впереди шел серебристо-серый конь, за ним вороной, а вот красного, блестевшего на солнце, как пламя, наездник попридержал, хотя конь рвался и плясал под ним, как бешеный.

Зрелище было так прекрасно, что Магдилав забыл обо всем на свете. Кони неслись плавно, будто летели по воздуху, из-под копыт брызгали, рассыпались камешки, ураганными вихрями поднималась золотая пыль речного песка.

По-прежнему серый конь шел впереди, а Будагилав нервно пощипывал свои усы, все сильнее сжимал рукоятку кинжала. Едва красный конь поравнялся с ним, он что-то крикнул наезднику. И вот, услышав крик Будагилава, тот приподнялся в стременах, будто сам собрался лететь, и подался вперед. Умное животное сразу поняло, что от него хотят. Ноги коня, казалось, не касаясь земли, понесли его вперед. Вот он уже оставил позади себя вороного, затем и серого.

— Машаллах! — кричали люди.

Будагилав выхватил тапанча[1] и выстрелил вверх. Тяжело дыша, обливаясь потом, к нему подошел наездник и подвел коня. На лбу победителя красовался талисман от сглаза, был он крепко привязан за уши. Гордый хозяин обернулся к Магдилаву.

— Ну как конь, «багадур»? — Последнее слово он произнес презрительно. Но Магдилав не обратил на на это внимания.

---

[1] Кремневый пистолет.

— Хороший конь, мало таких я встречал!

— А много ли ты вообще видел коней, сын мельника? Хочешь иметь такого?

— Зачем? Карманы мои пусты,— добродушно ответил Магдилав.

— Могу подарить при одном условии.

— Каком? — поспешно спросил Магдилав.

— Потащишь его на спине?

— Куда?

— Куда, говоришь? — злобно засмеялся Будагилав. — Отсюда и до того места — видишь стоит высокий камень на краю базара?

— Вижу.

— Только помни. Остановишься, хоть пять шагов до камня, пеняй на себя, догащишь — конь твой.

Будагилав хотел посмеяться над богатырем. Разве такое под силу кому-нибудь? Тащить коня через весь базар!

Но Магдилав не понял его издевки. Под общий хохот окружающих он подошел к коню, завязал ремнем ему ноги и, засучив рукава, сказал: «Я начинаю, силу дай мне, аллах!» Потом встал на колени спиной к коню. А Будагилав все еще ухмылялся, подмигивал друзьям, которые присутствовали при сделке: вот, мол, смотрите, как издеваюсь над «багадуром» из Гондоха, ясно, надорвется молодец!

Между тем Магдилав на коленях подполз под брюхо коню, крепко ухватился за ноги и, положив его на спину, медленно встал, встряхнулся, чтобы поудобнее улегся конь на широкой спине. Люди замерли: ждали, вот-вот рухнет великан-залим своим огромным телом на землю. Но Магдилав и не собирается падать, он сделал шаг-другой, еще... еще сначала рывками, раскачиваясь всем телом, а потом пошел ровнее и тише.

— Идет, проклятый,— прошептал Будагилав. Улыбка изчезла с его лица.— Споткнись и упади, аллах, только сбереги моего коня, а то этот сумасшедший может сломать и ему ноги... — просил он всевышнего, и чем дальше уходил Магдилав, тем злее становился Будагилав.

Вот Магдилав дошел уже до базара, люди, бросив торговлю, вытаращив глаза, смотрели на него. Женщины шептали молитвы. «Вай, что это? Куда он?» — слышно было кругом, а Магдилав все шел и шел, шаги у

него становились увереннее, и вдруг, не доходя до камня метров десять, пошатнулся великан, задев огромной ногой придорожный камень.

Будагилав чуть было не вскрикнул: «Береги коня!» Он думал — вот свалится Магдилав. Но тот выпрямился, еще крепче стал ставить ноги и дошел до камня. Присел и, сняв со спины, осторожно положил коня на землю, вытирая ручищей пот со лба. Потом вздохнул облегченно, посмотрел на людей и на Будагилава, будто говорил: «Вот и донес!»

Не зря говорят: «Слово не птица, вылетело с языка, не поймаешь!» Пришлось Будагилаву расстаться со своим любимым конем.

Вот что делает глупость с человеком: хотел посмеяться над другим, унизить его перед людьми, а получилось наоборот.

Хоть и делал вид он, что ему не жаль коня, сотни таких пасутся в его табуне в горах, это песчинка для него, владельца трех тысяч баранов, но все же он очень переживал, внутренне ругал себя: «Зачем было держать пари с этим сумасшедшим, вот и увел такого скакуна, которого не продал бы и за столько золота, сколько весит конь, даром. Притом кто увел-то, хоть был бы кунак или ханский сын, мог бы утешить себя, что попало в руки стóящего человека,— он тоже может тебе когда-нибудь добро сделать. А то ненавистный бедняк, сын мельника из Гондоха, на которого он давно имеет зло из-за Мустафы. Взял и ушел, оставив Будагилава в дураках».

Уж как скрипел зубами Будагилав, кусал себе губы до крови, зло глотал, но вслух ничего не мог сказать. Положил позолоченное седло, которое так подходило красному скакуну, и велел слуге седлать ему другого коня. Убитый горем вернулся он с базара.

6

А Магдилав стоит на повороте тропинки, любуется природой — когда на душе хорошо, кажется, все вокруг улыбается и ласточки поют именно ему свои весенние веселые песни. Конь его, приобретенный так нежданно-негаданно, щиплет зеленую траву. Вот удивятся отец с матерью, шутка ли, ушел сын с одной монеткой, а возвратился с таким красавцем скакуном!

Мысли юноши прервались ржанием коня. Он поднял голову и увидел верховых, рысцой пробиравшихся по каменистой тропинке со стороны леса.

«Ага, увидел незнакомых и даешь мне знать! — сказал он нежно коню.— Кто же эти двое?» Не успел он сообразить, как всадники были уже рядом, и Магдилав сразу узнал круглолицего, плотного, черноглазого Исилава и с ним его сына.

Как они сидели на конях! Просто любо было смотреть на них. Отец был в черной бурке, серой, в цвет коня, каракулевой папахе, а за плечами висел башлык из сугуры, чтобы укрыть голову на случай дождя.

— Вах! Это ты, прославленный Магдилав? Я-то думал, что за утес преградил нам дорогу. Салам алейкум, сынок,— так приветствовал Исилав юношу, улыбаясь от всей души, и как аксакал соскочил с коня, выказывая уважение встречному.

То же самое сделал и его сын.

— Давно я хотел увидеть тебя, да все не удавалось. Как ты поживаешь?

— Ваалейкум салам,— говорил Магдилав, неловко протягивая большую, как лопата, руку.— Вот был на базаре...

— А это твой конь? Почему же он без седла?

— Да не успел купить.

— Приезжай, сынок, ко мне в гости, в Турутли, отсюда рукой подать. И седло для твоего коня найдется. А уж леса у нас богаты дичью, и горы, и реки. Мы с тобой поедем на охоту, не пожалеешь!

Магдилав потупил голову.

— Не знаю, как быть.

— Не хочу слышать «не знаю». Ровно через неделю, в следующий четверг будем ждать тебя! Правда, Аслан? — обратился Исилав к сыну, тот согласно кивнул головой — не положено горцу разговаривать при старших.

Обрадованный Магдилав обхватил коня своего обеими руками и, будто мешок с пшеницей, поднял с дороги и поставил на скалу, освободив путь Исилаву и его сыну.

— Спасибо, сынок.— Исилав восхищенно смотрел на юношу.— Вот были у Нуцала по делам. Теперь спешим домой. Прощай, Магдилав, не забудь наше приглашение, будем ждать тебя!

И они ускакали. Магдилав взял коня и спустил его на тропинку. Вытирая пот с лица, он долгим взглядом смотрел вслед всадникам. «Видно, хороший человек Исилав», — думал юноша. Как ласково разговаривал он со мной. Мой отец ненавидит его, неужели Исилав заслужил ненависть? Совсем не похож он на других богачей. Три шкуры дерут они с нас. При встрече мы должны кланяться им до земли. Одному аллаху молимся, по одной земле ходим, одним солнцем греемся, а богатым почет и честь, беднякам — горести и слезы. Слава аллаху, что есть такой Исилав. Он говорил с ним как равный и в гости приглашал. Обязательно поедет он к нему, хоть и бедно одет. На дочку прекрасную взглянет. Только как она примет его?

Магдилав не помнил, как пришел к отцовскому дому — мысли его были далеко. Будто во сне, представлял он сказочную крепость, поднимающуюся до небес среди неприступных скал, а у солнечного окна красавицу, сестру семи братьев. Вокруг красавицы араваши — служанки и поют, и танцуют — развлекают свою госпожу, но красавица грустно смотрит на дорогу и ждет своего рыцаря. А рыцарь — это он, Магдилав,— скачет на красном коне, будто по небу плывет, в руках у него шашка из гоцатлинской стали сверкает как молния...

Но все это мечты, а пока Магдилав не спеша открыл покосившиеся от старости ворота родного дома и, низко пригнувшись, чтобы не задеть их головой, вошел в маленький дворик. Отец только что вернулся с мельницы, даже не стряхнув мельничной пыли с бороды и одежды, обозленный на что-то, рубил топором огромный чурбан. Пень был крепким — из гипары, и каждый раз, когда отец на что-нибудь сердился, хватал он топор и начинал стучать по чурбану сначала изо всех сил, так что мелкие щепки летели во все стороны, наводя ужас на соседских кур, а потом, по мере того как гнев его утихал, топор стучал все тише, взмахи рук делались все медленнее, и наконец морщины на лбу разглаживались, и глаза опять смотрели на домочадцев спокойно и ласково.

Когда-то Магдилав в таких случаях рвался помочь отцу, но мать его останавливала: «Не мешай отцу, сынок. Это он гонит шайтаньего беса, пусть, бедный, поработает, устанет — успокоится». Был он маленький, но крепкий, мать в сравнении с ним казалась высокой

как тополь. Нужда согнула ее раньше времени, и сейчас особенно заметна стала ее хромота. Спокойная, с добрым сердцем, она для всех находила ласковые слова, всегда умела погасить гнев вспыльчивого и сварливого мужа. Но уж если ничего не помогало, в таких случаях старый Магди хватался за свой заветный чурбан.

Так было и на этот раз. Отец, весь белый от муки, пыхтел с топором. Увидев сына, он резко выпрямился.

— Чья лошадь забрела в наш двор? — спросил он ворчливо.

Магдилав усмехнулся:

— Была чужая, стала наша.

— Украл, что ли?— голос отца задрожал от гнева. Даже мать охнула у порога, не решаясь показаться сыну в рваном платье.

— Зачем же красть? Разве в нашем роду водились конокрады? — ответил Магдилав с достоинством. — Я заработал ее.

— Так я и поверил, — сказал отец с некоторым облегчением. Сгустившиеся на его лице тучи начали рассеиваться.

— Хочешь верь, хочешь нет, отец, а я говорю правду. И у кого бы ты думал — у самого Будагилава из Тенхи,— и Магдилав рассказал, как все случилось. Постепенно лед растаял в глазах мельника, складки на лбу разгладились, он то и дело ходил вокруг коня, щупая его бока, спину, будто говорил: «Хорош конь, и как он пригодится в нашем хозяйстве».

А мать слушала и кивала головой.

— А это тебе, мама, — спохватился Магдилав и вынул из старых хурджинов сугуру,— на платье.

— Ой, спасибо, сынок,— запричитала старая Муслимат.— Давно я не носила новое платье, кажется, лет десять. И какая крепкая сугура, на всю жизнь хватит мне.

— Все это на платье не пойдет, — важно вмешался Магди, — останется и на шаровары для меня.

— На дороге я встретил Исилава с сыном,— продолжал Магдилав.

— Какого Исилава? — снова нахмурился отец.

— Того, из Турутли. Какой добрый человек! В гости меня пригласил. Говорит, и седло для коня найдется...

— Без его седла обойдемся, — прервал Магди. — Проклятый враг, не произноси при мне его имени. Он моего брата убил и еще смеет показываться в наших местах...

— Отец, ведь прощеный кровник становится братом, — пытался Магдилав оправдать Исилава.

— Братьями становятся, сынок, те, кого родила одна мать, а меня, как тебе известно, родила гондохская женщина, а не полураиятка из Гурутли...

...Младший брат Магди Султан не походил на брата — стройный, высокий, веселый. Целые дни он проводил с друзьями, ставил капканы для фазанов, ловил рыбу на речке, по вечерам пропадал по чужим гумнам на играх. Придет певец или сказочник из соседнего аула Алилмахсуд, он уже сидит с ребятами где-нибудь в уголке среди взрослых. «Что же ты брата не берешь с собой?» — спрашивали его аульские девушки и ребята. «Он на мельнице, кроме шума жерновов, ничего не любит», — смеялся Султан. А сам веселился и за себя, и за брата. Отец ругал, бывало, и бил его иногда за легкомыслие: «Стрекочешь, как стрекоза, а вот обзаведешься семьей, посмотрю я на тебя, как будешь жить!»

Но Султана все равно невозможно было отбить от ватаги ребят. И танцевал он лучше всех, и ездил на лихом коне как настоящий джигит, поэтому и сельские девушки сохли по нем, хотя родители не изъявляли желания увидеть его зятем. Пробовал отец засватать ему девочку, по обычаю аула, но многие отказывали выдать за него дочку, считали лоботрясом, мол, землю не любит, к крестьянскому труду непривычен, значит, и хозяин из него выйдет никудышный.

Но вот подрос Султан и, как вы думаете, стал абреком — гонял из табуна богачей коней, грабил на большой дороге купцов, нагоняя страх на людей.

Однажды встретился он в волчьем ущелье с молодым Исилавом. Тот возвращался с базара. Накинулись на него трое абреков, завязалась драка, но турутлинец показал чудеса храбрости, дружки Султана убежали, а они — двое остались лицом к лицу. Поединок их кончился внезапно: Исилав выбил оружие из рук Султана. Опозоренный, безоружный, Султан хотел было поконн-

чить жизнь самоубийством, но Исилав не дал ему прыгнуть со скалы.

— Аллахом проклят тот, кто покончит с собой. А у тебя для этого вовсе нет основания. И ты многих оскорблял, и у тебя должно хватить мужества вынести поражения. Дай руку, мы с тобой, я надеюсь, останемся друзьями.

В ту ночь Исилав почти силой привел к себе гостя.

— Вот мой друг, и отныне двери моего дома всегда открыты ему,— сказал он матери.

К великому удивлению гондохцев, изменился Султан с тех пор. Покончил он с жизнью абрека, с помощью Исилава похитил он первую красавицу из Гондоха и женился на ней. Нанялся Султан лесником к Арсахану, охотился с другом Исилавом в горах на туров и кабанов. А дома его ждала красавица Сумайшан, в сравнении с которой даже луна бледнела. У нее были синие-синие глаза, похожие на чистое, безоблачное небо, тонкие крылатые брови и смеющиеся алые губки, за которыми таилась белая стенка жемчужных зубов. Ходила она нежной куропаточьей походкой, и старики при встрече с ней шептали про себя: «Никогда не видели в наших местах такого редкого цветка». Из-под белой шали из чохто, сделанного из бахромы, падали золотистые косы — чуть касаясь пяток.

Султан души не чаял в ней. Соседки завидовали Сумайшан: «Везет же людям, что́ есть у нее кроме красивого лица? Накликает эта красотка беду на голову Султана! Не зря же говорят: «Красивую жену лучше иметь у соседа». А мужчины завидовали Султану: «Надо же, чтобы Султану аллах подарил такую гурию, а не мне».

Недолго радовался своему счастью Султан. Над его головой неожиданно нависли тучи беды.

Увидел аварский хан Нуцал красотку Сумайшат. И зависть заела низкую душу хана, стал он замышлять коварным путем завладеть гондохской красавицей. Через Арсахана распустил слух, будто гурутлинский Исилав не зря заглядывает так часто в гости к Султану. Быстрее молнии облетели горский аул лживые слова, кинжалом ранили сердца людей. Дошли они и до Султана. Посмеялся он над этим, не поверил: «Хотят поссорить меня с единственным другом, всем поперек горла костью застряла Сумайшат».

Но не зря сказано в мудрой пословице: «Злое слово способно разрушить стальную скалу, не то что ранить сердце мужчины». Постепенно оно проникло в сердце Султана. А вдруг и правду говорят люди? Ведь рядом с горячей любовью ходит и проклятая ревность.

В тот вечер Исилав возвращался из далекой отлучки — ездил он к родственникам жены в Табасаран, остановился отдохнуть в Гондохе у друга, а Султана дома не было. Сумайшат обрадовалась кунаку, принялась стряпать, сказала — вот-вот и Султан должен вернуться. А тот, как нарочно, задерживался и по пути еще заглянул по делам к Арсахану. Тот напоил его бузой, между прочим сказал: «Видел коня твоего друга, стоит у тебя во дворе, а Сумайшат твоя поет ему песни».

Поднялся Султан сам не свой, положил руку на рукоятку кинжала и вошел, шатаясь, во двор к себе. Видит, конь Исилава ест сено. Как бешеный ворвался в дом Султан и, обнажив кинжал, бросился на Исилава. «Защищайся, турутлинец! Двум нам не жить под одним небом!» — «Как ты смеешь так оскорблять меня, Султан!» Исилав поднялся, он хотел уйти из этого дома навсегда. Но Султан кинжалом нанес ему в плечо удар, и тогда Исилав вынужден был ответить. Рана Султана оказалась смертельной.

Похоронили Султана всем селом, приехал даже сам Нуцал. Радовался коварный хан, что чужими руками убрал он соперника. И вскоре во дворце Нуцала появилась новая служанка — Сумайшат. Только тогда кое-что поняли родители Султана, да и брат Магди, но сказать об этом вслух не смели, ибо идти против хана, что плыть против течения — так говорит народная мудрость.

Каждый день взгляды гондохцев напоминали Магди о мести: «Когда ты смоешь позор с нашего рода, когда убьешь убийцу брата?» И Магди готовился. Но готовился он не к встрече лицом к лицу — Исилав был слишком сильным противником. Он мечтал подкараулить его где-нибудь и из засады нанести смертельный удар.

И вдруг в один из рузманов[1] явился Исилав со всей своей родней в аул Гондох. Магди работал на мельнице, когда ему сообщили об этом. С кинжалом в руках

[1] Четверг, день, который мусульмане считают лучшим днем сотворения добрых дел.

бросился он к отцовскому дому. Народу было полным-полно во дворе старого мельника. Всем не терпелось посмотреть, как поступит с врагом рода старый аксакал. А старший в роду Исилава, седобородый Муралиб, держал в дрожащих руках маленькую подушечку из черного бархата, а на ней обнаженный кинжал, блестевший на солнце. Издавна по закону гор отцу убитого полагалось выразить свою волю: если он целовал кинжал — значит, прощает врага, если же прощения нет — он брал кинжал и бросал его острием в землю: вот, мол, вам, так мы хотим вонзить кинжал в ваши черные сердца!

С соседних крыш все с нетерпением смотрели на старого мельника, убитого горем. Сгорбленный, с дрожащей головой, в старой черкеске, медленно спустился он по каменной лестнице. Вот и последняя ступенька, а он еще и головы не поднял, смотрел вниз на землю, будто спрашивая ее: «Как мне быть, мать? Пролить кровь и этим смыть вражду, которая унесет не одну молодую жизнь моего рода, или же простить убийце за смерть любимого сына и навсегда покончить с горькой враждой?» Но ничего не ответила ему сырая земля. Старик поднял отяжелевшую голову, обвел мутным взглядом лица людей, потом взгляд его упал на сверкающий кинжал. Он взял его обеими руками и поднес к губам.

— Отец, не надо! — раздался крик Магди. Мельник вздрогнул, поднял брови и, чуть повернувшись влево, посмотрел на сына. Тот стоял с обнаженным кинжалом, готовый отомстить за брата.

Старик, на миг застывший, поцеловал холодный и гладкий острый клинок. Все облегченно вздохнули. Только Магди со слезами злобы в глазах повернулся и бросился вон из дома.

Так старый мельник заключил мир. Клинок он вложил в ножны и повесил на стенку — как велит обычай, а бывших врагов пригласил в свой дом отведать хлеба.

7

— Вот так, сынок, сложилась судьба моего брата, а твоего дяди Султана. В душе я так и не простил Исилава, хоть и не осмелился ослушаться отца. И нечего тебе возобновлять дружбу с турутлинцем, оборван-

ную лезвием кинжала, облитую кровью. Не езди к нему, чует мое сердце — это не принесет тебе добра.

Магдилав ходил сам не свой. Он не хотел пренебречь отцовскими словами, но глаза прекрасной дочери Исилава не давали ему покоя. А скакун между тем пахал жалкие клочки полей около реки, возил на нем Магди чужие мешки с мукой, навоз, сено.

Прошел четверг, и всю ночь не спал юноша — представлял себе, как ждут его в Турутли. Прошел еще четверг с той встречи в горах, и он совсем потерял голову, а когда наступил третий четверг, не выдержал Магдилав — до крика петуха покинул отчий дом.

В самом живописном уголке среднего Дагестана был расположен Турутли, что означало скалистый. Издали он казался талисманом на лбу коня, ибо находился на самом выступе горы — на вершине скалы. С восточной, южной и северной сторон громоздились высокие гладкие скалы, будто разрезанные кинжалом, а в самом низу — в пропасти мчалась бурная, черная Авар-Койсу, омывая с одной стороны скалы, а с другой неслись мутные, красные от глинистого дна волны кази-кумухской реки. Еще не сливаясь, они текли рядом, как влюбленные, стремящиеся к объятию и боящиеся уступить друг другу в чем-то.

Надежно был защищен Турутли с трех сторон реками и скалами. А с западной стороны, куда сейчас ступал конь Магдилава, зеленела лощина, которая образовала что-то вроде естественного моста, проложенного из крепости к высоким цоринским горам. Вершины гор сверкали белизной вечных снегов, а чуть ниже по склонам начинались леса — то высокие сосновые, то мелколесье, то смешанные рощицы, а еще дальше — ближе к Турутли лежала узкая, разрезанная с обеих сторон зеленая лощина с редкими фруктовыми деревьями тутовника, грецкого ореха и абрикосов.

Весна была в самом разгаре. Лучи солнца еще не успели опалить густые травы — они отливали изумрудом, тут и там алели островки горного мака, над ним в радостном хороводе жужжали пчелы. Аромат цветов и трав опьянял Магдилава. Он сошел с коня и повел его за уздечку. И чем ближе он приближался к крепости, тем медленнее, тяжелее становился его шаг.

У крепостных ворот ватага детей забавлялась игрой в орехи. Юноша засмотрелся на эту веселую игру, вспом-

нил свое недалекое детство, усмехнулся, припоминая, как почти всегда он оставался победителем, выигрывая больше всех орехов,— и все из-за своих длинных рук.

Мальчишки бросили игру и, разинув рты, взирали на незнакомого великана. Магдилав попросил их отвести его к дому Исилава, и сразу вся ватага с готовностью указала ему путь и повела его за собой.

Они шли то по узким улочкам, часто прикрытым крышами-переходами из крыш на крышу мостиками дорогой, где порой великану приходилось пробираться чуть ли не на четвереньках, а мальчишки то убегали вперед, то возвращались — все не могли насмотреться на такую громадину. И вдруг они очутились на зеленой полянке, где из-за огромных деревьев айвы показался большой красивый дом с широкой верандой. У входа был прибит череп горного тура с разветвленными рогами — для отвода дурного глаза. Дети показали на закрытые деревянные ворота и отошли. Магдилав в нерешительности остановился. До слуха его донеслась песня, которую пела тихо и плавно горянка. И почему-то песня была печальной.

С бьющимся сердцем слушал юноша прекрасный голос и наконец, набравшись смелости, тихонько толкнул рукою дверь. Его тихое прикосновение подобно было сильному удару обыкновенного человека. Дверь открылась, и Магдилав отпрянул, ослепленный. Под зелеными ветвями тутовника сидела девушка. На гладко вымощенном полу был расстелен ковер, на ковре подушка, а на ней она — прекрасная, как майский цветок под утренним солнцем. Перед ней стоял деревянный станок, на котором табасаранки ткут ковры, рядом разноцветные нитки, а руки ее, тонкие, белоснежные, проворно работали — ткали. Девушка вздрогнула и подняла голову, красная шаль соскользнула ей на плечи. В черных, как ночь, глазах, вспыхнул огонь.

— Ой!— вскрикнула она, убирая под шаль распустившиеся без чохто косы, и быстро вскочила на ноги.

— Салам! — тихо проговорил Магдилав.

— С приездом вас! — улыбаясь и уже оправившись от минутного замешательства, ответила девушка. — Что же вы стоите, дайте-ка мне коня,— и она взяла у него поводок. Потом пошла на сеновал, принесла охапку свежего сена и положила перед конем. Плавной своей походкой поднялась наверх и вернулась с подушкой для

гостя. — Садитесь, скоро приедут отец и братья. Они с чабанами перегоняют овец с гор. Время такое опасное — говорят, воины Надиршаха где-то рядом, а ведь они не щадят никого.

— Я давно собирался приехать, да все не удавалось,— лепетал Магдилав, неловко усаживаясь на ковер. А девушка продолжала непринужденно болтать.

— Отец говорил нам, что вы должны приехать, он ждал вас еще в прошлый четверг, собирался на охоту.

— Жаль,— сказал почему-то Магдилав, еще не смея открыто взглянуть на дочку Исилава. На душе у него было легко и радостно, ведь он увидел ее наконец-то, находится так близко к ней, и такое волнение охватывало его, что пришлось повторять себе: «Будь мужчиной, Магдилав, не теряйся, успокойся, не выдавай свою неловкость, потом не исправишь — вот она, райская птица, порхает вокруг тебя, но она ведь так высоко от тебя, что не достанешь никогда, хоть досыта налюбуйся и послушай ее».

От смущения он стал рассматривать ее работу и был поражен искусством мастерицы. Ковер наполовину был уже готов. Как живой в центре его красовался олененок на тонких точеных ножках. Магдилав улыбнулся.

— Это мой Тулпар,— заметив улыбку Магдилава, сказала девушка. — Отец привез его с гор мне в подарок. Ему еще, наверное, и грех месяцев не было. Мать его тигр зарезал. А сам он умирал с голоду, бедняжка, и хромал. Всех сначала дичился, а ко мне привык сразу. Вот и теперь не отходит от меня. Правда, Тулпар, ты любишь свою Тайпус? — Олененок — Магдилав сначала и не заметил его — карими преданными глазами глядел на свою хозяйку.

«Так вот как зовут ее! Тайпус! Какое прекрасное имя! Тайпус — значит «райская птица»! Видит аллах, что поистине так, и говорит она, как поет, и жемчужины сыплются у нее изо рта!»

Юноша смотрел на узоры сотканного ею ковра, а на него смотрели два черных глаза, глубоких, ласковых, лучистых. Совсем близко он слышал ее певучий голос, чувствовал ее дыхание. А она говорила так просто, будто делясь с братом о своей судьбе, о том, как умерла ее мать, добрая женщина из Табарисе, как горевал отец, ведь он так ее любил,— была она красивая, на все руки мастерица, и это она научила дочь ткать ковры.

Часто повторяла она: «Мастерство, дочка, не умирает никогда. Из-за этих ковров мы и с отцом твоим встретились. Приехал он однажды в Табарисе за коврами и увидел меня. И уж больше не отстал, пока не добился согласия моих родителей сыграть свадьбу»...

Не была Тайпус похожа на гондохских девушек, воспитанных на старых горских обычаях. При встрече с мужчиной не смели они открывать лица, возвращаясь от источника с кувшином на плече, делали они огромные круги, только бы обойти годекан, где проводила время мужская половина аула. А Тайпус была совсем другой. Ведь росла она среди семерых братьев. Всюду — и на охоту, и на пиры брали они с собой сестренку. Все уже привыкли видеть ее на ретивом коне, скачущей не хуже любого джигита. И оружием она владела не хуже братьев, а вот мать научила ее ткать ковры.

Между тем Тайпус разожгла огонь в коре и стала стряпать тоненькие чуреки, в кастрюле сварилось мясо, и чудесный запах щекотал ноздри голодного горца. «Какому счастливцу достанется она? — думал он с грустью. — Конечно, только ханскому сыну отдаст ее отец». И представлял себе, как однажды увезет богатый жених Тайпус в роскошный дворец. «Ну и пусть, все равно, он, Магдилав, навсегда сохранит ее образ в своем сердце».

— Кажется, наши возвращаются! Я слышу стук копыт,— прервала его печальные мысли Тайпус.— Пошли, встретим их в лесу у источника Китилай. Я всегда ожидаю их там. — Магдилав с готовностью последовал за девушкой.

Опять жители Турутли с удивлением смотрели на невиданного великана, с трудом пробиравшегося по узким улочкам. А детвора далеко за крепостной стеной гурьбой провожала их.

«Какой он большой, поднимет руку и до неба достанет!» — шептались мальчишки между собой. А великан ласково улыбался им. Они проходили мимо большого дерева. Метров на сорок тянулось оно в небо, под весенним, тихим ветром шелестела его серебристо-шелковая крона.

— Крепкий старик эта пальма,— говорила Тайпус.— Откуда бы не возвращалась я домой, издали еще вижу ее верхушку.

— Сколько же лет этому великану?

Тайпус задумалась.

— Моя бабушка говорила, что они ровесники с этим деревом. А бабушке было сто тридцать.

Так они переходили от дерева к дереву, рассказывая друг другу сказки и легенды, услышанные от старших. За пальмой по склонам начинались заросли ивняка, где весенние птицы пели свои песни, где там и сям мелькали летучие мыши, пушистые белки. Магдилаву казалось, что он попал в волшебный мир: таким невиданным казалось ему все вокруг — и деревья, и пестрая от множества цветов зеленая трава, на которой играли лучи солнца, падающие сквозь листву, и журчание родника где-то близко, и олененок, который резвился около Тайпус, и, главное, рядом шла она, такая легкая, такая красивая и такая простая.

Она радовалась всему — и цветам, и хрустальному воздуху, и встрече с братьями и отцом, а ему чудилось, будто всю жизнь они шли вот так рядом, будто две тропинки, которым все равно не суждено никогда слиться воедино. Отчего ему становилось вдруг грустно? Ведь он должен покинуть этот сказочный мир, уехать к себе в Гондох, и аллах знает, когда еще ему удастся идти вот так с ней под этими деревьями, по этой тропинке. Взять бы ее, да и поднять на руки и унести с собой в свой дом, к своему бедному очагу...

Неожиданно зловещая тень орла нависла над олененком, он вздрогнул и пустился наутек.

— Тулпар! Тулпар! — закричала испуганная Тайпус и, сорвавшись с места, побежала за ним, а он мчался во всю прыть своих тоненьких ножек. А у Тайпус только платье вздувал ветер, шаль соскользнула с головы, упала на спину, рассыпав косы, и они, как черные змеи, легли на тонкие плечи.

Магдилав остановился в замешательстве, но тут же бросился на поиски. Он оставил позади Тайпус и побежал дальше за олененком. Он почти настиг его и протянул уже руку, чтобы схватить, маленькое тельце. Олененок прыгнул и исчез из виду, и вдруг земля провалилась под ногами — Магдилав рухнул в пропасть. Нет, это была не пропасть, а огромная яма-ловушка для хищников, искусно замаскированная ветками деревьев. Магдилав не успел еще опомниться, как на него кинулся разъяренный тигр. Как во сне услышал юноша жалобное блеяние олененка и испуганный голос Тайпус: «Беда, беда! Они упали на тигра! Скорей на помощь!»

Магдилав напрягся из всех сил и, казалось, прилип спиной к сырой земле. Чувствуя под лопатками корни дерева, торчащего из земли, он вырвал корень и хлестнул оскаленную морду тигра. Тигр отступил в одну секунду. Зарычал и опять обнажил клыки. Магдилав молнией бросился на врага. Он вцепился в горло хищника своими огромными ручищами, и оба — зверь и человек — сплелись в тесном объятии. Тигр цеплялся острыми когтями в бока Магдилава, рвал живот, стараясь освободиться от его сильных рук. И наконец затих обессиленный.

Магдилав не знал, сколько времени прошло. Он лежал, будто не живой, а в руках его был мертвый тигр. По лестнице к нему спустились братья Тайпус и подняли его. Он еле-еле стоял на ногах, а голоса людей слышались издалека, будто шумела река. Он хотел подняться по лестнице сам, но она сломалась под его тяжестью, тогда ему дали конец веревки, чтобы он держался за него, а другой конец привязали к старому дубу. Магдилав стал карабкаться наверх, весь в ранах, истекающий кровью. Его затуманенные глаза увидели лицо Тайпус, залитое слезами.

— Слава аллаху, он жив! — прошептала она.

— Такой, оказывается, и тигру не под силу,— добавил Исилав. Он был в папахе, бурке, стоял рядом с дочкой и давал указания сыновьям.

— Бедный олененок, умер от испуга,— услышал Магдилав как сквозь сон чей-то голос. Голова его закружилась, и он рухнул на землю.

— Полежи, Магдилав, на зеленой траве, отдохни, сынок,— сказал Исилав. — И не стесняйся своих ран, они украшают тело мужчин.

8

Очнулся Магдилав в незнакомой, богато украшенной комнате. Стены ее покрывали ковры затейливых узоров, два маленьких окна пропускали мало света, и потому в комнате был приятный для больного полумрак. Лежал он на широкой, низкой тахте, и его длинные ноги свисали с нее, опираясь в угол. Юноша приподнялся, увидал Тайпус, братьев ее, Исилава и все вспомнил. Рядом с прекрасной Тайпус стояла маленькая высохшая старушонка, вся в черном. На лице ее горели два совиных глаза, внимательных и по-молодому зорких. Увидев, что раненый очнулся, она засеменила к нему.

— Получишь десять мерок кукурузы, только вылечи моего кунака! — сказал Исилав.

Знахарка ничего не ответила, подняла руку, на которой висели четки, и сделала знак, чтобы все удалились, кроме Тайпус. Она зашептала что-то про себя, вынула из-за пазухи перевязанную веревкой маленькую книжечку с арабским шрифтом, полистала, прочитав там что-то, и протянула обе сухие, костлявые руки к небу.

Старуха долго колдовала над ним — она чистила раны, промывала их настоем из трав, шептала какие-то заклинания.

— Теперь он должен выздороветь, кормите его мясом горных туров, поите водой из источника Китилай. Я приду через три дня,— сказала знахарка Тайпус и ушла. А в дверях обернулась и добавила будто про себя: — Бедная мать, как она-то носила в утробе такого великана,— и скрылась.

Раны Магдилава горели огнем, но ни единым вздохом не выдал он себя. Лежал, как послушный ребенок, когда Тайпус поправляла подушку, укрывала своими волшебными белыми руками его могучее тело. «Твои руки, их прикосновение могут вылечить меня быстрее, чем лекарство этой черной вороны»,— хотел он сказать, но язык не поворачивался. И радостно, и неловко было ему вот так лежать беспомощным в чужой комнате. При каждом появлении Тайпус, а она появлялась часто и временами сидела подолгу около него, сердце у него билось как у пойманной птицы. Когда она кормила его, помогала ему подняться, когда он опирался на ее маленькие хрупкие плечи, как боялся он своей неуклюжей большой рукой причинить ей боль, а она с ним, таким огромным, обращалась, как мать с ребенком, нежно говорила с ним, радовалась, когда он съедал все, что она приготовила.

Исилав с сыновьями редко бывали днем дома; их тревожили слухи о военных действиях Надиршаха в южном Дагестане — всегда их кони были оседланы, даже ночью не расставались они с оружием. Двое старших сыновей Исилава воевали вместе с Муртазали — сыном Сурхайхана — где-то около Казикумуха, и каждый день мог принести печальную весть об их гибели.

— Да, браток, время смутное. То татары, то турки проливали кровь, а теперь Надир грозит нам — Дагестан похож на каменный мешок с золотым дном — так и манит он иноземцев. Но и Надир сломает свою шею в на-

ших суровых горах, как и Тамерлан,— говорил иногда Исилав Магдилаву. И Магдилаву было до боли стыдно, что в такое тревожное время, когда каждый горец точит кинжалы, кормит коней для похода против завоевателей, когда то там, то тут на земле Дагестана проливают воины кровь в схватке с врагом, он бездействует. Он хотел было покинуть постель раньше времени, но Исилав предупреждал его, что раны от тигра опасны, надо долечиться, да и Тайпус умоляла своими чарующими речами: «Послушай, милый, меня, разве я плохо забочусь о тебе, будь благоразумным!»

— О ком ты так беспокоишься, Магдилав? — спросила однажды Тайпус. Она сидела у его изголовья, вышивала и тихонько напевала про себя. — Я слышу, как вздыхаешь.

— О бедной матери,— отвечал он. — Она, наверное, устала смотреть на дорогу, ожидая меня.

— А еще о ком?

— О бедном олененке думаю. Как жаль его. Он развлекал тебя, так привык к тебе.

— Да, любила я его. Но, слава аллаху, хоть ты остался жив. Ведь из-за моего олененка ты мог погибнуть.

— Я еще поймаю тебе, Тайпус, олененка. Вот поправлюсь, поеду на охоту — буду ходить по горам, лесам день, неделю, месяц, а если надо и год, но все равно найду тебе такого же олененка.

— И я пойду с тобой на охоту,— улыбнулась Тайпус,— или думаешь я испугаюсь, или не умею стрелять?

— Почему же, я знаю, ты храбрая, хорошая и...— он покраснел, хотел сказать «и красивая», но не мог.— Но пустят ли отец, братья тебя со мной?

— Пустят, они тебя любят и уважают. А ты возьмешь меня с собой?

— Я бы без тебя шагу не сделал никуда на белом свете, я бы за тебя и жизнь отдал... но...

— Что «но»? — едва слышно спросила Тайпус.

— Ты богата,— вздохнул Магдилав. Видно было, как ему трудно говорить об этом.— Богата красотой, братьями, богата отарами овец, табунами коней, а я беден и на свою беду увидел тебя.

Тайпус печально улыбнулась:

— Если град грянет в лето — то убивает урожай, если зима суровая — погибает скот. Мой отец все это не считает богатством, Магдилав. Если бы он преклонялся

перед богатством, не женился бы на бедной табасаранке, у которой на приданое были три ковра да две руки...

— Руки-то золотые...

— Это верно, руки у нее были золотые.

— И у тебя они золотые и волшебные.

— Однако заговорились мы, вскоре должны вернуться братья, пойду готовить ужин. А что бы ты поел, Магдилав?

— Я бы... мне бы только слушать и смотреть на тебя каждый день хоть минуту...

— Этим сыт не будешь, ха-ха-ха,— засмеялась она и выбежала из комнаты. А Магдилав хотел крикнуть: «Больше ничего не надо, о всевышний, отдай мне ее, обрадуй своего раба, бедного Магдилава,— соедини наши сердца навсегда».

Он радовался, как ребенок, который смотрит в чистую гладь воды, где купается луч солнца, и пытается поймать его. Только протянет руку, а он вздрогнет и убежит. Магдилав слышал ее голос, нежный, ласкающий его ухо, вселяющий в его сердце радость, он видел перед собою черные глаза, которые горели, как звезды на небе в черную ночь, такие лучистые, такие глубокие и чарующие. Он повторял ее слова. И душа его заполнилась счастьем, он витал в облаках. Ему улыбался весь мир. Он забывал о боли, о слабости своей, хотел обнять и эти деревья, и горы, схватить с неба солнце, и тоже прижать к своей груди, а главное, убивать всех тех, кто покушается на эти горы, на это прекрасное солнце.

Юноша чувствовал такой прилив силы, что казалось — шагни — и он достанет Седло-гору, крикни во весь голос — задрожат скалы, встряхнет землю — вся нечисть, невзгоды смоются с ее лица и останется одна любовь и свобода!

Неожиданно раздался стук копыт коней и стрельба у ворот крепости.

9

Это возвратились с войны старшие братья Тайпус. Один из них был ранен в схватке с иранцами у Ак-Бурджи, другой — Аликадир вернулся здоровым, но был он худ и зол. С ними вместе приехал и сын Сурхай-хана, племянник Нуцала, Муртазали. Был он одет в папаху из густой бараньей шкуры, в богатую черкеску с газырями. Подтянут, в плечах широк, а в талии узок, взгляд

его выражал высокомерие, и держался он хозяином.

Мужчины сидели на веранде на мягких подушках, по-турецки поджав ноги, пили чай, которым угощала их прекрасная Тайпус, и вспоминали недавние военные действия.

Сыновья Исилава, один стройней другого, сидели в ряд, а в середине сам Исилав. С ними были верные друзья из Турутли. Из своей комнаты Магдилав слышал весь разговор, хотя и говорили мужчины приглушенными голосами.

Итак, после нападения Сурхай-хана на Дербент, потом разгрома персов в Шимахи Надиршах принял решительные меры, выслав многочисленные войска на подавление мятежа в южном Дагестане. Дербент был снова взят, а с восставшими жестоко расправились. Часть дагестанских феодалов, испугавшись, изъявила желание повиноваться шаху, платить ему дань, как бы она ни была тяжела. И лишь немногие феодалы, в том числе Сурхай-хан, мужественно отвергли предложения посланца Надира.

Такой ответ кази-кумухского хана взбесил иранских военачальников, они самовольно стали грабить аулы. Горцы сопротивлялись изо всех сил, в селении Джаро-Белокан восставшие перебили иранских воинов-грабителей. И то, что им удалось собрать, отняли горцы, нападая на обозы на дорогах.

Поэтому летом 1737 года брат Надиршаха, наместник Дагестана, Ибрагим-хан во главе тридцатидвухтысячного войска двинулся в Джанаки-Белоканы; он хотел построить крепость на дороге, в местности Ак-Бурджи,— крепость, которая служила бы базой для военных операций против горцев. Узнав о намерениях Ибрагим-хана, горцы близлежащих к Ак-Бурджи аулов стали тщательно готовиться к отражению неприятельского наступления.

А правители джарских племен Ибрагим-Диван и Халил, объединив свои силы, построили свои отряды в Дефим, через который должны были пройти войска шаха. Туда же должен был двинуться и отряд Муртазали, состоящий из горцев аварского ханства. Пока еще собрано только четыреста воинов. Они в пути, из каждого аула приходят в отряд воины. Вот Муртазали пришел сообщить об этом Исилаву и попросить у него помощи, может, из турутлинцев найдутся еще добровольцы, желаю-

щие сражаться против персов, защищая святую землю Дагестана, помогая соседним племенам, над которыми нависла смертельная опасность.

Всю ночь не спалось Магдилаву; он думал над своей судьбой. А утром ржание коней, разговор парней, которые подковывали их, приход-уход женщин — во дворе Исилава все говорило о быстрых сборах на войну. Сам Исилав чистил винтовку, а Тайпус в коре пекла чуреки на дорогу братьям и отцу. Все удивились, когда Магдилав вышел на веранду.

— Ты что это, сынок?! — сказал Исилав. — Еще слаб, раны твои не зажили.

— Пустяки,— отмахнулся Магдилав. — Когда мужчины едут воевать, не могу же я сидеть в тени.

— Вах! Значит, хочешь ехать с нами? — спросил Муртазали.

— Как видишь,— с некоторым оттенком неприязни ответил Магдилав.— Думаю, я не помешаю вам?

— Наоборот, ты поможешь нам, багадур, такие, как ты, так нужны теперь,— не замечая неприязни, обрадованно ответил Муртазали.

— Раз ты решил, мы ничего против не имеем,— согласился и Исилав. — Только здоров ли ты, сынок? Не одну ночь придется провести под открытым небом, и дороги наши трудные.

— Свежий воздух и вода горных источников целебны,— улыбнулся Магдилав.— Только вот винтовки у меня нет.

— Все будет — и винтовка, и шашка, и одежда! — засмеялся Исилав.— Тайпус! Принеси-ка чуху, которую ты сшила для багадура.

И Тайпус вынесла нарядную чуху из серой сугуры с газырями и подала Магдилаву. А тем временем Исилав принес ему огромную шашку как раз к его рукам. Видимо, ее смастерил местный кузнец, пока багадур лежал больным.

— А ружье вот свое дарю,— говорил Исилав.— Пусть оно будет прицельным, Магдилав. Не пришлось нам вместе охотиться на горных туров, а вот за вражескими воинами уж поохотимся!

Все засмеялись, улыбнулась и Тайпус, любуясь Магдилавом: как шла ему чуха, которую она сшила, коротая бессонные ночи. И она положила, как и братьям, в его хурджины чуреки с брынзой и мясом, сама привязала их

к седлу красного скакуна и вышла во двор с кувшином на плече, полным водой, чтобы постоять на пути для счастливой дороги дорогим братьям, отцу и любимому Магдилаву.

— Настал наш час,— сказал Исилав,— да пошлет аллах нам удачу! Каждый раз, когда выхожу из дома, я гляжу на крону той высокой пальмы, будто она приносит мне счастье, а у ворот меня встречает дочка.

— И она приносит счастье?

— Да, сынок, надеюсь, и тебе она принесет счастье.

— Дай, аллах! Я бы всю жизнь молился аллаху, чтобы всегда вот так провожала меня из дома... Тайпус...

— Тайпус — она вся в мать, и та была доброй души человек.

— Как бы я хотел, Исилав, чтобы вы считали меня сыном. Знаю, я говорю не то, как в бреду. Но не могу выйти за этот порог, не сказав вам этого. Я беден, как то дерево, и одинок, у вас есть все...

— Правда, не время, Магдилав, для такого разговора, но раз ты начал его, то я должен ответить тебе, что не нужно мне ни твоего богатства, тем более его у тебя нет, ни твоей славы, правда, она у тебя есть. Лишь бы в груди у тебя было чистое сердце. Я сам такой, сынок, ты не красней. Вижу, и Тайпус ты по душе пришелся, да и мне нравишься. Дай, аллах, нам удачи покончить с врагом, сыграем вам свадьбу. Только отец твой будет против, он еще считает меня своим врагом, хоть вражду между мной и моим лучшим другом сеял Нуцал.

— Отец знает это, Исилав, только упрямится, против Нуцал-хана боится и слова враждебного сказать.

— С Нуцал-ханом, сынок, мы рассчитаемся. Вот придет время, отомщу за все, он стрелял в мое сердце и отнял моей же рукой лучшего друга у меня. Такое не прощается. Думаешь, он от души приглашает меня в гости, на охоту? Хитрит лиса. Но и я не дурак, дай аллах удобного случая, наступлю на хвост лисе... Итак, сынок Магдилав, если аллахом суждено, станешь моим восьмым сыном, братом моих сыновей. Этим восстановим мы разрезанную нить дружбы с твоим честным родом.

От радости сердце замирало в груди Магдилава, казалось, оно вот-вот вылетит к голубому небу. Он стоял такой большой перед Исилавом, а казался себе таким маленьким.

— Ну, сынок, выходи с аллахом впереди, а хозяин

должен последним покинуть двор,— подтолкнул его Исилав. — И Тайпус тоже ждет, наверное, нас.

— Бисмилахи рахмани рахим[1],— сказал Магдилав, выходя из открытых ворот и тут же увидел Тайпус, стоящую с полным кувшином на плече. Она растерянно улыбнулась, увидев счастливое лицо Магдилава, и все поняла. Отец потрепал ее по щеке.

— Что же, доченька моя, сегодня провожаешь отца, братьев и вот жениха. По глазам вижу, любишь его. Аллах свидетель, я только добра тебе желаю и здесь не хочу соблюдать обычаев — выдать тебя только по моей воле... До свидания, дочка, береги себя и наш дом.

— До свидания,— сказал еле слышно и Магдилав. Улыбающиеся сквозь слезы черные глаза любимой ответили ему. Нигде и никогда не забудет он их, любящих и нежных.

10

Три дня ехали аварцы во главе с Муртазали — вчерашние крестьяне, а сегодня вооруженные до зубов воины, чтобы помочь братьям казикумухцам, лезгинам и табасаранцам спасти их от меча беспощадного перса. И где бы они ни появлялись — в каждом ауле их встречали хлебом-солью, напутствовали добрым словом, отдавали лучших своих сынов. Из уст в уста передавались жестокие подробности бесчинств вражеских войск, воодушевленных приказом шаха — «рубить наповал непокорных».

Три крепости сооружали враги поблизости кази-кумухского Шемхала. Мечтали навечно укрепиться в горах и отсюда наносить удары дагестанцам. Но народы страны гор не испугались иноземцев. Отряд Муртазали, в котором теперь насчитывалось пятьсот сабель, двинулся навстречу врагу. На третий день, после выхода из Турутли, на заре июньского дня, когда над Тирхинскими горами нависла свинцовая туча, все были уже на конях у Салинского перевала, горбатого, как спина верблюда. Отряд остановился у самого его подножья, и Муртазали, посовещавшись с Исилавом, послал разведку на перевал. Оттуда как на ладони виднелось Салинское ущелье, цветущие лощины, холмы, шумевшая горная река. И вскоре разведка донесла, что за рекой в лощине сквозь молоко тумана просматриваются отряды Фатх-Али-хана; вся долина черным-черна, костры еще не потушены, но в ла-

[1] Пусть начало пути будет удачным.

гере врага чувствуется оживление, видимо, войска двинутся в поход и путь его лежит через Салинское ущелье. Сам Муртазали вместе с Исилавом и несколькими воинами поднялись на конях за зубчатую, каменистую вершину перевала.

— Если они перейдут каменный арочный мост, стоящий высоко над рекой, их уже не остановишь,— сказал Исилав. — Слишком много врагов. Преградить им путь нам не удастся.

— Надо бы мост уничтожить. Ведь стоит вытащить несколько камней из подпорки моста, и он рухнет. Придется врагам переходить реку ниже, в более спокойном месте, вот тогда и свалить на них неожиданно каменный град, тогда бы и нанести удар...

— Это же здорово! — вскричал Магдилав. — Увидят персы, как горцы умеют встречать врагов!

— Но как же быть с мостом, спуститься незамеченным почти невозможно туда, там внизу туман рассеялся, спуск как на ладони виден. Вот если бы с той крутой скалы,— и Муртазали показал рукой на отвесную скалу западнее перевала, спускавшуюся прямо к реке.

— Отойдем лучше к Сурахи, к следующему перевалу, там и дадим перца персам — нанесем внезапный удар сверху и, пока опомнится враг, отступим дальше, пока не поспеет помощь — иного выхода нет,— тут они могут нас разбить,— заметил Исилав.

— Они разрушат мой аул,— отозвался сотник,— что будет с односельчанами! Попадут в пасть персов — не останется живой души. Надо их предупредить, чтобы покинули аул.

— Я спущусь к мосту через скалу, разрушу мост,— выступил решительно Магдилав.

Все посмотрели на него с удивлением — такой великан с отвесной скалы спустится!

— Я привычный,— усмехнулся Магдилав. Он вспомнил, как когда-то заболела мать и знахари сказали, что вылечит ее только пчелиный мед. И тогда он взял кинжал, привязал к спине медный кувшин и, никому ничего не сказав, отправился со своим другом Гуллой к гондохской реке — там на груди высокой — в сто метров — скалы гнездились дикие пчелы. Друг стоял внизу, а Магдилав пробил на груди скалы кинжалом ступени для ног, поднялся по крепкому склону скалы и добыл мед.— Я привычный,— повторил юноша.— Конечно, спуститься

будет труднее, чем подняться, но что же делать, раз надо,— и он начал снимать чуху.

Никто не верил, что такой, казалось бы, неповоротливый великан спустится по отвесной скале. А Магдилав сунул за ремень топор, взял в зубы кинжал, засучил рукава и, сказав «бисмилахи рахмани рахим», вступил на скалу. Многие зажмурились от ужаса.

Вот он, держась руками за выступы скал, ища там, где бы зацепиться ногой, начал спуск. Вскоре из виду потерялась его бритая голова, а потом и он сам. Все стояли в ожидании — вот-вот раздастся крик сорвавшегося со скалы великана. Прошло несколько минут, всем казалось — несколько часов — и вдруг обрадованный сын Исилава крикнул:

— Хвала аллаху, он уже у моста!

— В самом деле,— сказал Муртазали.— Горный орел! Вот это мужество. Теперь, братья, приготовимся встретить Фатх-Али-хана, покажем персам, как мы умеем защищаться. Всем на выступы перевала! Туда ниже, где враг может переходить реку. Соберите камни, валуны — и обрушимся на них.

На помощь воинам пришли женщины из соседнего аула с плетеными корзинами — в них таскали камни; на кручах, там, где только возможно было, на перевале, сделали каменные мешки, засады.

В лагере врага между тем движение усилилось — после ночных дождей в ружьях приходилось менять фитили, ничего не подозревая, враги готовились выступать в поход, ибо туман, который ветер гонял, как стадо овец, по склонам гор, удобно скрывал от них перевал на той стороне ущелья. Горцы действовали осторожно, а Магдилав в поте лица топором раздвинул большие камни левого быка моста, на который опиралась арка. Потом, как бугай весною своими рогами разбрасывает землю, сорвал он их, разбросав по сторонам. И тут же отпрянул,— мост, будто разрезанный молнией, рухнул в ущелье.

Туман понемногу рассеялся, ветер гнал его опять на вершину горы, обнажив склоны ущелья. Магдилав вытер рукой пот с широкого лба и, довольный, посмотрел на свою работу. Пожалуй, тут и десять человек не справились бы, а он, позабыв о своих незаживших ранах, даже не в полную силу толкнул большой валун, и только-только полез обратно, как двинулась к мосту вражеская орда.

Впереди верховые — их и сосчитать невозможно, за ними обоз. Там находился сам главнокомандующий Фатх-Али-хан со своей пленницей — красавицей горянкой. Как тигренок смотрела она на него из-под белой шали — прозевай, бросится чего доброго на владыку. Поэтому рядом с ней сидел вооруженный евнух — слуга хана. Стук копыт, шум пеших тонули в грохоте разбушевавшейся реки, несущей в своих мутных волнах все, что попадало на дороге. Не перейти ее ни коням, ни пешим — насмерть расшибут валуны, которые она катила с гор.

А вот и разрушенный мост. Верховые остановились в недоумении, доложили хану. Фатх-Али пришел в великий гнев.

— Проклятые горы, тут и речки встают на дыбы, тут и скалы хмурятся при нашем приближении. О великий аллах, помоги моим воинам! — кричал он и молитвенно поднимал руки к небу. — Только кровь этих дикарей утолит мою жажду, железной метлой очищу я эти проклятые горы! Я поставлю их на колени и обрадую великого шаха! Доблестные мои воины, много трудных переходов проделывали вы, перед вами новые аулы, красивые горянки, теплые очаги и сладость победы!! Поищем же место, где смогут перейти эту взбесившуюся реку наши кони. — И, выбрав наиболее узкую часть реки, двинулись персы на тот берег.

— Идите, миленькие, мы встретим вас,— прошептал Муртазали. — Пусть на эту сторону переберется половина войска, тогда только начнем,— его приказ передали по рядам. Взгляды всех были прикованы к врагам, которые с трудом, под наблюдением верховых командиров, под дулами ружей переходили разлившуюся реку, ползли, цепляясь за кустарники по склону к перевалу.

— Лучше начинать,— говорил Исилав, увидев, как вражеские воины подошли совсем близко — пешие впереди, а верховые позади, ибо коням нелегко было подняться по скалистому склону. Шли они густой цепью, помогая друг другу удержаться, ругая эти непроходимые скалы и бурные реки. Вон они приблизились к перевалу, а за ним — долгожданная равнина, покрытая зеленью, где можно хоть немного отдохнуть. Как вдруг каменный град посыпался на измученных воинов. Казалось, тряслись горы и скалы — с грохотом и шумом падали камни, и персы в панике повернули назад. Стоны, крики и

беспорядочные выстрелы, шум падающих камней на время оглушил врагов, но слишком велико было их численное превосходство. Падали одни, вставали другие. Неожиданно огромный выступ скалы скатился вниз, сорвавшись с вершины. Это Магдилав, о котором все на время забыли, появился на перевале. Поднявшись со скалы, он скатил на кучу врагов эту махину.

— Верховые переходят реку со стороны мельницы, посмотрите туда!— кричал он. Но никто не видел врагов, только одному ему они были видны с вершины.

— Значит, хотят обойти перевал, окружить нас, отходите немедленно,— приказал Муртазали...

Отряд сорвался с перевала и, разбившись на сотни — на пять отрядов, начал отходить. Приходилось занимать поудобнее позиции и наносить персам внезапные удары из засады, ибо дать открытый бой не имело смысла. Пока надо было измотать силы врага, а потом, собравшись в единый кулак, обрушиться полной мощью.

В главе одной сотни стоял Магдилав. Днем он незаметно вел своих воинов по ущельям, кустарникам, скалистым дорогам, а ночью внезапно нападал на отдыхавшего врага. Среди воинов Фатх-Али-хана началась паника, потери были большие, а в пути им не попадалось никакой добычи. Легенды рассказывали персы о залиме-великане, так похожем на одноглазого сказочного нарта, который может прыгать с одной вершины гор на другую и от одного его дикого голоса дрожат скалы, катятся валуны. Он может оторвать от земли с корнями дубы, ударом кулака разбить вдребезги каменный валун. Его не берет ни пуля, ни кинжал, он неуловим и могуч. Сабля у него в руках подобна молнии, ударит и разрубит скалистые горы.

И наяву и во сне воины Фатх-Али-хана дрожали при одном лишь упоминании о великане, говорили, что он берет врага одной рукой, поднимает к костру, жарит и глотает, не моргнув глазом. Легенды передавались из уст в уста и дошли до самого Надиршаха. Шах назначил большую сумму золотом за голову этого «залима-великана».

«Подкупайте местных феодалов, богачей, они податливые на блеск золота, они выдадут вам в руки залима»,— писал Надиршах своим военачальникам. Сам он остановился со свитой в хорошо защищенном горами живописном уголке, ауле Шара. Теперь он убедился, как трудно горцев покорить, как отчаянно они воюют, изма-

тывая силы шаха внезапными набегами. Оставалось одно верное средство — пустить в ход хитрость — подкупить местных феодалов, пообещав им награды и власть.

А Магдилава поймать было нелегко, горцы любили его и гордились своим героем, все старались попасть к нему в отряд. А те, кто не мог уже держать в руках оружие, помогали его отряду продовольствием, укрывали надежно в аулах и хуторах. Когда же приходилось встречаться с врагом лицом к лицу, вихрем влетал Магдилав во вражеский муравейник. И не было ни пощады, ни спасения попадавшим в его цепкие руки.

II

Слава о бесстрашном герое неслась как на крыльях из аула в аул, от горы к горе, внушая страх врагам, надежду горцам, уверенность в победе. Гонцы из Турутли приносили ему приветы от любимой Тайпус, ее песни, в которых она воспевала храбрость своего любимого. Она прислала ему в подарок платок, вышитый собственными руками, там был изображен разноцветными нитками Магдилав в схватке с тигром. А песни ее сразу становились достоянием народа. Давно уже погиб его красный скакун на поле боя, с которым начинал он свой поход. Теперь под ним был огромный серый конь, покрытый ковром, сотканным руками любимой. Сердце горского джигита-багадура сжигали ненависть к врагам и пламенная любовь к Тайпус. И он дрался, как лев. Вражеские отряды рассеивались в ужасе при одном появлении великана. И опьяненный радостью победы, Магдилав потерял бдительность, перестал быть хитрым и осторожным.

Однажды отряд Магдилава, который насчитывал теперь двести сабель, остановился, в маленьком ауле, у подножия горы. Поставили вокруг аула дозоры, а сами решили отдохнуть. Магдилав со своими друзьями пировал у главы племени — аульского старосты, где их угощали крепкой бузой и зарезали в честь героев целого быка. Подозрительно ласков и гостеприимен был сам хозяин. Он пригласил певицу, прекрасную Фатиму из Чачари развлечь легендарного Магдилава — бывшего борца, нынешнего командира воинов. Нелегко было напоить Магдилава, бывало, он обеими руками возьмет огромный кувшин, полный горской бузы, и одним глотком

опустошит его. Потом, засучив рукава, примется за мясо целого барана, а иногда и двух уничтожал великан в один присест. И тогда он чувствовал себя бодрым и сытым и нисколько не хмельным. А тут вдруг закружилась голова у великана. Верный друг Салих из Турутли шепнул ему:

— Не нравится мне лисья морда хозяина, что-то здесь не так.

Но Магдилав в ответ только засмеялся, и от этого смеха задрожали стены дома местного феодала. В голове Магдилава шумело, и вскоре он повалился в беспамятстве. Хитрый хозяин всыпал в бузу снотворного, которое получил из рук самого Надиршаха. Когда все уснули, он выбежал на веранду с зажженным факелом в руках — это был знак врагам. Вот уже третьи сутки в кустарниках около мельницы ждали они этот сигнал и, когда увидели его, зажгли костер на вершине Сулех-горы: теперь Надиршах знал, что дагестанский лев попал в капкан.

...Очнувшись, Магдилав почувствовал себя связанным по рукам и ногам. Он приподнялся с трудом и увидел, что находится в большой клетке. В голове шумело так, как в горной пещере, где гудит ветер. Под ним скрипели колеса на гальке горной дороги — волы еле-еле тащили арбу с клеткой.

«Значит, я в плену, меня обманули!» Магдилав трижды ударил головой о доски арбы. Но боли не почувствовал, только шум, звенящий в ушах, будто удалился, а слышно стало, кроме скрипа колес, топот коней. Он открыл веки и увидел вооруженный конвой, который зорко следил за ним. Враги ухмылялись! «Попался, горный лев, не уйдешь теперь». Великан глотнул злость вместе с кровью, которая сочилась из выбитых зубов.

Еще долго скрипели колеса арбы по горным дорогам, дважды менялись уставшие волы. Наконец, арба остановилась перед большими воротами в ауле Шама. Полуголые рабы Надиршаха, как муравьи, бросились к клетке и потащили ее в большую конюшню. Слышались какие-то слова на непонятном Магдилаву языке, торжествующий хохот врагов. Закрыть бы уши, чтобы не слышать ничего. Но руки не двигались — они были плотно привязаны к спине, Магдилав закрыл глаза, чтобы не видеть улыбку врага.

Он лежал в полузабытьи в клетке, в сарае, где пахло конским навозом и потом. Прошла, казалось ему, целая

вечность. Временами он приходил в себя — и тогда перед ним проносились милые образы отца, идущего с мельницы, матери. Ее глаза были в слезах, будто спрашивали: «Где же наш Магдилав так долго пропадает, не случилась ли с ним беда? Сердце мое чует недоброе»... А потом возникло прекрасное лицо Тайпус, подобное полной луне. Вот она сидит под айвовым деревом и поет тихим голосом: «О, мой горный орел, Магдилав, что так долго не шлешь мне привета? Не попал ли ты в беду? Сердце мое скучает по тебе! Днем лучи солнца говорят мне о тебе, как ты воюешь с врагами; ночью луна садится у моего окна, ведет беседу со мной о твоей храбрости... Приходи, любимый, я жду и не дождусь тебя».

«Вот бы оказаться теперь в Турутли, посмотреть на любимую». Вдруг Магдилав наяву услышал знакомый голос. Он прислушался — не может быть, где-то рядом слышно — бьет бубен и поет горянка печальную песню. Да, да, это был голос Тайпус. «Неужели и ее поймали и пленили и теперь поет она проклятому Надиру?»

Холодным потом покрылось его лицо, сердце сжалось в кулак...

Дверь в сарай отворилась, и, звеня оружием, вошел воин Надиршаха, а за ним слуги — полураздетые, с бронзовыми мускулами, они открыли клетку, ухватились за ноги, голову, туловище и огромного, большого, бессильного вынесли Магдилава из сарая. В глаза ударил свет сотен свечей, факелов, которые горели в большой, богато убранной комнате. Шарахнулись в сторону полураздетые девушки-пленницы, которые танцевали, развлекая шаха. В кругу женщин сидела прекрасная девушка в белой шали и пела. По щекам ее скатывались капли слез. Пела она на родном аварском языке, голосом Тайпус. Но, хвала аллаху, то была не Тайпус. Надиршах сидел у широкой стены, на которой висели ковры, а на коврах серебряное оружие. Золотая чалма горела и переливалась алмазами и яхонтами. На нем был роскошный блестящий халат из китайского шелка, затканный золотыми звездами, в руках сверкали бриллиантовые четки. Был он низенький, плотный, с бронзовым лицом, с маленькими хитрыми глазками. На тонких губах его играла улыбка, зато глаза у Надира оставались холодными, застывшими.

Еле заметным взмахом маленькой руки он остановил веселье. Застыли на местах слуги, замолкла певица —

казалось, и жужжание мух будет слышно. Надир отдал приказание визирям — слуги подняли Магдилава и посадили его на скамейку. Под тяжестью великана сломалась скамейка. Брови Надира нахмурились, разбежались визири, слуги притащили большой чурбан и посадили пленного прямо против шаха.

— Добро пожаловать к нам, могучий багадур Дагестана,— обратился Надир к Магдилаву. — Люблю достойных противников. Я о тебе многое слышал...

— Я тоже,— ответил Магдилав,— но не думал, что шах Персии не знает законов гор.

— Чем же ты недоволен?

— Ты видишь,— продолжал Магдилав,— разве гостя, хоть он и враг, так принимают, великий шах? У меня связаны руки, ноги.

— Развязать его,— приказал Надир. — Прости, горец, мои слуги в самом деле думали, что имеют дело не с человеком, а диким нартом. Я-то чувствую, у тебя доброе сердце, и мы с тобой можем договориться.

— О чем, великий шах, мы можем договориться. — Магдилав расправил плечи, потирал руки. — Я простой горец, бедняк, а ты шах Персии.

— Будешь послушным, станешь и богатым, и прославленным. Вас, горцев, обманывали турки, русские гяуры, а я принес вам свободу. Если пересганете бунтовать, станете частью Великого Ирана, и ты будешь одним из моих военачальников, поставлю тебя во главе воинов-горцев. Мы покорим мир. Весь он будет в моей ладони. — Шах протянул руку, раздвинул пальцы, на которых блестели перстни с бриллиантами, так, будто в самом деле он хотел в этой маленькой ладони разместить весь мир, и самодовольно улыбнулся.

— Не надо мне богатства, шах. Я родился в бедных каменистых горах, и они очень дороги мне, как и моим братьям-горцам.

— Ха-ха-ха,— рассмеялся Надир. — Богатство, кунак, любят все. И твои каменистые горы станут частью великого владения шаха Ирана, и ты будешь как в раю Будут у тебя и жены, и рабы, и кони, и слуги. Мне как раз нужны такие храбрецы, как ты.

— Я не продаюсь, Надир. Не надо мне ни жен, ни рабов, ни ваших дворцов. Не трогай горцев! Они росли тут и ни на что не поменяют свою свободу. Ты слышишь, как стонут горы, ущелья, как дымят сожженные твоими вои-

нами наши бедные аулы, как плачут наши женщины, как проклинает иноземцев наша земля, политая кровью.

— Они и будут стонать, горец, пока не покоритесь мне, воинов у меня столько, сколько звезд на небе, оружия у меня столько, сколько камней в этих проклятых горах. Я всемогущ, и зря твои братья сопротивляются.

— Ряды твоих воинов, шах, редеют, как звезды в утреннем рассвете, реки горные краснеют от их крови...

— Молчать! — крикнул взбешенный Надир. Голос у него дрожал, глаза сузились, сам он стал похож теперь на тигра, готового броситься на жертву. — Как смеешь ты, пленник, так разговаривать со мной?! Добром не подчинишься — силой заставлю на колени пасть, дикий горец.

— Никогда не заставишь! — Магдилав вскочил и бросился на окружавших его вооруженных визирей. В одно мгновение разбросал он их, как котят. И кинулся к двери, сбивая кулаками и ногами всех, кто собирался преградить ему путь; испуганные пленницы с визгом прятались по углам, закрыв лица платками.

— Аркан! Арканом его! — услышал он хриплый голос Надира. — Упустите, головы сниму!..

12

Опять Магдилав лежал в клетке. Аркан поймал его у самых дверей. Враги связали ему руки, ноги, потом трое здоровенных слуг били его ногами, плетью так, что живого места на теле не оставили. Потащили к клетке.

— Добром не хотел — дикого горца силой возьмем.

— Отрезать ему ослиные уши! — кричал Надир.— Я заставлю его развязать язык.

И палачи старались. Докрасна раскалили они ножи в огне и отрезали уши Магдилаву. Вот они валялись на полу — большие, похожие на виноградные листья, уши великана, которыми он ловил шорох приближающегося врага в горах, которыми он слушал песни любимой Тайпус, которыми он внимал умным наставлениям старых горцев на годеканах.

— Все равно молчит,— сообщили Надиру визири.— Ни единого стона не издал.

— И нос ему отрежьте! — приказал Надир.

Опять палачи накалили в огне ножи и отрезали ге-

рою нос. И вот огромный нос, который стоял на его лице, как памятник у дороги, которым он чувствовал запах материнского чурека и запах цветущих гор весной, валялся на полу.

— Молчит проклятый горец,— донесли визири Надиру. — Такого мужества мы еще не видели.

— Тогда свяжите ему ноги и руки, сделайте из шкур буйволов мешок — суньте туда и бросьте проклятого с высокой горы,— Надир показал рукой на скалистую гору Барзу Ялу, у подножия которой бурлила Чири-них. Пусть в кашу превратятся кости упрямого горца!

Зарезали слуги четырех здоровенных буйволов, накормили мясом отряд воинов, а из буйволиных шкур сшили мешок по телу Магдилава, сунули его туда и десять здоровенных персов потащили мешок к горе Барзу Ялу. На закате рузман-дня бросили враги мешок вниз. С двухсотметровой высоты полетел мешок и рухнул в мутную воду.

«Наконец-то избавились от этого залима,— потирали руки слуги Надиршаха.— Вот будут радоваться вороны, отведают мяса великана». Но ошиблись враги. На следующий день спустилась с гор на водопой к Чири-них отара овец. Старый чабан Чупалав заметил огромный мешок на берегу. Разрезал он кинжалом мешок и обнаружил Магдилава. Сразу догадался старик, кто перед ним. Не было в горах человека, не слышавшего о Магдилаве-багадуре. Вместе с другими чабанами перетащил Чупалав великана в горную пещеру, где обычно устраивались чабаны на ночлег, и принялся лечить раненого. Прежде всего зарезали чабаны баранов и накормили его, промыли страшные раны целебной водой из горячих источников, теплыми бараньими шкурами туго обвязали разбитое его тело.

— Спасибо вам за все, добрые люди, но зачем мне жить, кому нужен такой урод? — говорил Магдилав.

— Не хотим слушать малодушные речи,— отвечали старики.— Руки, ноги у тебя целы, джигит, держать оружие ты сумеешь, а уж с врагами расправляться не нам тебя учить!

И правда, жажда мести, казалось, придала силы багадуру,— затягивались раны, сращивались перебитые кости. Постепенно, опираясь на палки, он начал ходить. Бродил Магдилав вокруг стоянки чабанов, дышал воздухом родимых гор, наблюдал за горными орлами, которые па-

рили над скалами, и душа его скучала по дому, по родным. С грустью вспоминал о прекрасной Тайпус. Чабаны рассказывали ему о неизвестной девушке-горянке, у которой враги убили жениха. Оседлала она коня, оделась в мужские одежды, взяла оружие в руки и ринулась в бой. Шашкой рубила она врагов, метко стреляла из винтовки и не было ее беспощадней к захватчикам. В самых неожиданных местах появлялась она во главе своего отряда — таких же девушек-горянок, нанося персам сокрушительные удары.

Задумался Магдилав, слушая чабанов. Представилось ему, что девушка эта — Тайпус. Это она, узнав, что́ сделали враги с ее любимым, решила отомстить за него. Он так живо представлял себе дочь Исилава на коне, в папахе и черкеске, во весь опор скачущую в неприятельский стан. «Это о ней сложил народ легенду, только Тайпус способна совершать такие подвиги во славу их любви!» — уверял он себя и просил чабанов еще и еще рассказывать о ней. И они рассказывали, каждый раз добавляя все новые и новые подробности, пели песни, сложенные о героине безымянными певцами. Они пели, сидя у костра, в пещере, и те песни, которые Тайпус сложила о нем — о своем Магдилаве. Эти песни вселяли в него уверенность, очищали его душу от горьких дум.

«Пусть таким останусь я в песнях для Тайпус, пусть поплачет и отомстит за меня, но я больше не покажусь ей, зачем прекрасной такой урод»,— печально говорил он себе.

Между тем изо дня в день крепло тело Магдилава, теперь он мог уже далеко уходить от стоянки,— времени ведь прошло уж немало — чувствовалось приближение осени — с гор подули холодные ветры.

О войсках Надиршаха приходили разные слухи — будто покинули они горы и собираются с силами, чтобы к зиме начать новый поход.

Наступил день, когда Магдилав распрощался с чабанами. Далеко за перевал проводили они друга и отправились кочевать к берегам реки. Опираясь на палку, уходил Магдилав, и чем дальше, тем тверже и увереннее становился его шаг. Он переходил шумливые реки, горбатые перевалы по узеньким тропинкам, отдыхая ночью в лесной чаще, и вскоре на закате солнца добрался к источнику Китилай под столетним дубом. Отсюда, каза-

лось, совсе́м недавно провожала его Тайпус, тут встречала она своих братьев, возвращавшихся с охоты. Забилось сердце у Магдилава — все было как прежде и все уже не так.

Турутлинский пастух гнал стадо к крепости, и Магдилав спрятался в кустарнике, пока стадо, оставляя за собой тучи пыли, не скрылось из виду. Только тогда он вышел к источнику. Низко склонился к нему юноша, положив колени на гладкие камни, врытые в землю, чтобы путнику было удобнее напиться. Аллах великий! В прозрачной воде отражалось незнакомое изуродованное лицо, исхудалое, со страдальческим взором. В ужасе отпрянул Магдилав и, забыв про жажду, вскочил и бросился прочь, забыв палку, на которую опирался в пути.

«Проклятый Надир, что сделал он с тобой,— шептали его губы. — Тайпус, родная, и ты бы испугалась меня? Зачем я тебе такой, ведь даже самому себе я противен!»

А любимая была совсем рядом. И дорого бы дал Магдилав, чтобы хоть на миг превратиться в прежнего Магдилава, появиться в доме Исилава и взглянуть в глаза его дочери. Но, увы, нет больше того Магдилава, есть другой, и кому он теперь нужен?

13

Медленно брел Магдилав с горькой думой, с опустошенной душой. Сердце его осталось там, у источника, а сам он уходил все дальше и дальше по кручам и ущельям, скрываясь от людских глаз. И как побитое градом поле тянется к солнечному теплу, так тянулся он к отцовскому очагу. Но и там он боялся появиться днем, чтобы не испугать односельчан, поэтому подолгу отсиживался юноша в тени большого ивняка, на перевале, откуда как на ладони раскинулся родной Гондох. С поля возвращались женщины с вязанками кукурузы и сушеного сена на спинах, над земляными крышами домов поднимались сизые стебельки дымка, наступало время вечерней трапезы. Среди домов, похожих издали на стадо сгрудившихся овец, разглядел Магдилав и свой дом. Как-то поживает его старая хромая мать? Устала, наверно, смотреть на дорогу, поджидая сына. Отец! Он, конечно, на мельнице. Жернова, которые они притащили из Ганзах-кули, по-прежнему мелют кукурузу гондохцев. Там, по узким улицам ходил он, молодой и здоровый,

с аульскими ребятами на встречу заката, затевали на токе бурдичвай — игру в городки, там в вечерний час возвращались с родника девушки, останавливались, украдкой бросали возлюбленным лукавые взгляды. Была там девушка по имени Аминат, которая краснела при встрече с Магдилавом. Он знал, что она любит его, ждет его сватов, но Магдилав любил другую, из чужого аула, и бедную Аминат, так и не дождавшуюся сватов, выдали замуж за другого, за его же друга Махмуда.

Ох, как любил Магдилав возвращаться усталым, с мозолями на ногах, домой, чтобы отдохнуть и насладиться лаской бедной, доброй матери. А теперь даже встреча с самыми близкими тревожила его. Нет, он не возвращался трусом, дрался как подобает горцу, наводя страх на врагов. Совесть его чиста, и в руки попался он врагу обманом, иначе враг не взял бы его живым. Столько вытерпел он в неволе, сам Надиршах не смог покорить его, не склонил багадур голову перед смертью. Аллах свидетель всему. Только и могли враги изуродовать его. Тогда, будучи между смертью и жизнью, он не чувствовал этого, хотелось только жить, чтобы мстить, а вот начал поправляться, и горькие думы одолели его. Встречал он на горных дорогах молодых горцев, красивых, здоровых, и слезы навертывались на глаза. Там, у родника Китилай, увидев свое обезображенное лицо, он ужаснулся. Чуть было не покинуло Магдилава былое мужество.

С какой болью на душе открыл он ворота родного дома! Во дворе такая тишина, будто дом необитаем. «И осла не видно, наверное, отец на мельницу гонял его»,— думал Магдилав, поднимаясь по каменной лестнице, на веранду. Вдруг он почувствовал запах хинкала. Дверь в комнату, которая была и кухней, и кунацкой (там всегда бывало тепло, чисто — поэтому и кунаку стелили в кухне) приоткрыта. «Мать одна, наверное», — сердце Магдилава стучало часто, и он шагнул в полутемную комнату. На тамахши — есть такое место над очагом — горела лучина. Сквозь дым Магдилав заметил отца, колдовавшего над корытом, где мать обычно месила тесто для хинкала.

— Кто там? — спросил хриплым голосом отец, он встал, взял в руки лучину, поднес ближе. «Великий аллах,— думал Магдилав,— как он поседел!» Нет, это не была мельничная мука,— отросшая, пышная борода отца побелела, как вершина Цоринской горы, из-под бро-

вей глядели потухшие уже глаза. Маленькая сухонькая рука его, державшая лучинку, дрожала.

— Асалам алейкум, отец!

— Сынок! — вырвался у старого мельника удивленный возглас. — Ты ли это? Или мне мерещится? — Отец сделал шаг, потрогал рукой рукав сына. А Магдилав поддержал старика, готового упасть.

— Я, отец! Неужели не веришь? Вот я жив.

— Вижу, сынок, вижу! — говорил он, положив на широкую грудь сына голову, и тихо заплакал. — Все считали тебя погибшим. И даже мать поверила. А я нет. Душой чувствовал, что ты жив.

Магдилав взял из дрожащей руки лучинку, положил в тамахши, усадил бережно отца на чурбан, который служил стулом.

— Как вы поживаете, отец? А где мать?

— Матери нет, сынок. Аллах вызвал ее к себе. Не дождалась, бедняжка, твоего возвращения. Дошли до нас слухи, что поймали тебя враги. Тут же и слегла она и больше не встала. Дай-ка я посмотрю на тебя.

Магдилав забыл о своем лице, он горько заплакал.

— А где похоронили ее, отец?

— Рядом с твоими братьями, сынок. Бедняжки умерли в детстве от холеры, самому старшему было восемь лет. Страшные годы были. В селе умирали семьями, а мы с матерью и детьми убежали в горы, спасаясь от проклятой болезни, но не могли спасти детей. И мать тогда заболела, но выжила, а вот теперь лежит рядом с сыновьями... А что, сынок, с тобою,— будто только теперь старый мельник вгляделся в лицо сына — вместо крупного носа, над которым, бывало, добродушно смеялись аульчане, два отверстия — черные точки. И ушей нет. Голова сына была похожа на огромную тыкву. — О, великий аллах! — прошептал мельник. — За что тебя так, сынок?

— Это Надир издевался надо мною, хотел коварный шах, чтобы я принял его сторону и пошел против своих. А потом велел слугам отрезать мне уши, нос и бросил в пропасть. Вот остался жив, видно, не суждено было еще умереть.

— Воля аллаха! Что поделаешь, сынок. Будь проклят этот Надир, сколько горя принес он нам!

Всю ночь не спали отец и сын. Рассказывали друг другу о своих горестях, о новостях, каждый вздыхал глу-

боко. Старому мельнику не верилось, что вернулся сын живым, но горько и обидно было, что он стал таким калекой. До него доходили слухи, песни о храбрости сына, он гордился им. А вот будто с того света вернулся Магдилав, его тополек высокий, его наследник сильный, что же, воля аллаха, если вернулся он таким, не надо слишком убиваться, а то разгневается всевышний, ведь многие из гондохских ребят не вернулись из похода против Надиршаха. Не знают, где, в каком ущелье, горе гниют их кости. По всему Дагестану рассеяны могилы горцев.

Утром чуть свет встал Магдилав, надел папаху, старую бурку, которую мать так берегла, пока его не было дома — повесила ее к потолку с сухим тростником, чтобы моль не съела, и отправился на кладбище. Прошептал молитву у могилы матери и сказал: «Вот, родная, я вернулся, хорошо, что ты не видишь меня, а то сердце твое обливалось бы кровью». Ему показалось, что услышал он родной голос: «Мужчины рождены для трудностей, сынок, не терзай себя! Не на гулянье потерял ты свою красоту, а в бою с врагами. Будь и впредь честным, храбрым, если нужно не жалей и жизни ради свободы. Не мужчина тот, кто умирает в своей постели в лихую годину для родины».

Воображаемый голос матери успокаивал душу Магдилава. Но односельчан он еще стыдился, разве их удержишь от любопытства? Узнав, что вернулся Магдилав, которого в ауле все считали погибшим, пришли они в дом мельника поклониться герою, расспросить о приключениях. Казалось, они не замечали уродства Магдилава, восхищались его храбростью, говорили ему добрые слова, но каждый в душе жалел его.

«Кто захочет взять его себе в мужья?» — говорили они.

А Магдилав с первыми петухами шел в лес, на поле — работал не покладая рук. Аульский знахарь Хочбар сделал ему нос из воска, за что чей-то злой язык дал ему прозвище «восковой нос». Глупые дети кричали, увидев его — «вот идет «восковой нос». Магдилав вздрагивал, как бык от укуса комара, но потом привык и к этому. Казалось, он постепенно забывал о своем уродстве, сердечная рана начала заживать, и только отец никак не мог свыкнуться с мыслью, что сын его одинок до сих пор: ему не терпелось баюкать внука в колыбели, которую так берег он еще с прадедовских времен. Часто думал

мельник, на ком бы женить сына, кто бы из аульских девушек вышел за безносого и безухого сына его. Вел осторожные разговоры с сыном, но, увидев, как Магдилав отмахивается от них, раздраженно кричал: «Что же вечно будешь бобылем. Надо же обзавестись семьей, нам, мужчинам, сам видишь, как трудно. Найдется заплатка по шубе, хоть нос и восковой у тебя, зато руки богатырские и сердце доброе. Им, женщинам, не нос твой нужен, а работящий мужчина им надобен...»

Магдилав молчал. Он вспоминал Тайпус, прекрасные черные глаза ее, подобные спелой черешне. Как старался он задушить в себе любовь к ней. Уходил от людей, уединялся и метался, как тигр в клетке, не в силах затоптать в душе первую свою любовь. Магдилав уверял себя, что он не вправе думать о Тайпус, но силы не всегда хватало, ее образ приходил и во сне, и наяву к нему, лишая его спокойствия. Он слышал ее голос, видел ее руки, которые так проворно ткали ковер, и сходил с ума. «О небо, о горы, о реки, дайте мне силу забыть ее, не ведай мне больше горский ветер о ней, не гляди в мое окошко, о луна, напоминая о ней!»

Казалось, вот-вот в этой борьбе он выйдет победителем, образ Тайпус будто удалялся, бледнея, но разговоры отца о женитьбе снова бередили незажившие раны. Нет, не мог он отдать сердце другой, оно принадлежало Тайпус, той, которая никогда более не станет его невестой.

14

Лето в горах выдалось небывалое. Деревья склонялись к земле под тяжестью фруктов, долины гор казались прекрасными пестрыми коврами, вытканными руками табасаранок, благоухала земля. Даже склоны, где в засушливые годы лишь торчали редкие кустики бихаро, теперь зеленели от травы. Речки шумели, полнея от беспрерывных потоков, сливающихся с гор. Пчелы роились, жужжали, собирая нектар и мед. Ночами шли дожди, а днем светили омытые, выспавшиеся за ночь лучи щедрого солнца. Радовались и тревожились крестьяне. Радовались такому лету: уродится хороший урожай. Тревожились слухами о войне — Надиршах снова собирался идти походом на горную страну. А у гондохцев были свои заботы — вот-вот выйдет из берегов коварная Авар-Койсу, что тогда будет с посевами?

И сегодня Магдилав, уставший за ночь в борьбе с бурливой рекой, лег отдохнуть хоть на часок под ветвистой ивой и задремал. Солнечные лучи ласкали широкое лицо, и во сне к нему пришла Тайпус в своей красной шали, улыбаясь, блестя черными очами. Протянув руку к Магдилаву, звала она его туда, в горы, к цветущим лугам. А он упрямился, говорил любимой: «Посиди минуточку, Тайпус, около меня». — «Как я могу сесть, видишь, мой олененок убежал в лес, может, тигр на него нападет. Пойдем, миленький, туда, там мы отдохнем»,— шептала она своим чарующим голосом и вдруг испуганно прижалась к нему. «Что с тобой?» — спросил Магдилав, поглаживая ее черные волнистые косы, благоухающие травами и цветами. «Видишь, черные тучи гонит ветер. Это борода колдуна, он гонится за мной. Спрячь меня скорее! — И она прятала свое лицо у него на груди. Руки ее провели по его щекам: — Что же ты такой колючий мой...— И вдруг отпрянула Тайпус, тронув рукой нос, закричала:— О, нос же у тебя восковой!» И Магдилав проснулся от чьего-то голоса.

Юноша поднял голову и увидел перед собою незнакомого человека. Человек был вооружен, держал за уздечку двух оседланных коней. Говорил или почти кричал он что-то, но шум реки заглушал его слова.

— Кто ты и зачем тут? — спросил Магдилав, и от мощи его голоса прокатилось эхо по горам. Кони вздрогнули, испугавшись, приезжий тоже сделал назад два шага.

— Меня послал за вами отец! — сказал незнакомец и тут же узнал Магдилав Джабраила — среднего сына Исилава. Понял он, кто перед ним стоит, и похолодел, ведь это брат Тайпус!

— Зачем я нужен ему?

— Он тяжело болен. Хочет повидаться с тобою. Вот и коня для тебя прислал.

Магдилав встал, молча взял уздечку огромного белого коня и пошел за Джабраилом. «Хочет меня видеть? Неужели Исилав умирает? Что скажет отец?— Такие мысли роились в его голове. — Лучше отцу ничего не говорить. Завтра к вечеру я вернусь обратно... Исилав, бывший враг нашего рода, отец Тайпус. Он умирает. Тайпус. Как она примет меня? Я так боюсь встречи с ней. Крепись, Магдилав, будь мужчиной. Ты осилил смерть, победил Азраила тогда, у скалы Чири-них, а встреча эта

не страшнее смерти. Пусть посмотрит, увидит, что сделали со мной враги!»

Магдилав вскочил на коня. Конь согнулся, будто под тяжестью скалы, но удержался на каменистой дороге. Сделал шаг, другой и уверенно пошел вперед.

Ехали молча. Джабраил, грустный, осунувшийся, думал об отце. Потом заговорил, будто хотел отвести душу. Оказывается, Исилав был вместе с Сурхай-ханом, воевал с Надиршахом. Вражеское войско беспощадно разрушало все на своем пути. Неудачи озлобили шаха, и на этот раз он мечтал во что бы то ни стало покорить Дагестан, сровнять с землей мирные аулы, уничтожить этих «проклятых непокорных горцев». Опять, как пели в народных песнях, «кровью потекли реки, алой кровью окрасились горы, черные ущелья устлались трупами. Славные города и аулы превратились в развалины, в которых вили себе гнезда вороны. Цветущий край опустел».

Казалось, черная туча покрыла землю. Было сломлено сопротивление многих местных феодалов. На этот раз и храбрый Сурхай-хан изъявил покорность Надиршаху. Даже сыновья не простили ему этого. Муртазали покинул отца и опять уехал к Нуцалу за помощью. Вместе с ним покинул Сурхая и Исилав. А Сурхай, оставшись одиноким и непонятым своими близкими, появился в лагере Надира. Там его встретили холодно. Но шли слухи, будто на следующий же день Надиршах наградил Сурхая почетным халатом. От покорившегося Сурхая шах потребовал, чтобы он собрал из дагестанцев двадцать тысяч воинов для службы у великого правителя.

Народ сопротивлялся, но вражеская сила была огромна. Много героев полегло в неравной борьбе, много женщин и детей увезено в неволю.

В неравной схватке с карателями Надиршаха был ранен Исилав. С поля боя его увез Муртазали. Теперь он лежал у себя дома и чувствовал приближение конца жизни. Захотел он перед смертью попрощаться со своими сыновьями, позвал их, и все примчались на быстрых конях, только вот двое из сыновей еще не вернулись, судьбу их никто не знал. Восьмым сыном Исилав считал Магдилава. Одно время он поверил в его смерть, ходили слухи, что ему выкололи глаза, отрезали руки и бросили через скалу. Горько оплакивала Тайпус своего любимого. Но вот как-то Исилав узнал, что Магдилав вернулся домой, и пожелал увидеть его, попрощаться с ним.

...К вечеру, когда июньское солнце закатилось за горы, подъехали Джабраил и Магдилав к воротам крепости Турутли. Казалось, Магдилав был спокоен, ничем не выдал он своего волнения. По обычаю горцев, он сошел у самых ворот с коня и пошел по знакомым улицам к знакомому дому. Вот-вот появится Тайпус и увидит его. По-прежнему шелестели листья айвы во дворе Исилава, но не слышно было там, под айвой, чарующей песни любимой. Когда открылись ворота, Магдилав сразу обратил взор туда, где когда-то стоял станок для ковра. Но его там не оказалось. Во дворе паслись четыре коня, привязанные к подпоркам, они жевали сено. На веранде сидели седобородые старики, среди них братья Тайпус. Разом вскочили они и выбежали во двор, взяли у Магдилава коня, подали ему руку, приветствовали: «С приездом!»

Едва поднялся багадур по лестнице из тесаного камня, как из комнаты вышла Тайпус. Увидев Магдилава, она, подобно птице, готовой порхнуть с ветки, приподнялась на цыпочках — вот-вот сорвется с места и бросится в объятия любимого. В ее черных лучистых глазах было столько тоски, а потом они заволоклись слезами. Сделала шаг вперед, сказала «салам» и... прошла мимо. «Вот и все. Состоялась встреча. Увидела меня, и сразу померк ее взор,— вздохнул Магдилав.— Будь мужчиной, Магдилав. Ты же был готов к этому»,— говорил он себе, а сердце билось, как пойманная птица.

Молча вошел он вслед за Джабраилом в комнату, где на богато убранной тахте лежал бледный и худой Исилав. Только глаза были прежние — зоркие, живые.

— Ваалейкум салам, Магдилав,— сказал он слабым голосом.— Вот, сынок, покидаю белый свет. Проклятая пуля перса сидит во мне, с ней и ухожу из этого мира. Как ты поживаешь, как отец?

Все это Исилав говорил медленно, с остановками, набирая силы, проводя временами языком по высохшим, растрескавшимся губам.

— Садись поближе, вот сюда. Я так хотел повидаться с тобою. О тебе такие слухи ходили...

— Успокойся, Исилав, еще поправишься, ведь не так уж плохи дела, аллах милосерден,— Магдилав старался улыбнуться, но губы не слушались его.

— Не утешай меня, Магдилав, я понимаю, аллаху

угодно взять мою душу к себе. Только жаль, что не смог я отомстить Надиру, вот со злостью и ухожу.

— Мы будем мстить за тебя, за кровь и слезы наших людей. Он от мести не уйдет.

— Спасибо, сынок. Именно это мои уши хотели услышать от тебя.

— А у меня и уши отрезали, проклятые.

— Ничего, сынок, зато руки целы у тебя. И без ушей услышишь стон земли родной, зов наших гор... Тобой я доволен... Ты боролся, как подобает горцу... Воды...

Тайпус принесла кувшин студеной горной воды, подала отцу, осторожно приподняв его обессилевшую голову. Глаза ее были опущены, но Магдилав так близко видел ее белоснежный лоб, нежные щеки, пушистые ресницы, что сердце его готово было разорваться от горя. «Проклятая судьба, зачем только я увидел ее, услышал ее ласковый голос...»

15

Поздно ночью Магдилав вышел во двор, походил под айвовым деревом, размышляя о своей судьбе, об Исилаве, который славился своей храбростью и добротой, а вот теперь с пулей врага в легких отходил на тот свет. Луна то появлялась из-за туч, носившихся по небу, как стадо овец, то скрывалась. Где-то в сарае лаяла собака, в чьем-то дворе ревел осел, а в стороне родника, видно на старом дубе, кричала сова — верная примета, что скоро в Турутли будут похороны. Ходил Магдилав тихо, боясь нарушить чей-то сон, и вот, проходя мимо окна Тайпус, он услышал тихий печальный голос. Он вздрогнул, подошел поближе и прислушался.

— О великий аллах,— говорила девушка,— один ты знаешь, как я его любила. Я дала слово выйти за него замуж. Я ждала его, как утра ждет солнце, как больной исцеления, как мать ребенка, но он стал совсем другим, и я боюсь даже смотреть на него. Сердце мое сжимается жалостью и ужасом. Как бы я хотела любить его по-прежнему, быть рядом с ним, но не наказывай меня за непослушание отцу — не греет больше сердце мое любовь к нему. Пришли исцеление душе моей, она сочится кровью... Как мне быть, о великий аллах!

Магдилаву показалось, что луна, только что выходившая из-за тучи, задрожала, сорвалась с неба, упала ку-

да-то и разбилась. Все потемнело вокруг. Как испуганная лань, бросился он прочь, только чтобы не слышать горькую мольбу любимой.

Вот и закрытые ворота крепости. «Убежать? В такой момент? Что подумают сыновья Исилава и сам Исилав? Ведь он умирает. Где же твое мужество, Магдилав? Осталось немного, потерпи, браток, выпей горькую чашу до дна!» И он вернулся к постели больного.

К утру Исилаву стало лучше. Надежда окрылила всех. Тайпус пришла к отцу, склонилась над ним. Он с трудом улыбнулся. «Вот, дочка, аллах дал мне возможность распрощаться с вами,— и Исилав начал свои последние наставления. Сыновья по одному подходили к умирающему. Наконец настала очередь Магдилава. Исилав протянул ему руку. — Слово мужчины, сынок, должно быть крепче наших гор. Будь братом для моих сыновей и сыном оставайся для меня. А потом, как исполнится три месяца моей кончины, справляйте свадьбу — благославляю тебя и Тайпус — единственную дочку мою. Знаю, ты беден, но бедность не порок. Часть богатства я по завещанию оставляю тебе...»

Не удержался Магдилав, из глаз его брызнули слезы.

— Не хочу, багадур, чтобы на твоих глазах видел я влагу. Мужайся. Каждый приходящий в этот мир должен когда-то и уходить. Только мужчина должен умереть как мужчина. Рассчитайтесь с врагом.

— Аллах свидетель, Исилав, об одном прошу тебя, пусть Тайпус сама решает свою судьбу. Все равно я останусь братом для твоих сыновей и буду мстить врагам, как ты завещал.

— Что я слышу, Магдилав? Твои ли уста говорят эти слова? Ведь вы любили друг друга. Или у тебя другая невеста?

— Нет, Исилав.

— Я сказал о своей воле, ваше дело выполнить ее.— Умирающий обвел всех взглядом. — Но сон мой будет спокойным, если услышу я топот копыт ваших коней, преследующих врагов Дагестана...

После обеда, когда солнце склонилось к закату, умер Исилав. И вскоре на туруглинском кладбище рядом с крепостью вырос бугорок земли — новая могила.

Тайпус на кладбище не пришла, не положено женщине являться сюда. Во дворе усопшего устроили квер-

тей. Зарезали барашка, быка. Мужчины говорили о войнах, о битвах и об умершем, каким он был храбрым, мудрым в жизни. Вспоминали все, что хорошего сделал он для людей. А Магдилав сидел молча и грустно слушал туртлинцев. Про себя повторял слова Тайпус, услышанные ночью.

На четвертый день собрался Магдилав в обратный путь. Братья вышли из крепости проводить его. Они привели с собой серого коня.

— Это, Магдилав, отец так завещал,— сказал старший брат. — Знай, его воля для нас закон. Ты наш брат отныне. Надеемся, ты не надолго оставляешь нас.

— Спасибо,— ответил Магдилав. — Теперь, братья, не время нам сидеть дома. Надиршах проливает кровь горцев, сжигает наши аулы, уводит наших сестер, детей в неволю...

— До встречи в походе, Магдилав.

Магдилав распрощался с братьями, проходя мимо кладбища пешком, снял папаху и низко поклонился могиле Исилава. В душе повторил: «Не забудем твои заветы, будем мстить врагам». У большого дуба он сел на коня. На сердце было горько и печально, будто возвращался он с поля битвы раненым, истекающим кровью. Два бесконечно дорогих для сердца человека были у него на этом свете, чьи образы вдохновляли его на подвиги, ради которых он боролся со смертью — это мать и Тайпус. Одна умерла, а другая стала совсем чужой. Не о его ли печали щебечут птицы в ветвях, не о его ли горе журчат ручейки на склонах?

Не успел Магдилав отъехать от родника Китилай, как услышал позади стук конских копыт. Повернулся и увидел наездника, вихрем летящего за ним. Он узнал Тайпус. Душа Магдилава замерла. Вот она уже поравнялась с ним.

— Что же ты не попрощался со мной, Магдилав? — спросила Тайпус, не поднимая глаз. — Прости меня, Магдилав...

— За что?,

— Сама не знаю за что. Отцовская болезнь, потом смерть сделали меня совсем другой...

— Хорошим человеком был твой отец. Пусть аллах присудит ему рай. Я никогда не забуду его. Ну, прощай, Тайпус...

— До свидания, Магдилав,— прошептала она и еще

долго стояла, провожая глазами Магдилава.— Я буду тебя ждать...

Магдилав услышал ее слова как во сне. Он вспомнил как совсем недавно она так же говорила ему: «Я буду тебя ждать, мой милый». И это повторяло: «Я буду тебя ждать, мой милый!» А сегодня молчало эхо, а птицы, и листья, и журчание реки твердили ему: «Она все равно не будет тебя ждать, да и зачем заставлять ее ждать, ведь она больше не любит тебя».

16

«Всего лишили меня проклятые враги — изуродовали лицо, отняли любовь, хотят поставить мою Аварию на колени. Месть! Только она может принести мне исцеление» — так думал Магдилав. «Месть», — кричали ему горы, ущелья, реки, измученные, изголодавшиеся, изгнанные из своих аулов люди. «Месть, месть, месть!»

Из Турутли он заехал в соседний с Гондохом аул Хурди, где жил знаменитый оружейный мастер-кузнец Арзамат. Дом его прилепился к самому краю аула. Привязав коня у столбика во дворе, Магдилав зашел в кузню, приземистую, полутемную комнату, где пахло жженым углем, каленым железом, где разлетались золотой россыпью искры огня. С трудом пролез юноша через узкую дверь.

— Ваалейкум салам, саламатив бахарчи! — ласково встретил его Арзамат.

Он положил молоток, вытер черные, крепкие, будто сделанные из железа, растрескавшиеся руки о передник, встал со своего места, поздоровался и указал гостю на большой чурбан — садись, мол.

— Слышал я о тебе всякие хабары, сын друга,— говорил Арзамат. — Рад, что вижу тебя живым. А я вот живу и оружие кую. Раньше, бывало, мастерил серпы, косы, лопатки, теперь, видишь, днем и ночью мастерю кинжалы, шашки. Пусть они приносят смерть воинам Надира. И тебе, видно, шашка понадобилась?

— Правильно угадали, дядя Арзамат. Сделайте мне шашку.

— Что же, сын моего друга, мое дело оружие ковать, а ваше дело, молодые горцы, врага ими рубить. Честно говоря, давно я ждал тебя, думал, что у горского багадура в руках должна быть и багадурская шашка.

Как говорится, по телу и одежда, а по руке и шашка.

Кузнец выбрал из обломков железа большую стальную трубу и положил ее в огонь. Затем достал еще железные ломики — их тоже сунул в огонь.

— А ну-ка, герой, раздувай огонь да рассказывай мне о том, как тебя Надиршах принимал.

Арзамат был мастером своего дела. Кинжалы, шашки, сделанные его руками, порубили немало вражеских голов. Давно он хотел выковать Магдилаву такую шашку, чтобы была она под стать ему, великану. Пусть сверкает в его мощных руках, как молния, на устрашение врагам. В раскаленную трубку стали он сунул раскаленный железный лом. Крепко захватив его щипцами, мастер положил на наковальню, а Магдилаву велел поработать кувалдой. Кивком головы кузнец показал юноше, куда надо ударить кувалдой и умело разворачивал на раскаленной гладкой наковальне трубку. Искры разлетались, обжигая руки и лицо Магдилава, а он, не разгибая спины, наносил мощные удары. Капельки пота блестели на черном от сажи лице мастера и у подмастерья.

Потом Арзамат положил раскаленное, еще бесформенное железо опять в огонь, Магдилав стал раздувать мехи.

— Вот так, сын моего друга,— говорил, вытирая рукавом пот, Арзамат. — Каждый делает что в его силах для защиты святой земли. Слышал я, даже слабые женщины взялись за оружие. Будто девушка одна, имя ее не знает никто, немало сразила врагов. И Надир, мол, хотел хитростью поймать ее, но не удалось. Погибла она, говорят, от своего же кинжала — не хотела сдаться живой врагу в руки.

— Да, дядя Арзамат, я тоже слышал о ней,— ответил Магдилав,— а вот, что погибла она, я не знал.

— Похоронить-то ее не дали персы, по приказу Надира бросили в пропасть...

«Да, когда-то я думал, не моя ли Тайпус мстит за меня,— с горечью думал Магдилав. — Конечно, и она бы поступила так же, ведь ни в чем любимая не уступает своим братьям — и ездит на коне не хуже любого горца, и стрелять умеет, и шашкой владеет...»

Юноша с силой ударил кувалдой, будто хотел задушить в себе невыносимую боль. Между тем постепенно в руках мастера железо принимало вид шашки.

— Эта труба из стали, видишь, как она ложится по

обе стороны шашки, так что лезвие по острым краям будет стальным, а середина из железа — железо делает шашку гибкой и мягкой,— говорил между тем Арзамат.

Работа в кузнице продолжалась и ночью. Оба работали без устали... Наконец шашка была готова. Ножны для нее сделал столяр Гимбат. Распрощавшись с мастерами, сел Магдилав на своего коня и отправился в дальние аулы собирать боевой отряд из добровольцев.

— Что же, сын мой, я не стану тебе поперек дороги,— напутствовал юношу старый мельник. — Аллах свидетель, мы не хотели кровопролития, хотели мирно жить в своих горах, пахать скудную землю, растить детей, но Надиршах нарушил наш покой, он хочет превратить нас в своих рабов. Лучше умереть свободным, чем попасть в рабство к иноземцам. Пусть будет удачен твой путь, аллах с тобой, защищай обездоленных и обиженных, гони с родной земли врага. В час смертельной опасности мужчины не должны сидеть у очага.

Отец купил сугуры у базаргана, сшил сыну черкескучуха, с газырями — для пороха, а во внутренний карман положил сухие листья особой травы на случай, если понадобится остановить кровь из раны. Старый мельник сам вышел за аул проводить Магдилава на ратный подвиг...

И Магдилав со своими тремястами вооруженными воинами выступил в поход в сторону Андалал, куда по донесениям шел сам Надиршах во главе многотысячного войска. Отряд перевалил Гондохский перевал, цепью спустился к Аварской Койсу и под вечер спешился, ибо остальные отряды должны были быть на месте.

Едва расположились у реки и совершили вечерний намаз, как дозор донес, что со стороны Хунзаха спускаются двое верховых. Наскоро сотворив молитву, Магдилав распорядился устроить засаду, да так, чтобы не спугнуть всадников, ибо могли они повернуть к Гергебельскому низовью, где широкая бурливая Койсу становилась узенькой речушкой и вброд перейти ее ничего не стоило ни пешему, ни конному.

Верховые между тем, не догадываясь ни о чем, спокойно добрались до каменного моста. Не успели всадники миновать мост, как их схватили и привели к Магдилаву. Один из них оказался воином Надиршаха, а другой — горцем из дворца хана — проводником перса. Посланный шаха возвращался от аварского хана. Он вез ответ Нуцала шаху. А горец должен был обеспечить бе-

зопасность гонца. Нуцал приказал пропускать его через кордоны до самого шаха. Магдилав стал распрашивать о послании хану. Гонец охотно рассказал:

— Шах потребовал повиновения аварского хана. Писал, что надеется на его благоразумие, что Нуцал примет его сторону без кровопролития — потому что шах сильнее и войска у него больше.

А потому,— добавил, самодовольно усмехаясь, гонец,— если даже все горцы до единого встанут на защиту Аварии, каждый камень в горах превратить в пули, а всю траву — в порох — все равно не справиться ей с полчищами доблестного Надиршаха.

— И что же ответил Нуцал? — перебил раздраженно Магдилав.

— Нуцал пока отклонился от ответа. Принял он меня достойно, сказал только, что не боится он армии шаха и надеется на скорую победу.

— Достойный ответ! — улыбнулся Магдилав. — Пропустить их,— приказал он своим воинам.— А какие новости еще? — остановил он хунзаха, готового вскочить на коня.

— Надиршах решил наступать на Аварию со всех сторон. Хотя основная сила движения через Кумух в сторону Андалал, двадцатитысячное войско во главе с Лютф-Али-ханом и Тейдарбеком направляются, говорят, через Айманкинское ущелье. В Андалал продвигаются войска Муртазали, а тебе было положено встретить врага в Аймаки. Вчера был послан гонец в Гондох.

— Он не застал меня,— встревожился Магдилав.— Значит, придется повернуть нам через Гергебельский перевал... А что слышно о Сурхай-хане?

— Сурхай-хан смог собрать из горцев только около четырехсот человек, вместо обещанных двух тысяч. Говорят, Надир обозлен на Сурхая.

Магдилав стоял в нерешительности. Надир опять хитрит, хочет нанести внезапные удары по разным участкам Аварии — создать видимость, что вся сила собрана в Андалалских горах, а между тем Лютф-Али-хан с двадцатитысячным войском послан в обход — через Авар-Койсу, Аймакинское ущелье — хочет незаметно пробраться в самую сердцевину ханства Нуцала и со спины нанести удар.

«Что же, Лютф-Али-хан, мы встретим тебя как полагается,— думал он. — А как там Турутли, ведь он на

пути к Андалал»,— вспомнил Магдилав. Надо бы через лощины подойти к самой крепости, послать гонца в крепость, узнать положение и помчаться в самую гущу главной битвы, где решается судьба Аварии. Но с другой стороны, это значит пустить войска Надира в Гондохские горы — они ведь за Аймаки. Нет, это не годится.

Он собрал своих сотников, командиров, советчиков. Одни предлагали подождать ханского посланника тут же, в Карадахе, другие, несмотря ни на что, выступать через Гуниб-горы в Андалал, а третьи — повернуться по реке вниз и нанести удар Лютф-Али-хану. Ведь большинство воинов были из этих мест, куда стремилось двадцатитысячное войско Лютф-Али-хана. Они не хотели двинуться в Андалал до тех пор, пока не будет прегражден путь врагу, стремившемуся в тыл — Аймакинское ущелье.

Долго совещались воины на берегу Авар-Койсу. К этому времени подоспел и гонец хана. В донесении говорилось ясно, что отряду Магдилава, могохцам и гергебельцам поручается уничтожить Лютф-Али-хана.

«Прочь сомнения!» — Магдилав дал указание цепью, по берегу реки двинуться вниз, потом по склону подняться на перевал и устроить засаду врагу в ущелье, выбирая места для сражения.

Ехать было трудно по извилистой, непроходимой дороге. Впереди шли разведчики во главе со скалолазом и охотником Чурил-Ахмедом из Гондоха. На ночь отряд остановился на отдых в лощине между двумя холмиками, у того самого места, где сливается Гунибская река с Авар-Койсу. Магдилав сидел у костра и молча курил трубку. В голову лезли печальные мысли о Турутли, о Тайпус. Судьба ее беспокоила его.

— Поспал бы, Магдилав,—говорил кузнец Арзамат, не утерпел старик, тоже взялся за оружие, хоть было ему за шестьдесят.

— Что-то не хочется, дядя Арзамат. Ночь лунная, горы будто молоком политы. Что врагу нужно в наших голых горах?

— Ему не горы нужны, сын моего друга, а горцы, чтобы служили ему, проклятому. А Дагестан — ворота в Грузию, в просторы России. Надир, как голодный волк, хочет проглотить все.

— Не удастся ему проглотить Дагестан, подавится волк...

Неожиданно послышалась стрельба, стук копыт коней. Со стороны востока, где брезжил рассвет — показались верховые. Это был Чурил-Ахмед с разведчиками. Все спешились у костра. Вести были нерадостные. Большой отряд персов расположился у самой реки, откуда начинается Аймакинское ущелье, остальные ушли, видимо, вперед. Чабан, скрывавшийся с маленькой отарой коз в пещере, рассказал, что под вечер враги напали на небольшой отряд горцев, который стоял в засаде, и разбили его, только троим удалось незаметно спуститься по скале и убежать.

Неясность обстановки встревожила Магдилава. Чабан показал Чурил-Ахмеду переход к ущелью, навстречу врагу. Переход был трудным, вряд ли кони осилят его. Лишь горные туры да козы спускались сверху на водопой. Но другого выхода не было — пока не рассвело, Магдилав решил увести отряд по дорогам туров и очутиться днем в ущелье — преградить дорогу врагу.

— Завяжите слабым глаза, пусть держатся за гривы коней,— приказал он, и сам поскакал с Чурил-Ахмедом вперед.

— А если кони сорвутся? — спросил кто-то.

— Что ж, тому суждено умереть без выстрела,— коротко ответил Магдилав. — Ну, добрый конь, веди меня к вершине!

— Лахавулавала куватан, Илла, быллах [1],— сказал старый Арзамат и тоже вскочил на коня.

Кони, привычные к скалистым дорогам, шли по бездорожью, как туры, осторожно переставляли ноги, только из-под копыт стрелой вылетали камни и скатывались вниз. Вместе с камнями иногда срывались к самой реке и всадники. Слышны были стоны, крики — а вслед за ними кто-то читал молитву. Беда тому, кто не выдерживал.

Солнце еще не глянуло своим красным глазом на горные вершины, когда отряд Магдилава был уже за перевалом. Все вздохнули с облегчением, печалились о погибших, благодарили аллаха за спасение. Магдилав вытер вспотевшее лицо, посмотрел в ущелье. Там, у самой речки, горели костры врагов.

— Побыстрее спускаться к теснине,— приказал он,— там мы и встретимся с воинами шаха!

---

[1] Ты помоги, аллах, я выступаю.

Спуск был не из легких, скрываясь за утесами и холмами, приходилось идти по лобовому склону. Шли пешими, ведя за собой коней. Теснина представляла собой котлован, окруженный с обеих сторон песчаными склонами гор, кое-где лежали гладкие плиты, годами полированные дождем и ветром, из-под них сочилась вода, исчезая в песке. Внизу, в адской впадине журчала речка. Ущелье у реки казалось широким, а чем дальше, тем больше оно сужалось, и у самого перевала, за которым начинались зеленые горные пастбища, ширина его достигала едва метров двадцати. Попади сюда — и выхода не найдешь, ибо и с левой и с правой стороны его поднимались склоны, заросшие редким кустарником, кизиловыми деревьями, тут и там дорогу преграждали огромные валуны, попадались невысокие холмы. Тут и решил было Магдилав дать сражение, если бы не могохские и гергебельские отряды, которые, не ожидая появления Магдилава, напали на лагерь Лютф-Али-хана, хотя силы их были неравны.

— Ты, Ахмед, с отрядом жди меня тут, а отряд Мусалава и Салиха за мной! — скомандовал Магдилав. Так и не успев напиться и не напоив коней, отряд по гальке, по руслу реки помчался на помощь собратьям.

Когда из-за каменных громад появился великан Магдилав, держа обнаженную шашку, а за ним поднялись стеной гондохские воины, гербельцы и могохцы бились с вражескими воинами. Мало их было, слишком мало против двадцатитысячного войска Лютф-Али-хана. Только на первых порах момент внезапности и удобное месторасположение помогли им.

А Магдилав рвался в гущу врага, рубя направо и налево, добрый его конь, будто забыл, что устал, так проворно скакал, помогая хозяину. Один вид Магдилава, взмах его шашки заставляли персов дрожать. Как львы, дрались горцы, пока враг не пришел в себя.

— Отступать к теснине, по ущелью вверх! — кричал Магдилав, увидев, как поредели ряды горцев. На одного горца приходилось около сорока персов, и Магдилав старался увести аварцев дальше к более удобному месту.

Из раны на плече струилась кровь, оно было пробито пулей, в колено тоже угодил удар шашки врага, Магдилав почувствовал его, как укус мухи. С трудом он смог повернуть отряд вверх. Цокая копытами, кони неслись к тесни-

не, а персы гнались за ними, но не долго — чем дальше, тем реже становились их ряды. Вот у больших камней, покрытых мхом, Магдилав повернул коня и, как лев, бросился на врагов, полетели головы с плеч (ох, удачливая была шашка, сделанная мастером Арзаматом), падали кони, слышались стоны раненых. И наконец враг бежал.

17

Около недели продолжалось сражение в Аймакинском ущелье. Силы были неравные, а бои шли с переменным успехом. Сначала у горцев не было и трехтысячного войска, воины прибывали маленькими отрядами из соседних аулов. Поднимались на защиту своей земли все те, кто мог держать в руках не только шашку, но и камень. Двадцатитысячное войско Лютф-Али-хана медленно продвигалось по ущелью вверх, к теснине, оставляя за собою немало воинов, павших от рук горцев. Бесшумно и внезапно появлялись горцы в лагере персов, нанося молниеносные, ощутимые удары, и тут же пропадали из вида. «Шайтаны, а не люди», — шипел Лютф-Али-хан. Каждое утро он клялся уничтожить горцев до единого, просил аллаха послать ему удачу, но, видно, аллах не внял его молитвам. Из-за кустов, камней, на дне ущелья, из-за скал воины Магдилава встречали врагов выстрелами, а потом, подпустив их на удобное расстояние, выскакивали из засады, и тогда в их руках сверкали кинжалы и шашки. Ни одна пуля горца, ни один взмах шашки не пропали даром,— редели ряды воинов шаха и, не в силах двигаться дальше, они вынуждены были остановиться.

И тут пришлось пойти на хитрость. Старики предложили одному отряду подковать лошадей, прибив подковы наоборот, чтобы след их обманул противника. Ночью отряд напал на лагерь Лютф-Али-хана в лобовую, а основные силы горцев устроили засаду в «белых камнях». Персы погнались за напавшими смельчаками, а на рассвете остановились недоуменно — гнаться было не за кем. Тут только догадались враги, что отряд ушел совсем не туда, куда показывали следы копыт.

Лютф-Али-хан рассвирепел. Он понял хитрость горцев. Вспомнил допрос Магдилава. Допрашивал сам Надир-шах.

— Сколько же всего воинов у ваших военачальников? — спросил шах надменно.

— Сколько всего воинов — не знаю, но у нашего войска ровно двадцать тысяч далакчи [1],— ответил Магдилав.

— Не может быть! — удивился шах. — А сколько же оруженосцев у начальников ваших?

— Сколько всего — не знаю, но двадцать тысяч кашеваров, это точно.

— Как! — воскликнул шах.— А сколько же тогда кавалеристов у вас?

— Сколько всего — не знаю, но двадцать тысяч кузнецов!

— А сколько пешего войска?

— Сколько пешего войска — не знаю, но в войске двадцать тысяч сапожников,— ответил Магдилав.

Услышав такой ответ, шах вскочил: «Лжешь! Не может этого быть!» — кричал он, но в душе встревожился. «Неужели правду говорит этот великан?» — спрашивал он у своих советников. В самом деле у горцев Дагестана было двадцать тысяч войска, об этом потом узнали персы. Только каждый из воинов был брадобреем и кашеваром, кузнецом и кавалеристом, сапожником и пехотинцем.

«Хитрые, шайтаны,— бесновался Лютф-Али-хан,— а великан этот хитростью подобен коршуну. Взлетает на сером коне в самый неожиданный момент, и мои воины прячутся, как голуби. Жаль, что тогда не выколол шах глаза ему». Не знал хан, что на теле Магдилава столько ран, что не сосчитать. Бывало, ударом шашки оторвет кусок от своей черкески и сунет в рану, чтобы кровь остановилась, а сам снова, как барс, кинется на врагов.

Нередко в самый разгар битвы отступал он со своим отрядом, заманивая врагов за собой. И тут со склонов гор с шумом и треском на персов сыпались камни, бревна, мешки, наполненные камешками, золой, чугунные казаны, словом все, что попадалось под руку.

Приходя в безопасное место, знахари обрабатывали раны Магдилава и его воинов. Тяжело раненных увозили за перевал, а трупы тех, кого удалось вынести с поля боя, уносили хоронить. Ни минуты покоя не знал Магдилав и его друзья. Перевязав раны, они опять готовились к новому рывку, скалолазы всю ночь — при лунном свете и без света — лазали по отвесным скалам, укрепляли каменные капканы, собирали камни. Им помогали старики, женщины и дети. Они таскали плетеные корзины, приносили из аулов продовольствие для бойцов, целебные травы для

[1] Брадобреев.

ран, сено для коней. Положение войска шаха с каждым днем ухудшалось, на третий день начали резать коней — не хватало продовольствия, а дороги к аулам были отрезаны для персов, на страже стояли все — женщины вместе с мужчинами нападали на врагов, забрасывали камнями, стреляли из-за деревьев, из-за скал, кустов.

Горянки рвались в бой. Они приходили в лагерь Магдилава и просили его взять их в отряд. Магдилав уговаривал, гнал их прочь, но они кричали: «Зачем нам жить без мужей, отцов и братьев?» — и не возвращались домой.

На пятый день боя шел проливной холодный дождь, по склонам гор к ущелью устремились ледяные ручьи. Измученные бессонными ночами, голодом и внезапными ударами горцев, войска шаха совсем пали духом. А горцы, собрав в три здоровенные кулака свои силы,— с трех сторон ударили по врагу; казалось, бурлила и кипела Аймакинская теснина. В бою пал сам Лютф-Али-хан, много воинов его погибло, и тогда солдаты шаха в панике бросились врассыпную, но везде их настигала пуля или шашка горца. Лишь одному отряду в несколько сот человек удалось пробиться к Авар-Койсу. Враги бросились в воду, и многие там нашли свою смерть. И тогда Магдилав увидел, что хваленое двадцатитысячное вражеское войско разбито. И сам он с сотней воинов поспешил в Турутли. Гонец привез из крепости тревожные вести. Крепость осаждена, и вот уже десятый день идут ожесточенные бои. Один воин, которому удалось чудом спастись, рассказал посланнику Магдилава, что силы в крепости на исходе, сыновья Исилава воюют, как тигры, но у них иссякает порох, не успевают хоронить погибших и крепость вот-вот падет.

Магдилав потерял покой, ушла радость победы над Лютф-Али-ханом. Преодолевая хребты, ущелья, спешил он на помощь сыновьям Исилава, позабыв о своих ранах, из которых еще сочилась кровь.

18

Турутли был чуть в стороне от дороги к Андалал, и Надиршах понимал, какое значение имеет эта природная, да и к тому же укрепленная горцами крепость, которая стояла как бы в самом сердце Дагестана. Здесь останавливались послы-уцумы Кайтакского, ханы Казикумуха и Аварии, в этой крепости проводили совещания между представителями этих владений, и потому все способст-

вовало укреплению Турутли. В крепости жили разные народы Дагестана, большинство которых связывали родственные узы. Дочь аварца была замужем за даргинцем, а лачка за аварцем — так что все турутлинцы так или иначе доводились друг другу родственниками и горе, и радость делили поровну, жили как одна семья. Когда Исилав был жив, он считался как бы старостой крепости — добрый, умный по своей натуре, с щедрой душой, он все дела вершил джамаатом — общим советом старейших. Здесь не прощали друг другу нарушения обычаев предков, законов общества, Турутли: если кто-то посмел украсть что-либо — отрезали ему руку, оскорбителя женщин жестоко наказывали. Тут была своя тюрьма, земляной ров, где держали виновников по нескольку суток. А тех, кто совершал тяжкие преступления, выгоняли из крепости, и не было большего позора члену общества.

Общего врага турутлинцы встретили дружно. Умирали один за всех, все за одного. После смерти Исилава во главе крепости стал старший сын умершего — Мурад-бек. Был он так же добр, храбр, как его отец.

Стотысячное войско направил шах на Аварию в сторону Андалалских гор — страну Чоха, Согратли, Мегеб и Обох. Ведь отсюда открывался путь к Авар-Койсу, а там и к хунзахскому Нуцалу рукой подать. Тысячное войско окружило Турутли, отрезало все дороги, ведущие в крепость через перевал. День и ночь враги зорко следили за дорогами к Андалалским горам.

Не успели в тот день пастухи угнать стадо коров на пастбище, еще не улеглась пыль, поднятая им, как прискакал подпасок — мальчик лет десяти. Он кричал, плакал, показывал на дорогу — все увидели, как из-под деревьев по лощине, ведущей к крепости, показались всадники — их было так много, что казалось, налетела саранча. В крепости забили боевую тревогу, люди выскакивали с оружием в руках из домов, собирались к воротам, а Мурад-бек приказал запереть ворота и готовиться к бою. Подпасок сообщил, что враги убили пастуха, взяли в плен женщин, которые шли с кувшинами от родника, что на крепость движется уйма верховых и пеших шайтанов.

— Беречь пули, порох, хлеб и воду,— приказал Мурад-бек. Он понимал, что только с северной стороны можно было подступать к крепости. С востока, запада и юга она была надежно защищена неприступными скалами, спускающимися к бурным рекам.

Всю ночь не прекращался натиск врагов, они упорно лезли по высоким стенам и каждый раз получали достойный отпор.

В Турутли было около шестисот воинов, среди которых почти сто женщин. Но и женщины воевали не хуже мужчин. Мурад-бек на коне объезжал своих воинов, смотрел, как построена оборона, вдохновлял их, отдавал распоряжения. Персы стреляли по стенам, по воротам, старались попасть в отверстия, откуда турутлинцы наносили им удары-выстрелы, но пока было все впустую, вражеские пули очень редко достигали цели. За сутки у турутлинцев насчитывалось лишь девять убитых, тогда как у стен крепости легли сотни убитых солдат врага.

Неделю продолжался штурм врага, но пока не причинил он заметного ущерба стенам крепости. И тогда персы предприняли попытку пробраться к крепости через непроходимые скалы с юга. Лучшие скалолазы пошли в обход, но и там их настигали пули турутлинцев, и, сорвавшись со скал, падали персы в бурные волны Койсу. А турутлинцы ухитрялись временами, используя замешательство врага, организовывать вылазку наружу и наносить врагу молниеносные удары.

Однажды осажденные выпустили двух ослов, навьюченных корзинами, полными золой. Под хвост животным привязали колючки, ослы от уколов колючек помчались бешеным галопом, а зола из корзин сыпалась так, что поднялись тучи черной пыли. Враги пустились бежать, кони испуганно шарахались, а горцы, выскочив вслед за ослами, без пощады рубили врага шашками.

Осажденным приходилось нелегко: не хватало воды и для питья, и для замеса теста, и для приготовления пороха. Стояла удушливая жара, дождей почти не было, начались болезни.

Тайпус не знала ни сна, ни минуты покоя, то воевала вместе с братьями, то помогала раненым. На седьмой день осады ранили в грудь ее самого любимого брата — Джабраила. Тайпус положила на его рану целебные травы, перевязала ее, а утолить жажду умирающего не могла. Она металась по комнате, кусала губы, молила у аллаха дождя, а дождя не было, и тогда, совсем отчаявшись, взяла девушка кувшин, лом и лопату и тихонько подползла к стене крепости. Там, за стеной, она знала, начинается мелкий густой кустарник, а за ним — рукой подать до источника, холодного, сладкого. Правда, спуск крутой, ну да

ничего, она сумеет его одолеть. И Тайпус решилась. Тихонько начала копать землю, потом ломом сняла камень. Казалось, прошла целая вечность, пока к полуночи в стене не образовался узкий, еле заметный лаз. Змеей проскользнула Тайпус через отверстие и очутилась снаружи. Прислушалась. Тихо, только ветер играет листочками деревьев. «Аллах, помоги», — прошептали похолодевшие губы, и девушка легко и быстро направилась к кустарнику. Медный кувшин она крепко привязала к спине — начинался крутой спуск, но она знала его как свои пять пальцев и двигалась совсем бесшумно, как маленький перепуганный зверек. Вот, наконец, совсем рядом послышалось негромкое журчание воды. Прямо из скалы бежала тоненькая струйка. Тайпус приникла к ней своими пересохшими губами, глотнула благодатную влагу, потом подставила кувшин. Она напряженно прислушивалась ко всем звукам ночи, но, казалось, кроме серебристого журчания воды, ничто не нарушало тишину. И когда Тайпус уже совсем успокоилась, чьи-то крепкие руки схватили ее хрупкие плечи, чье-то лицо приблизилось к ее лицу.

Дрогнуло сердце девушки, будто в тихом лесу вдруг дунул прохладный ветер, заставляя трепетать листья. Она отвела глаза — до того прекрасен был тот, кто тоже, не скрывая восхищения, рассматривал ее при бледном свете луны. А ей чудилось, будто с неба слетел сам Малаик — ангел красоты. Черные густые брови, казалось, никогда не хмурились, ясные глаза, в которых горели два солнца. Нет, прекраснее этого юноши не встречала Тайпус. А он смотрел на нее так открыто, столько нежности было в его взгляде.

— Иди, красавица, и не бойся меня,— сказал он наконец на ломаном аварском языке, — братья твои заждались тебя. — Он помог ей подняться на скалу, подал кувшин. — Как ты прекрасна, я было подумал, что это гурия небесная привиделась мне! Приходи завтра ночью, я буду ждать тебя! — И тут же исчез среди кустов.

Тайпус как во сне добралась до стены, вынула камень, пролезла, камень положила на место, чтобы скрыть свой лаз. И когда очутилась у дома, вздохнула глубоко и радостно. «Кто он? Что со мной? Как он смотрел на меня! За ним бы я пошла на край света!» — вот какие мысли бродили в ее голове.

Улыбаясь про себя, опьяненная этими мыслями, спешила она с кувшином воды к брату. Тайпус напоила и

Джабраила, и других раненых, и когда спрашивали ее: «Откуда такая сладкая вода?» — отвечала лукаво: «Аллах дал». А сама ходила так легко, как во сне, не чувствуя запаха пороха, не слыша стонов раненых, свиста пуль. Казалось, опять пришла для нее благоуханная весна. На исхудавших, хмурых лицах братьев видела она улыбку, в черном от дыма небе — солнышко. Она полюбила незнакомца, и сама этому удивлялась и просила пули, летевшие в сторону врага: «Не убейте его, он мой, он явился с неба для меня посланником аллаха!» Ее глаза искали его среди осаждавших. И сердце ее билось трепетно и тревожно. «Что со мной?» — временами думала она. А как же Магдилав? Ведь он тоже казался ей любимым. Да, только казался. Впервые увидела она его во дворце Нуцала, он показался ей таким сильным, красивым. Его образ носила она в сердце, о нем слагала песни. Как плакала она, когда дошли слухи, что враги убили ее багадура. И вдруг он явился, будто с того света, без ушей и носа, изувеченный на всю жизнь. Как стонала и плакала ее любовь, а потом улетела из сердца, оставив в нем только жалость.

А вот увидела в один миг, среди темной ночи того, из лагеря врагов, и сердце не повиновалось ей. Ее охватил огонь любви. «А может, это ангел: аллах хотел испытать мое терпение?» — спрашивала она себя. Ей казалось, что уже встречала его где-то, когда-то, в мечтах, во сне. Именно таким; как он улыбался, как он говорил: «Не гурия ли с неба спустилась?» Будто и он искал ее всю жизнь. Он не схватил ее и не увел рабыней, а помог подняться через скалу, подал кувшин. И просил, чтоб еще приходила. Может, он следил за ней, хотел обмануть, проникнуть в крепость? Мысли роились в голове Тайпус, как пчелы, она бежала к стенам крепости, оттуда к раненым, и мысли неотступно бежали за ней. Перед глазами стоял он, с черными бровями, черными глазами, прекрасным лицом, таким юным, с таким ангельским взглядом. «О великий аллах! Что со мной?» — кричала ее душа. День показался ей сегодня длинным, как год, как ждала она наступления ночи. «Что с тобой, Тайпус?» — спрашивали женщины, братья, раненый Джабраил. Уж не сходит ли Тайпус с ума? Все может быть.

Ночью Тайпус опять взяла кувшин и отправилась к роднику. Никто не знал в крепости, куда она идет. Вот спуск, слышно, как капает вода. Как она дрожала, когда

ставила кувшин. Ее слух ловил каждый шорох в кустах и вдруг вздрогнула: раздвинув кусты, появился он, опять она увидела его лицо.

— Ты появилась, гурия? — спросил он. — Я никогда не боялся смерти, а сегодня просил аллаха оставить меня в живых, чтобы увидеть тебя хоть раз. Я всю жизнь искал тебя, искал в Иране, в аулах...

— В тех, что вы разрушили?

— Да, Надиршах разрушает аулы, убивает людей, он хочет покорить мир, но аллах свидетель, я покорен только тобой, я готов умереть за тебя.

— Ты же не знаешь меня...

— Я вижу тебя, твои глаза, я слышу твой голос, все, все говорит мне, я больше ничего не хочу знать. Клянусь аллахом, ничего — ни богатство отца, ни славу не надо мне, лишь бы увидеть твою улыбку, услышать твой голос. Видел я красивых и стройных девушек и в Иране, и в Индии, и в Средней Азии, но никто не пленил мое сердце, никто не владел мною. Только ты моя повелительница. Не знаю, к беде ли, к счастью ли — я встретил тебя.

— Мы — враги...

— Я стану другом, я нарушу клятву шаху, я покину поле боя, уеду с тобой — хочешь, в Иран, где нас ждет роскошный дворец моего погибшего отца...

— И позор побега...

— Пусть и эту горечь я выпью, лишь бы ты стала моей женой, уедем со мной... Хочешь, мы будем бродить по горам, ущельям, будем питаться дикими фруктами, дичью — я хорошо стреляю.

— Нет, я не могу покинуть братьев, они защищают свою землю от врагов, я не могу уйти. Там жаждут воды раненые.

— Ты придешь и завтра ночью, я буду молиться за тебя, за твоих братьев, я буду ждать. — Он помог ей опять подняться по скале.

Его голос звучал в ее ушах, его слова повторяло ее сердце. Она ждала следующей ночи, жила мыслью о встрече с ним.

На следующую ночь они опять встретились у родника, при тусклом лунном свете, и, когда они, так жаждущие друг друга, хотели в мыслях и мечтах соединиться воедино, их поймали и привели к военачальнику, грозному Герей-хану, который доводился дядей возлюбленному Тайпус.

— Ой, какая красавица! — восхищенно воскликнул Герей-хан, когда ему открыли лицо пленницы. — Как Надир будет доволен добычей, для его гарема не хватало тебя...

— Дядя! — схватился за кинжал племянник.

— Ого, сын моего покойного брата Ибрагим готов заступиться за эту красотку! — Брови хана хмурились, зубы скрипели.— Тайком встречаешь ее у родника, помогаешь врагам. Нарушаешь клятву!

— Я люблю ее, дядя, и если кто тронет ее хоть пальцем, клянусь аллахом и памятью покойного отца, я снесу ему голову.

— Ценю, племянник, твою храбрость. Из-за любви можно и умереть,— усмехнулся Герей-хан.— Но эта дикая горянка — готова ли она умереть за тебя?

Тайпус бросила в его сторону пронзающий взгляд. Многое говорил он Герей-хану... «Ну что же, может, аллах прислал мне тебя на счастье, красотка». И коварный план зрел у него в голове.

— Я вижу, вы в самом деле любите друг друга,— сказал ласково он.— Но времена тяжелы для любви. Братья твои, девушка, не сдают крепость, упираются, зря проливают кровь своих и моих солдат.

— И не сдадут...

— Вот как?! — поднял брови Герей-хан.— Придется им сдаться, у нас сила большая, а в крепости осталось совсем мало людей, кроме того, у вас нет ни воды, ни пищи, ни пороха. А за мной в засаде стоят десятитысячные войска шаха. Они покорили Андалал, Аварию, сам Нуцал-хан пришел к Надиру с поклоном. Так что дни твоих братьев сочтены, если не завтра, то послезавтра мы возьмем крепость, тогда сама знаешь, что будет со всеми. Может, и Ибрагиму придется сложить голову при штурме, он прежде всего воин,— при этом вздрогнула девушка, и не мог не заметить этого Герей-хан,— тогда и ты попадешь в плен.

— Я убью себя...

— Вот что я придумал. Открой незаметно нам ворота крепости. Отряд Ибрагима войдет туда первым, без капли крови возьмем мы Турутли. А чтобы братья твои не успели обнажить свои шашки — налей им в ножны сабель соленой воды. Очень верный способ.

— Ты толкаешь меня на измену, шах, — в ужасе прошептала Тайпус,— что скажут обо мне турутлинцы?

— Кто узнает об этом, глупенькая? А потом ты же спасешь жизнь своим братьям и односельчанам. И сохранишь свою любовь. Иначе придется тебе плакать над трупами, над погибшей своей любовью.

— Клянись, дядя, что будешь верен слову! — вскричал Ибрагим.

— Клянусь! — поднял Герей-хан к небу свои руки, на пальцах которых блестели кольца с алмазами. — Я, сын моего брата, никогда не нарушал клятву. Именем аллаха даю слово, будет так, как я говорю. Послушайте меня, иначе будет плохо, все кончится кровью, и любовь, окрашенная кровью братьев и родичей любимой девушки, думаю, и тебе счастья не принесет.

— Я верю вам, — сказал Ибрагим. — Сделай, Тайпус, так, как говорит дядя.

— Лучше я уговорю братьев, чтобы сдали крепость, расскажу им все...

— Нет! — встал Герей-хан. — Твои братья упрямые люди, они глухи и ослеплены теперь страстью войны, до них не дойдут твои слова, и тебя же убьют, узнав, что ты встречалась с врагом. Пойми, девушка, я указываю тебе выход из положения, аллах свидетель, поступок твой будет оправдан всевышним, ибо ты положишь конец войне, свяжешь нити дружбы, и братья твои будут жить свободно, как они хотят...

19

Возвращалась домой Тайпус с кувшином, полным прозрачной воды, а ей казалось, что заполнен кувшин не водой, а тяжелым свинцом. «Что делать, как быть? Умереть вместе с братьями или открыть ворота и поверить всему, что наговорил ей Герей-хан?»

В самом деле, редели ряды защитников крепости — осталось их меньше ста человек. Не сегодня, так завтра падет Турутли, и уж тогда пощады не жди. Погибнут братья, погибнет ее любимый Ибрагим, что ей останется? Плен? Гибель? Но простят ли ее измену братья? Поймут ли они ее? Ведь она дочь Исилава.

Тайпус вспомнила последние слова любимого: «Иди, сделай так, как говорит дядя, он не нарушит своего слова. Так надо, чтобы мы с тобой были счастливы».

Целый день ходила девушка сама не своя. Пали еще турутлинцы, остальные шатались от голода, жажды, усталости.

— Не поспеет помощь, долго не продержимся, — слышала она голоса.

— До последнего будем драться, только через наши трупы войдут враги в крепость, — это сказал старший брат Тайпус — Мурад-бек. «Зачем крепость, если все погибнут, зачем слава после смерти. Не будет братьев, не будет Ибрагима и моей любви...» — вздыхала девушка.

Медленно наступал вечер, с севера подул прохладный осенний ветер, стонали в бреду раненые, просили воды. У воинов не хватало пуль, порох был на исходе. Слава аллаху, наступило затишье. Усталые люди прилегли отдохнуть. Тайпус дрожала, как в лихорадке. Она взяла кувшин и насыпала в воду соль. Неслышно ступая, подошла она к спящим братьям. Вот их сабли, с них стерта кровь, кровь многих врагов. «Прости меня, аллах, и вы, милые братья, простите, ваши жизни мне дороже всего на свете, я хочу, чтобы вы остались живы, чтобы наступил мир...» И она незаметно налила в ножны соленую воду. Вдруг очнулся раненый, потянулся к кувшину.

— Вода, вода! Дай утолить жажду, хоть один глоток! — Он почти вырвал кувшин из рук Тайпус и жадно прильнул к нему губами.

— Ох! И вода стала соленой! — сказал и разбил кувшин о камни.

— Я принесу еще, — прошептала вне себя Тайпус и убежала. «Ой, аллах, что же будет? Но половина дела сделана, теперь останавливаться было поздно. Утренняя звезда глянула сквозь тучи, сова кричала где-то рядом. «Может, завтра ты проклянешь меня?» — шептали губы Тайпус. Ноги несли ее к воротам.

— Ты что же не спишь? — спросил караульный. — Иди, доченька, отдохни, утром опять воевать. Видно, аллахом суждена нам такая судьба. Умрем, как подобает горцам.

— Ты отдохни, дядя Сулейман, я постою тут. Мне не спится.

— Спасибо, доченька. Третьи сутки не сомкнул глаз. Услышишь шум, стреляй, — и старик пошел в укрытие спать. А Тайпус сняла со стены большие ключи, дрожащей рукой долго не могла попасть в скважину замка. Открыла, потом положила на место ключи. Потихоньку, будто в бреду, поднялась на стену и махнула, как было условлено, зажженным факелом...

На рассвете вражеские отряды вошли в крепость. Они

не разбирали, кто попадался им на пути, рубили всех подряд — женщин, стариков, детей. Солдаты были озлоблены — помучила их эта крепость в скалах, многие нашли у этих стен смерть. А теперь Герей-хан приказал им не щадить никого, с лица земли стереть и крепость, и всех ее обитателей. Обессиленные от жажды, бессонных ночей, проведенных у стен, голодные, едва стоявшие на ногах жители Турутли не сопротивлялись.

Разбуженные криком женщин и выстрелами, вскочили братья Тайпус, схватились за сабли и не смогли вынуть из ножен заржавевший клинок. Вот Муслим, средний сын Исилава, схватился за камень. Но тут настигла его шашка Герей-хана, и с разрубленной головой свалился он со стены прямо к ногам коня грозного военачальника. Мурад-бек, старший брат Тайпус, выскочил из-за стены, он понял, что их предали, и взялся за кинжал убитого героя. Герей-хан снова поднял саблю.

— Дядя! Опомнись! Ты же поклялся именем аллаха! — закричал Ибрагим.

— Аллах велел мне мстить! — С этими словами Герей-хан бросился на Мурад-бека, но его удар пришелся по плечу Ибрагима, который своим телом загородил брата Тайпус. В воздухе блеснул клинок кинжала старшего сына Исилава, но не успел он нанести удар Герей-хану, как кто-то из воинов шаха выстрелил ему в грудь.

Все это видела и Тайпус. Она скрылась в доме, где были раненые, глупая, ждала момента, когда войдет отряд Ибрагима и начнет мирные переговоры, представляла картину будущего — как ее руки будет просить Ибрагим, и вдруг услышала страшные крики женщин, выстрелы, дрожа, выбежала и в ужасе увидела картину битвы. Ее любимые братья лежали убитыми, а Ибрагим плакал, рвал на себе волосы, кричал: «Проклятье вам! Обманули! Убейте меня!» Он выхватил клинок кинжала и вонзил его себе в грудь.

Тайпус бросилась к раненому Джабраилу.

— Брат, дорогой, убей меня! Это я открыла ворота, я налила соленую воду в ножны сабель! Враги обманули меня!

Джабраил встал, качаясь, подошел к стене, где над ковром висело отцовское оружие. Кинжал с золотой чеканкой упал, но поднять его Джабраил не мог. Тогда он велел сестре привести из сарая коня, любимого коня отца. Джабраил с трудом влез в седло и велел сестре сесть сзади.

— Держись покрепче, сестра! — приказал он и хлеснул коня. А конь, будто понимая, что от него требуется, рванулся сквозь вражеские ряды вниз, к пропасти. За ними гнались, стреляли, но конь перескакивал через лестницы, стенки, сделанные в саду, и доскакал до пропасти, заржал, встал на дыбы — не хотел, видно, умирать,— но тут его настигла пуля, и он сорвался вниз, унося с собой Джабраила и Тайпус.

Не успели враги опомниться, как начал дымиться дом Исилава: его поджег кто-то из раненых. Измученные ранами и голодом, люди выходили из дома, будто из могилы, еле-еле стоя на ногах, и бросались вниз головой с высокой стены.

— Проклятье! — кричал Герей-хан, от злости скрипя зубами. — Не люди, а шайтаны. Все, все, даже камни воюют в этих горах с нами.

20

Еще издали увидел Магдилав окутанный густым черным дымом Турутли. У уцелевших стен крепости он встретил троих, оставшихся в живых турутлинцев. Один из них был мальчик девяти лет, — он скрывался на макушке тополя в ветвях, и на его глазах происходили все события этого дня. Старики, оглушенные ударами по голове, ничего путного не могли рассказать. Говорил мальчик, идя впереди Магдилава по тлевшим развалинам. Тут и там еще дымили догоравшие бревна, стволы деревьев. У дома, который сейчас и отыскать-то было трудно, лежали в крови, с искаженными лицами, в обгоревшей одежде шестеро сыновей Исилава. Тут же лежал чужеземец с разрубленным плечом, с кинжалом в груди. «Вот из-за него предала нас Тайпус»,— услышал Магдилав шамкающий голос старика.

— Похороните его как положено, — вымолвил Магдилав, шагнув через труп чужеземца, и вошел во двор бывшего дома Исилава, где когда-то встретил ее, Тайпус...

Братьев Тайпус похоронили под айвовым деревом, от которого теперь остался только обгорелый, почерневший ствол.

Потом мальчик спустился к пропасти и показал место, откуда бросился младший брат с Тайпус в бурлящую реку. Магдилаву почудилось, как стонала река: «Проклятье врагу! Проклятье изменнице!» Эхо вторило в ска-

лах. Он заткнул уши, чтобы не слышать ничего. «Нет, не верю. Не могла пойти на такое Тайпус»,— повторял он себе и, резко повернувшись, поспешил в крепость. Сердце его плакало горько, а глаза были сухие, суровые.

— Отряд Герей-хана ускакал сразу же, как начался пожар! — услышал Магдилав, как сквозь сон, голос мальчика. — Туда, к югу...

— Отомщу за все! Клянусь аллахом и этими горами, которые люблю больше жизни! — шептали губы Магдилава. Он вскочил на коня, за ним его воины, и скоро сквозь треск догорающих бревен, плач птиц, ропот гневной Койсу послышался ровный стук копыт.

Магдилав ехал молча, он даже не заметил, что едет мимо старого дуба, их с Тайпус дуба. Совсем недавно его зеленая макушка видна была в крепости, где кипела жизнь, не услышал он и журчание родника Кигилай, у которого когда-то сидели они вдвоем. Теперь он не поднимал голову, казалось, он не видит и не слышит ничего.

К вечеру отряд подошел к маленькой речушке, где на берегу в саду утопал маленький домик. Возле домика, немного пониже — ближе к речке виднелась мельница. Она не работала.

— Махмуд, пойди, присмотрись!— приказал Магдилав.

Время было такое, что враги могли скрываться везде. Поэтому следовало осторожно продвигаться, прощупывать каждый аул, каждый кустарник, каждую пещеру. Махмуд сошел с коня и скрылся в темноте, а Магдилав со своим маленьким отрядом остановился под деревьями. Кони устали, они щипали посеревшее сено, желтые листья, которые падали и шуршали под ногами. А в небе стоял серп луны, будто облитый кровью. Молчаливые и хмурые громоздились горы — немые свидетели беспощадных боев горцев с иноземцами.

Неожиданно темноту разорвал знакомый голос:

— Магдилав! Тут свои, идите к нам...

Оказалось, в домике мельника скрывались раненые, их вывезли с поля боя на отбитых у врагов арбах в безопасное место. Тут и приютили воинов, ухаживали за ними дочь и жена мельника, а сам мельник — старый Хирач сторожил дороги, ведущие к мельнице. Он-то и подкараулил Махмуда в кустарнике и — хоп — бросился на него. Хоть стар был мельник, но сильного те-

лосложения человек, заткнул рот Махмуду папахой, притащил в комнату — стал спрашивать, кто такой и кем послан. И Махмуд рассказал о Магдилаве. Услышав прославленное имя, мельник обрадовался и поковылял за Магдилавом.

Оставив коней связанными в тени деревьев, Магдилав со своими воинами вошли в дом. Там на свежем сене рядами лежали раненые горцы. Как обрадовались они Магдилаву! Расспросам не было конца. Оказывается, и до них уже дошли легенды о разгроме двадцатитысячного отряда Лютф-Али-хана, и все гордились храбростью Магдилава и его друзей.

— Я тебя видел в Карадахе на базаре,— говорил один,— когда ты тащил на спине скакуна.

— А я был свидетелем борьбы во дворце хана, где ты уложил Мустафу,— добавил другой.

— Я-то его лечил в пещере,— вмешался третий горец,— с разбитым носом, с забинтованной ногой.

— Вах! Тайгиб, мой друг чабан!— воскликнул Магдилав.— Как, братец, ты попал сюда?

— Мы воевали в Андалале,— сказал Тайгиб.— Таких боев наши горы, наверное, никогда не видели. Славно рубали мы шахских воинов. Правда, сначала они оттеснили нас, думали еще сутки — и никто с поля боя не уйдет живым...

Тайгиб рассказал, как темной ночью, без шума, стремительно напал он со своим отрядом на табун иранской кавалерии. Сначала горцы уничтожили охрану табуна, потом угнали иранских лошадей в то место, где стояли наши отряды. Отбившиеся от табуна кони убежали в лагерь Надиршаха, но охранники решили, что кони испугались дикого зверя и не обратили особого внимания. Только утром, когда рассвело, узнали иранские воины о случившемся. Тут подоспел отряд Муртазали и хунзахского Чупалава. С восходом солнца они уже были около вражеского стана и внезапно из-за перевала нанесли удар персам. Сам аллах был свидетелем, как дрались горцы с кинжалами и шашками, смело бросались они на врагов, стоны раненых смешались со звоном стали. Муртазали врезался в ряды врагов. Храбро бился и его друг Чупалав. Рекой текла кровь персов, и они начали отступать.

— Говорят, Надиршах смотрел с утеса на бой, а рядом стоял Сурхай-хан. Он видел, как дрался Муртазали

и спросил Сурхая: «Кто этот храбрец? Его меч подобен мечу Али-бахарчи — военачальника».

— Это мой сын, Муртазали!— ответил Сурхай-хан.

— Все войско отдал бы за него!— воскликнул восхищенный Надир.

— Надиршах бросал в бой все новые и новые силы,— продолжал свой рассказ чабан,— а горцы только держались своей стойкостью и мужеством. И тут пришла помощь из ближайших аулов. Женщины Чоха, Согратль, Мече, Мукара, Ури, вооруженные чем попало, бросались на помощь мужьям, братьям и отцам. Сражение разгоралось с новой силой и стихло только к вечеру.

Говорят, Надиршах повел себя, как трусливый заяц. Всю спесь растерял! Когда дошла весть о разгроме, он поднял руки к небу и стал умолять аллаха выручить его из беды, а потом позвал индийского факира-прорицателя и приказал ему угадать его судьбу. Но прорицатель только молча сидел на камне и смотрел на долину, покрытую трупами иранцев, ибо судьба Надиршаха была перед его глазами. Надиршах сам отрубил голову факиру. С того часа, говорят, сон от него отступил, не умолкая, кричал он, что удача покинула его, что Азраил на черных крыльях летает вокруг его шатра.

— А ведь,— вмешался опять словоохотливый чабан,— Надиршаха предупреждали согратлинцы. Говорят, прежде чем начать сражение в Андалалской долине, шах поднялся на Чолдамеэр и оттуда послал своего гонца в аул согратлинцев. Он велел передать согратлинскому кадию мешок пшена, давая этим понять, что у него, у шаха, столько воинов, сколько зерен пшена в мешке. Согратлинский кадий вернул мешок и послал шаху общипанного петуха. Это должно было означать: как голодный петух по зернышку склюет все пшено, так и мы истребим твое войско, хотя бы поодиночке. Не послушался Надир мудрого совета.

Удрал с остатками своего войска, бросив все — и гарем, и награбленное богатство,— продолжал хунзахец.— И опять хотел схитрить, послал к Нуцалу гонца, предлагал мир и согласие. Аварский хан ответил ему: «Ты упрекаешь меня в том, что я не явился к тебе на поклон. Я воздержался от этого потому, что ожидал твоего прибытия к себе, чтобы принять и проводить по нашему

горскому обычаю. Для чего пришел к нам в горы... Я советую тебе — иди скорей назад в Иран и больше не приходи к нам. Правда, мы слышали о твоих великих делах и в начале опасались тебя. Но твоя слава миновала. Теперь тебе самому видно, что ты не такой страшный, чтобы нельзя было справиться с тобою».

— Хорошо все-таки ответил Нуцал ему,— сказал Магдилав.

— Нуцал тоже такой же волк, да только разница в том, что он все-таки свой,— сказал чабан,— тоже три шкуры дерет с нашего брата. Да, Надиршах столько бед принес нам, усеял трупами наши долины, обагрил кровью горы.

— Зато и получил по заслугам,— усмехнулся Магдилав.— Где же он теперь, по какой дороге удирает из наших гор, хотелось бы узнать.

— Должно быть, по Тахинским ущельям, там дороги проходимы, да и нашего брата меньше встретишь,— сказал мельник, который тоже прислушивался к разговору.— Я тут видел, как к речке спускался отряд со стороны Турутли. Видимо, им тоже нелегко пришлось.

— К речке, говорите?— привстал Магдилав.— Пора, друзья, седлать коней своих, подождем в лощине — и за Герей-ханом. С ним у меня особые счеты.

— Как, не отведав моего чурека?— вскочил мельник.— Скоро рассвет. Отдохнули бы еще. Жена!— крикнул он.— Побыстрее накорми гостей, а то я никогда не прощу себе этого!

21

Магдилав удивлялся, как раненые — без рук, ног, без глаз, еле живые люди шутили, рассуждали, говорили о битвах, как об обыденных вещах, и были полны решимости вновь защищать свои родные горы. Как они презирали смерть, смеялись над ней. «Нет, нас победить невозможно»,— думал он, и гордость наполняла его сердце.

С такими думами подъезжал он к реке Чиних. Был уже полдень, когда отряд очутился в лощине. Все сразу не поняли, что перед ними. Казалось, до неба возвышалась каменная пирамида. Кони спешились у ее подножья и тревожно заржали. В ужасе замерли горцы. Перед ними была гора из человеческих голов. Закры-

тые, открытые — детские, женские, мужские глаза смотрели на них. Черные девичьи косы, седые клочья смешались воедино, обагренные кровью.

— Сколько их тут! — прошептал кто-то.

И тут послышался тихий плач женщины. Они не заметили ее, стоящую на коленях, с растрепанными волосами. Ее слезы орошали землю, а перед нею лежала голова мальчика лет десяти; кровь с его лица была вымыта слезами, черные глаза смотрели как живые.

— Вот мой орленок, мой единственный Самед! — причитала женщина, поднимая руки, как два дрожащих лепестка к небу. И она поведала им свою историю.

После гибели брата — Ибрагим-хана поклялся Надиршах отомстить горцам. «Воздвигну гору из голов этих дикарей, — говорил он, — пусть будет славный памятник брату». Приказ шаха гласил — убивать встреченных на пути — детей, стариков, женщин, голову отрубать и складывать в этой лощине. Пусть все знают, что шах держит свое слово. И вот гора стала быстро расти на устрашение всем.

Бедная женщина рассказывала, что сын ее был пастушонком, пас отару овец и однажды в горах встретил отряд шаха. Воины и кони еле передвигались — так измучила их жажда. Схватили они пастушонка и велели привести их к роднику. Но мальчик быстро сообразил, что делать. Повел вражеский отряд по непроходимой тропинке, по колючим кустарникам все дальше и дальше от родника. Долго бродили персы, пока наконец поняли, что их обманули. Люто били они пастушонка, а потом отрезали ему голову и принесли в лощину.

— Не плачь, мать, — говорил Магдилав. — Сын твой умер как настоящий горец.

— Я горжусь им, — ответила женщина, — но сердце мое обливается кровью. Он у меня один. Если б возможно было сложить мою седую голову вместо него.

Мать брала голову сына, прижимала ее к груди, целовала мертвые губы. Магдилав отвернулся — слезы застилали глаза. А ведь совсем недавно казалось ему, что уже ничто не в силах заставить его плакать. «Клянусь аллахом, небом Дагестана, этими горами заплатить врагу сполна за материнские слезы! Пока останется хоть одна капля крови в моих жилах, сила в моих руках, буду мстить, мстить, мстить».

— Благослови, аллах! — прошептал он и ударил ногами по вспотевшим бокам коня.— Неси меня, мой добрый друг, по следам врага...

И шли кони по следам отступавшего врага. «Раненый зверь злым бывает», —предостерегал Магдилав своих воинов. И был он осторожен, как барс, издали чуял засаду врага, пронюхивал каждый куст, заглядывал в каждую пещеру.

А совсем близко, впереди пробирался вражеский отряд, прикрывающий Надиршаха. Скверное настроение не покидало шаха. Подолгу сиживал он в своем роскошном шатре, который несли воины. Перебирая четки, закрыв глаза, размышлял: «Полмира завоевал я. Индия, Средняя Азия, монголы — все подо мной. Я так богат, так могуч, передо мной не устоял никто, я стремился овладеть миром, быть богом на земле, и вдруг этот каменный мешок — Дагестан, населенный варварами, как кость, застрял у меня в горле. В чем же сила этих диких, необузданных полунищих людей? Они в четвертый раз заставили бежать моих воинов, они убили моего брата Ибрагим-хана, моих лучших военачальников. И теперь вот я сам бегу от них...»

Надир стиснул зубы: «Я еще вернусь сюда, я разобью каменный мешок, каким бы крепким он ни был. Я разорю аулы, сровняю крепости с землей. Лучших солдат врага я возьму в свою армию. Остальных уведу, как скот, в Иран, в вечное рабство. Я покажу им, как могуч Надиршах и как надо служить ему...»

Было над чем размышлять Надиршаху, с трудом глотал он горькую обиду неудач. Потерять все войско, оставить на полях сражения дорогое оружие, погубить чистокровных лошадей, верблюдов, мулов. Шах видел, как упал моральный дух оставшихся в живых, в каждом воине он видел теперь труса и предателя. Любой шорох, даже скрип колес, цоканье копыт раздражали его, вызывали подозрения. Вино, которое он пил, казалось ему отравленным и не опьяняло его, чарующие взгляды персиянок и турчанок, прекрасных наложниц шаха, не отвлекали от тягостных дум.

В сумерки, когда по склону, покрытому сосновым лесом, на левом берегу реки Калии проходили воины шаха, заметил их отряд Магдилава. Был вечер, солнце зашло, и из глубоких ущелий начала выползать темнота, простирая свои черные крылья над долиной.

— Шатер Надира несут! — сообщил горец, который поднялся до самой макушки высокой сосны, — люди тащут его арбу. А кругом воины.

— Неужели самого Надира увижу? — обрадовался Магдилав. Решение созрело тут же. Напасть неожиданно. А ведь никто не думал, что попадется Надиршах. Уже вторые сутки отряд искал Герей-хана. А вот чуть не напоролись на самого шаха.

— Их так много, может, сообщим нашим, — засомневались некоторые.

— Тогда упустим Надира. Медлить нельзя. Нас мало, и враг нас не видит. Пропустим их до той лощины, подойдем тихо, без коней, без винтовок, с саблями — рассчитаемся с Надиром и тут же исчезнем.

Так и сделали. Раздвинулись густые ветви сосны, вышел с обнаженной саблей залим-великан, и воины Надира, бросив шатер, разбежались. Магдилав в миг очутился около поверженного шатра.

Злобно кричал Надир, визжали его жены — от внезапного удара о землю наконец дверь открылась, и Надиршах в ужасе окаменел. Его маленькие глаза налились кровью, он схватился за саблю, но взмахом левой руки Магдилав сорвал ее с шаха. Сам шах свалился к ногам багадура.

— Поднимайся, Надир, пришел твой час, ответишь теперь за все,— спокойно приказал Магдилав. Он поднял шаха за ворот халата той же левой рукой, ибо в правой он держал обнаженную саблю. Надиршах кричал что-то на своем языке, а маленькое тело его подпрыгивало и корчилось в смертельной муке.

И вдруг прогремел выстрел. Зашатался Магдилав — проклятая пуля сразила великана. Слабеющая рука разжала ворот ханского халата, взмах его огромной сабли пришелся по голове телохранителя шаха. Раздался еще залп, и рухнул Магдилав на родную дагестанскую землю, орошая ее своей алой кровью.

С тех пор много раз гремел гром в Дагестанских горах, много воды унесли быстрые горные реки к седому Каспию. То убыстряя ход, то замедляя, будто поднимаясь по склонам, проходила жизнь, вечный конь, которому нет начала и конца, который не знает ни старости, ни усталости.

Шло время, изменяя и природу, и человеческую жизнь, и где-то вдали остались события, которые происходили двести с лишним лет назад, когда Надиршах, великий владыка, четырежды совершал походы в страну гор, и четырежды возвращался разбитый и побежденный.

Папаху хана, которую Надир потерял в горах, вместе с золотым седлом и саблей, говорят, нашли горцы на том самом месте, где убили Магдилава, и потом передавали из рук в руки, чтобы сберечь как память о пораженном завоевателе. Сабля сохранилась до наших дней. В краеведческом музее Дагестана покоится она под стеклом. На ней высечены слова: «Принадлежала завоевателю Тимуру 1328 г. Спустя более 330 лет ее обладателем был Надиршах. 1739 год».

А легенды о славных битвах горцев с иноземцами живут до сих пор, как эхо далекой ушедшей жизни, передаются из уст в уста, из поколения в поколение. Остались и разрушенные сторожевые башни, крепости далеких времен, среди них и Турутли. Стоит он на высоких скалах, заброшенный и угрюмый, храня в себе печальную повесть о семи братьях и изменнице сестре. Помнят люди и Магдилава. Многим новорожденным давали его славное имя. Теперь носит его и молодой инженер. Правда, он не великан, не багадур, он не карабкается по скалам в поисках меда диких пчел. Этот Магдилав — гидроинженер и работает на плоскости, занимается оросительной системой родного совхоза, куда перекочевали славные гондохцы, променяв тесную, скудную землю предков на просторные богатые поля. Пусть будет достоин он имени Магдилава-багадура.

И вы, дорогие читатели, я думаю, желаете того же молодому инженеру, будущему герою моей новой повести...



ПОЛИНА — ПАРИДА

1

Не успел я войти в купе, как оказался в окружении Аджара и Джабира. Эти маленькие друзья из братского Азербайджана ехали с матерью в том же направлении, куда и я. Аджар был годом старше своего брата Джабира, но оба они были очень похожи друг на друга, только Аджар был на голову выше брата. Большие, живые глаза их горели, как черные угольки. Вскоре я узнал о них все. Аджар был заядлым футболистом, болельщиком бакинской команды «Нефтчи». Он знал не только своих футболистов, как они играют, где живут, кто и когда и какие ошибки допустил в игре, но и футболистов всего мира, начиная с Пеле и кончая Рудаковым — вратарем сборной команды СССР. Сам Аджар играл в школьной команде, о чем из-за скромности сначала умолчал, зато Джабир

так обрисовал игру своего брата, что он показался мне чуть ли не самим Яшиным. Аджар — лучший вратарь в школьных командах Баку. А сам же Джабир, ученик пятого класса, увлекается шахматами. Отец ребят — известный азербайджанский писатель Исмаил-оглы часто проигрывал ему.

— Что отец! — говорил Аджар, лукаво улыбаясь.— Сам Петросян проиграл бы нашему Джабиру, жаль только, он не участвовал в мировом чемпионате.

Еще я узнал о том, что братья с матерью едут в Крым, в дом отдыха «Золотой колос». Едут от Каспийского моря к Черному, и что Аджар хотел во что бы то ни стало лететь, но у матери больное сердце, и самолет она не выносит, поэтому и решили ехать поездом. У Джабира испортилось настроение, когда я отказался играть с ним в шахматы. Ему не верилось, что такой большой дядя не умеет играть даже в шашки. Зато Аджар начал с охотой задавать мне вопросы.

— Еду к сестре в гости, — ответил я, — вот второй год не видел ее. У нее тоже сын теперь первый класс окончил. — Я вынул фотографию сестры с сыном.

— Сестра совсем на вас не похожа, — удивился Джабир. — А как зовут вашего племянника?

— Андрей.

— Андрей? Русское имя?

— Ну мало ли теперь горских ребят с русскими именами, — ответила за меня их мать Фариза. — Сестру-то как звать?

— Полиной. А мы звали ее Паридой.

— Полина? —удивилась теперь Фариза. — Аварка?

— Русская аварка, — улыбнулся я.

— Как «русская аварка»? — спросил Аджар. — Разве бывает такое?

— Ага. Я знаю, — сказал Джабир. — Сначала она была Парида, потом поехала учиться и стала Полиной. Да?

— Совсем не так, — ответил я. — Сначала она была Полиной, потом стала Паридой, а теперь опять Полиной.

— Что-то непонятно, — покачала головой Фариза.

— Все станет вам понятно, когда я расскажу, как она стала нашей сестрой.

Ребята, разинув рты, удивленно смотрели на меня. И я начал свой рассказ.

Суровой выдалась военная весна 1944 года. Нас было трое братьев — самому старшему, Магомеду, в тот год исполнилось одиннадцать лет, среднему, Саиду,— девять, а мне — восемь. А самой младшей в семье и единственной нашей сестре Асе было всего шесть. Трех лет ей не сровнялось, когда мы всем аулом провожали отца в армию. Он был шофером. Перед войной наш колхоз начал строить на речке Ганзах электростанцию. Отец возил туда то камень, то оборудование. Здание электростанции было уже почти закончено, когда отец в черной бурке на коне вместе с мужчинами аула уехал на фронт. До самой границы аульской земли мы с матерью проводили его. А Ася все смеялась, сидела на коне, весело подпрыгивала, ей, бедняжке, и невдомек было, куда едет отец. Она все просила его привезти ей куклу с такими же косичками, как у нее самой. «Папуля, еще не забудь конфетки, знаешь, такие холодненькие, в бумажке», — говорила она, прижимаясь к нему. «Привезу, родная, привезу, — отвечал отец и крепко обнял нас.— Вы, мужчины, берегите маму и Асю». Только и сказал нам на прощание.

С тех пор каждый день я первый встречал почтальоншу Гоарше, все гадал, нет ли в ее сумке отцовского письма. А Ася приставала то к маме, то к бабушке с вопросами, когда вернется отец с куклой и конфетами. Мама с утра допоздна работала в колхозе, бабушка все гадала на девяти камешках, успокаивала нас, что скоро мы победим, и приедет отец живым и невредимым, вся грудь в орденах. Но отец все почему-то не возвращался, только присылал письма из разных городов, а в письма вкладывал свои фотографии. Был он снят в военной форме с медалями, красивый, улыбающийся. Одна из фотографий до сих пор в рамке висит у нас на стенке в бывшей бабушкиной комнате. Вообще-то бабушка никогда никаких плакатов, фотографий и рисунков не разрешала развешивать у себя. Говорят, в Коране написано, что нельзя людей и животных рисовать, и поэтому считала она рисование грешным делом. Но вот фотографию отца бабушка повесила у себя над постелью.

— Вот мой ангел-хранитель, — говорила она, — он дороже мне всех других ангелов на свете.

Каждый день после молитвы она разговаривала с фотографией отца: «Когда же ты, мой сокол, вернешься, хоть бы раз взглянуть перед смертью на тебя. Я так по

тебе соскучилась»,— и все просила аллаха, чтобы поберег он сына от шальной пули.

Отец вернулся только весною 1944 года. Я в это время пас телят с соседними мальчиками на поляне за аулом. Телята резвились где-то рядом на зеленой траве, а мы, ползая на коленях, играли в ножички. Каждый по очереди должен был бросить нож то через руку, то через плечо, да так, чтобы падал он на землю только острием и вставал ручкой кверху. И вдруг, когда ножик взметнулся над землей, раздался радостный крик брата Магомеда. С самой высокой крыши аула он кричал: «Эй, Жамал, скорей домой, наш папа возвращается!» Как резвый жеребенок я припустился к дому. А там уже собрались соседи, поздравляли бабушку. Маленькая Ася все прыгала, как стрекоза: «Папа возвращается с куклой для меня!» Братья спорили, кто с конем, а в колхозе тогда был один-единственный конь, пойдет встречать отца к речке. Через речку проезжали все машины в горные районы. Матери еще не было дома. Она появилась потная, красная, глаза ее сверкали от радости. Задыхаясь, она села на лестнице, говорила: «Вот отдышусь!», — а потом все спрашивала: «Неужели это правда?» Ей Магомед несколько раз повторял, как по телефону сам отец позвонил из города секретарю сельсовета Магди, что приезжает, а Ханзадай — сторож Совета — тут же, будто ветром ее сдуло, побежала на поле сообщить маме радостную весть.

— Надо чем-то отблагодарить Ханзадай, — сказала мама.

У нас обычай такой — одаривать тех, кто первым сообщает радостную весть. Вот моя мать тоже вынула из сундука свой шелковый белый китайский платок и набросила его на голову Ханзадай: «Носи, родная, на здоровье, дай, аллах, чтобы твои уста только радостную весть несли людям». Правда, вторая моя бабушка (по матери) косо посмотрела на мать, будто говорила: «Можно же было подарок попроще дать, от радости голову потеряла моя дочь, самую лучшую шаль подарила».

Но мама даже не взглянула на бабушку, она все гадала, как там отец, ранен ли он, цел ли. «Вот беспокойная моя невестушка, — говорила другая бабушка, — какое у тебя сердечко доброе. Раз он сам позвонил, значит, здоров. Только надо будет встретить его. Магомед, родной, ты бы попросил у председательши коня». — «На ко-

не сама председательша уехала в район, — возразил Магомед. — Я без коня пойду встречать».

— И я, и я! — закричала Ася.

Не успели мы подойти к границе аульского поля, как на дороге показался папа. Да, это был наш папа. Я первым узнал его. Шел он в военной форме, в одной руке держал чемодан, а в другой — ребенка. Мы в недоумении остановились. «Если это наш папа, то откуда ребенок?» — засомневался Магомед.

— Сейчас многие носят военную форму. Это, наверно, чужой человек.

— Разве ты забыл папину походку? — сказал я и побежал вперед. И действительно, это был наш папа. Я уже видел его улыбающиеся глаза, черные усы. Но кто же в самом деле эта девочка? Когда я подошел, отец опустил девочку на землю и крепко обнял меня. А тут и братья подбежали. Подоспела и Ася. Папа взял Асю на руки и прижал к груди, где сверкали ордена и медали.

Ася через плечо отца подозрительно смотрела на девочку.

— Что же вы не поздороваетесь с сестренкой? — спросил отец, улыбаясь. А девочка серыми испуганными глазами смотрела на нас и вдруг бросилась к папе и прижалась к его ногам.

— Папа! Папуля! — заплакала она.

— Не бойся, Полина, это твои братья и сестра, — успокаивал ее отец.

Тут подбежала запыхавшаяся мама и наши родственницы. Все радостно и удивленно смотрели то на девочку, то на отца.

— Что вы все уставились на нас, это наша девочка, разве вы не получили мое письмо? Я ведь ее с поля боя подобрал, — сказал отец.

— Никакого письма мы не получали,-- тихо ответила мама. Потом она взяла девочку на руки, поцеловала ее и шепотом спросила отца: «Где же ее родители?»

— Длинная история, нет у нее родителей, погибли, — так же тихо ответил отец. И мы все тронулись в аул.

2

Поздно вечером, когда мы наконец остались одни, отец рассказал нам историю нашей новой сестренки.

— Наш полк формировался в небольшом городке, —

начал отец.— Мне сразу дали машину. Сначала я водил полковой «газик». Но молчаливому командиру вскоре надоели мои шутки, и он смотрел на меня, как на несерьезного человека. «Мы с вами не уживаемся, брат», — както сказал он и отправил меня с маленькой запиской к своему другу командиру пулеметчиков Сабурову. Сабурову я понравился — и большие руки мои, и веселый характер. С тех пор я возил снаряды. Однажды наши солдаты тащили через болото в роту пушку. Они подкладывали под колеса пни, а сами, засучив брюки, шагали по колено в трясине. Гнилые пни под тяжестью пушки осели в болоте, и колеса наполовину ушли туда же. Я быстро скинул сапоги и побежал на помощь. Солдаты и командир с удивлением смотрели на мои сильные руки. Один спросил: «Небось борцом был?» Другой сказал: «Он, наверное, из кузнецов, вон какие у него ручищи!» — и вытащил из сумки хлеб. После этого случая в семье артиллеристов стал я совсем своим человеком. Когда делили еду, ребята говорили: человеку надо есть соответственно росту — и давали мне самые большие порции. У них научился я и артиллерийскому делу.

Артиллеристы не задерживались долго на одном месте. Я возил за ними снаряды. Мы отступали, оставляя родные села, поля, луга, реки. Чем дальше отступали, тем реже становились мои шутки, тем сильнее овладевал мною гнев.

Как-то на рассвете у полуразрушенной будки в украинском селе получили мы приказ переправиться через реку и на том берегу установить орудия. Вместе с другими частями мы отступали. Когда приблизились к самому мосту, фашистские самолеты начали бомбить переправу.

Все смешалось на мосту: воинские части и отступающее гражданское население, плач женщин и детей, суровые голоса командиров, отдающих приказы, дикий рев раненых коров, вой самолетов над головами, треск пулеметов и удары зениток. Наш командир стоял передо мною со сжатыми кулаками и что-то кричал. Я повернул машину туда, куда показывал командир. Он вскочил на подножку: «Быстрее, быстрее!» И тут послышалась пулеметная очередь. Командир тяжело упал с подножки. Я остановил машину и выскочил из кабины. «Капитан!» — кричал я, но шум вокруг заглушил мой голос.

Так я потерял командира. Не успел я опомниться, как

рядом ударила бомба, взметнулся земляной фонтан. Я снова сел за руль и повел машину вперед.

Пушка с грохотом катилась следом. Когда взорвалась другая машина, пушку прицепили к моей. Вот почти рядом разорвалась еще бомба. Машину наклонило в одну сторону, но мотор еще работал. Я дал газ, машина, бросаясь из стороны в сторону, вырвалась из этого ада в пшеничное поле и понеслась вперед.

Рассветало, и тут я увидел, что навстречу машине движется танк. На танке — немецкая свастика. Что делать? Танк шел прямо на меня. Конечно, рассказать об этом легко, но тогда мне было куда труднее. Мысли мои работали, как пчелы. Я повернул машину назад. Направил жерло пушки на танк, взял снаряд из кузова и зарядил пушку. Руки почему-то дрожали. Прицелиться не было времени. Выстрелил. Кругом все застлало дымом. Еще раз зарядил пушку. Грохот приближался. Опять выстрелил. Танк тряхнуло и повело в сторону. Ага, загорелся! Я быстро влез в кабину. Обошел стороной горевший танк и помчался вверх, к лесу. Пушка мешала моей машине ехать по полю.

Вон на край села выскочила немецкая машина. Позади горящий мост, к мосту двигаются вражеские танки, а впереди село, машина. Наверное, в машине командиры. Она идет очень быстро прямо на меня. Пожалуй, не хватит времени зарядить пушку. Соображаю, что делать. Выхода нет. Я выпрыгнул из кабины и отцепил пушку. Снова вскочил в машину и помчался на предельной скорости. Я видел лица сидящих в машине фашистов. Они держали наготове автоматы. Я направил машину прямо на них и выпрыгнул из кабины в поле. Сзади послышался грохот и крики немцев. До меня это донеслось, как сквозь сон. Шумело в ушах, будто я стою у горной речки, в глазах плавал туман. Я на четвереньках пополз вверх по пшеничному полю и ничего не слышал. Видел только столбы огня и дыма, которые, как грибы, поднимались вокруг. Вместе со мною бежал еще кто-то... Но почему эти люди валились на землю, как сброшенные ветром снопы, что они кричали — я не понимал и не слышал.

Я был похож на жеребенка, который сам не знает, куда мчится после того, как буран раскидал табун. Тело мое не чувствовало боли, когда со всего размаха я ударился о землю, обессиленный упал на пшеничные колосья.

3

Я открыл глаза, когда солнечные лучи, скользнув меж ветвей, упали на мое лицо. Поднял тяжелую, как свинцом налитую голову, приподнялся сам и осмотрелся. Оказывается, солнечные лучики, как узкие клинки, пронзали не ветви деревьев, а колосья пшеницы. Я притянул к себе колосья. Сорвал один колос и размял в окровавленных грязных ладонях. Сдунул с ладони шелуху и бросил в рот тяжелые зерна. «Что случилось? Почему я один? То был сон или явь?» — думал я, с трудом поднимаясь. Вокруг тлела пшеница.

Вдруг сквозь дым я увидел человека, он шел пошатываясь, как пьяный, с лицом черным от сажи. «Фашист!» — мелькнуло в голове. Я ждал, когда он приблизится ко мне, мечтал, как задушу его вот этими руками, мозолистыми от ручек плуга, почерневшими от работы. А фашист между тем махал из стороны в сторону кителем, стараясь потушить огонь, пожиравший пшеницу. Мне казалось, что она стонала и плакала. А огонь побеждал, с зловещим треском полз все дальше и дальше. Я тихо подкрался к фашисту и хотел уже прыгнуть на него, когда он круто повернулся и застыл от удивления. А потом улыбнулся знакомой белозубой улыбкой и ринулся на меня. Я невольно сделал шаг назад.

— Гриша, неужели ты? — закричал «фашист» (артиллеристы называли меня Гришей).

— Вася, дорогой! — сказал я дрожащим голосом, не веря своим глазам. Вася был наводчиком нашей пушки. Мальчишка, студент, с едва пробившимися усиками, наш общий любимец. Как он радовался, когда получал письма от своей Раи из Ташкента. И мы, конечно, вместе с ним. И тревожились за него, если письма приходили неаккуратно. Ведь Вася твердо решил сыграть свадьбу сразу же по окончании войны, и, конечно, вся часть была приглашена на эту свадьбу. И вот теперь только мы с ним уцелели. Нас всего двое, а судьба остальных?

Вчера мы проходили мимо родного Васиного села. Командир отпустил Васю в село. Никого не застал там Вася, ни матери, ни сестры. А вернувшись в часть, не нашел и товарищей. Он кинулся туда-сюда и, наконец, добрался до моста. Еле-еле выбрался парень из этого ада на мосту. Отчаявшийся, обессиленный, голодный, брел он,

как в бреду, наугад и вдруг нашел меня. Вася припал ко мне и заплакал, как маленький. Я успокаивал его.

— Видишь, как горит хлеб? — говорил он горько. — Эти поля пахал мой брат — тракторист. Наши даже не успели его убрать... Как же ты остался жив, Гриша?

Мы брели по полю, и я, облизывая потрескавшиеся сухие губы, рассказал ему о своих злоключениях.

— Во что бы то ни стало нам надо переправиться через реку. Этот берег уже у немцев, — вздохнул Вася. Он плелся, припадая на левую ногу. Мы подошли к опушке заболоченного леса. Деревья поникли от бесчисленных ран. Я поднял оторванную снарядом ветку, присел на траву и перочинным ножом, оказавшимся в кармане, срезал верхушку и отдал Васе. Потом, лежа на спине, мы жадно ловили ртом капли смолы, стекавшие по стволу раненой ели. Вася глотал пахнущую порохом, горькую и густую смолу, и кадык, с фазанье яйцо, ходил вверх и вниз на его тоненькой юной шее. Полузакрыв глаза, я неотрывно смотрел на этот кадык и живо представлял себе, как бродил Вася по разрушенной деревне, как заблудился в лесу, возвращаясь в часть и, наконец, отчаяние парня, когда он понял, что часть — дружная семья товарищей-артиллеристов — больше не существует. Да, много выпало на долю Васи за последние сутки.

С трудом парень влез на дерево и осмотрелся. Он увидел знакомый домик, поднимавшийся из трубы такой мирный дымок.

— Интересно, жив ли белобородый лесничий? — размышлял он спустившись. — Река перед его домом разветвляется на два рукава, и, пожалуй, там удобнее всего перейти ее. Нет, Гриша, нельзя нам здесь задерживаться.

И тут совсем рядом мы услышали тихий жалобный стон.

Вася встал и, шатаясь, пошел за холмик, а потом сделал знак рукой и мне. За холмом на земле умирала от ран молодая женщина, почти девочка. По бледному лицу с заострившимися чертами бежали струйки крови. Маленькая девочка, лет четырех, судорожно цеплялась за платье женщины. Босая, без платка, она вся дрожала от страха и холода. Видно было, женщина ползла издалека вместе с девочкой и упала уже совсем у реки. Вася наклонился к умирающей, но мутный взгляд ее уже ничего не выражал. Она скончалась. Мы тихо сидели у ее изголовья, не было уже ни слез, ни слов.

— Надо похоронить ее, — прошептал Вася. Я вынул нож — единственное наше оружие на двоих — и начал рыть могилу. Мы бережно стали опускать туда женщину, и тут маленькая девочка, как бы очнувшись, заплакала горько и безутешно. Она вцепилась в мои ноги, стала кусать мои руки.

— Фашист, фашист, оставь мою мамочку!

Я бросил нож, прижал девочку к груди и заплакал вместе с ней. Я не помнил, когда я плакал так, даже в детстве. Редкие и без того, мои слезы на войне совсем иссякли, как источник в засуху. Когда я видел поруганные тела молодых девушек, окровавленные седины стариков, не слезы, а гнев и ненависть душили меня.

А здесь, у могилы неизвестной женщины, когда к моей груди прижался дрожащий от ужаса ребенок, как птенчик, выпавший из гнезда, теплый, слабый комочек, лед растаял в моей груди и слезы потоком хлынули из глаз. Казалось, что вместе со мной плакали и листья израненных деревьев, и птицы, и небо, затуманенное дымом пожарищ, и солнце, увидевшее землю, залитую кровью.

— Как тебя зовут? — спросил я девочку.

— Полина,— еле слышно прошептала она.

Я прижал ее крепко к груди и зашагал вдоль опушки леса. Сзади, опираясь на палку, шел Вася.

4

Внезапно Вася остановился.

— Тихо, — сделал он знак рукой и бросился за ближайшие деревья. Я последовал за ним.

По тропинке, прямо на нас, шли два немца. У обоих автоматы, у одного в брезентовом футляре телефон. «Связисты»,— догадался я. Один из них толстый, рыжий, на ходу жевал хлеб. Я провел рукой по голове Полины, призывая ее к молчанию, и отодвинулся чуть в сторону, чтобы лучше спрятаться. «А что, если заметят? — быстро соображал я. — Нет, надо нам напасть на них. Рыжего я возьму на себя, он поздоровее, а того тощего пристукнет Вася». И тут Полина дико закричала — она тоже увидела немцев. Я бросил ее на землю и кинулся на рыжего. В считанные доли секунды я свалил его на землю — уж не знаю, откуда такая сила появилась. Вася бросился на второго. Но тот, визжа от

страха, вцепился в Васино плечо и, не рассчитав удара, Вася врезался в дерево. Я ткнул немца лицом в землю и, навалившись, держал его до тех пор, пока он не захрипел. Рядом барахтались Вася и второй немец. Неожиданно я увидел, как сверкнул нож в руках фашиста. Я бросился на помощь к Васе и... не успел. Проклятый фашист успел вонзить его в грудь парня. Когда он снова поднял руку, я перехватил ее и сжал из последних сил. Нож упал на землю. Я поднял его и несколько раз погрузил в обмякшее тело врага. Потом наклонился к другу.

— Прощай, Гриша, я умираю,— прошептал Вася. Лицо его странно побледнело, глаза ввалились.

— Нет, нет, ты поправишься, все обойдется, обойдется! — говорил я, боясь поверить в эту нелепую, страшную смерть.

— Нет, Гриша, ничего не обойдется... Расскажи маме и Рае, как все было... Перейди с Полиной реку, там, у домика лесника... — он что-то еще хотел добавить, но голова его упала набок, и он затих навсегда.

— Вася! — стонал я. — Зачем, как это могло случиться! — Обезумевший, я бросился на немцев.

— Получай, фашист, получай, гад, за все, за все! — говорил я вне себя от отчаяния и до изнеможения пинал ногами мертвых врагов.

Потом я положил Васю под дерево и засыпал землей, взял фашистский автомат и только тут вспомнил о девочке.

Где она? Я бросился ее искать. Неужели я и ее потеряю. Эта потеря казалась мне тяжелее всех бед, случившихся со мной за день. Я заглядывал под каждое дерево, хотя пот лил ручьями и ноги мои еле двигались. И как же я обрадовался, когда увидел в кустах маленькое дрожавшее тело. Вмиг я забыл обо всем. Как самое дорогое, поднял я Полину на руки. Она бредила. Лоб ее пылал, глаза затуманились. Я прижал ее к себе и пошел к реке. До поздних сумерек пришлось отсиживаться в прибрежных зарослях — над рекой летал вражеский самолет, и от хутора лесника немцы время от времени для верности стреляли из автоматов в разные стороны. Сквозь кусты я просматривал местность и прикидывал что и как.

Во что бы то ни стало перейти на ту сторону к своим! Отдать девочку в надежные руки.

Временами мне казалось, будто Асю я прижимаю к груди, и сердце мое замирало от радости. Я был голоден, но кусок хлеба, найденный в сумке немца, не шел мне в горло. Полина выплевывала хлеб и просила воды. Я вспомнил, как маленькая Ася болела корью и тоже просила воды таким же тоненьким слабым голоском. Что делать? Я осторожно положил девочку под куст, а сам пополз к реке. Вернулся я с пилоткой, полной воды. Я напоил девочку, напился сам, положил мокрую пилотку на пылающий маленький лобик и стал ждать. Когда достаточно стемнело, я поднял Полину на плечо, взял автомат и вошел в прохладную воду. Уже почти у берега меня чуть было не подстрелили свои. Пули свистели и справа и слева. Я громко выругался, не зная, как быть дальше. И вдруг стрельба прекратилась. Я вылез на берег и пошел через кусты напролом.

— Руки вверх! — услышал я совсем рядом. Ох, как я обрадовался этому возгласу. Я бросил автомат и стоял, прижимая девочку к себе. Меня отвели в штаб, где пришлось рассказать обо всем.

Командир выслушал мои злоключения не перебивая и лишь изредка бросал быстрый взгляд в сторону человека, неподвижно застывшего у окна.

— Вот какие наши солдаты! — только и сказал он, когда я кончил. А человек у окна — он оказался корреспондентом армейской газеты — сфотографировал меня с Полиной на руках.

...Немало лет прошло, прежде чем увидел отец этот снимок.

— Пять дней мы с Полиной провели в госпитале. Девочка выздоравливала и все сильнее привязывалась ко мне. Она не отходила от меня ни на шаг. Даже во сне кричала: «Папочка, не оставляй меня здесь, где ты, папочка?»

— Не оставлю, Полиночка, не оставлю,— успокаивал я девочку, гладя ее мягкие волосы.

Из госпиталя меня отправили в новую артиллерийскую часть. Полину я сдал в детский дом.

Часто вспоминал я маленькую голубоглазую украинку, так же часто, как родных детей.

«Ты придешь, папа, за мной?» — все спрашивала

она, «Приду, родная, приду», — отвечал я, и сердце мое сжималось от жалости. Я часто писал в детский дом, воспитательница отвечала мне, сообщала, что девочка здорова, весела и ждет не дождется моего возвращения.

Вскоре я опять попал в госпиталь. А после госпиталя разрешили мне ехать домой на побывку. Не утерпел я и отправился в тот город, где находился детский дом.

Полина не отпускала меня ни на шаг.

— Ты приехал за мной, ты возьмешь меня с собой, да, папочка? — говорила она, розовая, сияющая от радости. Что мог я ответить ей?

— Возьму, родная, — поедем с тобой в горы, там у тебя есть сестра и братья. Они ждут нас.

Вот мы и вернулись...

5

Отец был ранен в плечо. Это была его третья рана. Обычно после госпиталя он снова отправлялся на фронт, отказываясь от побывки домой. «Хочу посмотреть Берлин!» — говорил он. Но на этот раз ради Полины он согласился вернуться домой. Как обрадовались мы все его приезду! Дядя Али-Булат зарезал единственного барана в честь такого события и угощал всех, кто приходил проведать отца.

Аульчане говорили: «Хороший человек, не оставил сироту». Полина переходила из рук в руки, каждому хотелось приласкать ее, поцеловать, прижать к сердцу. Бабушка по отцу Зулхижат достала из своего заветного сундука яркий платок. Она взяла девочку на руки и накинула на белокурую головку Полины платок.

— Давай наречем ее по-аварски Паридой, — предложила она.

— Кто такая Парида? В нашем роду женщины с таким именем не было, — запротестовала бабушка по матери. Старая Зулхижат уселась поудобнее, расправила на коленях платье и начала свой рассказ:

— Это было давно. Проклятые турки напали на горную нашу страну, хотели покорить ее, увести горянок в рабство, а горцев заставить работать на турецкого султана. Враги сжигали аулы, убивали стариков и детей. И тогда горцы, как один, вступили на путь борьбы с врагом. Когда брат Париды, девушки-аварки, погиб в бою,

сестра поклялась отомстить проклятым туркам. Она надела черкеску брата, его папаху, сапоги, заседлала коня брата и повела на врагов отряд девушек-горянок.

Отряд бесстрашно рубил врагов, появляясь в самых неожиданных местах. Турецкий султан был разгневан. Он придумывал всякие хитрости, стараясь поймать главаря неуловимого отряда. Долго ему не удавалось это, но вот однажды враг окружил крепость, где засели молодые горянки. Но девушки обманули врагов. Темной ночью распилили они все подпорки в домах, а сами по тайной тропинке покинули крепость. Утром враг овладел крепостью, хлынули вражеские войска в дома, и рухнули крыши на турок, раздавили солдат султана. Вот уж взбесился султан. Все войско бросил он на маленький отряд. В ущелье Шайтан встретились турки с девушками. Горянки дрались отчаянно. Одна Парида уложила несколько десятков солдат султана. Но таяли силы отряда. И вот осталась одна Парида. С шашкой в руках бросилась она на врагов, зарубила великое множество их, а потом сама прыгнула в пропасть. Не верилось султану, что войско его сражалось с девушками. «Сто своих храбрецов отдал бы я за нее!» — воскликнул он и велел принести ему голову героини. Но в пропасти турки не нашли тела Париды, горцы тайком унесли его и похоронили где-то у высокой скалы... Вот какой девушкой была Парида!

Бабушка по отцу Зулхижат победоносно посмотрела на бабушку по матери. «Пусть наша Полина носит имя горянки Париды, и пусть она станет сестрой нашей Аси и дочкой для нас!»

6

Мы, братья, сразу же полюбили новую сестренку. Да и она нас. Правда, к новому имени девочка привыкла не сразу. И к гортанным аварским словам тоже. Она произносила их так старательно-забавно, что мы иногда заставляли ее повторять то или иное слово много раз. И все улыбались, даже обе бабушки. Парида пропускала наши гортанные звуки, и слова звучали так нежно, как птичье щебетанье. Она оказалась веселой и смешливой девочкой, очень ласковой и доброй. Больше всех она привязалась к отцу и бабушке Зулхижат. Стоило отцу показаться у ворот, как Парида со всех ног бросалась к

нему и повисала на шее. Она целовала его и лепетала что-то по-русски. Отец говорил нам: «Учитесь, дети, русскому языку у Париды. Это великий язык, он нужен вам, как воздух».

И Парида учила нас русским словам. Забавная она была у нас — наша новая сестра. Бывало, утром спим мы, все братья, вместе, а она заберется к нам, разбудит и командует: «А ну, вставайте все на зарядку». И мы, смеясь, вставали и приступали к зарядке.

Не только мы, но все в ауле полюбили Париду. Она была желанной гостьей у всех. Если где готовилось что-нибудь вкусное — чуду́ или халва, обязательно приходили за Паридой, а заодно брали и Асю.

А Ася с первых же дней невзлюбила новую сестру. Вероятно, это была просто детская ревность. Ведь раньше-то больше всех в семье баловали Асю. Единственная сестренка да еще самая маленькая, Ася привыкла к тому, что все самое вкусное, самое лучшее получала она.

Особенно доставалось мне. Магомед и Саид ходили в школу, а я оставался с Асей. И всюду, куда бы я ни пошел, она тащилась за мной — к речке, в поле, в горы. Капризам и выдумкам ее не было предела. То притворится больной, и тогда я таскаю ее на спине. Мальчишки так и дразнили меня: «Вон идет Асин конь!»

Но больше всех баловали Асю бабушки. И вдруг с появлением Париды все кончилось. Теперь уже Парида прыгала на коленях отца, и мама без конца ласкала и целовала новую сестренку. А уж бабушки готовы были с утра до вечера рассказывать ей сказки. «Как же так? — недоумевала Ася.— Чужая девчонка стала родной?» И вражда закралась в ее сердце. К своим игрушкам, которые она так охотно уступала соседским девочкам, она и близко не подпускала Париду. «Мои, мои, не дам тебе!» — кричала Ася. Часто она выбегала из-за стола вся в слезах и плакала где-нибудь в уголке. А мне не раз говорила: «И зачем папа купил нам новую сестру, посмотри, какие некрасивые у нее косички».

Я старался ее успокоить, но она твердила свое. Иногда я поддразнивал Асю. Если она начинала капризничать, просила потаскать ее на спине, я отвечал: «Не буду, почему Парида никогда не просит меня об этом?» Или же я приносил что-нибудь вкусное из сада и говорил: «Это не тебе, а Париде». Ася плакала и кричала:

«Не хочу я сестру!» Отец старался вразумить ее: «Будь умницей, Ася. Сестре нужна сестра, как брату брат. Всегда любите друг друга».

Быстро прошло время, отпуск отца кончился, он снова отправлялся на фронт. Прощаясь, сказал нам: «До свидания, родные. Возьму Берлин и тогда вернусь!»

Тяжелее всех отъезд отца переживала Парида. Бывало, я просыпался ночью от ее плача. Сидит на кровати, маленькая, худенькая, и горько всхлипывает. «Что тебе?» — спрашиваю. «Живот болит», — отвечает она. Бабушка вставала, готовила ей чай из тмина с медом, а мы-то знали, что у Париды ничего не болит, а плачет она оттого, что скучает по отцу. Без него она пугалась каждого шороха, часто кричала во сне: «Бомба!» Ася смеялась: «Трусишка! Какие тут бомбы?» Когда приходили письма от отца, Ася прятала их и говорила: «Не дам никому, папа только мне пишет, не тебе!» Я стыдил ее. Нарочно громко читал те строки, в которых он посылал привет Париде, спрашивал, как она чувствует себя. Ася дулась на всех, капризничала. «Вот какое у нее сердце ревнивое», — ворчали обе бабушки.

7

Кончилась война, вернулся наш отец. Опять в светлых глазах Париды загорелись искорки радости. После возвращения отец снова пошел работать шофером на электростанцию. Иногда и ночевал там же. «Вскоре мы обуздаем Чара-реку, направим ее в трубы, и в наших домах будут гореть лампочки Ильича», — говорил он нам с гордостью.

Однажды отец привез из райцентра ситец с цветочками Асе и Париде. Сельская портниха сшила им обеим одинаковые платья. Надела Ася платье и расхвасталась бабушке: «Посмотри, какое красивое!» А бабушка сказала: «И у тебя и у Париды тоже, обе вы нарядные, мои внучки, обе красивые!» Ася в слезы: «Нет, нет, мое все равно лучше! У Париды все плохое! И глаза кошачьи, и сама она кошка! И не сестра она мне вовсе, а совсем чужая! Пусть уходит от нас! Не нужна она нам!»

Парида побледнела, заплакала и бросилась из дома. Нас-то никого не было. А бабушка сразу и не сообрази-

ла, что произошло. Я первым пришел из школы. Сентябрь уж кончался. Бабушка Зулхижат говорит, что, мол, Парида, ушла и пропала и обедать даже не пришла. Я сразу почувствовал неладное и бросился искать ее. А тут и братья поспели. Но все было напрасно. В ауле Париды не было.

Вот уж и мать вернулась с сенокоса, ливень начался, да такой, что и неба не видно. Мать забеспокоилась: «Что же мы сидим, идем снова искать, куда девочка могла деваться?» Магомед побежал к речке, мать к источнику, я к отцу на электростанцию. Отец увидел меня и сразу понял, что что-то случилось. Когда я рассказал ему, что пропала Парида, он даже разозлился.

— Может, кто-нибудь обидел ее? Ты скажи мне правду, сынок.

Но я ничего не мог ему сказать. Мы сели в машину и поехали в аул. Каждого встречного останавливали мы, спрашивали его, не видел ли кто Париду. Наконец старая Ханича сказала нам, что наша девочка часа два назад брела в сторону строительства. Мы повернули машину и помчались обратно, но Парида как сквозь землю провалилась. Дома мы застали плачущую Асю. Из ее невнятного бормотания мы кое-что начали было понимать. Между тем весь аул вышел на поиски Париды. Бабушка Зулхижат брела сзади, причитала:

— Пропала моя внучка, может, ее и в живых уже нет, унесла горная река!

Только к вечеру мы нашли нашу сестренку в поле. Девочка приткнулась к дереву, от дождя спасалась, к груди прижимала куклу и горько плакала. Отец схватил ее на руки, прижал к себе, целовал ее мокрый лоб.

— Да у нее жар, скорее к доктору! — сказал он.

В этот вечер никто из нас не разговаривал с Асей, даже не смотрел в ее сторону. Она испуганно и виновато поглядывала на отца, внимательно слушала, что говорил врач. Ночью, когда мы наконец успокоились и заснули, я проснулся от тихого плача. Смотрю, Ася сидит у постели больной, гладит русые кудри и шепчет что-то ласковое.

— Уходи, бессовестная, злая девчонка! — закричал я. Тут проснулась Парида.

— Не гони ее, — говорит мне, — пусть побудет со мной!

...Неделю пролежала Парида, и все это время Ася не отходила от сестры. Никто из нас больше не вспоминал о случившемся, ни в чем не упрекал Асю.

— Пусть сама поймет все,— говорил отец.

И Ася поняла. Будто переродилась. Все свои любимые игрушки она тащила Париде, сидела около нее часами, рассказывала сказки, услышанные от бабушек. Когда приходил врач, Ася потихоньку пряталась в уголке и не пропускала ни одного его слова. Уколы, которые делали сестре, она, казалось, ощущала как свои собственные — морщилась от боли, вздрагивала, и Париде приходилось успокаивать ее:

— Это совсем не больно, Асенька!

С тех пор сестрички наши и подружились.

В один и тот же день пошли они в школу. Сели за одну парту. Уроки делали вместе, всегда помогая друг другу. Асе легко давалась математика, Париде — с трудом, а вот с русским языком у Аси были нелады, тут уж Парида приходила ей на выручку.

После третьего класса из-за вирусного гриппа у Аси заболели глаза. Пришлось ей надеть очки. Я, глупый, подсмеивался над сестрой, называл ее четырехглазой. «Какой ты, Жамал, бессовестный, — стыдила меня Парида, — ей и без того тяжело, а ты еще дразнишь ее».

И вот однажды в разгар экзаменов бабушка Зулхижат нечаянно разбила очки у Аси. Лежали они на стуле, а бабушка по слепоте села на них. Сколько слез пролила Ася!

— Завтра мне диктант писать, что я теперь буду делать? — сокрушалась она.

— Прости, дочка, старую, слепую старуху, возьми мои очки, — говорила расстроенная бабушка.

— Твои не подходят мне, разве я увижу что-нибудь в них! Не пойду я на экзамены.— Ася ушла к себе и даже ужинать отказалась.

Хватились мы — Парида не оказалось дома. Оказывается, она еще днем ушла, сказала, что в школе кружок какой-то собирается. Я пошел за ней в школу, а ее там не было. Мать забеспокоилась. Куда могла деться Парида? Неужели опять к отцу убежала, как когда-то. Он теперь работал далеко от аула, на Сулаке. Там началось строительство большой станции. Сколько ни уговаривали мать и председатель колхоза не уезжать так далеко, он отказался наотрез.

— На Сулаке строят такую станцию, туда съезжаются со всех концов страны строители, и я не могу в ауле сидеть. Привык к такой работе, — и уехал.

Магомед уже два часа сидел у телефона, все добивался Чир-Юрта, хотел позвонить отцу. А во дворе совсем стемнело. И вдруг появляется Парида потная, усталая, но веселая.

— Где же ты пропадала? — накинулась на нее мать. А она говорит:

— Ходила в райцентр, в аптеку, вот купила по старому рецепту очки Асе. Нам же завтра диктант писать, она может без очков ошибок наделать.

Если бы вы видели, как обрадовалась Ася. Сразу всю печаль как рукой сняло. Бросилась к сестренке, расцеловала ее, закрутила, завертела.

— Давайте ужинать скорее,— кричит,— я есть хочу, с голоду умираю!

Чем старше становились девочки, тем больше привязывались они друг к другу. Соседи нам завидовали: «Какие дочери у вас, любой рад будет породниться с вами». Да, между нами, братьями, не было такой дружбы. Каждый из нас со своими ровесниками пропадал в поле, на речке, а сестры всегда и всюду только вместе. И мечты у них были одинаковые — обе собирались учиться на врача.

Подошло время, и сваты начали заглядывать к нам. Но отец у меня был строгий человек в этом отношении. Он заявил: «Пусть мои дочери сами выбирают себе женихов. Я не хочу, как другие, дать слово, а потом раскаиваться».

И вот однажды случилось то, чего мы все не ожидали.

Как сейчас помню, в тот день сидел я в классе, рисовал что-то для стенгазеты, вдруг прибегает Ася вся в слезах.

— Что случилось? — Она долго не могла выговорить ни слова. — Что ты мямлишь, быстрее скажи, какая беда еще стряслась!

— Отец Париды приехал!

— Что?! — не понял я. — Ведь отец дома, отдыхает.

— Не наш, а другой, настоящий, — почему-то шепчет Ася.

Я выбежал из класса. Вижу, идет светловолосый человек с палкой в руке, прихрамывает. Рядом с ним отец.

А аульчане шепчутся: «Нашелся отец Париды! Вай, что будет?» Моя мать потом рассказывала нам. «Смотрю,— говорит,— и вижу чужого человека, очень похожего на Париду. И в груди у меня будто огонь прошел».

Человек поднялся вслед за отцом к нам на веранду, сел на стул, посмотрел на Париду — она стояла рядом с Асей. Дрожащими руками вынул из нагрудного кармана потертый газетный лист. А в газете портрет моего отца с маленькой девочкой на руках.

— Сколько лет я искал жену и дочку, — рассказывал Михаил Забора (так звали этого человека), вернулся с фронта, все село сгорело дотла. Думаю, все погибли — и дочь, и жена, но поиски начал. Нигде никаких следов. Ходил по музеям, спрашивал военных, искал своих односельчан — никто не знал судьбу моей семьи. Написал в армейскую газету, рассказал о своем горе. Просил помочь в розыске. И вдруг из архива получаю эту вырезку фронтовой газеты. Прислали на случай, а вдруг... Места боев-то были мои, родные. Я сразу узнал свою дочь. Думаю, Полина жива. Но где же этот храбрый горец, добрый человек, который спас ее? Люди помогли мне найти детдом, где жила Полина. Но там ничего не могли сказать об этом горце, жив ли он, или погиб. Узнал я только, что он дагестанец. Вот приехал в Дагестан, а тут один товарищ, Герой Советского Союза работает в военкомате республики. Он сразу узнал вас, — улыбнулся Забора моему отцу. — Оказывается, воевал с вами. Вот он и дал мне ваш адрес, и я приехал...

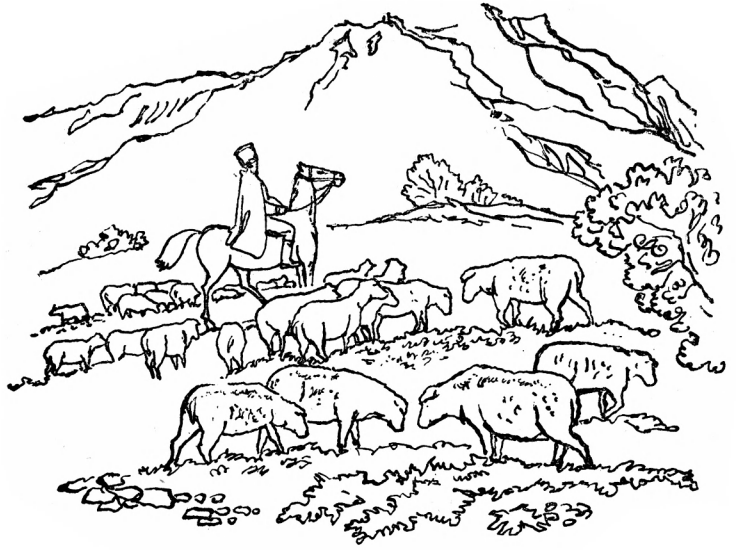
...Так в шестидесятом году нашелся настоящий отец Париды. Вскоре она уехала со своим отцом. Уехала со слезами на глазах, взяла с собой на каникулы и Асю. С тех пор наша сестра живет в украинском селе. И часто приезжает к нам в горы, и мы часто бываем у нее...

Тут и кончился мой рассказ. Джабир и Аджар, затаив дыхание, слушали меня. А по лицу Фаризы текли слезы, и она их не стыдилась.

— Прямо как в сказке, — говорила она. — Что только не случалось в годы войны. Моего брата, в честь которого мы назвали Аджара, долго считали погибшим. Оказалось, он остался без обеих ног, рук, да к тому же

и ослеп. Его приютила белорусская женщина, у которой погиб сын. Аджар не хотел возвращаться к молодой жене калекой. «Зачем я ей нужен теперь!» — думал он. Но мы узнали обо всем и поехали за ним. Бедная его мать! Не дождавшись сына, она умерла годом раньше. Не дай бог такому повториться! — Фариза крепко прижала к себе сыновей и надолго задумалась.

В окне вагона проплывали далекие поля, цветущие луга, леса и перелески, и не верилось, что еще где-то на земле рвутся бомбы, рушатся дома, горят посевы, горько плачут сироты, цепляясь за платья убитых матерей.



ИЮНЬСКИЙ ДОЖДЬ

Тот день в сердце Хасбулата остался, словно узор на камне. Помнится, с утра моросил дождь. Над горами неслись низкие серые тучи. Рваными лохмотьями густого тумана они закрывали вершины, даже долину почти не было видно. А там дом Хасбулата, — туда и стремился он всей душой, всеми мыслями.

Подумать только — он должен стать отцом. Последние дни он не находил себе места, так переживал, так волновался, что даже собака это чувствовала. Сядет около хозяина и смотрит ему в глаза.

— Ну что, Галбец... — вздохнет Хасбулат и погладит темной обветренной рукой собаку. — Как думаешь? Все хорошо будет?

Пес зажмурится, уткнется черным носом в теплую руку хозяина — успокаивает, значит. Чтобы не волновался.

В то утро они вот так же посидели около костра, потом Галбец обежал, оглядел стадо. Овцы пощипывали молодую траву. Наступила весна и, несмотря на хмурые

тучи, день начинался хорошо. Весной всегда радостно. В мокрых кустах возились и пели птицы, плавно кружил над долиной горный орел. Высматривал добычу. Серые облака то сгущались, то вдруг расступались, гонимые ветром, и тогда видней была тропинка, что сбегала с высоких гор в долину. Она вилась по траве и каменистым уступам, словно веревка, брошенная на богатый ковер.

Хасбулат уселся на огромный валун. Когда-то молния рассекла его надвое, с тех пор камень оброс мохом, и мирно зеленел на склоне горы. Чабан положил рядом с собой ярлыгу — без этой удобной палки никак нельзя чабану. Для него это как ружье для охотника. Ярлыгу передал Хасбулату его отец, уже покойный, а отец когда-то получил ее от деда. О... это была старая фамильная реликвия. Она была до блеска отполирована сильными руками отца и деда, на ней было много всяких отметин. Одна из них появилась в тот день, когда родился сам Хасбулат. А другая напоминает о дне его свадьбы. Да много здесь всяких зарубок.

Что-то теперь будет? Какая еще появится отметина на ярлыге? Хасбулат задумался и вспомнил вчерашний сон. Будто бы распахнулись ворота его дома и со двора вылетел на улицу белый конь. Он был словно из сказки — с белыми крыльями и огонь изо рта. Только вот почему-то конь был без седока, и теперь это тревожило Хасбулата.

Он мысленно представил себе жену и тот день, когда уходил из дома. Темноволосая, молодая, она обняла его на прощание, сказала, чтобы он берег себя.

А что с ним будет? Это она должна заботиться о себе. Он-то уж всю жизнь провел в горах с отарами, его и не берет ничего — ни дожди, ни снега. Только бы у нее все хорошо было. Поздно женился Хасбулат, и хотелось ему, чтобы жена родила ему сына. Она ходила теперь последний месяц, всего две недели тому назад видел ее Хасбулат и даже теперь помнит ее заплаканное лицо — очень уж просила она его не покидать дом.

«Все женщины, наверное, такие же удивительные, как его жена. Как это не уйти весной с отарой в горы, когда зазеленела трава?» — думал Хасбулат.

Тучи по-прежнему неслись, подметая горы своими рваными лохмотьями, туман стоял легкий, светлый. Это из-за него не увидел Хасбулат, как гнал коня его луч-

ший друг Чарахма. Если бы не туман, он заметил бы его еще в долине — зоркими были глаза у Хасбулата. И он услыхал стук копыт только тогда, когда его друг был совсем уже рядом. А вот и сам Чарахма подал свой охрипший голос.

— Ассолом-алейкум! — прохрипел Чарахма.— Что ты насупился тут, как старый ворон? — Хасбулат и правда раскинул полы бурки, как крылья. Мохнатая шапка из черного барашка была глубоко надвинута на лоб.

— Что ты тут сидишь, когда у тебя родился сын! — закричал Чарахма, и у Хасбулата замерло сердце.

— О, вассалам-вассалам,— радостно зажмурился Хасбулат и снова открыл глаза: уж не показалось ли, не послышалось ли ему все это?

— Да, да! У тебя родился сын, джигит! — засмеялся Чарахма, и эхо подхватило его слова — джи-гит-гит-ит...

Хасбулат выпрямился. Расправил плечи, махнул полами бурки, поднимаясь с валуна. Первым делом он обнял своего верного друга, который спешился с коня, потом молча врезался в отару, схватил за голову самого большого барана и тут же располосовал ему ухо, чтобы сделать клеймо.

— Вот, Чарахма, смотри. Это твой баран. Узнаешь его потом по отметке, — сказал Хасбулат. — Это тебе подарок за добрую весть. Что бы тебе еще подарить? — спросил Хасбулат своего друга и тут же снял с себя ружье.— На. Возьми и это.

— Что ты дорогой! — замахал руками Чарахма, но Хасбулат его и слушать не стал.

— Бери. Сегодня мой день. Сегодня я стал отцом. Ты должен понять меня. Бери. И пусть твоя жизнь будет радостной.

Ах, как счастлив был в эту минуту Хасбулат. Он снял с себя баранью шапку, мелкий дождик тут же смочил его голову, подточил ворот бурки, но Хасбулат не заметил этого. Ему сейчас все нравилось: и мокрая трава, и простуженный Чарахма, и выбежавший из-за отары лохматый, осиплый от лая пес.

— Слава аллаху,— рассмеялся Хасбулат,— теперь у меня есть в доме мужчина, и я смогу назвать его именем деда. — Есть кому передать ярлыгу, когда меня одолеет старость.

Хасбулат стал разжигать костер около расколотого молнией валуна — ему хотелось как следует угостить

друга. Вскоре над камнем поднялось высокое пламя. Радость надо отметить как положено. Мужчина-горец всегда встречает ее кружкой доброго вина да хорошим куском баранины, обжаренной на открытом огне.

* * *

Если Хасбулат воспринимал и счастье и горе спокойно, как подобает горцу, с достоинством и молчаливостью, то две бабушки новорожденного, наоборот, подняли вокруг своей радости такой ветер, что он растревожил весь аул, как пчелиный улей.

— Эй, Зайналабид! — кричала Айшат — бабушка по отцу, своему соседу.— Где же твоя винтовка? Давай пали в воздух. У нас внук родился! Джигит! Стреляй, дорогой, что ты стоишь? Или у твоей винтовки ствол заржавел? Или порох отсырел?

Сосед Зайналабид кинулся в саклю за винтовкой. Он понимал, что дело серьезное, хочешь не хочешь, а стрелять надо. Если не поднять сейчас шума, то обе старухи ни за что не простят ему этого. Да и повод-то действительно прекрасный.

Выстрелы грянули один за другим.

— Ой! — кричала бабка по матери, хватаясь за сердце после каждого выстрела.— Да это же не только в горах — даже в Цор [1], наверное, слышно! И хорошо! И правильно. Пусть и там знают, что у нас родился мужчина.

После того как отгремели залпы, старая Сарат высунулась в окно и крикнула парням, которые собрались возле сакли:

— Чего же вы стоите, ребятки? Ловите, кто посмелее, барана да кладите на палас.

Сарат уже успокоилась после пальбы, она даже успела набросить на голову праздничный платок с красными розанами и теперь принималась за хозяйство.

Ребята кинулись ловить самого большого, специально откормленного для этого случая барана, а хромой Хасан засучил рукава старой солдатской гимнастерки и вынул из ножен кинжал. Приготовился резать барана.

Ах, все перемешалось во дворе! Куры разлетелись, петух убежал за ворота, обе хозяйки тоже кинулись на

[1] Грузия.

улицу с пустыми кувшинами на плечах — одна на Верхний источник, другая на Нижний, тогда как совсем рядом, в двадцати шагах от сакли, в самом центре аула тоже был источник — проведенная по трубам чистая горная вода.

О, аллах! Какой там центр аула! Тут все должны быть в курсе событий — надо было разнести весть повсюду! Они словно на крыльях понесли свое счастье к тем людям, которые жили далеко от их дома.

Хромой Хасан с удовольствием посмотрел им вслед. Нет, он не осуждал их, хотя язык у него и был острее того кинжала из амузгинской стали, который он держал в руках, готовясь резать барана. Барана, наконец, поймали, повалили на траву, и Хасан твердыми шагами направился к нему.

— Ола-Охе-е...— сказал Хасан, крепко прихватывая животное за передние ноги.

Сарат между тем примчалась к Верхнему источнику. И как раз вовремя. Там было много женщин. Они слышали выстрелы и уже поджидали кого-нибудь из счастливой сакли.

— Радуйтесь, дорогие,— сказала Сарат.— У нашей невестки сын родился. Да продлит аллах дни ее жизни. С орлиным взглядом джигит, с широкими бровями. Я, как увидела ребенка, прямо сердце потеряла. Уж до того хороший, до того красивый мальчишка! Весь в нашу родню.

Женщины слушали Сарат, затаив дыхание. Никто не перебивал ее, все только смотрели ей в рот и ждали, что она еще скажет.

У Нижнего источника бабка Айшат говорила не так смело, ей приходилось задавать вопросы, но она отвечала на них охотно.

— Да, милые,— улыбалась Айшат,— сегодня из корня Муталибского рода новый росток появился... Хороший джигит. Как есть вылитый дед.

Аульчане улыбались, еще и еще раз множили радость Айшат новыми вопросами, потому что тоже ждали этого события. Дело в том, что первый и второй ребенок у жены Хасбулата Чакар рождались мертвыми, и, конечно, женщины волновались, поджидая третьего. Но тут, слава аллаху, все обошлось благополучно.

И — надо же! Ведь только сегодня утром Сарат и Айшат стали, наконец, бабушками. А что они пережили,

бедные! Во-первых, все эти девять месяцев старые женщины не знали ни дня покоя. Все-то им казалось, что невестка мало ест, мало спит. Разве что птичьего молока они не смогли добыть для своей дорогой Чакар!

— Этого тебе нельзя, Чакар. Этим ты навредишь себе... Чакар! — Только и слышалось в доме Хасбулата.

А уж когда молодую женщину повезли в больницу, так обе старые горянки всю ночь просидели под окном родильного отделения. Легче, думается, было родить самим, чем вынести все эти волнения и муки.

Если кто-нибудь выходил из больницы в белом халате, Айшат и Сарат вскакивали, бежали к крыльцу.

Только под утро услышали они, наконец, плач ребенка и даже обнялись от радости.

— Ну, это он,— сказала Айшат.

— Конечно,— согласилась с ней Сарат.— Только ребенок из нашего рода может так громко кричать.

Пожалуй, это был единственный случай, когда обе горянки сошлись в своих взглядах. Тут они не спорили и не возражали друг другу. Этот случай запомнили в ауле как из ряда вон выходящий.

— Подумать только? Стали бабушками в полном согласии. Вот уж настоящее чудо!

На празднике новорожденного именно по этому поводу была выпита не одна кружка бузы, и обе бабки сидели за столом рядом.

В тот день много шашлыков пожарили во дворе Хасбулата. Тамадой были хромой Хасан, он же играл на барабане, когда Мухумо-Гази вынул зурну, на которой не играл после войны ни разу. «У моего друга сын родился, сегодня можно забыть о прежнем горе»,— говорил он. Уж столько близких потерял Мухумо-Гази на фронте, что и не прикасался к зурне за все эти годы.

А через день все женщины аула собрались в дом Хасбулата. По обычаю аула, обе бабушки сварили солодовую кашу, чтобы полакомиться да послушать песни Салимат. Двоюродный брат Чакар, охотник Анталав, прибил к стволу балкона Хасбулата острые, как сабли, скрученные, как ветви, турьи рога, чтобы уберечь новорожденного от дурного глаза. Столяр Айтбер пришел с люлькой на плече: вот, мол, конь, на который садились и мы и наши предки, так уж и сына моего фронтового друга тоже посадите на него, чтобы был у него и горский сильный характер, и крепкий сон.

Все приготовили для долгожданного сына в сакле отца, начиная с пеленок, кончая горской папахой да буркой, которые будет носить он не сегодня, не через год, а через шестнадцать лет. Только не было еще у него собственного имени. И теперь много споров возникло в доме Хасбулата как раз по этому поводу.

Родственники с материнской стороны настаивали на том, чтобы ребенок был назван именем то ли деда, то ли братьев, которых теперь по какой-либо причине не было в живых. Таков обычай. Надо было продлить род именем самого достойного человека, а достойных набиралось много. Каждое имя взвешивалось, каждому давали оценку. Особое пристрастие проявили бабушки. Их мужья погибли на войне, и теперь горянки хотели, чтобы внук был назван в честь кого-то из них. Женщины даже поспорили. Так, собственно, и закончилось их недолгое согласие. Они горячились, повышали тон, а спор прекратила Чакар. Она сказала, что этот вопрос у них с мужем давно согласован. Первенцу они решили дать имя отца Хасбулата — Муталиб, а второй сын, если аллах даст его, будет назван именем отца Чакар — Айдамиром.

Хасбулат все это время сидел за столом молча, как подобает настоящему мужчине. Он сразу же спустился с гор, как только в доме начались торжества. В новой рубахе, спокойный, Хасбулат сидел по правую руку тамады и поглаживал усы. Будто десять лет сбросил Хасбулат на эти дни, и гости любовались хозяином.

Когда вопрос с именем был улажен, Хасбулат вышел из-за стола и взял ребенка на руки как самое дорогое, что есть на свете, и шепнул ему на ухо: «Муталиб! Муталиб!»

— Муталиб! Муталиб! — повторила сначала бабушка по отцу, а потом, с некоторой обидой в голосе, бабушка по матери, а за ними имя ребенка повторили все двоюродные братья и сестры, потом троюродные, а там уж и все гости — аульчане громко назвали новорожденного Муталибом.

Тамада налил полные бокалы, их подняли, и всеми уважаемый Хасан произнес тост, обращаясь к младенцу:

— Рости, джигит! Расти выше гор. Пусть твой характер будет крепче наших скал. Расти чистым, как родник у дороги, будь похожим на того, чьим именем тебя нарекли!

— Пусть тебе будет суждено стать братом семи братьев и пяти сестер...— поднял свою чарку Мухумо-Гази. Его род так поредел во время войны, что этот тост он произносил при каждом возможном случае.

— Пусть самая красивая девушка аула станет твоей женой, тогда я погуляю на твоей свадьбе, сынок,— поклонился в сторону новорожденного сосед Зайналабид, который стрелял из ружья по поводу его появления на свет.

Много добрых слов было сказано в этот день аульчанами. Одни желали стать Муталибу ученым, другие писателем, а третьи — прославленным чабаном — продолжателем дела деда и отца.

— Только уж не чабаном, только не чабаном, — возразила было бабушка по матери почтенная Сарат, но аульский поэт Паридалав начал читать свои новые стихи, и Сарат пришлось замолчать.

О, это были замечательные стихи. Они слагались здесь же, за столом. Их слушали, затаив дыхание. Паридалав говорил о том, чтобы новый человек сверкал чистой утренней звездой. Он желал будущему джигиту счастья, учил его верности и дружбе. Стихи Паридалава порадовали и взволновали гостей.

В довершение всего в этот незабываемый день пошел весенний дождичек, что тоже считается очень хорошей приметой. Дождь весной — это рост травы и деревьев. Дождь весной — это обилие и богатый урожай осенью.

* * *

Соблюдая обычай предков, на закате этого дня Хасбулат вышел во двор посадить тополь. Это был первый тополь — ровесник его первенца сына. Пусть он растет теперь вместе с ним, стройный и красивый, на радость родителям. Каждый год в день рождения джигита около тополя будет семейное торжество — Муталиб станет подходить к тополю, а отец — отмечать зарубку на стволе. Как четки, сосчитают люди прожитые им годы. У каждого горца есть такой тополь в ауле, и это, конечно, очень хороший обычай. Хасбулат бережно притоптал свежую землю вокруг молоденького деревца и шепнул ему свою сокровенную мечту:

— И десять не скажу, и семь не попрошу, но хочу посадить рядом с тобой, дорогой, еще три или хотя бы два тополя. Может, придут такие же счастливые дни, как

этот.— Очень уж хотелось Хасбулату, чтобы у Муталиба были еще брат и сестра.

Уже садилось солнце. Хасбулат был один возле только что посаженного деревца. Шел светлый дождь, зеленели чинары, зацветала айва. Хороший был вечер.

После него прошел и год, и второй, и третий. Детей больше не было в сакле Хасбулата, зато Муталиб рос крепким и здоровым ребенком, окруженный заботой и вниманием домочадцев. До чего это был красивый и веселый мальчик!

Хасбулат в редкие дни, когда спускался с гор, подходил к тополю и говорил с ним, как с другом: где же те, которые должны были расти с тобой рядом? — вздыхал Хасбулат, но со временем эта грусть прошла. Хасбулат смирился. Успокоился. Сидел под деревом молча, как подобает горцу.

В семье чабана, тоскующей по детям, единственной радостью был Муталиб. Поэтому вся любовь матери, двух бабушек, даже двоюродных сестер щедро лилась на него, единственного, как на кукушкино яичко. Он не знал ни в чем отказа. Его называли «наше солнышко», его считали умным, добрым, необыкновенным ребенком. Не осталось ни одного крылатого слова, с каким бы не обращались к нему обе бабушки. Он был для них и знаменитым Хаджи-Муратом и Махмудом из Кахиб-Росу, чьи стихи знала вся Авария. Когда старые горянки говорили со своим маленьким Муталибчиком, то казалось, будто два соловья щелкают друг перед другом в кроне высокого дерева.

Бабка Айшат все больше любила называть ребенка то яхонтом, то бриллиантом, казалось, если подставить подол, так через пять минут он будет так полон, что драгоценности посыплются на пол. Бабка Сарат, более чувствительная женщина, называла Муталибчика еще ласковее, и уж под ее уста следовало подносить кувшин, который тут же наполнился бы медом.

Вся радость, все тепло, которые они берегли для многочисленных внуков и внучек, достались одному Муталибу. Он был их «единственной надеждой», их «драгоценным цветком».

Если бы вы слышали, какие песни, какие пословицы-поговорки шептали они ему! Очарованные, вы сказали бы, что в мире не было поэтов речистее, чем они — эти две бабушки. Они были готовы голодать, мерзнуть, хо-

дить разутыми, раздетыми, лишь бы он, Муталиб, был и сыт, и одет, лишь бы он вырос здоровым.

— Пусть достает головой до небес, а плечом касается гор,— говорила Сарат.

— Пусть сумеет стянуть шкуру со льва,— говорила Айшат, которая характером и нравом была несколько суровее и крепче Сарат.

— Пусть будет красивым, как горный орел, пусть расцветают его глаза, пусть брови встанут радугой на его лице,— перебивала ее Сарат.

— Пусть кидается орлом на врага,— отстаивала свои, более жесткие и мужественные позиции Айшат.

В конце таких состязаний старые горянки ссорились. Сарат упрекала Айшат в том, что она хочет видеть вместо внука какое-то чудовище, на что Айшат отвечала глубоким молчанием, под которым подразумевалось то, что Сарат следовало бы воспитывать девчонку, а не мальчика, из которого должен вырасти смелый джигит.

— Тебе бы сидеть наседкой в курятнике,— бросила Айшат, которой в конце концов надоело молчание, и тут уж ссора вспыхивала с новой силой. Так взвивается в небо костер, когда в него плеснуть керосину.

Обе женщины находили общий язык только в вопросах кормления Муталиба.

— С каждым днем увеличивайте порцию соли в каше,— советовала Айшат.— Соленая пища вызывает жажду, а вода увеличивает желудок. С увеличением желудка приходит и аппетит. Ничто так не способствует росту человека, как еда. Еда делает человека сильным, вода могучим, а сон спокойным.

Айшат была высокой, сухощавой женщиной. Черные глаза ее смотрели несколько сурово на окружающий мир.

— Соль, соль, соль...— твердила Айшат.— Даже в горном камне, говорят, есть какая-то соль. Наш Муталибчик должен расти так, чтобы месячным выглядел как годовалый.

— Утром у кородинского моста я встретила идущего на базар доктора Кебед-Гаджи,— подавала голос Сарат,— так он сказал, что парное молоко, выпитое натощак, увеличивает кровь ребенка. Надо завести козу. Козье молоко особенно полезно, говорил Кебед-Гаджи.

— Я не люблю толстых ребят, не надо Муталиба так перекармливать,— пробовала вмешаться в разговор Ча-

кар, но женщины ее и не слушали. Теперь молодая женщина потеряла для них всякий интерес. Их занимал только ребенок.

— Как это не любишь! — удивлялась Сарат.— Или ты враг своему сыну? Он должен быть пухленький, как утенок.

— Мне тоже жаль бывает худых,— поддержала разговор Айшат.— Муталиб должен быть крепким, плечистым,— опять же вела свою линию эта сильная женщина.— Ударом кулака он должен разбивать скалу.

— Ну, начинается,— морщилась Сарат и переводила беседу на другую тему.— Ты бы, дочка, поехала куда-нибудь полечиться,— советовала она Чакар.— В Москве, говорят, хорошо лечат парапессора, в Сочи тоже, бывает, вылечиваются от бесплодия.

— Да, один Муталиб у тебя, это плохо,— вздыхала Айшат, и глаза у нее становились еще темнее.— Брат, ох, как брат нужен Муталибу. Одинокому дереву трудно бывает и в буран, и в снегопад,— расстраивалась старая горянка.

После таких разговоров Чакар уходила во двор, в сердцах разгоняла кур, бралась за какие-нибудь дела, а бабки подсаживались к ребенку. У них-то была одна забота, как бы побольше впихнуть ребенку в рот всякой еды.

Все было отработано. Более сдержанная, Айшат брала Муталиба на руки, а Сарат начинала развлекать его — гремела деревянными ложками. У Муталиба появлялся на этот звук условный рефлекс, он открывал рот, и пока смотрел во все глаза на Сарат, Айшат впихивала в него всякие лакомства.

Еще и не было семи месяцев, когда Муталиб впервые поднялся на ноги. Ну — это был опять же праздник! Обе бабки сидели на полу и завороженно смотрели на него.

Мелко дрожа, со страхом и сомнениями сделал Муталиб свой первый шаг. Бабки готовы были подхватить его каждую секунду. Но он не падал. Он пока еще стоял, как циркач на канате.

— Вабабай... какой ты у нас молодец, какой большой джигит,— сказала Айшат, и ребенок шлепнулся на ковер.

— Всегда ты портишь все дело,— упрекнула ее Сарат. Но тут Муталиб заплакал, и обе бабки кинулись утешать его.

Сколько в этот день было разговоров у родника и у общественной печи — коре, где собирались по утрам и вечерам все женщины аула!

— Наш Муталиб встал на ноги и пошел по двору,— хвалилась Сарат. Она даже показывала, как пошел ее драгоценный внук.

— Да... он сделал несколько шагов,— говорила у Нижнего родника более сдержанная Айшат, и все, конечно, радовались.

У Верхнего родника Сарат была щедрее в своем красноречии. Она говорила так:

— Наш джигит крепко встал на ноги и пошел, как нарт. Он прямо вышагивал и вышагивал.

— Надо же! — ахали и охали женщины.

В этот же день на четырехугольном балконном столбе-подпорке сделали первую отметину роста Муталиба. Обе бабушки напекли чуреки, сварили сушеное мясо и раздали всем соседям. А после этого раз в неделю мальчика подводили к столбу, поглядеть, на сколько он вырос.

Каждый вершок его роста был новой ступенью в гору счастья для бабушек. Они то и дело останавливались около столба, теплели глазами. Это было единственное место в доме, где стихали их ссоры. Тут царило полное согласие.

В день, когда Муталиб хорошо ел, долго спал, бабушки бывали в прекрасном настроении. Когда он спал, не то что петуху, даже ласточкам нельзя было шуметь на балконе.

Когда же он «ничего не проглотил» или начинал чихать от «простуды», от «сквозняка», они не спали, не ели, ходили с пасмурными лицами. В такие дни Сарат бежала к соседке. Считалось, что та умеет лечить травами, на нее надеялись, ей не мешали заниматься важным делом. В крайнем случае обе бабки все-таки бежали к тохтурше, хотя особенно-то не верили ей. Чего там? Совсем еще девчонка, ну что она может понимать в болезнях? Чтобы знать хворобу, надо самому испытать это лихо.

Мальчик спал на пуховых подушках. Ему сделали специальные качели на свежем воздухе. Его постелька, расшитая шелковыми нитками, покоилась в конце балкона, в самом теплом тихом месте. Бабки по очереди покачивали качели, напевая Муталибу нехитрую горскую

колыбельную песню. В ней пелось про маленького ягненка.

— Спи, спи, мой единственный,— пела грубым голосом Айшат.— Спи, мой ягненочек.

Ягненочек рано сообразил, что он действительно единственный. Обе бабки были у него, как две старые волшебницы. Это очень повлияло на его характер. Он стал упрямым, довольным собой, как петух своим хвостом.

* * *

Муталибу не давали ни к чему притронуться. Его оберегали от всякой работы.

— Его руки должны быть белыми и мягкими,— говорила Сарат.— Они созданы не для лопаты и кетменя, а для карандаша. Он должен быть хакимом-алимом [1].

Если кто-нибудь говорил, что ребенка надо приучать к земле, Сарат из себя выходила:

— Неужели только и дел в ауле, чтобы копаться в земле да пасти баранов? — Ох, не любила она овец, не любила чабанов. Муж у Сарат был сапожником, и только эта профессия вызывала у нее восхищение. А как же? Да неужели чабан может сравниться с сапожником? Бедная Чакар... Что она видит в жизни? Где ее муж? Вечно он в горах, никогда его нет дома. Так ли было у нее? Даже вспомнить приятно. Ее муж всегда был перед глазами и постукивал своим молотком. А какие она носила чувяки! Какие сапожки! Какие туфли!

Сарат прямо на дыбы вставала, когда слышала, как Айшат начинала расхваливать чабанов.

— Еще чего? — возмущалась она.— Да разве это жизнь? Вечно торчать под дождем? На ветру?

— А кто, дорогая, носит ордена? Кого теперь посылают в Москву? Кто пользуется почетом? — низким голосом спрашивала Айшат, и сама же отвечала на все эти вопросы: — Чабан, только чабан может быть настоящим горцем. Я бы не против была, если бы Муталиб стал хорошим чабаном.

— Конечно, — огрызалась Сарат, — чабанить — это ваше родовое дело. Вам бы только гонять баранов туда-сюда да сидеть возле дымных костров.

— Я горжусь, что мой сын чабан,— вспыхивала Айшат.— Голос ее становился совсем низким, на худом

[1] Ученым начальником.

лице загорался крепкий румянец.— Да, я горжусь, что и муж у меня был чабаном. И дед. И прадед. Они были настоящими джигитами. Не боялись ни холода, ни голода.

— Какая радость! — взмахивала полными руками Сарат.— Гордись сколько хочешь, но я своего единственного внука не пущу в горы. Не нужна ему эта собачья жизнь. Он должен занимать большую должность, его слова должны ловить другие. Только хаким-алимом будет мой внук. В крайнем случае, пусть пишет книги, а еще лучше, если Муталиб будет изобретать хорошие лекарства. Он же и вылечит нас от всех болезней, которые точат нас день и ночь, как горная вода камни.

Подобные разговоры, затягиваясь, часто переходили в такую перепалку, что сам Муталиб не выдерживал, подходил к женщинам и начинал притворяться, что у него живот болит. Разумеется, спор тут же угасал, как костер, на который плеснули ведро воды.

Горянки сразу забывали и о своем споре, и о своей старости. Даже бабушка Айшат, которая только что доказывала, что он должен быть чабаном, ходить с ярлыгой за отарой и та не давала ему вынести ведро мусора во двор или тем более поколоть дрова.

— Иди играй, внучек,— говорила Айшат и сама брала в руки топор. Высокая, худая, она набрасывалась на дрова так неистово, что иному мужчине в пору было позавидовать ей.

Муталиб в это время садился под густую тень тополя. Он раскладывал на траве цветные стекляшки или часами следил за движением муравьев в муравьиной куче.

Нет, нет... Муталиб ничего не делал в доме. Если была нужда сходить в магазин, бабки звали через забор сына соседа Зайналабида:

— Магомедали, Магомедали! — кричали они. Тот приходил, и ему поручали купить сахару или мыла. Магомедали выполнял и другие дела: он прогонял зашедшего в огород осла, он встречал корову из стада.

Муталиб по-прежнему сидел под тополем. Играл с щенком или ягненком.

И вот еще насчет этого щенка... Сарат терпеть не могла собак. Она даже Галбеца прогоняла со двора. Уж на что тот был верным другом хозяина, но Сарат ухитрялась отделаться и от него в те редкие дни, когда отец спускался с гор в селение. Сарат мотивировала такое

отношение к Галбецу тем, что женщина не может совершать намаз, если к ней прикоснулась собака. На самом деле это было просто ее очередной хитростью.

Однако Муталиб как-то принес щенка, и Сарат пришлось уступить. Она не могла в чем-то ограничить внука. Вместе с щенком стал преспокойно ходить по двору и Галбец, которого, кстати, очень любил Муталиб. От него пахло дымом и псиной, он хрипло лаял на кур, Сарат морщилась, а Муталиб радовался, Кормил его свежим мясом, катался на нем верхом.

— О, аллах...— вздыхала Сарат.— И откуда у ребенка эти чабанские замашки?

* * *

А как готовились бабки к учебе Муталиба? Уже за год они начали говорить о том, что их внук пойдет в школу. Все было куплено заранее — школьная форма, фуражка, башмаки. Целый год все это лежало в шкафу, дожидалось своего дня.

А когда наконец наступило первое сентября, обе бабушки и мать нарядили его, поставили у ворот полные кувшины, чтобы дорога была удачной и втроем вышли проводить его. По аульским улицам обе бабушки по очереди несли как самый дорогой клад еще тощий портфель Муталиба и сверток с завтраком. Стояли во дворе школы, пока не зазвенел первый звонок, и прослезились, когда в ряду ровесников появился их внук.

С пестрым букетом цветов обе горянки подошли к учительнице и сказали ей:

— Хорошо отнесись, доченька, к нашему Муталибу, он у нас один. А мы добро не забудем.

Учительница в ответ только улыбнулась им. А они нехотя пошли домой, чтобы через три часа опять вернуться в школу. Надо же было встретить свое сокровище! Мало ли чего могло случиться с ребенком в этот трудный для него день!

По дороге домой женщины рассуждали:

— Бедный,— говорила Сарат,— как ему теперь станет тяжело. Надо же писать в тетради буквы. И читать букварь.

— Если он будет страдать, мне кусок в горло не пойдет,— покачала головой Айшат.

— Разве мужчина растет не для того, чтобы выдержать испытания и поднять предложенный жизнью

рог? — спросила Чакар. Она повторяла чьи-то слова, а сама ни в чем не уступала бабушкам, так же баловала сына, как и эти старые горянки. Она нежила его, без конца расчесывала ему волосы, а уж если он приходил после драки домой и с плачем кидался к ней в объятия, она, как тигрица, летела к обидчикам. Ударить ее сына? Да кто это посмел? Нет, никому не давала она в обиду Муталиба. И потом еще долго причитала над ним, долго растирала ушибленные места, смазывала царапины йодом.

Каждый день женщины собирали Муталиба в школу: одна гладила одежду, другая доводила до зеркального блеска обувь, третья готовила ему завтрак. После обеда они бросали любую работу, выходили то вдвоем, а иногда и втроем на балкон дома. Ждали из школы свое «красное золото». Умиротворенные, счастливые, смотрели они на дорогу, когда, наконец, Муталиб появлялся на ней с ватагой ребятишек.

— О, аллах,— воскликнула Сарат.— Появилось наше солнышко из-за Седла-горы. (Так называли самую высокую вершину, которая была на востоке от аула.)

— Проголодался, мой сокол ненаглядный, обед уже готов,— выбегала к нему навстречу мать. А Айшат уже стояла у калитки, поджидала, когда у него можно будет взять портфель, спросить насчет отметок. Эта бабушка была все-таки самой строгой, она же спрашивала Муталиба, не обижают ли его учителя и ребятишки в школе.

— Ты должен лучше всех учиться,— говорила Айшат.

— Не хочу я лучше всех,— отвечал Муталиб.— Все будут завидовать...

— Пусть завидуют,— тут же вмешивалась в разговор Сарат. И делала прогнозы: — Люди всегда будут завидовать тебе, потому что ты впереди всех будешь, ты станешь большим хакимом.

— Я хакимом не хочу,— упрямился Муталиб.

— Тогда станешь тохтуром, прославленным на весь Дагестан. И вылечишь нас, своих бабушек, от ревматизма, а у отца из лопатки вытащишь гитлеровскую пулю.

— Я не хочу,— отвечал Муталиб.— Я не люблю крови. Не могу смотреть, когда режут курицу. Лучше я буду пенсионером.

— Что?! — выкатывала глаза Сарат и краснела до самых ушей.

— Пенсионером, как хромой Хасан или как вы,—

обе ничего не делаете и получаете деньги,— говорил Муталиб без тени смущения.

— Ты шутишь, Муталиб! Хоть писателем, хоть космонавтом, но ты должен стать большим человеком,— убеждала его растревоженная Сарат.

— Ну, разве что писателем... пожалуй, это можно,— соглашался Муталиб.— Писатели сидят в тени и сочиняют. Я видел, как Паридалав под каштаном писал стихи.

Этот разговор Сарат старалась начать всякий раз, когда оставалась одна со своим драгоценным Муталибом. Айшат всегда не вовремя вмешивалась в беседу и только портила дело. Она упрямо навязывала ребенку разговор о чабанах, и, что самое удивительное — он ее с удовольствием слушал.

Побаивался Муталиб, да и любил, пожалуй, только своего отца. Когда Хасбулат спускался с гор, Муталиб не отходил от него ни на шаг. В эти дни он учил уроки, приносил хорошие отметки из школы и еще за калиткой так прыгал и так улыбался, что Хасбулат, как ни сдерживался, никак не мог не пойти навстречу сыну. Встанут друг против друга и молча улыбаются. С каким вниманием слушал Муталиб каждое слово отца! Отец его не баловал. Он относился к нему сдержанно, по-мужски.

«Колючка должна колоться еще сызмала», «По бычку видно, какой будет бык», «Сталь должна закаляться еще до того, пока не ковали из нее кинжала», «Мужчина должен уметь оседлать лошадь, вспахать поле, расширить дорогу для удобства идущих следом»,— учил отец, и все его рассказы были связаны с повествованиями о смелых и мудрых чабанах.

Отец не мог терпеть лени, лжи, трусости. Около него было как-то особенно легко и спокойно. Муталиб постоянно стремился в любом деле помочь ему. Если отец окапывал виноградник, Муталиб тоже брал лопату, если стриг или свежевал овцу, сын был рядом. А то еще, положив на плечо ярмо, как мужчина, как помощник, Муталиб шагал за отцом, который с сохой шел пахать поле. Чабанский запах от его одежды особенно волновал сына. Потягивало горьким дымком от папахи отца, отдавало полынью и пыреем от темной сатиновой рубахи.

Муталиб сам удивлялся тому, как лень отступала от него в эти дни. Но как только отец уходил в горы, мальчик снова становился «бабушкиным солнцем», «маминым сокровищем». Умывался уже только теплой водой,

одевался с их помощью, кушал вяло и много. «Не нужно это тебе»,— говорили бабушки и не давали ему прикоснуться ни к какой работе. Правда, иногда, бывало, Муталиб протестовал, «Сам пойду!», «Сам сделаю!»,— кричал он. «Хочу быть похожим на отца. Он все время в пути, он хороший, его все уважают. Он не любит, когда я ленюсь». Но Сарат была начеку, она била тревогу.

— Что ты, Муталиб! Зачем тебе быть похожим на отца? Для чего тебе такая трудная жизнь?Или ты зря ходишь в школу? Ученый человек всегда сидит в тепле. У него белые руки. Жизнь твоего отца, дорогой, проходит возле баранов. И жарким летом и холодной зимой у него одна крыша — небо. Кто его друзья? Не знающая покоя собака да ярлыга, ставшая полированной от долгого употребления. Подумать только! Около него всю жизнь только горы да овцы. От него и в семье нет покоя, сам видишь, когда во дворе пурга, твоей матери не спится. Она волнуется, стоит у окна. А сам ты? Часто ли видишь отца? Придет на несколько дней домой, а душа его даже в эти редкие часы остается там, в горах. Зимой он живет на кутане, летом на пастбищах — нашел кому завидовать, сынок! Твой жизненный путь должен быть покойным и авторитетным.

Но мальчик не унимался.

— Почему же отец так любит горы? — спрашивал Муталиб.

— Глупость это и привычка,— отвечала Сарат.

— Почему люди уважают его?

— Потому что они в ауле спокойно живут, а он, чудак, пасет за них в горах овец...

— Не чудак мой отец,— злился Муталиб.— И дед у меня был чабаном. И орден имел. И отец чабанит... Он лучше всех.

— И-и-и... заладил одно: чабанит, чабанит,— сердилась бабка.

Такие разговоры были редки, и жизнь в этом доме текла спокойно и радостно.

Но однажды на них обрушилось страшное горе. В суровую метельную ночь, спасая от гибели отару, разбился в горах отец. Смерть Хасбулата была тяжелым ударом для всех. Но труднее других перенес утрату Муталиб. Обе бабушки и мать громко причитали над телом погибшего. В песнях-плачах, где было столько прекрасных слов, они выплакали свою печаль, а Муталиб долго

был безутешен. От горя он замкнулся, и казалось, что уже ничего не интересует юношу. Он равнодушно переносил укоры близких за «тройки» и «двойки», но в конце учебы вдруг взялся за ум и благополучно окончил десять классов.

Многие ребята с грустью прощались со школой, а Муталиб ликовал! Он примчался сразу же домой, как только в школе закончился последний экзамен. Ему повезло. Он сумел проскочить мимо матери и бабок незамеченным. Теперь ему меньше, чем когда-либо, хотелось видеть их. Он залез на сеновал, зарылся там в душистое сено.

«Как хорошо теперь, больше звонок не призовет меня в класс. Не надо трястись до конца урока, как птица на ветке, в ожидании, что учитель вызовет отвечать... Прощайте «двойки», «тройки», прощайте бесконечные укоры».

Женщины с нетерпеньем ждали его после экзамена. Они больше него радовались, что он — последний.

— Слава аллаху,— говорила Сарат,— отмучились. Закончили школу. Уж что дальше будет с Муталибом, это аллах определит и выберет его путь, ну, а школа позади.

Да и как было не радоваться женщинам, когда они несли тяжесть учебы больше, чем Муталиб. Если он получал плохую отметку, они не спали. Каждую весну, когда до закрытия школы оставались считанные дни, бегали к учителям, уверяя их, что они, две старые горянки-бабушки, умрут, если мальчика оставят на второй год...

— Хорошо, бабушки, умереть вам не дадим, но пусть Муталиб старается. Пояс надо затягивать с детства, надо добру обучать с колыбели,— советовали учителя.

В ответ на это обе бабки в один голос уверяли учителей в том, что уж кто-кто, а их Муталиб выдержит любое испытание. Он не знает, что такое лень. Он росток дуба, у которого глубокие корни.

— Да знаете ли вы, какого рода он наследник? — нажимала на учителей Сарат.— Знаете ли вы, с какого дерева эта ягода?

— Может быть, корни у него глубоки, но сам он не проявляет усердия. Не зря его «лентяем Муталибом» зовут,— говорили учителя.

— Вах-вах,— клохтала, как курица. Сарат.— Наш

Муталиб — и вдруг лентяй! Да это его хромой Хасан так прозвал. Чтобы ему ни дна ни покрышки не было! Хасан хотел, чтобы наш внук был похожим на него, как бы не так! Не то дерево, не те ветви!

Правду говоря, именно Хасан первый назвал его «лентяем». Один раз на току перед его домом жена Хасбулата Чакар молотила. А Муталиб, их «красное солнышко», как всегда, слонялся без дела, мешал работающим. Хасану стало противно смотреть на него, и он сказал: «Ваш Муталиб не только избалованный, но он, оказывается, еще и лентяй». Ну и шум же подняли обе бабки! «Ты-то чего лезешь, хромой? Тебе какое дело? Ты посмотри на себя? Кто у тебя работает в огороде? Кто молотит на току? Твоя жена. А ты целыми днями дремлешь в облезлой шубе на солнце, как вялая ящерица». Ох, и бушевали горянки! Хасан смотрел на них и удивлялся, откуда у них столько энергии. «На них бы теперь только воду возить,— усмехнулся про себя Хасан.— Они, думается, бочкой в аул целое озеро натаскали бы сгоряча».

Обе бабушки благодарили аллаха, что никто не слышал речей хромого Хасана. Но не даром говорится, что и у стен есть уши, а у полей — глаза. Не известно, чье ухо уловило, чьи уста разнесли,— перебранка дошла до аульчан, и с тех пор Муталиба прозвали «ленивым».

— Когда ты станешь большим хакимом, те, кто называли тебя ленивым, пожалеют об этом,— говорила бабушка Сарат.

— И хромой бес первым придет извиняться. Но мы все равно не простим ему...— сердилась Айшат.

Но теперь, когда все это было позади, мать и бабушки готовились отправить его в город, в институт. «Недолго осталось до исполнения нашего желания — Муталиб выйдет в люди, он станет учиться на тохтура»,— говорили они друг другу.

Айшат, правда, не очень радовалась тому, что Муталиб уедет.

— Город, говорят, очень большое село,— рассуждала она.— Он, Муталиб, может потеряться там, как камушек на дне моря. Единственный мужчина рода... Как бы он после института не заехал куда в другое место. Их, говорят, посылают потом куда угодно. Даже на Север. Вдруг он не вернется в аул? Вот вам и тохтур...— ворчала старая Айшат.— Хотят побыстрее проводить его в

город... а что из этого получится, подумали бы своими куриными мозгами,— так ругала Сарат и невестку Чакар дальновидная Айшат. Дело в том, что Айшат болела последнее время, и ей тяжело было расставаться с единственным внуком. Он был очень похож на ее доброго сына Хасбулата. Ей хотелось, чтобы Муталиб стал чабаном, как дед, как отец. Она глядела на сиротливо висящую бурку сына, и слезы выступали у нее на глаза. Она понимала, что невестка и Сарат взяли верх. Нет, не желали они, чтобы Муталиб был чабаном. Вот и ярлыгу с видного, почетного места поставили за дверь.

В день, когда Муталиб уходил за аттестатом зрелости, обе бабушки и мать поздравили его.

— Стал выше отца, мое золото, я верю, что будешь мощнее горы,— сказала Сарат.

— Наша надежда, наша опора — это ты, Муталиб, теперь мы сделали все, чтобы ты вырос здоровым. Теперь сам должен отыскать свою жизненную тропу. Но учти, не зря сказано в народе: «Не занимаемое место украшает человека, а человек место», — напомнила Айшат.

— Эта пословица устарела, дорогая,— вмешалась Сарат.— Теперь какую должность занимаешь, такое и уважение. Если высокую — ты большой человек. Не забудь. Все, что тебе понадобится в городе, мы тебе пришлем, Муталиб, но, дорогой, не забывай о нас, мы живем твоим будущим, веди себя хорошо, постарайся быть первым в учебе. А к парапессорам (она так и произносила это слово) будь ласковым, старайся, чтобы узнали тебя с хорошей стороны.

— Я сама поеду провожать его в город,— говорила мать.

— Валлах, нет, я поеду,— упорствовала Сарат.— Я пойду к самому большому парапессору, скажу ему, что я жена красного партизана Залмул-Магомеда, что нельзя не принять в институт моего внука. Это будет несправедливо.

— Может быть, за меня и учиться станешь, бабушка? — засмеялся Муталиб.

— А ты не смейся. Я дело говорю, без родителей, сказывают, там не обращают внимания на детей.

— Вранье все это,— возразила Айшат.

— Пусть будет вранье, но я поеду с мальчиком,— упорствовала Сарат.— А ты, Айшат, как будто не хочешь нашего внука вывести в большие люди...

Тут в общем-то, как всегда, началась ссора между старыми горянками. Они шумели, выясняли отношения, но дело было решено — ехать с внуком в город должна Сарат. Все понимали, что, кроме нее, никто не сможет уговорить «парапессоров».

После споров все трое стали совещаться, какую еду приготовить Муталибу в дорогу, какие вещи уложить в чемодан. Мать собирала теплую одежду, считая, что городская зима очень суровая; Айшат была уверена, что гордость горца измеряется умением носить папаху, и вытащила каракулевую шапку Хасбулата. Сарат в это время прятала в карманы брюк и пиджаков по рублю, чтобы Муталиб обнаружил деньги в нужный момент и вспомнил ее.

— В деньгах у Муталиба недостатка не будет,— сказала Чакар.— Если что — зарежем барана и продадим мясо.

— По субботам я буду посылать ему с шофером мед и яйца,— сказала Айшат.— Не для того мы живем, чтобы Муталиб в городе остался хоть на один день голодным.

«Они будто на Северный полюс, на зимовку провожают,— улыбнулся Муталиб, глядя на то, как женщины набивают чемодан.— Я еще аттестат не получил, а они уже в город меня снаряжают.— И засмеялся: — К парапессорам!». Нет. Ему не хотелось уезжать из аула. Он не принимал всерьез ни их ласковые речи, ни напутствия, как будто это все говорилось для другого. Он и не думал теперь о городе.

«Еще чего! Опять учиться. Нет уж. Хватит. И что он будет делать в городе, где нет матери? Нет бабушек? Кто спросит его: «Устал, бедное солнышко?» Кто пожалеет? Кто накормит душистым пловом? Это что же? Он будет бегать по столовым? — И Муталибу стало обидно, что женщины не понимают его.— Они думают, что учиться легко. Как бы не так... Заниматься по-настоящему — это подниматься по крутой тропинке вверх, зачеты и экзамены придется сдавать. Надо оставаться в ауле»,— твердо решил Муталиб. Он сел в сторонке, наблюдая, как бабка Сарат пытается закрыть чемоданы. Она нажимала на крышки обеими руками, даже садилась на них, но безуспешно, и чемоданы напоминали собой бегемотов с открытыми ртами. Женщины ходили вокруг них и, как всегда, спорили, горячились.

«Вот, вот....— досадовал Муталиб.— Старайтесь. Возьмите у соседей третий чемодан. Так будет вернее».

* * *

В школе при вручении аттестатов зрелости выпускникам присутствовал председатель колхоза Ибрагим Юсупов, поздравив каждого выпускника в отдельности, он сказал:

— Сейчас почетное дело земледельца и чабана в основном лежит на стариках. Их должны сменить молодые, у которых есть любовь к земле, к скоту. У нас большая надежда на вас, наши дорогие. Если среди вас найдется человек, который захочет остаться в колхозе, мы будем очень рады. А в институте можно и заочно учиться. Этому и колхоз поможет.

В классе наступила тишина. Многие из ребят еще с детства стремились поехать учиться в большие города. Одни мечтали летать там, куда еще орлы не летали; другие желали стать инженерами; третьи хотели быть врачами, которые излечивают от самой трудной болезни любого человека. Все они жаждали увидеть большую страну, лежащую по ту сторону Седло-горы, из-за которой в их аул каждое утро заглядывает солнце. Любой птенец хочет вылететь из гнезда, что уж там говорить! Почти никто из выпускников не бывал ни в Москве, ни в Ленинграде, а теперь предоставилась возможность учиться в этих городах. У них даже дух захватывало от этой мысли.

Поэтому они притихли, когда председатель поведал о нуждах колхоза. А он молча переводил взгляд с одного на другого, будто спрашивал: «Неужели ни в одном из вас не бьется сердце крестьянина?»

Он-то знал, что многие, ох многие, побродив по свету да поистратив силы, в конце концов опять вернутся в аул. Кто-то не сдаст вступительные экзамены, кто-то затоскует так, что сядет в поезд через неделю, чтобы снова увидеть свой дом, своих родных.

— Ну так как же, ребята? Что вы мне скажете? — опять обратился Ибрагим к выпускникам.

Наступило неловкое безмолвие. Скрипели парты, слышны были покашливания и глубокие вздохи, но никто ничего не говорил.

— Я... я... останусь в колхозе, — вдруг нарушил тишину Муталиб. Это было как гром среди ясного неба.

Все разом повернулись и изумленно смотрели на него. Такое же удивление было и в глазах Юсупова.

Муталиб почувствовал себя как на уроке математики. Щеки его стали цвета лепестков горного мака.

После минутного оцепенения весь класс буквально загудел. Среди общего смеха раздавались выкрики:

— Вы слышали, Муталиб в колхозе остается...

— Ты дерни меня за ухо, может, я во сне...

— Говорят, и в овчинной шубе рождается герой...

— Даже в незрелом колосе может оказаться зрелое зерно.

— Может, теперь спрос на лентяев...

Но больше всех волновался Джамал Алилов.

— Может, ты овец пасти будешь? — спросил он у Муталиба.

Вообще-то надоел Муталибу Джамал за десять лет. Вечно он над всеми насмехался, лез со своими остротами. То «бабушкино утешение» назовет Муталиба, то лентяем. Да и сам противный до невозможности — уши лопухами торчат, рот большой, как у лягушонка, а вот ведь строит из себя вечно первого джигита.

— Может, ты в чабаны пойдешь? — не унимался Джамал.

— Да, да. Я буду чабаном! — выкрикнул Муталиб.

Вот тут-то в классе опять воцарилась тишина. Ее нарушила секретарь комсомольской организации Заграт.

— Зря ты ухмыляешься,— одернула Заграт Джамала, на лице которого застыла кривая улыбка.— Сегодня пойти на такую нужную для колхоза работу — достойный пример для нас всех.

— Значит, лентяй Муталиб на подвиг идет? Ха-ха-ха, — засмеялся Джамал. — Да ему лишь бы подальше от учебников...

И опять взрыв смеха потряс класс. Заграт заколебалась.

— Возможно, Джамал и правду говорит. Надо твердо решить, привыкнут ли твои мягкие руки, Муталиб, к твердой ярлыге чабана? Ведь позор всему классу, если ты сбежишь оттуда.

— Не сбежит, если рядом бабушки будут... — снова вылез Алилов. — Пусть их тоже возьмет с собой. Одна будет готовить, другая — овец пасти, а он — их «солнышко» — спать...

Выручил Муталиба председатель колхоза.

— Спасибо, Муталиб, — сказал Ибрагим, положив конец насмешкам. — Твой дед и твой отец были прославленными на всю страну овцеводами. И ты сможешь стать таким же. Все зависит от тебя. Если познаешь тайны этой нелегкой профессии, то наверняка полюбишь ее.

Ибрагим посмотрел на притихших ребят.

— Муталиб оказался на высоте. Он хочет продолжить традиции отца и деда. Я от души рад за него. Напрасно вы его на смех подняли. Как говорится, поживем — увидим, а смеяться над Муталибом пока еще рано. Да и за что? Посмотрите, каким он стал джигитом!

Слова председателя колхоза сделали свое дело. Класс утихомирился, и Ибрагим опять обратился к Муталибу:

— Я не тороплю тебя. Дело серьезное. Подумай еще. А на учебу мы пошлем тебя потом в Сельскохозяйственную академию, хочешь — очно, хочешь — заочно...

— Муталиба в академию? — опять не выдержал Джамал. — Вай, держите меня, а то я упаду. — Жаль только бабушек туда с собой взять нельзя. — И опять все зашумели.

И что им всем надо? Почему они не верят в меня. Зачем я только решился на это? — взяли сомнения Муталиба. Однако делать нечего: слово дал, все его слышали, хочешь не хочешь — его надо сдержать. Другого выхода нет... Ему даже взгрустнулось. Он подпер голову руками, стал смотреть в окно. До чего же синим было небо, и далеко, за Седло-гору, уходили облака. Наверное, напрасно он вылез с этим обещанием. Сердце заныло, и так жалко стало себя!

В классе между тем разгорались события. Как бы там ни было, но Муталиб подал хороший пример. Еще две девочки решили остаться в колхозе доярками. А за ними поднялся с парты Махсут, которого все звали «Маххулав». Дело в том, что Махсут очень любил возиться со всякими железками. Дома у него было полно гаек, винтиков, болтов. Поэтому и прозвали его «Маххулав», что означает «железный».

Так вот. Маххулав встал и сказал, что он тоже не желает уезжать из колхоза. Будет механизатором.

Больше, правда, никто не захотел остаться в ауле. Но Ибрагим считал, что начало не плохое: четверо выпускников с горячими сердцами, жаждущие работать в родном колхозе.

Все поднялись и столпились около учителей, а Муталиб медленно вышел на улицу и не спеша пошел домой. Аттестат зрелости лежал, наконец, у него в кармане, а как дальше сложится жизнь, его не очень волновало.

На улицах аула царствовало лето. Наступил июнь, и Муталиб будто впервые увидел, как хороши деревья, растущие вдоль дороги. А вот и горная речушка, которая рассекает аул на две части. Летом она пересыхает так, что ее можно перейти, не замочив штанов, а весной бурлит и разливается до того, что подмывает сарай деда Мухтара. Всю жизнь провел Муталиб с ребятами на этой речушке. Тут он и купался, тут и пускал кораблики. У Муталиба стало спокойно на душе. Может и хорошо, что он остается в ауле? Раньше Муталиба дошла до бабушек и матери весть о «подвиге» их джигита. Айшат так обрадовалась этой вести, что принялась варить халву, но радость эту она вынуждена была скрыть, ибо Сарат и Чакар безумно огорчились. Слыханное ли дело, единственное чадо, которому уготовано самое почетное место среди начальников аула и даже района, так порвал нить их мечтаний: они собирают его на учебу, а он дает слово отправиться в горы к чабанам.

— Еще не поздно отказаться, — говорила Сарат. — Мало ли что пообещал мальчик сгоряча? При начальниках аула он что хочешь может сказать. Они же, наверное, и подбили его на это. Наш Муталиб мог дать такое слово, он же смелее всех. Он везде бывает первым.

— Наверное, Ибрагим сумел вырвать у него это обещание,— добавила мать.— Это точно, я помню, как он хвалил Хасбулата, какой, говорит, чабан был. Если бы и сын его стал таким...

— Вот оно что! — возмутилась Сарат.— Ему, значит, надо, чтобы мой внук так же лазил по горам, как и его отец. Ну, уж, хватит. Этого не будет. Я всю жизнь так и не видела своего зятя в доме — не нужна такая судьба нашему Муталибу.

И Сарат стала собираться к Юсупову.

— Принеси-ка мой посох, Чакар,— велела она невестке.

Когда Сарат шла хлопотать, она всегда опиралась на посох, всегда надевала темный платок. Это приносило хорошие результаты. Люди жалели ее, потому что она горбилась, говорила слабым голосом. И сейчас Сарат рассчитывала, что председатель попадется на ее

темный платок. Кого не тронет старость Сарат? У каждого в груди сердце, а не камень. Ну, слабость Сарат изобразит в правлении колхоза, а пока что она давала волю своим чувствам. Быстро, стремительно носилась она по дому, надо было еще переделать кое-какие дела — загнать теленка в хлев, принести воды. Чакар тоже бегала следом за ней.

Вместе они перекидали дрова под навес, наколотые Хасаном, натаскали целую бочку воды — им надо было прийти в себя, надо было успокоиться перед тем, как пойти в правление колхоза. Работа всегда снимала внутреннее напряжение с обеих. Это они хорошо знали.

— Я пойду к этому пирсидателю. Скажу ему пару горячих, как из печки, слов, чтобы у него во рту обожгло,— кипятилась Сарат. Своей дочери он институт приготовил! Послал в город учиться, а моему внуку ярлыгу в руки дает. Иди овец пасти... Да не бывать этому!

— И я пойду с тобой, мама,— сказала Чакар.— Ведь Ибрагим как-никак Хасбулата другом считался. Он же должен понять нас.

Чакар уже держала в руках старую шаль Сарат и знаменитый посох. Пора было отправляться.

— И ты пойдешь с нами,— велела Муталибу Чакар. В доме было чисто, из репродуктора лилась мелодичная светлая музыка. Муталиб сидел под тополем, и Айшат кормила его только что приготовленной, еще дымящейся халвой.

— А ты не идешь? — спросила Сарат, сердито посматривая на Айшат.

— Нет, я не пойду и вам не советую,— ответила та,— что же он, наш Муталиб, разве не мужчина? Дал обещанье час тому назад, при всех, а теперь возьмет его обратно? У мужчины должно быть верное слово. Сказал — значит раз и навсегда решено дело.

— Еще чего? — взорвалась Сарат. — Да его заставили это сделать. Чтобы только другим пример показать. Собирайся, Муталиб. Надень новую рубаху, — приказала она.

* * *

Когда они втроем пришли в контору, улыбающийся председатель вышел им навстречу.

— Молодцы вы, мои дорогие,— пожал он руки женщинам.— Вырастили настоящего мужчину. Джигита. Я

рад. От души рад.— Ибрагим прямо сиял от удовольствия. Черные глаза его блестели, лицо осветила добрая улыбка.

Он провел их в кабинет и усадил на диван.

— Когда я услышал сегодня, что он пойдет чабанить, возьмет в руки дедушкину ярлыгу, то понял, что вы его воспитали как надо. У мальчика характер отца. И моей радости не было предела. Хотел было прийти поздравить вас, но дела задержали, а вы сами пожаловали, еще раз спасибо вам.

Бабушка и мать переглянулись.

— Я думала, ему лучше учиться...— начала было Сарат.

— Он у нас слаб животом, я думала, он может под солнцем и дождем заболеть... — нерешительно поддержала ее Чакар.

А сам Муталиб преобразился, ни бабушка, ни мать не узнали его в этот миг.

— Спасибо, дядя Ибрагим, за хорошие слова,— сказал Муталиб.— Хоть чем-нибудь быть похожим на отца — большего я не желаю.— И сознался: — Слово я сегодня в классе дал сгоряча. Очень уж надоели мне наши ребята. Особенно этот Джамал. Вечно пристает со своими насмешками. Но я постараюсь оправдать доверие... Я...— Муталиб даже задохнулся от волнения.

— Молодец,— поддержал его Ибрагим.— Я так и знал. И не могло быть иначе. Только такой сын мог родиться у моего друга.

— Я сдержу свое слово,— сказал Муталиб.— Я буду стараться!

* * *

На старой, да еще слепой на левый глаз кобыле Муталиб отправился в горы. Обе бабушки и мать провожали его будто на край света.

Муталиб сердился. Горы — вот они — рукой подать. К чему эти проводы? Ладно, хоть утро было туманным и его позора не видели аульчане. Не то опять начались бы всякие разговоры и насмешки за его спиной.

Сарат и мать плакали, что особенно удручало Муталиба. Ох уж эти женские слезы... Бабка Айшат держалась молодцом, она-то радовалась за внука. Сбылась ее мечта — Муталиб уезжал в горы. Высокая, прямая, Айшат бодро вышагивала за кобылой, и на душе у нее

было спокойно. В отца пошел Муталиб. Чабаном будет. Она торжествовала, с удовольствием вдыхая влажный утренний ветерок, пришедший с гор.

У окраины аула Муталиб остановил лошадь.

— Ну, хватит. Дальние проводы, лишние слезы,— совсем как зрелый мужчина сказал Муталиб, и женщины остановились. Пошли всякие напутствия: «Берегись волков», «Смотри не простудись», «Не пей холодной воды»... Муталиб выслушал все это, чтобы только уж не обижать бабушек и мать. Он все-таки очень любил их. В притороченных к седлу хурджинах были банки с урбачем и халвой, лаваш, сушеные фрукты. Еду, приготовленную для поездки в город, пришлось взять в горы.

— Теперь возвращайтесь,— заторопил их Муталиб, увидев, что от Верхнего источника идут с кувшинами две девушки.

Женщины стали прощаться. Муталиб волновался. Нет, ни за что не успеть ему уехать в горы незамеченным. Посторонние уже близко, а бабка Сарат так и повисла у него на шее. Затем предстояли объятия с матерью и бабушкой Айшат. Пока они вздыхали, пока давали напутствия, девушки подошли совсем близко.

Краешком глаза Муталиб видел, как они толкают друг друга локтями и беззастенчиво хихикают, наблюдая сцену прощания.

— А ну, пошла! — крикнул он лошади и поддал как следует ей по бокам. Он еще раз оглянулся на женщин и помахал рукой. Так, наконец, оторвался Муталиб от родного гнезда — будто яблоко упало с ветки.

Лошадь не спеша шла по дороге. Вот уже и не видно аула. Вокруг только горы да горы. А это где гремит? Да это та самая речка, что рассекает их аул пополам. О, какая она тут широкая и говорливая! Муталиб приостановился на берегу. Лошадь зашла в воду и стала пить. Теперь Муталиб не торопился, куда спешить? Есть такая пословица: «Тише едешь, дальше будешь».

Вообще-то он, наверное, смешон на этой лошади. Лошадь старая, слепая на один глаз. По обеим сторонам топорщатся набитые едой хурджины, длинные ноги свисают почти до самой земли. Муталиб радовался, что, кроме двух девушек, никто не видел его в ауле — а то бы разговоров было на целую неделю... Он даже взял в руки отполированную временем ярлыгу и стал напевать веселую песенку, держа палку так, как мандолину. Ему ка-

залось, что он свободен и счастлив, как птица. Он запел еще громче, и горное эхо вторило ему. До чего хорошо в горах! Но что это? Кто так звонко смеется? Вся его радость улетучилась, слова песни застыли на языке. Рано он дал волю своим чувствам. Выше дороги, на прибрежных гладких валунах стояла Заграт. Возле нее лежала вязанка сухих веток. На раскрасневшееся лицо упали выбившиеся из черных кос пряди кудрявых волос, а серо-зеленые глаза были прозрачны, как горное озеро. Вот неудача так неудача. Заграт всегда нравилась ему. Не было во всей школе девушки лучше нее. Недаром же ее три года подряд избирали секретарем комсомольской организации! Муталиб расстроился — надо же было предстать перед ней в таком неприглядном виде.

— Неужели ты и правда, Муталиб, едешь чабанить? — спросила его Заграт после короткого приветствия.

— Да, — ответил Муталиб.

— А я-то думала, что ты тогда сказал свои слова необдуманно,— подошла к нему Заграт.

«Надо же,— удивился Муталиб,— все мои мысли читает, будто в сердце глянула»,— и решительно ответил:

— Как видишь, что не так...

— Ничего еще пока не видно...— рассмеялась Заграт и закусила ровными, как пиленый сахар, зубами свои румяные губы.

— Ах, чтобы тебе... — вспыхнул Муталиб.

— Вай, бедняга,— сказала Заграт, увидев, что он рассердился, ей стало еще смешнее.— Вот рады будут чабаны, такая подмога им...

Как крылья орла перед полетом, сдвинулись густые брови Муталиба. Как меж дождевых туч молния, сверкнул в карих глазах неукротимый гнев. Он открыл рот, чтобы сказать этой колючке что-нибудь такое, что-нибудь такое... И ничего не сказал — залюбовался ее черными косами, засмотрелся в лицо с яркими, как поспевший абрикос, щеками. В глазах его по-прежнему бушевал огонь, но в нем уже не было пожара обиды. Заграт перестала смеяться.

— Вот теперь ты стал немного похож на мужчину. Тебе идет, когда ты сердишься,— сказала Заграт.

Муталиб ничего не ответил, он только ткнул ногами старую лошадь, и она поняла его — откуда только у нее взялась такая прыть: лошадь рванулась вперед. Она

лихо унесла Муталиба из-под самого носа Заграт, и он очень обрадовался этому. Во всяком случае, он умчался по дороге, как настоящий джигит. Он показал ей, этой зазнайке, что он за человек. Ему еще хотелось оглянуться, чтобы увидеть ее в последний раз, но он этого не сделал. Сразу же за поворотом лошадь пошла своим испытанным, размеренным шагом, а Муталиб отдался воспоминаниям.

...Да. Он всегда был неравнодушен к Заграт. Это началось давно. Однажды он написал ей записку, в которой просил прийти к старому дубу.

К нему приходили все, кто не против был завести хорошую дружбу. Днем под дубом толкались девчонки и мальчишки, а вечером там собирались парни и девушки.

Заграт приходила к дубу, но пряталась в зарослях жасмина. Муталиб тоже сидел за кустами. Так у них ничего и не получилось с дружбой. Очень уж Заграт была насмешливой девчонкой. И училась лучше Муталиба. Нехорошо, когда женщина берет верх,— считал Муталиб.

Одно время он запустил математику, и учитель попросил Заграт помочь ему.

— Ты секретарь комсомольской организации, ты должна выручить Муталиба,— сказал учитель, а она рассмеялась и сказала обидные слова:

— Нет, я не решаюсь. Я ведь могу случайно разбить это золотое яичко. Бабушки Муталиба не простят мне этого.

Вот уж тогда-то Муталиб доказал этой насмешнице, на что он способен. Он быстро подтянул все «хвосты», да и не только по математике — учителя даже удивились его прилежанию. По всему аулу разнеслась весть о его способностях. Бабушки на радостях купили ему в те дни первый костюм.

...Дорога между тем пошла в гору. Она взбиралась на кручу серой узкой лентой. Лошадь будто не замечала подъема, она шла ровным шагом, тем же размеренным и твердым, каким шла по равнине.

— Оказывается, ты берегла силы,— погладил ее по шее Муталиб. Ему стало неловко, ведь он время от времени поколачивал ее ногами, когда ему казалось, что она едва тащится по дороге. Это была умная и выносливая горская лошадь. Дальше дорога пошла по краю такой головокружительной пропасти, что у Муталиба темне-

ло перед глазами, когда он смотрел в открытую пасть ущелья, а лошадь все шла и шла как ни в чем не бывало.

Когда дорога опять завернула в горы, Муталиб снова стал вспоминать Заграт. Как-то весной они ходили всем классом за тюльпанами. Он собрал большой букет. Ему очень хотелось подарить его Заграт, но он не знал, как это сделать. Вечером он положил цветы возле ее калитки. И Заграт взяла их. Муталиб это видел. Он, конечно же, опять прятался за зеленью. Но как сильно колотилось его сердце! Как замирал и боялся, что зашуршат сучки — ведь он был совсем рядом с Заграт. Их разделяли только кусты.

Ему обидно было, что сегодня она опять не нашла добрых слов для него. Такой уж, видать, характер у Заграт. Он еще не знал того, что девушки всегда смеются над теми, за кем замечают слабинку, а уж Заграт-то давно видела, что Муталиб неравнодушен к ней. Отсюда и шли все беды, поэтому-то она и покалывала его острыми словами. Знать бы это Муталибу раньше, он давно нашел бы тропинку к ее сердцу. В ушах его то и дело звучал ее беспечный смех. Вот если бы увидеть ее снова! Почему в жизни не бывает так, как в кино? Там все совсем просто. Захотел — и повторил нужные кадры. Муталиб стал придумывать, что бы он сказал ей у реки, если бы встреча повторилась.

Между тем горы немного расступились. Будто чьи-то могучие руки раздвинули верхушки гор и расстелили между ними зеленый ковер.

С западной стороны долину окружали ветвистые, словно рога тура, горы и скалы. На их вершинах лежал снег, растопить который не хватало сил даже у летнего солнца. С их склонов стекали сверкающие ручьи. Они, соединяясь в конце долины, стекались в буйную речку.

Муталиб засмотрелся на эти ручьи, которые со звонким шумом ниспадали со скал. Эхо разносило голоса ручьев. Муталиб прислушался к этой разноголосой музыке и рассмеялся. Он снова представил себе Заграт. Вот также растекаются по ее спине волосы, когда она расплетает косы. Совсем как ручьи. Он это видел, когда Заграт купалась вечером на их маленькой речке в ауле.

Девушки пришли стайкой. Сели на теплую мураву, и Заграт была лучше всех. Ни у кого не было таких густых волос, никто не смеялся так беспечно и звонко.

Муталиб с удовольствием ехал на своей мудрой старой лошади и вспоминал Заграт. Все ему нравилось вокруг — и серые, зеленые, белые скалы, и высокое солнце над ними. А вот орлиное гнездо. Его даже видно отсюда.

Муталиб изумленно глядел на молодых орлят, которые, оторвавшись от скалы, летали в синем прозрачном небе... «Они привыкли к суровой природе гор! Их крылья терпят жар солнца и зимний холод. Ничто не мешает им парить везде, где только душа пожелает. И на моем пути с этого дня будут только высокие горы и глубокие ущелья. С ними да с этой ярлыгой деда придется мне делиться своими мыслями»,— подумал Муталиб и вдруг испугался. Он почувствовал себя среди этих громадных гор маленькой, не умеющей еще летать птицей. «Сердце нарта должно быть у чабанов, укрощающих эту природу!» — вздохнул он и направил кобылу к кошаре у лобастой высокой скалы.

* * *

— Эй, знатные чабаны Индираха! Хотите посмотреть на чудо,— кричал, смеясь и подражая сказочному глашатаю, молодой чабан Кадил Мухамед, показывая на слезающего с кобылы Муталиба.— Смотрите, наша просьба услышана всевышним, хотя он и далеко от чабанов! На помощь нам идет самый расторопный во всем ауле молодой человек!

Муталиб не удостоил даже и взглядом этого шутника.

«Подумаешь? — решил он про себя.— Пусть себе потешится. Хорошо, говорят, смеется тот, кто смеется последним».

— А может, он с вестью какой-нибудь приехал? — спросил другой чабан.

— С вестью на этой кобыле гонец не приезжает. Видали, и наши волкодавы почуяли в нем будущего чабана. Что-то даже не лают.

— Наверное, собаки узнали, чей это сын,— сказал с доброй улыбкой старший чабан Али.

Это несколько приободрило Муталиба. Али между тем встал и пошел ему навстречу.

— Рад видеть сына знаменитого чабана. Садись. Отдыхай после дороги.

Муталиб стащил с лошади тяжелый хурджин и радушно пригласил чабанов:

— Угощайтесь. Это вам гостинцы от моих бабушек,— и рассмеялся,— не менее знаменитых на весь аул, чем и мой покойный отец. Да будет земля ему пухом.

— А что же ты не прихватил с собой хотя бы одну из них,— пошутил повар Чарахма.— Я так был бы рад уступить им хоть на денек свое место у казана.

— Нет времени для шуток, Чарахма,— перебил его *старший чабан Али.— Кончай толочь чеснок, поджарь хинкал, надо накормить тех, кто работал* в ночную смену.

— Ты хорошо сделал, что выбрал профессию чабана,— снова обратился к Муталибу Али.— Мне тоже другие профессии не нравятся. И мужество в ней есть, и живость. К сожалению, я не могу дать тебе сходу отару, назначу пока помощником Кадил-Мухамеда. У него научись чабанить: и в этой науке есть свои высоты и глубины. Потом, когда освоишься, назначу чабаном.

— Я бы хотел ночным сторожем,— нерешительно попросил Муталиб.— Для начала конечно,— добавил он...

Али погладил свои поседевшие усы, внимательно посмотрел на Муталиба, будто взвешивая его возможности.

— Ты думаешь, что караульщикам легче,— спросил он,— в ливень и в холодный ветер от темна до зари кружить возле отары?.. Сейчас волки такие хитрые стали. Они обвели, что называется, вокруг пальца даже нашего знаменитого чабана Халида, который всю жизнь провел с отарами. Недавно ночью пришел волк и стал бегать перед ним. То появлялся, то скрывался, отвлекая на себя все внимание сторожевых овчарок, прямо как артист. А другой волк за спиной чабана и собак, оказывается, кинулся на отару и вмиг ранил трех овец.

— Не убили его?

— Убили бы, если бы Халид не прозевал.

— Вах! — изумился Муталиб.— На моего отца, тоже рассказывают, однажды напали волки...

— Да, я хорошо помню тот случай,— сказал Али.— В тот день я на стоянке был. Хасбулат был похож на воина, возвращающегося с поля боя... Правда, и на войне он побил немало фашистов. Домой вернулся с пятью орденами и с пулей под лопаткой. На пятый день после возвращения, еще хромая, пришел к отаре в горы, опираясь вот на эту самую ярлыгу, которая сейчас у тебя в руках. Председатель колхоза предложил ему

должность заведующего фермой — да где там, Хасбулат сказал, что профессию чабана не променяет ни на какую другую работу.

Повар Чарахма между тем достал все, что было в хурджинах Муталиба, и разместил около блюда, на котором лежал хинкал и вареное мясо. Чабаны сели на расстеленные бурки.

Вкуснее бабушкиных пирогов и материнского плова показался Муталибу чабанский хинкал. И к тому же здесь, на свежем воздухе, в горах, все было очень аппетитным. Даже вода в жестяной кружке казалась молодым виноградным вином.

Надо отдать должное Чарахме — хорошо он готовил хинкал. У него был свой рецепт: для особого вкуса к тесту он добавлял ячмень и черные бобы. А баранина у него получалась сочная и душистая.

— Здесь в горах работают настоящие мужчины, и их надо кормить таким мясом, которое не только имеет аромат, но и дает силу, — приговаривал повар, подавая еду чабанам.

— Что ты грызешь косточку, на-ка возьми вот это,— сказал Али и протянул Муталибу жирный кусок.

— Дядя Али,— съязвил Кадил-Мухамед,— как бы у него не расстроился желудок от нашей еды? Ведь он воспитан на бабушкиных распаренных курах.

— Привыкнет,— ответил тот.— А ты забыл, как сам в прошлом году бегал за серую скалу?

— Да, было дело,— почесал затылок Кадил-Мухамед, и все засмеялись.

— Так ведь меня не провожали из дому с полными хурджинами,— стал оправдываться Кадил-Мухамед.

Но Муталиб не стал пререкаться с задирой, тем более что в разговор вступил Али.

— А ведь раньше чабаны считались самыми бедными, им даже садак[1] подавали. Мой отец рассказывал, что появление кунака в стоянке для чабанов иногда оборачивалось бедой. Не знали, чем накормить его. Они готовили хинкалы в одном котле, и на всех были отметки, как на баранах. Каждый делал их из своей муки — один три, другой два хинкала. Вот и смотрят, бывало, как бы не дать кунаку чужой хинкал, ведь из-за этого могла разгореться настоящая ссора. Муки-то было мало у чаба-

[1] Милостыня.

нов. Хозяева ох как притесняли бедняков. С них удерживали и за бурку, и за обувь, и за убитого волком или павшего от холода барана. Бывало, чабан оказывался еще и в долгу у хозяина.

Слушая Али, Муталиб вспомнил рассказ бабушки Айшат, как ее муж, а его дед начал чабанить еще мальчиком. От тяжелой рабаты и недоедания он стал хиреть. Тогда чабаны впервые зароптали. Они вызвали хозяина, и тот, осмотрев маленького чабана, убедился, что пастухи говорят правду. Мальчик подавал надежду — кость у него была крепкая, широкая, мышцы тугие. И хозяин, испугавшись бунта, выдал им кукурузной муки... но только на неделю.

«Если их слушать, то завтра они потребуют хинкал из пшеничной муки»,— завопили другие богатеи, и хозяин отменил свое распоряжение.

«Вот какие были времена,— думал Муталиб.— А сейчас. У кого в селе самый лучший дом? У чабана. У кого каждый день такая хорошая еда? У чабана. Только труд у него тяжелый».

И он стал вспоминать, как отец всегда с тоской смотрел в сторону гор. Почему? Наверное, ему нравился этот труд, наверное, он любил вот эти костры, эту неторопливую беседу, когда каждое слово почему-то особенно волнует и запоминается.

«Стану ли я когда-нибудь так любить дело чабана?» — спрашивал себя Муталиб и присматривался к Кадил-Мухамеду. Тот был на два года старше его. В прошлом году он окончил десять классов и убежал в горы, потому что родители хотели, чтобы он учился в педагогическом институте. А теперь он как равный, сидит среди чабанов. Ему как взрослому джигиту уже доверили отару. И Муталиб даже немного позавидовал ему.

Но какое разочарование ждало Муталиба, когда они стали ложиться спать! Матрас был настолько жестким, что он даже расстроился.

— Можно обойтись без ваты и перьев,— заворчал Муталиб, трогая тюфяк,— но хотя бы набили его мхом. Как же вы спите на таких постелях? Да это все равно что лечь на камни.

— Чем тверже постель, тем слаще сон,— отозвался Кадил-Мухамед и, опустив голову на подушку, тут же захрапел. А он вертелся с бока на бок и сна не было ни в одном глазу. Сухие стебли трав лезли из матраса и коло-

лись как иголки, а подушка становилась почему-то все меньше и неудобнее.

И он с тоской стал вспоминать свои пуховые подушки и матрас на мягком диване. Когда теперь удастся поспать дома?..

Забылся Муталиб только под утро. Даже во сне тревожил его холодный ветер, который шел из открытой двери полевого вагончика. И приснилось ему, будто к нему подходит мать, а в руках у нее сложенное вчетверо одеяло.

«Тебе, наверное, холодно, мой дорогой, мой единственный»,— склонилась она над ним. И тут же появились обе бабушки. «Как же им не стыдно класть под твою умную голову эти камни вместо подушки»,— ужасались горянки. И они кинулись «спасать его». Бабушка Сарат откуда-то тащит огромную пуховую подушку, бабушка Айшат подходит с овчинным полушубком и укрывает ему ноги.

Только Муталиб пригрелся, вдруг кто-то сильными руками затряс его, как дерево, на котором поспели абрикосы. Он испуганно открыл глаза и увидел уже одетого Кадил-Мухамеда.

— Что? Где мы?

— В Гудермесе,— весело ответил тот.— Приехали. Вставай, помощник.

Но нет, Муталиб не поднял головы, он еще качался на качелях сна. Пробурчал, чтобы оставили его в покое, и повернулся на другой бок.

— Сейчас ты у меня встанешь! — Кадил-Мухамед кинулся было за кувшином. Но старший чабан удержал его.

— Оставь. Желание работать, вызванное чужой волей, быстро проходит. Пусть сам привыкает.

— Привыкнет ли?

— Думаю, да. У него отец был чабаном — а это передается по крови.

— Не все ростки на дереве похожи,— вмешался в разговор повар.

— Ну, тогда отправим его домой, а для Кадил-Мухамеда найдем другого помощника. Никто ничего не потеряет. Это я вам обещаю.

Было ясное, теплое утро. Все сели завтракать. Чарахма положил каждому чабану в торбу мясо и хинкал на обед, чтобы можно было поесть как следует в полдень.

— А что делать с новеньким? — спросил кашевар.

— Пусть спит.

— А как насчет завтрака?

— Кто не работает, тот не ест,— усмехнулся Али.— Разве ты этого не знаешь?

Через несколько минут стоянка опустела. Чабаны с отарами ушли на пастбища. Заснули овчарки, которые всю ночь стерегли стадо. Теперь им можно было понежиться и отдохнуть в тенечке. Над серединой Седла-горы выкатилось красное солнце. Оно сверкало, будто его обмакнули в золото. Высоко в поднебесье уходила гора своей верхушкой, которая и правда напоминала седло.

Тени стали совсем короткими, время близилось к полудню, когда Муталиб, наконец, проснулся.

Сначала он растерялся: ведь только что он лежал на мягком диване дома и с нетерпением ждал бабушку с горячими мясными пирогами. Он даже слышал, как они жарились на сковороде, и ноздри его ощущали острый запах сочных трав, которые добавлялись в свежее мясо.

«Иях! Значит, дома я был во сне»,— огляделся он по сторонам. На стене вагончика висят шубы, ружья, кожаные сумки, а снаружи стоят новые чарыки, из которых выглядывает мох. Еще с вечера старший чабан Али вручил ему эти чарыки, бурку и башлык.

Бурка висит над головой. А поверх нее — пустые хурджины, вчера еще доверху полные едой. Чего только туда не положили бабушки: вплоть до очищенных абрикосовых косточек и семян конопли. «Когда будешь скучать у отары, полакомишься»,— сказали они, укладывая семена приготовленные ранее для халвы.

Прибыв в горы, он вручил хурджины повару, и тот опорожнил их перед чабанами, вернувшимися с пастбища. Улыбка старшего чабана Али сказала ему, что он и все остальные чабаны довольны его поступком. Ему вспомнилось, как говорил его отец: радость, горе, голод и сытость — все у чабанов общее.

Он поднялся и вдруг почувствовал, что страшно голоден. «Видно, свежий горный воздух и родниковая вода так действуют на человека»,— подумал он и направился к шалашу, где помещалась чабанская кухня. От очага шел вкусный запах вареного мяса и свежего хлеба. Но в котлах и мисках было пусто. В дверях шалаша стояла серая овчарка, как бы ожидая, что он и ее угостит чем-нибудь. Она тихо повизгивала, но дальше порога входить не смела.

— Ты тоже хочешь есть? — спросил Муталиб, разжалобившись от выражения мягкой просьбы в глазах собаки. — Небось новенькая или тоже проспала, раз голодная. Надо потерпеть до возвращения кашевара, не могу найти еду...— И он сел у порога в ожидании Чарахмы. Рядом вытянулась овчарка.

Вскоре он увидел повара, идущего с полными ведрами.

— Доброе утро, парень! Выспался ли? А то я гляжу что-то рано поднялся? — В хитрых глазах Чарахмы стоял смех.

— Не мог заснуть до рассвета, такая мягкая была постель,— огрызнулся Муталиб.

— Через месяц она покажется тебе мягче пуха.

— Ладно, там увидим! Где мой завтрак?

— Вах! Ты голоден? — изобразил удивление повар.— Старший сказал: когда не работаешь, то и аппетит пропадает. Может, это правда, а может, нет. Но его слово в горах закон.

Муталибу все стало ясно. Теперь надо было сохранить чувство собственного достоинства. Он выпрямился и гордо вышел из шалаша.

— Может, дать кусок хлеба? — выглянул вслед за ним Чарахма.

— Нет, спасибо. По правде говоря, я еще никак не опомнюсь от твоего вчерашнего хинкала. Вкусно готовишь.— От досады хотел отбросить ногой стоявшую у порога кастрюлю, но удержался и пошел в сторону равнины.

— Вечером я буду жарить шашлыки, такие, которые не снились ни твоим бабушкам, ни известному на весь Дагестан повару Магомеду из Аруха,— подобрел от похвалы Чарахма. И посоветовал: — Ладно, уж раз так получилось, потерпи до шашлыков, но смотри, чтобы ты не съел с ними пальцы.— Постой, куда же ты? Я должен тебе передать приказ Кадил-Мухамеда.

— Это какой же приказ? — остановился Муталиб.

— В загоне за холмом больные овцы. Скоро полдень, их надо покормить.

Муталиб, ничего не ответив, направился к загону.

— Скоро и старшóй должен возвратиться,— крикнул вслед ему Чарахма.— На вид он мягкий, как сыр, а станешь кусать, окажется твердым, как камень...

«Неужели чабаны такие злые? — Подумал Мута-

либ.— В первый же день оставили меня голодным. Вдобавок еще ухаживай за больными овцами...»

Как только он открыл калитку в загон, навстречу ему бросились овцы и тощий хромой козел. Овцы стали обнюхивать, они тыкались в его руки, ища что-нибудь съедобное.

Муталиб рассмеялся и потрепал козла по облезлой спине.

— Хоть я и пришел к вам с пустыми руками, но вы травы сейчас наедитесь, а мне до ужина терпеть,— объяснил обстановку своим подопечным Муталиб, и ему опять стало грустно. Он стоял среди этих «инвалидов», как он назвал их про себя, и не знал, что с ними делать. У одной овцы за ухом была глубокая ранка, у другой поврежден глаз.

В загон вошел Чарахма.

— Жалкая же отара досталась мне!

— Э, парень не скажи! Тут у каждого своя богатая история и удивительные приключения,— ответил Чарахма, не обращая внимания на обиду Муталиба.— Видишь овцу, у которой оперировали глаз? Колхоз насчитывает больше ста овец ее племени. Как и она, ее дети приносят по четыре ягненка. А взгляни на белого козла, с острыми, как сабля, рогами.

Козел же, словно понимая, что разговор идет о нем высоко поднял голову со скрещенными рогами. «Я,— будто хотел он поведать,— немало волков припугнул. Правда, я тогда был молодой да красивый, вся отара смирно стояла передо мною».

— Какой гордый!— улыбнулся Муталиб.

— Не смейся, у него полное право гордиться собой. Он два года был вожаком отары, первым помощником чабана. А когда осенью на зимние пастбища кочевали, на полях Аркасцев на отару напали волки. Так ты думаешь, вожак испугался их? Он бросился за волком, который схватил овцу, догнал его, окаянного, да еще поддал ему рогами! Но на козла напали еще два волка. Он стал сражаться с ними не на жизнь, а на смерть. Одного ранил так, что тот больше не поднялся, однако и ему конечно же, досталось крепко. С тех пор он и хромает. А уж какой ты вожак, если слаб на ноги? Вот и вышел наш козел на пенсию. На заслуженную,— подчеркнул это обстоятельство Чарахма.— Ничего, храбрец,— потрепал Чарахма козла за уши.— В жизни всякое бывает.

Что поделаешь? Лишь бы не было позади такого, из-за чего совесть не чиста. Об остальных я тебе потом расскажу,— заторопился вдруг Чарахма.— А теперь времени нет. И так сегодня припозднились выгнать их на пастбище.

— Я сейчас...— засуетился было Муталиб.

— Постой, постой! Вон там в углу загона аптечка. Надо взять лекарство и смазать им ранки да переменить повязку на ноге козла.

Чарахма ушел, а Муталиб принялся за дело. Он взял из аптечки пузырек и открыл его. В нос ударил резкий запах. «Фу, гадость какая»,— подумал Муталиб и, густо смочив вату этим раствором, подошел к овце. Схватив ее за шею, он стал крепко тереть ей больное место. Овца сначала жалобно заблеяла, а потом стала бешено рваться из его рук.

— Ах ты, такая-рассякая! Я же тебя лечу... — кричал на нее Муталиб, но овца не успокоилась, пока он ее не отпустил.

Злясь на «неблагодарную пациентку», он неосторожно схватил флакон, и жидкость брызнула ему на руку. Острая боль обожгла пальцы, рефлексивно он отшвырнул лекарство и заметался по загону, тряся рукой и проклиная всех и все на свете.

Овцы разбежались в стороны, только козел стоял на том же месте и с укором смотрел на него, будто хотел сказать: «Ох, юноша! Какой же ты слабый! Ты еще не встречал ни бурана, ни волков, а уже взываешь к небесам только потому, что немного пролил на пальцы лекарство, которым каждый день смазывают нам шеи и бока. Как это не подобает мужчине».

Пальцы все еще горели, но он уже успокоился и присел на корточки возле изгороди. Овцы тут же обступили его.

— Ну, чего вылупились? — закричал он в сердцах и толкнул ногой ворота.

— Марш, марш на пастбище!

* * *

Пощипывая густую траву, тихо двигалась маленькая отара больных овец. А бывший вожак, хромой козел, забравшись на камень, некогда оторвавшийся от скалы и упавший на цветочное поле, поглядывал по сторонам.

Охранял ли он свое беспомощное стадо от нападения волков, или завидовал молодому козлу-командиру, который пасся во главе отары далеко, на зеленом склоне горы? Отара разбрелась по полю, и овцы стали похожи на рассыпанную из хурджина бруснику. Вот это действительно была отара! В ней насчитывалось не меньше тысячи овец.

«Какой счастливец пасет их?» — думал Муталиб, глядя вдаль из-под руки. И ему стало так обидно, что приходится возиться с этими жалкими «пенсионерами». К тому же никогда раньше не испытанное чувство голода очень мучило его. «Разве я железный, чтобы стоять тут под палящим солнцем с пустым желудком?» — жалел себя Муталиб. В конце концов он решил, что его «инвалиды» никуда не денутся, и, расстелив бурку в короткой тени от камня, он прилег.

Пригревало солнышко. Жужжали комары и пчелы. В плечо Муталибу ударился тяжелый шмель и тут же снова сердито загудел, оправил прозрачные крылья, полетел дальше. Муталиб засмотрелся на него, задумался. Возможно, шмель улетит в аул... Что там поделывает сейчас гордая насмешница Заграт? И он представил ее себе — высокую, стройную, с черными косами. Чтобы отвлечься от этих мыслей, он стал бездумно смотреть на белые тучки, похожие на оторванные куски от белой барашковой шубы. Потом залюбовался неизвестно откуда прилетевшими и парящими над землей орлами. О, это были настоящие короли неба! Загребая крыльями воздух, один из них опустился совсем низко. Муталиб даже увидел его когти, приготовленные схватить добычу, как клещами загнутый клюв, оставляющий рану везде, куда ударит, и острые, как пули, глаза, стреляющие в землю! Даже полевая мышь, которая высунулась было из норки, тут же притаилась, испугавшись проплывающей мимо тени орла.

«Чего он хочет? — попытался угадать Муталиб. — Может, просто возвращается с охоты и будет отдыхать на той скале, что сверкает под ним белизной своих уступов?» Красивым был орел. Сильным.

«Да уж не собирается ли он схватить овцу из моей отары?» — забеспокоился вдруг юноша. Он встал и, приложив руку козырьком ко лбу, огляделся. Овец не было. Где-то далеко-далеко паслась отара Кадил-Мухамеда, а его овцы словно сквозь землю провалились.

Муталиб испугался. Не знающий повадок овец, он бросился в ту сторону, куда в этот миг камнем упал орел. Там был овраг, скрытый кустарником. Муталиб бежал следом, но не успел он опомниться, как орел уже поднялся в небо, держа в когтях фазана. Погрозив ему кулаком, он побежал дальше. Вот показался овраг, и в том углу, где рос густой камыш да зелень, заметил своих «пенсионеров». Как он обрадовался им! Даже облезлый козел показался ему симпатичным. Старый вожак спокойно пас стадо. Его гордая голова торчала из камышей, как изваяние. Овцы спокойно пили воду из шумного ручья, что бежал по дну оврага. И каждая из них, утолив жажду, скрывалась в тени.

Муталиб покрепче сжал в руке ярлыгу и пошел к отаре. Ему что-то стало неспокойно. Он много раз слышал, что овраги — место опасное. Там не советовали пасти овец. Почему — этого он не знал, но смутно помнил рассказы чабанов о коварстве оврагов. То в них разливались вдруг ни с того ни с сего ручьи, то обсыпались склоны. Одним словом, он решил увести овец на открытое место. Тем более что подопечные у него слабые, немощные — мало ли чего может с ними случиться, а потом отвечай за них?

Сделать это оказалось нелегко. Как он ни бил ярлыгой, как ни кричал, как ни упрашивал овец, ничто не влияло на это племя. Нисколько не стыдясь, овцы смотрят в глаза и будто говорят: «Ты почему кричишь, молодой человек? Нам не нравится такое обращение. Как бы ты ни старался, мы не сдвинемся с этого места».

«Что же делать с этими дурными животными? — вытирал со лба пот Муталиб. Он порядком устал.— Ничего себе началась моя чабанская деятельность»,— жалел он себя.

Ты-то хоть зачем так уперся? А еще вожак,— укорял он козла. А тот упрямо держал голову и сердито смотрел на него. В глазах вожака было такое выражение, будто он хотел сказать Муталибу: «Видал я таких крикунов. Раз не умеешь обращаться с нашим братом, то иди отдохни, а этих баранов я постерегу сам или ты не доверяешь старому козлу?»

В конце-концов Муталиб схватил козла за рога и стал тащить его из тени. Козел был сильный. Он будто прирос к земле — уперся, и ни шагу.

Уж Муталиб и так его тащил, и эдак — не поддается старик.

В довершение всех бед Муталиб услышал голос кашевара.

— Послушай, дружок,— сказал тот, когда Муталиб обернулся,— козел не пойдет за тобой, если ты не дашь ему кусок сахару,— объяснил ситуацию Чарахма.— Кадил-Мухамед приучил этого «хромого Ражбадина» к сахару. Кадил считает, что сладости тонизируют. Заставляют мозги веселее работать. А это все-таки вожак, ему, понимаешь ли, соображать надо. Нет. И не старайся. Без сахару ни шагу не сделает старый разбойник,— сказал Чарахма, набирая в кувшин воду из ручья.

Муталиб удивился, что Чарахма называет козла Ражбадином, так звали героя народной аварской сказки. Не слишком ли это большая честь для хромого козла? И где же он возьмет для этого самого Ражбадина кусок сахару? Он и сам с удовольствием съел бы сейчас пару кусков.

Чарахма будто понял мысли Муталиба. Особенно последнюю. Он достал из кармана кусок сахару и протянул Муталибу. И что же? Козел, разумеется, тут же сдвинулся с места, за козлом потянулись и овцы.

«Наверное, это и правда. Сахар действительно обостряет ум. Вот и Махсут считал, что от него становишься умнее, недаром во время экзаменов всем известный Махсут, любитель всяких железок, был страшный сластена. Надо бы это взять на вооружение...— заключил Муталиб.— Буду-ка и я есть побольше сахару».

Овец он загнал в загон. Ему было безразлично — хотят они еще попастись или нет. Наелись они в овраге травы, не наелись? Какая разница? Он уже видеть не мог этих овец. Так они ему надоели. «Попас немного и хватит»,— решил Муталиб. Он с удовольствием постелил за стенкой загона свою бурку и улегся.

«Когда же обед-то будет? — злился он. Хорошие друзья у отца, ничего не скажешь. Теперь Кадил-Мухамед, наверное, жирный кусок мяса держит в руках, а у меня в желудке пусто»,— он распустил шнурки на чарыках и отставил их в сторону. За два часа они натерли ему ноги до мозолей. Даже в ауле отец носил чарыки, считая их удобными. Какое там удобство! Хоть босиком иди. «Да,

мало веселого в жизни чабана»,— горестно вздохнул он. Тепло было на солнышке. И быстрый, крепкий, сон сморил его, как ягненка.

* * *

К вечеру с пастбищ вернулись отары, чабаны тоже пришли на стоянку. А Кадил-Мухамед пошел в загон навестить больных и старых овец, которых он оставил на попеченье своего нового помощника. Увидев их с подтянутыми животами, он поднял крик.

— Куда делся этот ленивый Муталиб? Заморил овец голодом. Ни одну рану не смазал лекарством.

— Я пас их до обеда... Лекарство обожгло мне руки,— оправдывался новичок.

— Он пас до обеда! — рассмеялись чабаны.— Сколько осталось до полудня, когда ты встал?

Али, нахмурив косматые брови, молчал.

Не нравилось ему все это. Он понимал, что Муталиб еще молодой, что не каждый может вот так, сразу, стать настоящим чабаном, но очень уж раздражал всех юноша. Ну, ладно, Али простил бы человеку какую-то оплошность. Предположим, забыл чего-то сделать новичок или на что-то не хватило у него сил, но тут налицо была самая настоящая лень, неорганизованность. Нет, видно, и правда говорят, что на сливовом дереве все сливы разные. Зря он, наверное, понадеялся, что Муталиб будет достойным сыном своего отца. Пока это не заметно.

Наступил вечер. Чабаны занялись своими личными делами. Кадил-Мухамед уткнулся в задачник по физике, хочет осенью поступить на заочное отделение в институт. Али зашивает рубаху, а Муталиб так, без всякого интереса, перелистывает журнал. Засмотрелся на киноактрису. Вроде бы показалась она ему похожей чем-то на Заграт. А вот чем? Улыбкой? Глазами? Пока Муталиб смотрел журнал, начало темнеть. В сумерки особенно хорошо в горах. Древние вершины гор становятся необыкновенно величавыми. Тихо мерцают вдали их снежные вершины. На стоянке слышен только редкий ленивый лай собак да негромкий говор чабанов. Повар готовит ужин. Ох, уж этот ужин! Муталиб делает вид, будто ему и ни к чему все это — и стук ножа о казан, и вкусные запахи, которые разносятся от шашлыков. Чарахма готовит их на мангале, вкопанном в землю. Держит над пылающими

углями шампуры с молодым мясом, с которого стекает сок. Запах от шашлыков такой, что кажется, умирающий встанет и подойдет к мангалу, чтобы хоть в последний раз насладиться искусством Чарахмы.

Муталиб даже спиной чувствовал, что приготовление шашлыков подходит к концу. Он улавливал каждое движение Чарахмы, слышал каждый вздох. Даже не оборачиваясь, Муталиб понял, что он пошел накрывать на стол. Этот стол, срубленный из грубых досок, ушедший острыми деревянными ногами в землю, был сегодня для Муталиба тайным другом.

Еще бы. Сейчас Чарахма положит на него теплый хлеб, консервную банку, приспособленную для соли, и... будьте любезны. Можно начинать ужин.

Наконец, чабаны пошли садиться за стол. И как уж долгось копались — мыли руки, разговаривали, смотрели на небо, чтобы определить, какая завтра будет погода.

Муталиб решил немного выждать. Самую малость. Он был так голоден, что даже оробел. Ведь еще ни разу в жизни не испытывал он такого мучения.

Кашевар поставил на стол огромный поднос, на котором шипели и скворчали душистые шашлыки.

Али позвал Муталиба, и тот уже было встал, чтобы подойти к заветному столу, как вездесущий Кадил-Мухамед заставил его приостановиться.

— Муталиб больше всех заслужил сегодня хороший шашлык. Он прекрасно отдохнул, долго спал, как на высокогорном курорте. Быстрее иди к столу, для тебя приготовлены самые лучшие куски. Я отложил их отдельно, как курортнику.

Муталиб вспыхнул.

— Оставь это мясо себе, — не сказал, а почти крикнул Муталиб.— И... и подавись!

Муталиб круто повернулся и пошел в вагончик. Там он лег на свой матрас и до боли закусил губы.

— Напрасно ты его так... — покачал головой Чарахма. Кадил только рассмеялся, но все нахмурились.

— Муталиб, не слушай никого, иди ужинать, — еще раз позвал Али, но Муталиб даже не шевельнулся. В нем кипела обида.

— Ого,— улыбнулся повар.— Клянусь вам, мне нравится этот мальчишка. Он умеет не только спать, но и сердиться! Из него обязательно выйдет настоящий чабан, попомните мое слово. Как я вижу, это действительно сын

своего отца, а вы говорите, что его называют «бабушкино яичко».

Муталиб не слышал слов Чарахмы. Теперь он потерял всякий интерес к тем, кто окружал его. Он думал о том, как завтра, да, завтра рано утром уйдет отсюда. Встанет и пойдет по тропе вниз. Он даже видел сейчас эту тропу. Бежит, спускается вниз. На тропе мелкие белые камешки, края ее кудрявятся травой.

И пойдет он по этой тропе сначала не спеша, а потом прибавит шагу. И все. И кончено с чабанством. Зачем ему сидеть тут голодным, зачем торчать перед хромыми овцами на солнцепеке? Да что он, не сможет разве заняться чем-то другим? Займется! Да еще как!

Муталиб стал мечтать о том совсем близком времени, когда он уедет на Север и станет знаменитым полярником.

«Хотя нет, нет...— немного приостановил он бег своих мечтаний. — Была охота мерзнуть... Сидеть во льдах. Лучше он станет музыкантом. Это годится. Он уже и теперь отлично играет на зурне. Это мастерство передал ему отец. Ну кто в ауле сможет сыграть как он. Да никто. И это он еще нигде не учился играть. А если поедет в Махачкалу? Если поступит в музыкальное училище?»

И Муталиб уже видел себя на сцене в шелковой красной рубахе, в плисовых штанах. Его показывают по телевидению, он едет выступать в Москву, в Ленинград, в Париж... Вот тогда все эти чабаны схватятся за голову, тогда они будут говорить...

— Да, мы знакомы с ним. Это наш Муталиб. Он был у нас чабаном.

После этих фантазий Муталибу стало полегче, и он опустился в своих мечтаниях ближе к дому. В долину.

«Хорошо бы сейчас посидеть на террасе», — подумал он. Ему уже представилось, как мать несет ему только что вынутый из печи хлеб. Это была не просто буханка хлеба, а настоящая луна с неба, — до того она была желтая от масла и яиц, до того круглая и светлая.

Еще Муталиб вспомнил, какие чебуреки делает бабушка Сарат с начинкой из дикого лука и свежего творога. И отец очень любил эти чебуреки. Бывало, как только спускается он с гор, в доме сейчас же их готовят. Бабушка добавляет в них мелкие куски старого прошлогоднего бараньего сала. Это для особого запаха и вкуса. Правда, Муталиб всегда выковыривал из творога это сало, но так

продолжалось до тех пор, пока отец как-то не сказал:

— И что же ты за джигит, сынок, если выбрасываешь сало? Мужчина должен употреблять его, чтобы быть сильным, как горный тур.

С тех пор Муталиб ест сало. И что удивительно — с удовольствием.

Так лежал и думал обо всем Муталиб, пока не пришел в вагончик Кадил-Мухамед и все не испортил. Он долго укладывался спать и этим раздражал Муталиба, когда же он, наконец, улегся, началась та мука, которую Муталиб раньше не представлял себе. Кадил сразу же захрапел. О-о-о... Это было нестерпимо. Он храпел так, будто горячий суп ел. Сначала он причмокивал, потом будто дул на дымящуюся тарелку, а после этого захлебывался.

Муталибу так и хотелось придавить его подушкой. Сон совсем отошел от него. Он уж принялся считать, чтобы хоть как-то забыться.

Поднялся Муталиб засветло, пока все еще спали. Голова была тяжелой. Есть хотелось до смерти.

Торопливо плеснув на лицо холодной водой, решив оставить навсегда эту горную стоянку, Муталиб вышел из чабанского вагончика и увидел, что день будет солнечный, ясный. От туч, которые ночью покрывали все небо, остались разрозненные одинокие облака, разбросанные, как овцы, оторвавшиеся от стада.

Раннее утро сверкало многообразными красками: горы были серыми и синевато-голубыми, долина зеленой, цветы пестрели такой радугой, что на них нельзя было смотреть равнодушно, но Муталиб остался безразличным к этому великолепию. Он безучастно огляделся и сказал себе:

— Нет уж, пусть чабанит этот выскочка Кадил-Мухамед. С меня хватит.

Но вот что странно — втайне он завидовал Кадилу. Ему нравилось, как свободно ведет он себя с другими чабанами и как те его внимательно слушают. Как независимо держится, когда идет за отарой или когда сидит за столом вместе со всеми.

И ведь хорошо все это у него получается! За отарой идет, как полководец. С Али разговаривает, как ровесник, и не стесняется давать старшим советы...

Вот бы Муталибу научиться этому! Да где там! Может, Кадил родился чабаном. Есть в нем что-то основательное.

«Нет уж, — вздохнул Муталиб, — уходить так уходить». Он подхватил свои пустые хурджины и пошел затерянной тропой, которая была в стороне от чабанской стоянки. И вдруг он увидел Чарахму.

— Вот так незадача... — разочарованно почесал затылок Муталиб.

Как зайцу навстречу попадается волк, так и кашевар шел навстречу Муталибу, будь он трижды неладен.

— Куда это ты? — удивился повар. В руках у него был большой бидон с молоком, за которым он ходил на ферму. Если бы знать такое, можно было бы и отсидеться за постройками или хотя бы нырнуть в барбарисовые кусты.

— Хочу набрать травы больным овцам,— нашелся Муталиб и преспокойно зашагал дальше. Чарахма поставил бидон на траву и посмотрел ему вслед.

— Смотри, смотри... — усмехнулся беглец и прибавил шагу. В конце концов кашевар махнул рукой и пошел дальше.

«Так-то оно и лучше»,— обрадовался Муталиб, когда оглянулся и увидел согнутую под тяжестью бидона спину повара. На душе у него стало легко, он пошел еще быстрее — очень уж ему не хотелось никого больше видеть. Тропа пересекла долину и устремилась вниз, к ущелью. Муталиб вздохнул свободно, сел на камень, не спеша разулся. Теперь можно было и не торопиться. Он понежился немного на солнышке, потом перебросил через плечо связанные шнурками чарыки и пошел дальше.

Вот начинаются скалы, вот уже слышно, как гремит и грохочет внизу река. Очень все-таки красиво в горах... Муталиб стал мечтать о том, как он хорошо поест сегодня дома, и так увлекся своими мыслями, что даже не заметил, как от реки поднялся ему навстречу отец Заграт, всеми уважаемый чабан Иманали. Высокий, смуглый, с добрыми глазами и пушистыми черными усами. Иманали появился перед Муталибом так неожиданно, что тот даже растерялся.

— Вах! Салям, Муталиб! Салям, сын моего друга! — сказал Иманали, не обращая внимания на его смущение. — Не меня ли встречаешь? Вот спасибо, дружок,— и он отдал повод коня Муталибу. Иманали десять дней провел в Москве. Там была встреча героев, которые в Великую Отечественную войну были награждены орденами Славы трех степеней.

Иманали на стоянке уже ждали, о нем часто и много говорили. Особенно поджидал его старший чабан Али, который все эти дни пас отару Иманали.

— Ну и воздух у нас! — радовался между тем Иманали.— Не-ет... Лучше наших мест, сынок, честное слово, не бывает на свете. А уж я если и уезжаю куда, так только и думаю об этих горах.

Иманали и Муталиб медленно шли обратно. Случилось так, что Муталиб забыл все на свете, как только увидел отца Заграт. У него были совсем такие же, как у Заграт, глаза. С лукавинкой. Большие. Серо-зеленые. Он шел рядом с ним, как послушная тень. У него было такое чувство, будто ему подарили что-то очень хорошее. Иманали между тем спрашивал:

— Как бабушки? Здорова ли мама? — Ему, в кои-то веки радостно было отвечать на эти вопросы. Наконец-то над ним не смеялись, не подтрунивали, и он говорил с Иманали о дорогих ему людях с облегчением. А дальше разговор стал еще приятнее.

— Прямо скажу, — улыбнулся Иманали, — когда дочка рассказала, что ты решил стать чабаном и при всех гордо об этом заявил, да не только заявил, но и вчера поехал в горы, то я обрадовался. Как не радоваться, когда около меня все время будет сын Хасбулата! — Они медленно поднимались в гору, и Муталиб подставил лицо солнцу. Оно уже взошло, и лучи его были теплыми, как слова Иманали.

— Как тебе идет ярлыга отца! — чуть приостановился Иманали, любуясь Муталибом. — А когда ты накинешь на плечи бурку, наденешь косматую папаху из целой овчины, обуешь чарыки и встанешь перед отарой, наверное, мне покажется, что я вижу Хасбулата, — взмахнул руками Иманали. Он так разволновался, что сел в тени высокого развесистого дерева.

— Привяжи коня, сынок, — попросил Иманали, —что-то устал я. Да и торопиться нам с тобой некуда. Дела не уйдут, а вижу я, что надо нам поговорить.

Муталиб покраснел. Он понял, что Иманали догадался обо всем.

— Да,— опустил он голову.— Я хотел уйти отсюда. — И от признания ему стало легко и спокойно. — Мне показалось, что я не смогу стать чабаном, дядя Иманали.

— А ты расскажи мне, как было дело.

И Муталиб поведал ему все: и как проспал, и как пас больных овец, и как остался голодным со вчерашнего дня.— И-е...— расстроился Иманали.— Достань-ка из моего хурджина сверток,— велел Иманали. Муталиб покраснел еще жарче и подал Иманали завернутое в бумагу чудо [1].

— Ешь, сынок,— сказал чабан.— А я посмотрю коня...

Ах, эти чудо! Каждое побольше мужской ладони. А какая в них начинка! В этих была черная фасоль, и в ней угадывался запах тмина. Муталиб даже зажмурился, вдыхая этот аромат. Он ел быстро, торопливо, как ест овца первую траву.

«Интересно,— улыбнулся Муталиб,— может, их приготовила Заграт? Вот посмотрела бы она сейчас, как я набросился на них!» И от этой мысли ему совсем стало весело. Красивая, насмешливая Заграт... Что бы она сейчас сказала ему, беглецу, который поедает ее чуда?

Иманали повозился с лошадью несколько минут и подсел к Муталибу. Тоже взял чудо. За компанию. Теперь Муталиб уже утолил голод и ел не спеша, как подобает гостю, которого пригласили отобедать. Чудо было еще много. Муталиб принес кружку воды из родника. Их тут было множество. Они так и точили скалы, так и смотрели в небо синими глазами. Иманали и Муталиб по очереди отпивали из кружки, касаясь друг друга локтями. И это наполняло его радостью. Так было только с отцом. И Муталиб живо представил себе, как они сидели с отцом под тополем. Отец любил отдохнуть в его прохладной, душистой тени. Это их тополь. На нем зарубки, показывающие, каким Муталиб был, когда ему исполнялось год, два, потом три... Дальше зарубки подскакивали все выше и выше. Муталиб рос быстро, и отец смеялся:

— Смотри, сынок, ты скоро обгонишь свой тополь! — И как светились тогда его глаза, как тепло смотрел он на Муталиба.

И еще воспоминание: отец только что вернулся с гор. Он стоит посреди комнаты. Бурка его припорошена снегом. На плечах — снег. На спине — снег. И пахнет от отца радугой, сугробами. Муталиб подходит к нему и смотрит, запрокинув голову. Он еще маленький, а отец такой большой, как горный утес. Отец подхватывает его тепло-

[1] Пирожок, начиненный фасолью или тыквой.

го, мягкого, и подбрасывает вверх. Ах, как это славно! И тут же появляется мать, смотрит на них счастливыми глазами и говорит:

— Ой, что ты делаешь, Хасбулат! Упадет же!

— Ничего,— отвечает отец,— он должен привыкать к высоте. Знаешь, по каким скалам иногда приходится лазать в горах за овцами? А чабану пора привыкать к этому делу.

У Муталиба потеплело на сердце от воспоминаний об отце. Это был сильный и добрый человек.

— Иманали...— попросил он.— Расскажите мне что-нибудь про отца.

Иманали задумался, будто выбирал из долгой жизни, проведенной вместе с Хасбулатом, самые дорогие дни.

— Хорошо, сынок,— наконец обернулся он к Муталибу.— Я расскажу тебе, как твой отец спас меня. Один раз на фронте, другой раз в горах, когда я чуть не замерз в ущелье.

Иманали уселся поудобнее.

— Слушай. Это были дни, когда мы держали оборону Днепра. Ночью был тяжелый бой. Мы сидели с Хасбулатом в окопах. Потом вместе кинулись в атаку. Народу много было вокруг — все бегут, кричат, стреляют, а я почему-то все время видел впереди себя спину твоего отца, и мне было как-то надежно. Я был моложе его, и опирался на него, как на каменную гору.

Добежали мы так до немцев. Схватились врукопашную. Вдруг меня будто ударило свинцовой палкой по голове, и я потерял сознание. Когда пришел в себя, понял что меня кто-то тащит. Окрестность освещается разрывающимися на высоте ракетами, над головой свистят пули. А, меня, лежа на боку, обняв, как отец дитя, тащит Хасбулат.

— «Ну, дорогой,— сказал Хасбулат, когда увидел, что я очнулся,— держись, пожалуйста. Мы в окружение попали». И сколько, сынок, он еще тащил меня... страшно подумать. Три дня! Другой на его месте сто раз бросил бы такую тяжелую ношу. Подползет, помню, к какой-нибудь березе, даст мне отдохнуть — и опять тащит. У меня уж и сил нет, а Хасбулат даст мне отдышаться немножко, и опять вперед ползет, тянет меня, да еще и подшучивает: «Сколько раз говорил тебе, Иманали, купайся в нашей речке Тала-Коло...» Мне тогда еще говорили, что того человека ничто не берет — ни пуля, ни кинжал,

если человек купается в Тала-Коло. Ты еще, наверное, не пил воду из этой речушки,— спросил у Муталиба Иманали.— Она чуть левее нашей стоянки, за хребтом. Зубы стынут, такая студеная вода! Меня пробирала холодная дрожь, когда я глядел на окунавшегося в эту воду Хасбулата. Так вот об этой речке он и вспоминал, когда нес меня, тяжело раненного. Как сейчас помню его обросшее лицо со впалыми щеками, оборванную шинель... И откуда только бралась у него такая сила? Мужественный был человек. Дважды обязан я своей жизнью твоему отцу, сынок,— сказал Иманали. И опять задумался.

Муталиб не хотел беспокоить его. Не стал просить, чтобы Иманали рассказал ему и о том случае в горном ущелье, когда отец спускался на обледеневших веревках с головокружительной высоты, чтобы достать со дна пропасти полуживого Иманали. Об этом он слышал и от матери, и от обеих бабушек. Ему уж было десять лет, когда произошел этот случай в горах.

— Ну, что ж? Пойдемте? — сказал Муталиб Иманали, и они поднялись. Муталиб взял под узду лошадь.

Дорога круто пошла вверх. Иманали тяжело дышал — видно, крепко беспокоили его старые раны. Кроме того случая, о котором он только что рассказал Муталибу, Иманали еще два ранения получил на фронте.

Когда они поднялись наконец на гору Тала-Коло и вдали показалась стоянка, с лица Иманали сошли тени усталости, глаза заблестели, словно после стакана сухого вина. Он увидел вдали отары, увидел Седло-гору.

— Какая благодать! — воскликнул чабан, поднял козырьком руку и стал смотреть вокруг.— Я пойду к своей отаре, а ты отведи коня на стоянку!

Держа на плече чабанскую ярлыгу, широко зашагал по долине Иманали. Муталиб продолжал держать повод коня и с уважением смотрел вслед другу своего отца. Как крылья орла, развевались полы бурки Иманали. На всякий случай он напихал в свои хурджины травы, перебросил их через седло и тоже пошел к стоянке.

«Если будут спрашивать, где был, скажу, за травой ходил»,— подумал Муталиб и еще порадовался тому, что уже говорил это же Чарахме, когда тот встретил его на заре. Но хитрить оказалось не перед кем. На стоянке никого не было.

Муталиб привязал коня Иманали к столбу, вбитому в

землю, снял седло, отнес под навес возле чабанского вагончика и решил обтереть вспотевшего коня. Наклонив голову, конь хвостом отмахивался от мух. А Муталиб обмакнул пучок травы в воду и стал им тереть шею коня, спину, бока. Чем чище становился конь, тем больше блестела его шерсть. Даже цвет ее менялся.

— Вах! — неожиданно раздалось восклицание старшего чабана.— Откуда ты взялся?

— За травой ходил...

— Хорошо почистил коня, сынок. Спасибо,— перевел разговор Иманали.— Твой отец тоже любил, чтоб скакун сверкал, как ворон.

— Хасбулат и овец любил,— не выдержал Али.

— А разве Муталиб не таков? — спросил Иманали. И, не ожидая ответа, продолжал:— Если согласен, я взял бы его своим помощником.

— Если кто согласен? Он или я?

— И ты и он...

— Ай.. надевай себе хомут на шею, если уж так тебе хочется, ата,— махнул рукой Али.— Мне-то, собственно, какое дело? Смотри только потом не пожалей о том, что взял себе в помощники этого лентяя.

— Вай! Что ты говоришь? — рассердился на него Иманали.

Но Али только пожал плечами и отошел к мангалу, над которым колдовал Чарахма.

— Иди за мной, сынок,— позвал Муталиба Иманали в свой шалаш. Он жил отдельно. Не мог привыкнуть к вагончикам, в которых жили теперь чабаны.

В шалаше было чисто и светло — хозяин сделал в нем два окошка. На стене висело ружье и несколько фотографий. На одной из них он увидел Заграт. Она стояла на берегу их горной речушки, что разделяет аул на две части. Девушка смеялась, и ветер уносил ее тяжелые косы.

— Садись, садись сюда, будем обедать,— сказал Иманали, указывая ему на расстеленную бурку.— Сейчас Чарахма принесет нам еду.

Муталиб сел, и через минуту в дверях показался повар. Он принес курицу и свежие овощи, которые успел ополоснуть ледяной родниковой водой. Огурцы были в крепких пупырышках, с короткими, зелеными хвостиками. Иманали сам разламывал большущие, с хороший кулак помидоры, и подкладывал их Муталибу.

— Ешь, дорогой, ешь на здоровье, набирайся сил.

Сейчас пойдем к отаре. Хлопот будет много.— Иманали не спеша поднялся, достал из хурджина кувшин с узким горлышком и поставил его на низкий стол.

— Хотя я и сказал, что соскучился по ключевой воде Тала-колинской горы,— рассмеялся старый чабан,— но все-таки прихватил с собой браги. Этот благодатный аварский напиток не уступает ни пиву, ни квасу, ни даже виноградному вину. Он сварен из ржи и сахара,— сказал Иманали.— Ну-ка попей!

Муталиб с жадностью припал к кружке. Вот удовольствие! Он уловил запах теха [1] и солода, смешанного с ароматом цветов. Напиток был кисло-сладкий и чуть горьковатый. Он сразу утолял жажду. В доме Муталиба после смерти отца бабушки никогда больше не готовили ни бузы, ни браги. Поэтому Муталиб и не знал их вкуса.

— Пей! Жизнь у этого напитка, как у срезанного цветка, — к вечеру скиснет. Когда я дома, жена каждый день его готовит.

Муталиб чуть захмелел, но это сразу прошло, как только они вышли на свежий ветерок. Отара Иманали была большой. Овцы мирно пощипывали траву, собаки с добродушным лаем носились вокруг нее.

— Ну, что же? За дело? — посмотрел на Муталиба Иманали.

— Начнем, ата.

* * *

Муталиб иногда уставал так, что ему казалось, вот еще немного, еще чуть-чуть, и он упадет на землю.

— Ничего, сынок, — подбадривал старый чабан, —это у тебя пройдет. Вначале со всеми такое бывает. Мы ведь в день проходим не меньше пятнадцати километров — к этому надо привыкнуть.

Каждый день Иманали открывал ему все новые и новые тайны чабанской профессии. Вот и сегодня. Погнали они отару на далекий зеленый склон Седла-горы. Шли не спеша, и вдруг Иманали остановился, будто к чему-то прислушиваясь или приглядываясь.

Муталиб уже привык к тому, что каждый жест, каждый взгляд Иманали что-нибудь, да значит, поэтому он не задавал лишних вопросов и ждал, что он скажет.

— Смотрю, куда сегодня пчелы летят, — улыбнулся старый чабан. — Они, понимаешь ли, лучше нас с тобой

[1] Жареной муки.

выбирают направление. В самые хорошие места спешат. Да... — закончил свои наблюдения Иманали. — И летят они сегодня не на Седло-гору... И нам в той стороне делать нечего, сынок... Видно, они разведали участок получше. Давай-ка и мы двинем за ними, в сторону Медвежьего ущелья.

Стали заворачивать отару. Муталиб кинулся со своей ярлыгой, будто в атаку. И Иманали с радостью отметил, что теперь он был похож на своего отца.

Вот так же в молодости они с Хасбулатом дружно сгоняли овец. Какими молодыми, какими быстрыми они были, какими горячими. А теперь нет ни былой зоркости, ни молодого задора, да и старые раны болят...

Нелегкое это дело — повернуть отару. Одному старому чабану туго пришлось бы без такого молодца. Но вот сопротивление стада было сломлено и оно послушно устремилось к Медвежьему ущелью. Теперь надо было только следить, чтобы те овцы, что послабее, не отставали. Отара текла серой широкой рекой по зеленому склону. Овцы дробно стучали крепкими копытцами. Растревоженная полынь и мята источали такой терпкий аромат, что Муталибу казалось, будто он глотает сладкое дыхание гор. А когда они вышли на поляну у Медвежьего ущелья, Муталиб был поражен открывшимся перед ним великолепием.

— Сам аллах, наверное, отдыхал сегодня ночью в этих местах! — воскликнул Иманали.

Перед их взорами предстал, словно вышитый шелками, живой благоухающий бирюзовый ковер. Недаром сюда летели пчелы. Медоносная плантация, которую они облюбовали на сегодняшний день, переливалась всеми цветами радуги.

Овцы быстро рассыпались по пастбищу, словно купаясь в ярко-зеленой траве.

Муталибу было так хорошо, что он не находил слов, чтобы выразить свое состояние, и молча присел около старого чабана на расстеленную бурку. А тот время от времени поднимался, зацепляя ярлыгой овцу за ногу, как рукой,— до того удобным был загнутый крючок на этой палке. Подтащив к себе овцу, он осматривал ее шерсть, глядел, нет ли ушибов и ранок. Щупал, как наливаются бока мясом. Потом опять садился и острым глазом снова и снова присматривался к овцам. Он выбирал тех, которые вызывали у него сомнения.

— Чабан должен знать в отаре каждую овцу,— учил Иманали Муталиба.— Видишь вот ту? Совсем белую? У этой блондинки иногда болит язык. Уж очень она нежная, как и ее шкура.

Железной лапой ярлыги он подтянул белую овцу и открыл ей рот. Язык был воспален.

— Я так и думал,— огорчился Иманали.— Надо будет подлечить ее. Это очень ценная овца. Смотри, какая у нее тонкая шелковистая шерсть.

Муталиб запустил руку в белое руно. Шерсть была мягкой, теплой.

Иманали почесал овцу за ушами.

— Поглядывай за ней, сынок.

— Я постараюсь, ата,— сказал Муталиб. Ему было радостно, что Иманали так доверяет ему.

На сучковатой поверхности ярлыги старого чабана целая летопись. Она вся испещрена отметками о зимней погоде, о потерях среди овец, о падеже и забитых овцах. В самом низу отметки о барашках, которых резали для начальства.

— Ничего, приедем домой, Али ответит за это,— проворчал Иманали.

Любопытная эта ярлыга. Будто в светлый родник смотрит Иманали и читает страницы прожитой жизни. Своей и чужой.

— Скажи, ата,— а на моей ярлыге такие же заметки, как на вашей? Интересно, что означают эти зарубки?

Иманали бережно принял из его рук палку.

— Ну, эти-то отметины у каждого чабана указывают на количество приплода. Они всегда вверху. Здесь обозначен год и количество ягнят, которое получил Хасбулат. Последний сезон у него очень удачным был. Первое место занимал твой отец среди чабанов...

А тут, пониже, начинаются другие отметины. Эта — день свадьбы Хасбулата. На моей ярлыге тоже есть такая. Женились мы с твоим отцом весной. Сразу две свадьбы сыграли. Сначала мою, а через месяц опять барабаны застучали — Хасбулат женился... Другая сделана в день и час твоего рождения. А следующая царапина напоминает мне один случай,— покачал головой Иманали и зачадил своей трубкой.— Мы тогда совсем еще молодые были. В тот день гнали стадо в старую степь. Дело было зимой, погода стояла ясная и теплая.

Вдруг видим, по степи, петляя, едет в нашу сторону «газик». Впереди бежит сайгак. Неожиданно тонкие ноги его подкосились, и он, вконец обессиленный, упал.

Машина резко затормозила. Из нее вышли двое здоровенных парней. Они кинулись к сайгаку, а тот лежал на земле и смотрел на них кроткими глазами, будто просил о пощаде.

— Смотри-ка, жирный какой!— сказал один, что был повыше и пошире в плечах. Он выхватил из кармана нож, и уже нагнулся было над поверженным животным, но твой отец подскочил сзади и оттолкнул его. Браконьер опешил.

— Убирайтесь отсюда,— сказал Хасбулат.

— Добыча наша,— огрызнулся тот и кинулся на него. Отец ударил его по руке ярлыгой — нож выпал. Началась борьба. Дрались мы тогда как молодые львы! В конце концов мы их связали и повезли в милицию. Сначала они нас ругали последними словами, потом стали просить отпустить их. Я чуть было не согласился, но Хасбулат так на меня посмотрел, что я до сих пор помню этот взгляд.

— За что мы с тобой на войне кровь проливали? За то, чтобы такие вот негодяи уничтожали народное добро?!

Сдали мы браконьеров, вернулись к отаре, и тут Хасбулат заметил царапину от ножа браконьера.

— Дедовскую ярлыгу поранил,— покачал головой Хасбулат.

— Э-э... Он отчаянный был, твой отец,— потеплел глазами Иманали и уж хотел было рассказать еще какой-то случай, но тут увидел, что несколько овец забрели в родник.

— Я прогоню их...— вскочил Муталиб.

Иманали посмотрел ему вслед.

Вот так же бежал когда-то Хасбулат, рассекая высокую траву! Почему Иманали вспомнил об этом? Ах, да. Это было у подножия Седла-горы. Там стояла тоненькая девушка, и Хасбулат бежал к ней. Как они любили друг друга... Хасбулат был выше Иманали, и брови у него были чернее. Завидовал ему тогда Иманали. Как ему тоже хотелось вот так же бежать к любимой и чтобы она так же ждала его у горы.

Однажды Хасбулат позвал его с собой. А его девушка пришла со своей подружкой. У нее были большие

смешливые глаза, она протянула ему свою руку и назвала имя — Джамила. Они собирали дикий щавель, и судьба Иманали была решена. Только три месяца видели они друг друга, еще не сказано было ни одного слова о любви, и тут началась война.

Девушки пришли провожать джигитов на фронт. Джамила и Чакар стояли заплаканные, боялись лишний раз посмотреть на Иманали с Хасбулатом, зато какие они писали им письма на фронт, какие вязали носки и варежки... как ждали...

Счастлив человек, если есть у него большая любовь. Иманали помнил наизусть все письма Джамилы. И как хорошо прожили они жизнь. Даже теперь Иманали скучал по ней. А как же? Она вела дом, воспитывала детей. Теперь у них были общие заботы. Дети выросли, а как говорится: маленькие дети — малые заботы, большие дети — большие заботы. Теперь надо было подумать о замужестве Заграт. Сумеет ли она найти свое счастье?

Иманали смотрел на Муталиба. Красивый парень и работящий, ничего не скажешь. Хорошо бы взять такого джигита в зятья. Вон как ловко подцепил ярлыгой овцу! Осматривает ее шерсть и ощупывает ее бока. Что-то кричит Иманали, смеется. А Иманали и не вслушивается, голова его полна мыслями о доме, о Заграт. Он только машет ему рукой.

На закате они погнали отару на стоянку.

Муталиб уже сам выбирал направление. Учитывает направление ветра. Иманали уже многому научил его.

* * *

Нет, не легкая жизнь у чабанов. Самые неожиданные препятствия встречаются им в пути. То бураны налетают, то волки настигают. Иногда сверху кидается орел, хоть редко, но встречаются и двуногие волки, которые не прочь увести из отары пару овец в свой хлев. Особенно трудно бывает, когда начинается ягнение.

В этом Муталиб убедился, когда кочевали на кутаны [1]. Двенадцать дней они провели на дороге с отарами, переходя один перевал за другим: то опускались к долинам рек, то опять поднимались в горы, которые становились все ниже и ниже. А снегу становилось больше по мере того, как отары приближались к Кизляр-

[1] Зимние пастбища.

ским степям. Ох, уж эти Кизлярские степи! Нет, Муталибу они не понравились. Как только увидел он эту снежную равнину без конца и без края, у него заныло сердце. Снег, правда, быстро сошел, но было холодно, и трава выступала из земли нехотя. Всего на вершок выросла она за полмесяца, в то время как в горах она подрастает прямо на глазах. Над бескрайними степями все время висело тусклое, бледное солнце. Вставало оно рано. Ни светлых лучей, ни тепла от него по утрам. Только потом, когда ты уйдешь с отарой версты на две от стоянки, начинает немного пригревать. Тогда только почувствуешь его. Но в этой бесконечной, словно ровно распростертой на весь мир степи тебя охватывает тоска. Кажется, что ты один на белом свете. И никто не помнит тебя.

«Оказывается, в горах куда легче было пасти овец»,— думал Муталиб, когда выходил с отарой в степь. В горах с любого холма видно всю окрестность. А здесь, куда ни повернись, серая степь, да распростертое над ней синее небо. К обеду оно покрывается тучами. Это бы еще ничего, но плотный туман моментально проглатывает отару и всю окрестность. Это уже беда. И ты не знаешь, в какую сторону кинуться. Муталиб в горах уже через месяц знал каждый холм, каждый склон, каждое ущелье, помнил, в каком месте опасаться волков, в каком — оползней и камнепадов, знал, когда и по какому пути вернуться на стоянку. Ночью и звезды помогали в горах путнику и ночному караульщику. А здесь, в степи, нет ни дерева, ни глубокого ущелья, ни высокого холма, чтобы можно было по ним определить путь. И ночь тут какая-то другая: звезды в небе, как в поле рассыпанные зерна, мерцают, светятся одинаково, так что нельзя отличить ни одной: какая вечерняя, какая полуночная. В горах и звезды человеку помощницы — по ним можно и время и направление определить.

— В степи свои условия, иные трудности,— учил своего помощника Иманали.— Особенно опасен здесь буран, он как волк, подскочивший сзади. Если буран начнется, когда будешь в степи, старайся не дать отаре рассыпаться, собери ее в один кулак. В круг собирай! Если пустить овец по ветру — беда. Можно потеряться в степи. Она ведь до самого Каспия доходит. Не дай бог, встретить там канаву, полную воды, или непрохо-

димое болото! Тогда пропала отара. Гонимые ветром овцы ничего не видят перед собой. Они не понимают, куда бегут. Сколько уж так овец погибло в степи.

— Хорошо, ата. Буду помнить ваши слова,— обещал Муталиб и смотрел на старого чабана с такой тоской, что тот начинал успокаивать его.

— Это с непривычки, Муталиб. В первое время, когда мы с твоим отцом прибыли сюда, мне тоже степь казалась мачехой. А когда узнал ее характер, понял: в ней не только суровость и опасность, но и мягкость и богатство. Познаешь ее, и она станет для тебя родной матерью.

Муталиб внимал каждому слову Иманали. Он наблюдал, как тот пасет овец, старался выработать в себе сдержанность, терпение. Незаметно для себя даже ярлыгу стал держать совсем как Иманали, он даже походку его перенял.

Иманали двигался, будто прислушиваясь к земле,— неторопливо, широкими шагами. За ним ветром относило бурку. Вот так же шел теперь за отарой и Муталиб.

Степь для Иманали была прочитанной книгой. Муталиб тоже старался изучить характер степи, ее повадки и капризы. Иманали хорошо знал, какая и где растет тут трава, он словно чувствовал переливы этого необъятного зеленого покрова, мог быстро определить направление ветра.

«Мне бы такие все слышащие уши, все видящие в широкой степи глаза»,— завидовал Муталиб...

— Поверни отару к солнцу! — крикнул однажды Иманали ему.

— А как быть с ветром?— спросил Муталиб.— Утром, если даже он дует навстречу, голодные овцы едят, а к закату, когда овцы сытые и усталые возвращаются, то ветер должен дуть в спину. Так ведь вы учили, дядя Иманали?

— Ветер — это скакун с капризным переменчивым характером. То дует слева, то налетает справа. Но как бы он ни был переменчив, в ненастный день он помогает чабану,— ответил, улыбаясь, Иманали.— Поэтому надо кормить стадо, образуя круг, или, как говорят чабаны, держать отару «мельницей». Чтобы ветер все время бил в лицо баранам и ни в коем случае не в спину, а то уведет их в разные стороны.

— Хитро придумано,— и Муталиб представил себе этот движущийся по степи круг овец.

— А в солнечный день,— продолжал Иманали,— отару надо кормить, повернув лицом к солнцу. Когда солнце начинает садиться, и овец надо гнать на закат.

Но временами Муталибу становилось невмоготу, он злился и на Иманали, и на широкую степь, которая иногда приводила его в отчаяние своим однообразием.

«Хоть бы дерево где увидеть или родник встретить,— огорчался Муталиб.— Какая пустота кругом. До чего тоскливо!» В горах то и дело попадались ключи с чистой ледяной водой, а тут — канавы, прорытые в земле, в которые стекала мутная вода Терека. Муталиб с отвращением пил эту воду.

Единственно, что скрашивало жизнь в степи, так это воспоминания о доме. Об ауле. Как ему дороги были теперь и мать, и обе бабушки. Ему даже смешным казалось теперь, что когда-то он стеснялся их любви! Краснел перед товарищами, когда они подтрунивали над их привязанностью к нему.

— Да это же счастье, что у меня есть дом, где меня ждут и любят. Вот вернусь в аул,— мечтал Муталиб,— и пройдусь по улицам в бурке, в папахе, в чарыках...

Он уже представлял себе, как это будет. Первой его, конечно, встретит Заграт.

— Ах,— скажет она, и серо-зеленые глаза вспыхнут,— неужели это ты, Муталиб? Как тебе идет бурка!

Теперь он и забыл о том, что она всегда высмеивала его. Особенно при людях. Наедине с ним, правда иногда, она терялась.

«Что-то она сейчас поделывает?»— старался представить себе Муталиб, и сердце его вдруг охватывала ревность: а вдруг она вот так же посмеивается над кем-нибудь другим? А он торчит тут в степи, с овцами, и ничего не знает...

Время от времени Иманали получал из дома письма. Иногда на конверте он видел легкий, летящий почерк Заграт. Ему так хотелось узнать, что она пишет отцу. И Муталиб в эти дни все крутился около старика. Может, он что-нибудь расскажет о дочери? Может, она передаст ему привет?

Но Иманали молчал. Он говорил о жене, о близнецах-сыновьях, которые родились, как он любил шутить, на «закате» его молодости. И ни одного слова о Заграт.

«Вот обычай,— злился Муталиб,— как только дочь становится взрослой, то отец все меньше говорит о ней, хотя больше всего о ней думает». Об этом слышал от бабушек. И вот теперь вспомнил. «Конечно,— размышлял Муталиб,— отцу надо выдать дочь замуж, это большая ответственность. Разумеется, каждый горец становится очень осторожным в это время. Если Иманали будет говорить Муталибу о Заграт, может показаться так, что он навязывается ему со свой дочерью».

И все-таки в этом обычае что-то было. Сдержанность никогда не мешает в жизни. Вот они и молчали оба, хотя каждый из них все время думал о Заграт.

* * *

Почти каждый день записывал Муталиб в блокноте свои наблюдения, а также советы, рекомендации и многие из рассказов Иманали. Туда вошли всякие истории, и поговорки, и даже легенды о ходе Луны и Солнца. Особенно интересной была одна — о звездах, рассыпанных по Млечному Пути. В ней повествовалось о том, как один чабан гнал свою отару. Гнал вот так же по Кизлярским степям. Дело было во времена князей и баев.

Бедного пастуха любила княжеская дочь. Но он и не смотрел на нее. У чабана была невеста, девушка-соседка. Княжеская дочь ревновала чабана так, что решила погубить его. Это она послала его с отарой в Кизлярскую степь. Думала, что он погибнет.

— Возьми с собой этот мешочек с конопляными зернами,— сказала невеста, когда провожала его из дома.— Будешь идти и бросай за собой зерна. Если тебе станет плохо, если ты собьешься с пути, крикни ветру, он пришлет твои слова к моему порогу, и я пойду искать тебя. Принесу тебе кувшин целебной воды, свяжу из волшебной шерсти теплые варежки.

Вот ушел чабан в степь, пас там овец всю весну, все лето и осень. А зимой закружила вьюга, засыпало отару снегами. Пришлось ему крикнуть ветру, чтобы тот позвал на помощь невесту.

Она услышала его слова, пошла было в степь, а зерен-то конопляных не видно — сугробы везде по пояс. Стала девушка разрывать снег руками; все утро разбрасывала снег, весь день, весь вечер, а ночью села на

краю степи и заплакала. Поняла, что не найти ей своего жениха. Смотрит, старик идет и на ярлыгу опирается.

— Ты чего,— спрашивает,— плачешь?

Девушка поведала ему свою беду.

— И-и...— сказал старик.— Есть из-за чего горевать.— Встал покрепче на ноги, раскачался для большего равновесия да как ударит ярлыгой по земле. Земля содрогнулась, и зерна вылетели из-под снега и застряли в ночном небе.

— Смотри, дочка, вот дорога твоего джигита,— сказал бабай, указывая на небо.

— Спасибо, ата,— обрадовалась девушка и побежала в степь. Теперь ей легко было искать своего любимого. Белая звездная дорога указывала ей направление. С тех пор так и остался в небе Млечный Путь.

В блокноте Муталиба хранились не только легенды. Тут были и практические записи о свойствах и целебных качествах трав и цветов. Он заносил туда и сведения о признаках, которые свидетельствуют об изменении погоды.

Иманали постоянно рассказывал юноше, какую траву нужно накладывать на рану, какая снимает головную боль, какую лучше всего скармливать овцам...

— Иди-ка сюда,— позвал как-то его чабан.— Видишь этот цветок? Это Мина-Мина-тавус. Посмотришь, он мягок, как шелк, легок, как пух, а притронься к стеблю, он сплошь покрыт мелкими шипами.

Муталиб дотронулся до него и отдернул руку.

— Ох, подлый!

— Действительно, подлый,— подтвердил Иманали.— Береги отару от этого цветка...

— Вах!— удивился Муталиб.— Сколько же чабану надо знать? Мало, оказывается, изучить степь, направление ветров, надо еще к каждой травинке приглядеться и помнить, какая из них полезная, какая вредная.

— А как же ты думал, дорогой? Надо изучить характер каждой овцы — какая ласку любит, какая строгость.

— Еще чего не хватало!— вырвалось у Муталиба.

— Много еще не хватает, Муталиб,— продолжал Иманали.— Скоро, например, начнется ягнение овец. Вот тогда придется изучить и материнские качества каждой овцы: кто ласков к детям, кто нет. Так что впереди тайн много, друг...

Муталиб всегда радовался, когда Иманали называл его «другом».

«Дожить бы до того дня, когда ата будет называть меня зятем»,— мечтал Муталиб.

Все лето, осень и зиму провели чабаны в Кизлярских степях. Муталиб окреп и возмужал за это время. Теперь он стал настоящим чабаном. Научился носить бурку и управлять собакой. Его Беркут был сильный и умный пес. Однажды поздней осенью после обеда внезапно разыгрался такой буран, что вокруг стало черным-черно. А отара, гонимая ветром, неслась к стоянке. Муталиб шагал сзади отары, а Иманали — впереди. Пришли к кошарам, начали считать овец и обнаружили, что нет двадцати голов. Все чабаны с фонарями пошли искать овец. Бегали по степи, кричали, но овцы будто сквозь землю провалились.

Потом Иманали обратил внимание на то, что пропал Беркут, и тут же успокоился:

— Уверен, что Беркут с отставшими овцами,— сказал он.

Поиски отложили до рассвета. Утром буран утих, но повалил снег. Он был мокрый, и идти по степи стало трудно — глина так и прилипала комьями к подметкам. Решили снова обождать. Муталиб, который больше всех беспокоился, первый заметил в степи темное пятно. Оно быстро росло и приближалось, и вот уже появились первые очертания овец, и рядом с ними Беркут.

Муталибу так нетерпелось рассказать эту историю в ауле. Иманали тоже частенько стал поговаривать о возвращении.

— Вот придем домой,— улыбался Иманали,— и я скажу твоим бабушкам и матери, что с гор спустился не школьник, а валлах, мужчина, джигит, настоящий чабан.

А на стоянке еще не унимались разговоры.

— Как это Иманали сумел превратить бабушкино яичко в чабана? Легче, наверное, было бы выжать масло из скал,— удивлялся Кадил-Мухамед.

Али и Чарахма только посмеивались.

— Может, он хочет сделать себе из этого сокровища еще и зятя?— спрашивал Чарахма Кадил-Мухамеда.

— Как же! Станет Заграт выходить замуж за этого лентяя! Да Заграт — огонь девушка, а Муталиб — вода парень. Нет, не пара они.

Муталиб чуть было не бросился на Кадил-Мухамеда с кулаками, но Иманали удержал его:

— Погоди, сынок... Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Пойдем-ка поговорим.

Когда они отошли достаточно далеко, чтобы их не было слышно, старый чабан сказал:

— Понимаешь, хоть обычай и требует хранить молчание... но я скажу. В каждом письме Заграт передает тебе приветы. Хоть не положено отцу говорить с джигитом о своей дочери, но такие обстоятельства...

— Спасибо вам, ата! Сегодня я самый счастливый человек на свете!

— Ну вот и хорошо. У меня, понимаешь ли, тоже гора с плеч. А то и перед дочкой неудобно, и перед тобой виноват. Так что, дорогой... такие вот у нас дела, а теперь пошли назад.

— Да, ата,— согласился Муталиб.

И они не спеша пошли обратно.

* * *

Нехотя отступала переменчивая степная зима. Муталибу казалось, что она похожа на упрямого осла Хасана. Он тащил на своей спине любую ношу, но шел, что на подъем, что на спуск, одинаково медленно, не внимая ни просьбам, ни тяжелой палке хозяина. Попадалась впереди лужа, он плюхался в самую середину. Вот так степная зима капризничала в этом году. То казалось, что она уже уступала весне и, таща за спиной мешок холода, быстро уходила, дул теплый ветер, растапливая снег, и вокруг кутана начинало зеленеть, то неожиданно снова завывала голодным одиноким волком вокруг кошары, наступал мороз, покрывая землю ледяной коркой.

Но самые тяжелые дни наступали тогда, когда шел дождь со снегом. Двигаться в холод по грязи было трудно и чабанам и овцам.

Папаха из овчинной шкурки будто наливалась свинцом, с бурки стекала вода, чарыки, набитые ковылем, скользили по мокрой земле. У чабанов не было возможности ни присесть к теплой печке, ни прилечь на сухую постель, натянув на голову бурку,— надо было следить за каждой овцой. Начиналось ягнение — самая трудная пора для чабанов. Дни и ночи перепутались.

Чабаны устанавливали дежурства. Нужно было все время быть начеку. Недосыпали, недоедали — лишь бы успеть принять новорожденных ягнят и их матерей перевести в теплые кошары.

На появившихся на свет ягнятах ставили отметку, тем же клеймом отмечали и овцу, чтобы знать, чье дитя, так как находились такие горе-матери, которые не хотели признавать своих ягнят.

Для таких «гордячек» чабаны придумали специальный станок —«капкан». Устроен он был в углу кошары. Загонят туда овцу, она и стоит как миленькая — податься некуда. Затем пускают туда ягненка и ждут, пока овца сама не начнет кормить его. Были и такие овцы, которые приносили по три-четыре ягненка. У них на всех не хватало молока. Тут надо было идти на хитрость: к той овце, у которой был один ягненок, незаметно подкладывали чужого.

Пристроить чужого ягненка к «мачехе» было нелегко. Главное, успеть подсунуть его в тот момент, когда она начнет облизывать своего новорожденного.

— Где один, там и два... там и два...— бормотал Муталиб, нагибаясь с дрожащим ягненком к овце. Обычно у него это хорошо получалось. Мачеха принимала подкидыша, как своего, и даже Кадил-Мухамед начинал завидовать Муталибу. У него такие удачи были редкими.

Даже старший чабан Али проникся к Муталибу уважением.

— Чарахма!— слышно было уже с угра.— Ты отнес Муталибу завтрак в кошару?

— Сам придет,— лениво отвечал кашевар.

— Кому сказал? Отнеси! Ты что, не знаешь, он сейчас от овец не отходит.

Чарахма ворчал себе под нос, но все же собирал еду в хурджин.

— Ты что получше возьми,— наставлял его Али. Теперь весна, витамины требуются. Положи луку зеленого, петрушки, сала не забудь. Передовых чабанов надо кормить хорошо. Ты понимаешь меня?— говорил он, заглядывая в хурджины.

Вот так круто изменил отношение старший чабан к Муталибу. И это еще что! Как-то в дождливый день приехали на стоянку корреспонденты из областной газеты. Шел снег с дождем. Приезжие устали, промокли,

Их усадили к огню — обсушиться. Накормили молодой бараниной и уложили спать, а утром — как по заказу — распогодилось. Весь день работали люди из газеты, фотографировали чабанов, записывали в блокноты их рассказы из чабанской жизни. Только Муталиб молчал, и Али это не понравилось.

— Ты у нас теперь лучший. Тебе первое слово.

Да что там рассказывать? Время горячее, не до болтовни теперь. К вечеру корреспонденты уехали, и Муталиб тут же забыл о них. Надо было спасать «подкидышей». Тех, кого не приняли чужие овцы, приходилось отпаивать из рожка.

* * *

А через неделю Муталиб получил письмо от матери. В конверте оказалась вырезка из областной газеты. Муталиб развернул ее и увидел свою фотографию, а под ней очерк.

Мать писала, что обе бабушки прослезились, как только увидели портрет своего внука в газете. Они вырезали по портрету и повесили у себя в изголовье. «Теперь ждут, когда тебе дадут орден,— писала мать.— А в ауле только о тебе и говорят».

Дальше следовали аульские новости, они были до того подробными, что в письме даже сообщалось о козе соседа, которая на прошлой неделе сломала ногу.

В конце письма было несколько строк, написанных корявым почерком бабушки Сарат. Буквы разбегались в разные стороны и в двух местах упали, как видно, на бумагу слезы. Муталиб с особенным чувством тепла смотрел теперь на эти синие пятна. Он так живо представил себе, как обе старые горянки сидели у стола и долго смотрели на исписанный матерью лист. Потом, наконец, Сарат взяла в руку ручку, которой всегда писал Муталиб. Бабушка говорила, что она может писать только этой ручкой. Высоко поднимая брови, старая Сарат начала выводить непослушные буквы...

Бабушка Айшат, которая не умела писать, в это время напряженно сидела у стола и смотрела на бумагу. Потом, когда все было готово, тут-то они, наверное, и всплакнули вместе над письмом.

Заметку в газете Муталиб прочитал с особым волнением. Еще бы! Тут было так много хорошего написано

о нем. Ему бросилось в глаза, что жизнь чабанов была тут несколько приукрашена, но это ему даже понравилось. «Наши трудности не для слабых»,— решил Муталиб и с удовольствием перечитал конец письма.

«Газет этих я купила десять штук, сынок, и спрятала в сундук, где хранятся письма отца с фронта, его почетные грамоты, орденские книжки. Пусть будет здоров тот, кто так хорошо написал о тебе. Да, пусть аллах пошлет ему светлые дни и счастье».

* * *

Да, аул Индирах это совсем особенный аул. Там каждому дают прозвища. Пусть даже на неделю приехал человек — в командировку, или, скажем, купить на базаре породистую овцу, или выносливого осла,— смотришь, ему уже дали кличку. И что интересно — это прозвище всегда точно определяет характер человека. Оно прилипает к нему прочно, ложится, как узор на скале, словно гвоздями прибивается, как ручка к двери. Что еще удивительнее — постепенно все до того привыкают к новому имени, что забывают настоящее.

Попробуйте спросить у аульчан, где, скажем, живет старая Хабсат? На вас изумленно посмотрят и обязательно наморщат лоб, насупят брови, начнут припоминать разных женщин аула. Переберут всех пожилых горянок, причем будут спрашивать так:

— А это не та Хабсат, которая похожа на железный крючок, который сняли с медвежьего капкана? Это не «Крючок Хабсат», которая живет напротив Дарбыш, у которой такая длинная шея, что ее зовут «Гусыня-Дарбыш»?

Много слов «перемелют», как на водяной мельнице, прежде чем узнаешь, где живет та Хабсат, которая тебе нужна.

Самый большой талант давать прозвища в Индирахе у хромого Хасана. У каждого свои способности, но его аллах вознаградил наблюдательностью, прищурив серый глаз, будто плотник, строгающий доску, смотрит он внимательно на человека, потом, улыбаясь в редкие висячие усы, говорит: «Смотрите, Гунаша опять пошла с мешком на базар огурцы продавать. Ох, уж эта «мешок-Гунаша», сколько же она денег выручила с этих огурцов? Наверное, на целое приданое для дочки». Смот-

ришь, уже и прилипло к женщине новое имя —«мешок-Гунаша», и не зря! Каждый день сидит она на базаре со своим мешком — и в дождь, и в жару. Жадная Гунаша, все-то ей мало, думается, готова умереть на базаре, только бы не упустить копейку.

А вот Муталибу так-таки и удалось избавиться от прозвища «лентяй», но получить новое — «Ворта Муталиб». «Ворта» значит «вперед идущий Муталиб». И это опять-таки с помощью хромого Хасана. Скорее всего, сам Али специально привез его на стоянку.

— Поедем-ка в горы,— сказал Хасану Али, будучи по делам в ауле.— Я угощу тебя чабанской сарисой.

Сариса — это колбаса, приготовленная из внутренностей барана. Она жирная и душистая. В нее для аромата добавляют разные съедобные травы и семена.

Приняли Хасана очень хорошо, усадили у костра. Иманали поставил перед ним кувшин с брагой, которую ему недавно прислала в горы жена. Али выложил на блюдо обещанную горскую колбасу. Хасан принялся за угощение и вдруг говорит:

— Муталиб, сын моего друга, садись, покушай с нами, пусть теперь другие бегают. То и дело слышу целый день: «Ворта Муталиб», «Ворта Муталиб». Я, оказывается, ошибся, когда назвал тебя «лентяй Муталиб». Нет, ты «Ворта Муталиб», и на ухо Иманали сказал: «Кто бы подумал, что из «кукушкиного птенца» вырастет такой орел!»

С того дня Муталиб получил новое имя, и уже никто не звал его учеником, а говорили о нем, как о настоящем чабане. Теперь Иманали часто оставлял отару на его попечение, если приходилось уезжать в район на совещание или повидаться с семьей в аул.

Теперь Иманали всегда показывал Муталибу письма от Заграт, давал почитать те строчки, в которых девушка передавала ему приветы. Муталиб загорался весь от волнения, когда видел почерк Заграт. Писала она теперь из Махачкалы, где училась в сельскохозяйственном институте.

Вскоре после заметки в газете Заграт прислала отцу письмо, в котором спрашивала: неужели Муталиб стал настоящим чабаном? Не ошибка ли это? Что-то очень уж расписали в очерке Муталиба, а ведь он был не из старательных. Изнежен был, избалован.

«Ах так,— решил Муталиб,— я тоже поеду учиться,

да не в Махачкалу, а прямо в Москву. В Сельскохозяйственную академию. Вот тогда пусть поспрашивает у отца, где Муталиб!»

Три дня молчал Муталиб, три дня обдумывал уже вопрос, а на четвертый отпросился у главного чабана домой, за учебниками.

Тот с удовольствием отпустил его. И Муталиб первый раз за все время отправился в аул.

Вот радости-то было дома! Мать кинулась звать Хасана, чтобы он заколол барана, которого давно уже откармливали специально для этого дня.

Обе бабушки ходили за Муталибом из комнаты в комнату. Задавали кучу вопросов и готовы были слушать его голос, думается, круглые сутки.

В этот день в доме Муталиба был той по поводу его приезда. На широком дворе, в тени высокого стройного тополя — ровесника Муталиба, с густой зеленой листвой поставили в ряд столы. Все аульчане были приглашены на пир. Тут были и пожилые люди, и молодежь. Было очень весело. Из-под тополя доносилась и дробь барабана, и пение зурны, и смех. Бабушки носились из дома во двор, из двора в дом в легких новых платьях, сшитых, как они уверяли сельчан, из крепдешина, который им привез их дорогой внук. Обе горянки будто сбросили в этот день по двадцать лет. Гордость и радость, которые излучали их глаза, наполняли, казалось, этот двор и даже весь аул. А какие шашлыки, курзе и голубцы они приготовили! Одним словом, давно так не веселились в ауле, давно никто не устраивал у себя в доме такого большого праздника.

Муталиб, как ему и мечталось в горах, прошелся перед гостями в барашковой папахе, в чарыках и в бурке, наброшенной на одно плечо. Все даже притихли, когда увидели его в одежде чабана. Это Хасан предложил так одеться Муталибу. Сначала он отказывался, но все стали просить, и он согласился. Ох, как загорелись глаза у девушек, но Муталиба это не радовало — не было среди них Заграт.

Когда все разошлись, он стал возиться по хозяйству. В горах говорят, что без мужчины дом сиротеет. И правда, как бы бабушки и мать ни старались, но всего сделать не могли. Муталиб сменил поломанную балку, починил крышу сарая. К двери крайней комнаты прибил ручку, потом уложил в ограду давно выпавшие

из нее камни. Обе бабушки и мать только успевали удивляться.

— Вах! Вах! Где и от кого ты этому научился?— спрашивали они.

— Этому, бабушки мои дорогие и единственные, меня еще в школе обучали, только вы раньше считали меня маленьким,— ответил Муталиб.

— Вот и хозяином стал. Каждая комната почувствовала, что пришел мужчина!— улыбнулась Айшат.

Еще больше удивились они, когда после ужина он склонился над книгами, которые лежали нетронутыми до сих пор. Они по очереди заглядывали в приоткрытую дверь. «Что это он? Значит, чабаном не пойдет больше? Жаль, так хорошо говорили о нем люди»,— шептали горянки и ходили на цыпочках, чтобы не мешать ему.

— Вуя! Вуя!— сказала утром аульским женщинам у родника мать.— Совершенно изменился Муталиб, как пошел чабаном. Приехал отдохнуть, а сам так и ушел в работу и учебу.

— Даже в школе не было у него такой любви к книгам,— призналась соседке Айшат.

— Мечтаю я петь колыбельные песни ребенку Муталиба,— сказала Сарат, когда они втроем собрались поговорить.— Не сказать ли ему, что пришло время жениться?

— Верно,— добавила мать.— Пора накинуть уздечку на нашего скакуна.

— Испытанного скакуна,— с гордостью подтвердила Айшат.

— Конечно,— согласилась Сарат,— лучше шаловливую реку сразу направить в русло. «Рано созданная семья как майский мед», «Сын, родившийся у молодого отца, будет ему и братом и сыном» так говорят пословицы.

— Но мои родные,— начала успокаивать бабушек мать,— надо ведь подумать и об уздечке для коня. Сорока не подходит для гнезда орла.

— Да,— подтвердила Айшат.— Мы не должны родниться с людьми, которые не равны нам.

— Вы думаете, я не думала об этом?— заявила Сарат.— Последнее время я все присматривалась к аульским девушкам. Вчера тоже долго лежала без сна, все думала, все вспоминала ровесниц Муталиба.

— И кого же ты выбрала? — спросила Айшат.

— А ты?! Будто не присматривалась к девушкам...

Все это слышал сидевший в своей комнате Муталиб. Сначала он не придавал значения разговору, но когда было произнесено имя Заграт, он внимательно прислушался, какой же недостаток в ней найдут бабушки? Не осталось ни одной девушки в Индирахе, которую бы они не вспомнили, и не было ни одной из них, у которой бы не нашли они какой-нибудь изъян. Если девушек самих не в чем было укорить, то недостатки находились или у их родителей, или у родителей их родителей. И в огород Заграт бросили они несколько камней:

— Характер у Заграт очень уж крутой,— сказала Сарат.— И все-то у нее на уме, как бы только высмеять кого. Это же заноза, самая настоящая заноза!

Айшат не нравилось, что она уехала учиться в Махачкалу.

— Сказано: хорошая девушка не перейдет аульскую речку,— ворчала Айшат.— Нет пользы от привыкших к городу. Из этих ученых умниц не получается покорных жен. Много знают, наманикюрят ногти, поучают. А нашему мальчику нужен не венец на голове, а стул, чтоб можно было на нем сидеть...

«Торгуются, будто на базаре в Хебда, без меня мне невесту подбирают. У меня же ничего не спрашивают. Считают, наверное, что та, которая подходит им, понравится и мне. Дай вам аллах долгих лет жизни, мои дорогие, бесценные бабушки, но лучше бы вы предоставили мне самому возможность избрать себе спутницу жизни»,— улыбнулся про себя Муталиб и склонился над книгой.

Как хотелось ему сейчас увидеть Заграт... Ее серо-зеленые глаза, ее тяжелые темные косы. Эх, бабушки, бабушки... И ничего-то они не знали... Невеста-то давно уж была у Муталиба. А он знал, что она понравится им. Да разве есть в ауле девушка, которая могла бы сравниться с Заграт?

Через три дня с хурджинами, полными книг, Муталиб отправился в горы. Когда, проводив его, обе бабушки остались на краю аула, они снова повели разговор о невесте для Муталиба. Теперь они внимательно приглядывались к девушкам, которые с кувшинами шли за водой, прикидывали, какая из них проворная, работящая, с хорошим характером, красивая. Опять вспомнили, какого роду-племени этот бутон. Теперь и на устах

и в мыслях у бабушек Муталиба была будущая невеста. Она, кроме всего прочего, еще должна быть высока, широка, чтобы родила много здоровых детей, да еще, чтобы у нее были братья-нарты. Девушки, выросшие среди братьев, бывают уважительные, умеющие ценить мужчин, да строгого воспитания.

Чем дальше присматривались старые горянки к девушкам, тем меньше находили достойных их внука. Оказывается, это очень трудно — выбрать Муталибу невесту. Мать тоже принимала в этом участие. Но все хлопоты и разговоры чаще всего оканчивались для нее тем, что она начинала вспоминать свою молодость, или это шло от сына? Очень уж он был похож теперь на покойного Хасбулата, даже усы у него пробивались такие же, как у отца: густые, светло-каштановые.

Все чаще приходил на память ей тот день, когда Хасбулат вернулся с фронта. Чакар полола кукурузу на далеком поле, когда соседская девочка Майсарат прибежала к ней и сказала, что Хасбулат уже в ауле. Чакар не догадалась даже сбросить туго затянутый матерчатый пояс — так и бросилась домой. Прибежала, увидела, что по дороге идет Хасбулат, и кинулась ему навстречу.

— Куда? Куда?— хотела было вернуть ее мать. Не положено так вести себя с женихом, да где там? Чакар словно ветром подхватило. Забыла про обычай и кинулась к Хасбулату. Никто в селе не осудил ее за этот поступок. А через неделю в ауле играли их свадьбу.

— Да... счастливое было время...— вздыхала Чакар.— Светлое было время...

* * *

Еще одна горянка была занята мыслями о невесте для своего сына. Это мать Кадил-Мухамеда Забида.

Дело в том, что Кадил-Мухамед давно уже поговаривал с ней о Заграт. И что умная-то она, и что красивая. Вот она и пошла вести переговоры в дом Иманали.

Джамила, жена Иманали, в этот день перебирала черную фасоль. Она сидела со своими младшими сыновьями-близнецами, и все втроем лущили сухие фасольные стручки.

— Асалам-алейкум, — поприветствовала Джамилу Забида.

Джамила ответила ей поклоном.

— С чем пришла, дорогая?

Та без всякой подготовки, так прямо ей и бухнула:

— У меня скакун на зависть всему селу, а у тебя в доме есть для него уздечка. Что скажешь на это?

— Что я могу сказать? — растерялась Джамила. — Пусть дети сами решают.

— Да что их спрашивать? — сказала было та, но Джамила попросила ее отложить этот разговор.

— Вот приедет Заграт из Махачкалы, тогда и спросим у нее, — сказала она.

Это событие тут же стало известно чабанам в горах. Уж кто его принес на стоянку, этого Муталиб не знал, но разволновался он не на шутку.

Еще в школе Кадил-Мухамед тенью ходил за Заграт. Прямо проходу ей не давал. Правда, ему и доставалось от нее за это. Но ведь кто знает? Может, он и нравился ей?

* * *

В этот день с утра на стоянку приехал ветврач Халид. Как только он показался на своем «тихоходе» — старой колхозной кобыле, у Али испортилось настроение.

— Вуя... — сказал Али. — Опять ветврач едет... Считайте, пропал день. Теперь замучит всех.

Халид был человеком суровым, шуток не любил. Акты он составлял молча, без лишних разговоров. Что захочет, то и напишет Халид в своем отчете. А без этой бумаги отару ни через Сулакский мост не пропустят, ни через чужие поля и села. Сейчас каждый начальник начинает спрашивать:

— Где медицинские справки? Где акт о состоянии здоровья овец?

Вот все и побаивались Халида.

Вообще-то он был человек своеобразный. Однажды его пригласила, говорят, дальняя родственница Зулейхат корову лечить. Он с трудом вывел ее из тяжелого состояния и усталый ушел домой. А Зулейхат, вместо того чтобы сказать Халиду спасибо, стала молиться: «Аллах помог, он услышал мою мольбу...» А через некоторое время у Залейхат козы отравились. Прибежала за Халидом, а тот, продолжая читать газету, ответил: «Позови аллаха, он тебе поможет».

Никого не слушал и ничего не боялся Халид. Хромой Хасан дал ему прозвище «Независимый».

Как только еще издали Али увидел «Независимого Халида» на стоянке начались приготовления. Чарахма срочно наладил огонь в мангале, чтобы поторопиться с шашлыками, Али разложил на столе всякие кушанья. Тут была и горская колбаса, и хинкал. Все сели быстренько за стол, сделав вид, что ветврач застал чабанов за завтраком.

Однако «Независимый» даже не обратил внимания на стол.

Не успел он сойти с кобылы, не успел поздороваться с чабанами, а уже скомандовал:

— Будем проводить осмотр.

Халид достал из портфеля, привязанного к седлу, халат, медицинские инструменты и приступил к делу. Он с пристрастием осматривал овец. Чабаны бросились помогать ему. Они тоже побаивались ветврача, не дай бог, чтоб Халид увидел в отаре грязную овцу, с чесоткой где-нибудь на кончике хвоста или возле рога или с ранкой, которую чабан не заметил. Он тогда проводил такую беседу, которая на несколько дней отбивала аппетит даже у бывалого чабана. Вдобавок составлял огромный, как баранья шкура, акт о том, что такой-то чабан не соблюдает правила овечьей гигиены, беззаботно относится к доверенным ему животным и так далее и тому подобное. Потом с актом отправлялся к председателю колхоза. И никакие уговоры, обещания, никакие щедрые угощения не действовали на «Независимого». Когда Али как-то осмелился положить ему в хурджин жирный кусок баранины, тот кричал на все стойбище:

— Ты что? Хочешь меня подкупить? Щедрый же ты, удаман [1], за счет колхозных баранов, а вот беречь их здоровье не стараешься...

Вот и сегодня Халид в белом халате, щупая длинными пальцами рук каждую овцу, проходит по рядам, отделяет подозреваемую овцу, отводит ее в сторону и занимается ее лечением. Скоро полдень, а Халид и не думает заканчивать осмотр.

— Эту туда овцу, эту сюда, ко мне, — кричит он.

У Иманали, наконец, лопнуло терпение:

— Да хватит, наконец, — рассердился старый ча-

[1] Старший чабан.

бан. — Овец на пастбище выгонять надо. Голодные они.

— За здоровье овец отвечаю я, не мешай мне, приведи лучше ко мне вон того, с закрученными рогами серого козла: у него повадки чесоточного, — потребовал Халид.

— Лучше с камнем говорить, чем с тобой, — махнул рукой Иманали, сделал знак Муталибу, чтоб он подвел к ветврачу указанного козла, и ушел, нахмурив брови.

— У этого козла не может быть болезни, он вожак отары, — сказал Муталиб.

— Так он вожак, говоришь, а вожаку не надо внимания, по-твоему? Солдаты, айда в баню, а командирам помыться не положено? Видишь ли, ты знаменитый чабан, да еще в газете хвалили тебя, а тут на твоих глазах чесотка свила себе гнездо за ушами козла. Да еще вожака.

— Не может быть! — удивился Муталиб.

— Всякое может быть, когда чабан занят своей славой, — ответил «Независимый». — Придется госпитализировать твоего вожака, пока пусть другой козел походит в командирах.

Муталиб покраснел от слов Халида, серый козел действительно, был болен, и возразить ветврачу было нечего. Чабану было стыдно смотреть в глаза «Независимому». Ведь в газете писали, что Муталиб хороший чабан, значит, надо было быть повнимательнее.

Наконец одну отару, прошедшую осмотр ветврача, выпустили из кошары. Взялись за вторую. Чабаны ворчали, но Халид не обращал на них никакого внимания. Он делал свое дело. Единственно, что он позволил себе, так это выпить прохладной браги.

Началось опять то же самое: эту овцу сюда, эту туда...

Осмотр был в самом разгаре, когда залаяли овчарки. Кто-то, как пуля, мчался по дороге. Даже Халид оторвался от работы и козырьком приложил руку ко лбу. Все узнали серого Тулпара. Это был один из лучших коней в колхозе. Его только в прошлом году оседлали впервые.

— Кто же это скачет на Тулпаре? — заинтересовался Халид.

Конь между тем летел как птица, и видно было, что управляла им крепкая рука.

Вскоре чабаны поняли, что на коне девушка. На ней были джинсы и курточка цвета хаки. Вот она развернулась перед отарой и спрыгнула на землю.

— Заграт! Вуя, умница.... молодец! — улыбнулся ветврач, которого, кажется, ничем нельзя было удивить. — Ты к отцу в гости приехала?

— Нет, Халид-ата, — ответила девушка. — Я уже учусь в Махачкале, буду зоотехником, вот и приехала на практику. Два месяца буду здесь, в горах. Вот мои документы,— и она протянула Али конверт. Там было направление из института, характеристика и письмо от заведующего кафедрой, в котором он просил оказать Заграт помощь и внимание на практике.

Заграт увидела Муталиба и весело улыбнулась ему. Пока она здоровалась со всеми чабанами, Муталиб стоял красный, как горный мак, наконец, она подошла и к нему.

— Вай, Муталиб, — так и обдала она его горячим взглядом своих больших глаз,— значит, верно писали в газете. Ты чабаном стал...

В эти минуты Муталиб был буквально на седьмом небе от счастья, но ее слова сразу насторожили его, и он начал опускаться со своих высот.

— Как видишь.

— Пока еще ничего не вижу. Чарыки и бурка на плечах, это еще не чабан. Вот поработаем вместе, тогда разберемся, чего ты стоишь.

Муталиб круго повернулся, оставив на траве глубокие следы — так врезались подошвы сапог в землю. Ему стало обидно, что Заграт высказала такое недоверие к нему. Хорошо, что еще никто не слышал их разговора, и он пошел таскать баранов. Халид снова вернулся к осмотру, и это было для Муталиба настоящим спасением. Он так усердствовал, так растаскивал овец, что Халид даже сострил:

— Смотри, джигит, не оторви хвост овце, которую ты сейчас тащишь. У меня нет иголки с ниткой. Чем пришивать будем?

«Ах, не так... Все не так получилось»,— горевал Муталиб. Краем уха он все же прислушивался к тому, что говорит Заграт, краем глаза посматривал на нее. Теперь она стояла с отцом, и Али говорил Иманали:

— Да, аксакал, такая дочь ста сыновей стоит. Гляди-ка, вот и на практику к нам приехала. Посоветуй,

как быть? У нас на стоянке одни мужчины, куда мы определим твою дочь. Где она жить будет!

Иманали задумался:

— Да. И правда такого у нас не было никогда. Может, вызвать сюда жену? Пусть поживет эти два месяца с Заграт, — предложил Иманали.

На том и порешили. О чем они еще говорили, Муталиб не слышал, потому что очень уж расшумелись овцы. Они шарахались и метались из стороны в сторону. Но вот к Заграт подошел Кадил-Мухамед, и парень от злости и ревности стал хватать овец как попало.

— Пойди отдохни,— сказал ему Халид.

Он ушел в вагончик, зарылся с головой в бурку. Плохо было Муталибу без Заграт, а с ней еще хуже стало. Хорошо хоть закончился осмотр и в вагончик заглянул Иманали:

— Пойдем, сынок. Пора выгонять овец на пастбище.

Это было спасением для Муталиба! Он взял ярлыгу и пошел за старым чабаном.

Отара медленно двигалась по склону. Овцы пощипывали сочную траву. Муталиб шел, как слепой. Он ничего не замечал вокруг, не видел, что собирается дождь и вершину горы уже окутывают черной чалмой облака. Все думал о Заграт. То ему представлялось, как она мчалась на коне, то вспоминал ее улыбку, то звучал в его ушах ее смех и голос.

«Прямо наваждение какое-то...» — отмахнулся от этих мыслей Муталиб. Но они не давали ему покоя — то радовали, то мучили. «Ах, она еще посмотрит! Она не верит, что в газете написали. Может, завела себе в городе джигита?!» — от этого предположения он чуть не задохнулся. Раньше он не думал, что любовь к девушке может принести столько страданий.

Отара толпилась за Муталибом. Вожак был новым — большого серого козла, который только вчера вел за собой послушное стадо, ветврач оставил в загоне. Он обнаружил около рогов ранку с двухкопеечную монету, и этого было достаточно для его отстранения. Никакие уговоры не сломили «Независимого».

С новым вожаком стадо было неспокойно. Овцы то и дело отбивались, уходили в сторону. Иманали сбился с ног. А Муталиб будто и не замечал этого. Все его думы были только о Заграт.

Насытившиеся зеленой травой овцы напились из гор-

ного ручья. Опершись коленями о гладкие камни на берегу, Муталиб тоже наклонился над водой и уставился в свое отражение. Лицо, выглядывавшее из-под косматой папахи, было хмурым. Брови и ресницы порыжели от солнца, словно рожь к концу лета, а темные щеки и подбородок почернели от загара, стали как у кузнеца, вышедшего из кузни. Вдобавок ко всему отросшие борода и усы совсем не шли к нему.

Припав к воде горячими губами, Муталиб стал жадно пить. Когда он перевел дух, ему немного полегчало. Горный ручей стремительно бежал через зеленую долину и журча омывал камни. Он был похож на серебристый галун, которым подхватывают невесты свой праздничный наряд.

Муталиб умылся. Опять заглянул в тихую воду возле самого берега. Тут была небольшая запруда. Все дно устилали мелкие цветные камешки, серые мальки стайками проносились в прозрачной воде. Еще раз внимательно посмотрел он на свое отражение. Теперь оно не казалось ему таким неприглядным. Губы твердые. Глаза большие. И все-таки очень идет ему папаха из молодого барашка. Даже усы уже не расстраивали Муталиба. А что? Усы как усы. Вот пройдет еще неделя-другая, и они станут совсем такими же, как были когда-то у отца.

И если постарается, можно завоевать гордое сердце девушки. И она не будет больше в нем сомневаться. Ведь Заграт только приехала! А чего бы он хотел? Чтобы она кинулась к нему на шею? Такого в горах не бывает. Да у нее даже имя необыкновенное. Заграт означает «утренняя звезда».

«Если хочешь, чтобы она засияла тебе, преодолей все преграды, постарайся подняться на самую высокую гору — гору труда и славы. Если с ее вершины потянешься, достанешь рукой до звезды...» — размечтался Муталиб, удобно устроившись у воды. Он не жалел сейчас высокопарных слов. Они кружились над ним, как горные орлы.

— Муталиб! Ва, Муталиб! Взгляни на вершины — вдруг услышал он голос Иманали.— Серые тучи липнут к ним. Поверни отару, пока дождь не хлынул.

Муталиб быстро поднялся. Его грезы, как оборвавшаяся связка лука, упали в ручей. А пожилой чабан, опершись на ярлыгу, глядел на него.

«Что с тобой, молодой человек, ты какой-то странный сегодня? — будто спрашивал мягкий, проникающий в самую глубину сердца взгляд Иманали.— Не оттого ли ты такой странный сегодня, что в тебя попала стрела любви, которую выпустила моя дочь — Заграт-заноза?»

— Я сейчас, дядя Иманали, — ответил Муталиб и, схватив ярлыгу, побежал собирать отару. Крупные, но редкие капли дождя ударили его в спину, в затылок. Они будто подгоняли чабана, клевали его, как клюют куры, брошенную им краюшку хлеба.

Серый козел с черными рогами не хотел идти на стоянку. Он был новым вожаком, он упирался, но Муталиб так ловко подцепил его ярлыгой, так зычно крикнул свое «тпыр-ра», что козел все-таки повернул в сторону стоянки.

«Скоро опять увижу Заграт», — ликовало сердце Муталиба. Он уже забыл все свои обиды и торопился услышать ее смех, ее голос.

Серый козел гордой походкой шел за молодым чабаном, который насвистывал песенку и в такт ее размахивал рукой. А за козлом ниточкой ожерелья потянулась вся отара.

* * *

Вечером на стоянке было очень весело. Даже всегда серьезный за столом Али после свежего мяса и сухого геджукского вина, которое недавно привез знаменитый чабан Шах-Эмир из далекого лезгинского села Куруш, стал тихо напевать старинную песню. Вместо бубна он бил в миску, и его песня, подхваченная ветром, уносилась к заснеженным вершинам. В этой старинной песне говорилось о споре между чабанами и муталимами [1]. В ней воспевался труд чабанов и критиковалось отсутствие стыда у муталимов, их попрошайничество, безалаберная жизнь. А молодым девушкам советовалось любить не лживых учеников медресе, а выходить замуж за чабанов, которые пасут отары высоко в горах и открывают свои души цветам в лугах.

Это была любимая песня Али. Он пел ее редко и только в тех случаях, когда бывал навеселе или когда отправлялся в дорогу.

---

[1] Ученики медресе.

Все слушали его, затаив дыхание. В его голосе звучала тоска, чувствовалось, что она что-то напоминает Али.

К Муталибу подсел Чарахма и шепнул:

— И-ех... Али рассказывал мне однажды, что в молодости одна горянка разбила его сердце, как балхарский кувшин. Вышла замуж за муталима... Редко теперь Али вспоминает эту песню... Но все же поет иногда. Значит, не забылась обида.

Он вздохнул и пошел к мангалу. Там шипели на огне куски баранины, нанизанные на шампуры. Мясо было переложено кружками репчатого лука и помидоров. Чарахма осторожно взял шампуры, и с них обильно закапал душистый сок.

— Ешьте, дорогие. На здоровье, — говорил Чарахма, раскладывая шашлык на блюдо.

Чабаны наполнили стаканы геджукским вином. Была еще на столе и пенистая брага, и вареная баранина.

Заговорили о знаменитом чабане из Куруша — Шах-Эмире. Али соревновался с ними.

— Пусть у твоего друга и соперника из далекого Куруша, Шах-Эмира, родятся еще близнецы, — сказал Кадил-Мухамед. — Это пожелание ему за такое хорошее вино. Не зря он сказал, что в нем сок земли и тепло солнца.

— Да, насчет приплода, что в отаре, что в доме у него, не придерешься, — ответил Иманали. — На сто овец сто двадцать ягнят сохранил Шах-Эмир и семеро детей у него.

— Везет человеку! — позавидовал Чарахма, у которого было только две дочери.

— Нет, это не простое везение. Я вам объясню, в чем дело.

И Али стал рассказывать, какая отара у Шах-Эмира и какой порядок на кутане.

— А кормление овец сеном? — сказал Иманали. — Видали, как построены решетки? Сена из них меньше выпадает на землю, значит, отходы доведены до минимума. А мы как расходуем его? Сколько у нас отходов?

— Допустим, овцы приносят хороший приплод из-за ухода, а как же все-таки с близнецами Шах-Эмира? — пошутил Кадил-Мухамед, и все рассмеялись.

За столом стало шумно, все говорили наперебой, рассказывали смешные истории. Только Муталиб не произ-

нес ни одного слова, будто язык у него был на замке. Сегодня и рука его реже тянулась к еде. Выбранный тамадой, Али в третий раз подносил Муталибу стакан, но каждый раз Муталиб возвращал его обратно, отвечая, что ему вечером сторожить отары. Ночного сторожа отпустили домой на несколько дней, и отары сторожили по очереди чабаны.

— Что ты, Муталиб, так упрямишься? Хмель этого вина быстро развеет ночная прохлада,— сказал Иманали.

— В самом деле, что случится от стакана сухого вина? — спросил Али. — Ты почему-то грустный сегодня.

— Наверно, ему сторожить отару не хочется сегодня ночью или сразил чей-нибудь взгляд, — пошутил Чарахма.

Муталиб молча взял стакан, выпил вино и, сняв со стены шалаша ружье, повесил его на плечо. Склонив голову перед Али и Иманали, он пожелал им хорошо отдохнуть и пошел караулить отару. Аромат цветов, журчание сбегающих с гор ручьев, прохладный ветер, дующий в лицо, ободрил Муталиба. Этот ветер, как чабан сытую отару, гнал по небу стаи черных туч, не дав им выплакаться как следует. То появляясь, то исчезая за тучами, плыла полная луна, как будто торопилась куда-то. Возле низкой ограды кошары изредка лаяли овчарки, сторожившие отару одна справа, другая слева, как будто давая понять, что они готовы в любую минуту броситься туда, откуда грозит опасность. Муталиб с ярлыгой в руках, с винтовкой на плече медленно, как положено сторожу отары, обошел кошару.

Большая рыжая собака дремала у изгороди, и Муталиб присел около нее, погладил ее за ушами. Собака подняла голову, посмотрела на Муталиба влажными умными глазами.

Почему я так встревожен сегодня? Словно я вижу ее впервые. Она ведь всегда нравилась мне, но такая буря никогда не бушевала в моем сердце. А она по-прежнему смеется надо мною. Что же мне делать?

Собака, будто понимая состояние хозяина, положила лапу на его колено и тихо заскулила.

— Эх, Заграт, Заграт... — горячо вздохнул Муталиб, уходя от собаки в темноту.

Он взобрался на валун, покрытый мхом, с него все кошары видны, как на ладони. Подобно орлу, сидящему на краю гнезда, Муталиб застыл там, опершись на ярлы-

гу. От выпитого вина у него быстро сменилось настроение. Еще недавно его сердце терзали ревность и сомнения, а сейчас там поселились радостные мечты. Он и сам не понимал, что с ним происходит: то ли это признаки опьянения, то ли любви. Ему было хорошо, хоть и тревожно.

Даже мерцающие звезды, то исчезающие за облаками, то появляющиеся снова, светились особенно ярко, были сегодня ближе к нему, кажется, потянешься, и они коснутся твоей головы.

Незаметно для себя Муталиб стал напевать. Но как шальная пуля прерывает полет птицы, так вдруг оборвалась его песня. При тусклом свете луны Муталиб заметил приближающуюся к кошарам темную фигуру.

Он спрыгнул на траву.

«Кто и зачем так поздно идет к кошарам?» — насторожился Муталиб, готовый ко всяким неожиданностям. И как же он был удивлен, когда увидел, что к нему приближается Заграт. Она шла легкой походкой, и косы ее относило ветром. Большие блестящие глаза девушки смотрели на него весело и доверчиво. Он увидел при набегающем из-за туч лунном свете ее встревоженное лицо и, растерявшись, не находил слов для вопросов.

Заграт сама начала разговор. Она спросила, все ли в порядке. Спокойны ли овцы. Муталиб отвечал односложно, ничего не мог сказать, кроме вечных этих «да» и «нет». Девушка стояла совсем близко, и от этого мысли его стали путаться. «Вот рядом с тобой твой джейран, пока не отошла, открой ей свое сердце, не стой как чурбан, скажи ей что-нибудь»,— злился он на себя, глядя в звездное небо.

Заграт, почувствовав его скованность, решила пошутить:

— Может, хочешь мне звезду подарить?

— Боюсь, что не достану до неба, — улыбнулся Муталиб, обретая спокойствие.

— А ты встань на тот валун, ты потянись немножко,— смеялась Заграт, но это был добрый смех, без всякой тени насмешки.

— Была не была, попробую, — сказал Муталиб. — Или звезду достану, или руку обожгу...— И робость его словно растаяла от ее теплого взгляда.

Он вскочил на валун, вытянул вверх руки и крикнул:

— Ну, какая тебе нравится?

— Вон та, вон та...— весело подхватила его шутку девушка.

Муталиб смешно замахал руками

— Да нет же, не та! Ах, какой ты непонятливый, — смеялась она.

— Нет, так дело не пойдет. Ты сама не знаешь, чего хочешь.

— Нет знаю, нет знаю...— заспорила девушка, и если бы не темнота, Муталиб увидел бы, что она покраснела, словно розовый куст цветущего барбариса.

Он спрыгнул с валуна и вдруг совсем серьезно спросил:

— Неужели ты там в городе не скучала без наших гор, без нашего аула...

— Ну, конечно, тосковала. Мне так не хватало нашей речки, Седла-горы, — голос ее понизился до шепота, — и тебя... — и ей показалось, что она бросилась в ледяную воду.

— И я, я тоже все думал о тебе...

— А почему не написал?

— Все не решался.

Муталиб стал прикуривать. Он курил редко и только в тех случаях, когда в нем рекой разливалось волнение.

— Если бы знала, что ты куришь, я привезла бы зажигалку в подарок...

Спичка вспыхнула, но тут же ночной ветерок погасил ее. У Муталиба потемнело в глазах от только что горевшего и сразу погухшего огня.

Заграт потянулась к нему за спичками.

— Давай-ка я зажгу...

— На... — наклонился к ней Муталиб и неожиданно для самого себя крепко обнял ее за плечи и поцеловал.

Заграт на мгновение замерла, потом в темноте раздалась такая звонкая пощечина, что с ближнего куста терновника сорвалась сова и кинулась в долину, которая уже окутывалась сизым ночным туманом.

Заграт убежала, а Мугалиб стоял оглушенный, будто свалился с высокого утеса в бездонную пропасть.

Когда утром после бессонной ночи Муталиб пришел на стоянку первым, он увидел Заграт и Кадил-Мухамеда. Они были так заняты друг другом и так весело смеялись, что даже не обратили внимания на Муталиба. Мало того, ему показалось, что они смеются над ним.

«А что? Заграт могла рассказать Кадил-Мухамеду о вчерашней встрече на кутане. И как Кадил-Мухамед смотрит на нее! Это же прямо вытерпеть невозможно».

Муталиб сейчас чувствовал себя человеком, который поймал было птицу счастья, но не смог ее удержать. И будто бы еще сияли у него в руках оставленные птицей несколько перьев. Целыми днями пропадал он в горах, стал писать стихи, распевал свои песни. Дело дошло до того, что кто-то из чабанов случайно услышал их, и на стоянке стали напевать песни Муталиба.

А Заграт целый день работала и очень мало общалась с чабанами.

С самого утра она была уже около овец, осматривала их, что-то записывала в тетрадь, а потом беседовала со старшим чабаном.

Сколько раз видел Муталиб, как она мчится на коне и только облачко пыли летит вслед за ней.

— Вуя... — радовался Али. — Из девчонки получится хороший зоотехник. Все так и горит у нее в руках, и как упорно трудится, какие дельные советы дает чабанам. Вот так Заграт! А еще говорят, что яйцо курицу не учит. Учит! Да еще как!

Муталиб сильно изменился за это время, ничему не радовался, людей сторонился. Иманали жалел его, но не знал, чем ему помочь. Хотя понимал, что этому виной его своенравная дочь.

Если бы Заграт была посватана за Муталиба, тогда другое дело, тогда, как отец, он мог сказать ей свое слово, а теперь она свободная птица, может сесть на любое дерево.

Так шли дни за днями. На стоянку приехала жена Иманали Джамила, обеды и ужины теперь стали еще вкуснее — у Чарахмы появилась помощница. А как весело стало на стоянке, с появлением женщин жизнь на стоянке стала разнообразнее. Заграт то стихи начнет читать чабанам из книжки поэтов Дагестана, то газеты подберет для обзора на международную тему.

— Вах, — удивлялись чабаны, — никогда не думали, чтобы девушка так успевала везде...

Муталиб тоже садился послушать вечером Заграт, но Кадил-Мухамед задавал ей столько вопросов и она так обстоятельно отвечала на них, что Муталиб в конце концов не выдерживал, уходил в горы.

Однажды, когда они с отарой были на дальнем паст-

бище, мимо них пронеслась Заграт на своем сером коне.

Муталиб повернулся и долго смотрел ей вслед. Иманали улыбнулся в усы. Ему жаль стало парня.

— Ничего не боится, такой же была в молодости и Джамила. Из-за нее я чуть не покинул Индирах.

Муталиб молчал. Он очень хотел услышать рассказ Иманали. И тот понял это.

— Хорошо, что Джамилу успели посватать за меня, как раз перед тем, как я ушел на фронт, — начал Иманали, заметив, что глаза Муталиба просят продолжать рассказ.— Она была стройна, как виноградная лоза, глаза у нее были цвета меда, так думаешь, сладкий был этот мед? Как бы не так, характер оказался такой же колючий, как ветки шиповника. Любил я ее. Письма она писала мне на фронт ласковые. Только и согревался я в окопах да в снегах этими письмами. Думал, совсем уже моя Джамила, да ошибся. А как вернулся с фронта, все пришлось начинать сначала: и на зурне-то я ей играл, и подарки делал. Каждое слово ловил, каждый взгляд. Наверное, поэтому и любил еще больше, чем на фронте. Джигиту всегда надо давать дикого коня, это чтобы он не раз выскочил из седла, пока приучает его к джигитовке. Наконец, был назначен день свадьбы, — улыбнулся Иманали. — Стали к ней готовиться.

В кувшинах пенилась буза, в отаре отобрали пожирнее и побольше баранов, женщины пекли хлеб в аульской коре. Такие общественные кори — печи тогда были в каждом ауле. Около такой печи и шутки и смех — там и пожилые и вся молодежь собираются. Старики в сторонке сидят — трубки курят, а молодежь веселится. Джигиты на барабане играют по очереди, зурна заливается с утра до позднего вечера.

Мне, как положено жениху, все родственники устраивали проводы. В белой папахе, в новой черной бурке ходил я из дома в дом.

День свадьбы приближался. Почему-то ее устраивали не в субботу, не в воскресенье, а в четверг. Дедушка говорил, что этот день удачный для нашего рода, и если надо отправиться в дальнюю дорогу кому-то из наших, если надо решить трудное дело — все только до четверга откладывают.

И вдруг случилось несчастье: уехавший на заработки в Чечню двоюродный брат моей невесты заболел малярией и умер. Эту весть мы узнали в четверг утром.

Уже стучали барабаны и пела зурна на годекане[1]. Эхо так и гремело над речкой и в ущелье. Дядя Джамилы Магди похоронил сына на рассвете. Он не хотел расстраивать свадьбу. Это был удивительный человек. Щедрый, любящий людей, готовый отдать жизнь за родных и друзей. Хотя он и скрыл похороны, но Шагид, который эту ночь провел в хуторе, рано утром ехал домой и все видел. Шагид рассказал о случившемся жене, та — соседке, и вот уже весь аул облетела печальная весть. Дошла она и до моего отца. Он остановил веселье, попросил у приглашенных прощения и отменил свадьбу. Мы пошли к Магди на соболезнование. Приняв его, Магди сказал: «Вы не должны прерывать свадьбу. Это бывает один раз в жизни. Да и сын мой не встанет из могилы оттого, что свадьбу остановят».— «О чем ты говоришь, друг мой? — обиделся мой отец.— В день похорон твоего сына как может быть в моем дворе свадьба? Зачем торопиться? Мы сыграем ее, когда слезы иссякнут и горе забудется». И свадьбу отложили на год.

Чтобы не пропал хлеб и вареное мясо, приготовленное для тоя, отец раздал все аульчанам.

Мучался я ужасно. Надо было соблюдать аульский обычай: если на улице мы и встречались неожиданно, Джамила стрелой проносилась мимо. Спрячется, как солнце за дождевые облака. Только ее и видел... Пробежит и обожжет черными горячими глазами, вот какая была девушка. Я клялся себе, что, если встречу где-нибудь в безлюдном месте: на хуторе или в поле — так просто она от меня не уйдет.

И вот однажды удалось мне, наконец, далеко от аула, в поле, увидеть свою невесту. На отцовском коне скакал я на хутор стеречь отобранных для убоя осенью баранов. Уже темнело, когда я встретил Джамилу, возвращающуюся с мельницы. У телеги сломалась ось и расстроенная Джамила стояла на дороге.

Как ветер, подлетел я к ней на коне, она испуганно посмотрела на меня.

— Что случилось? — спрашиваю и уж соскакиваю с коня.

— А ты не видишь, что случилось?

— Готов помочь... Если отблагодаришь...

— Вот тебе дорога, убирайся! — рассердилась Джа-

[1] Место, где собираются аульчане.

мила.— Что же ты за жених, если просишь благодарности за помощь?

Я даже смутился.

— Так ведь только один поцелуй хотел попросить.

— Пока я не запустила в тебя камнем, убирайся с глаз! Ишь, чего захотел!

— Иях! Что такое я тебе сказал? Что ты так злишься? Ты моя невеста, все равно тебе никуда не деться от меня... А здесь дикое ущелье, да и темнеет. И время такое, что волки ненасытные и быки жирные... Но если ты собираешься тут ночевать, тогда прощай!..— Я ударил коня плетью. Тоже с характером был.

Слышу, Джамила зовет меня:

— Вернись, Иманали!

Я возвратился и спросил:

— А как же насчет моей просьбы?

— Да уж согласна... — опустила голову моя Джамила.— Что с тобой поделаешь? Да потом ты и правда жених...

Я соскочил с коня, кинулся кинжалом рубить ветку с дерева, что росло у дороги. Очистил ее, стал делать ось. У меня даже губы горели, будто я перцу хватанул,— до того хотелось поцеловать Джамилу. Строгаю, стараюсь, а уж размечтался о том...

Вдруг слышу топот коня.

Оглянулся назад, вижу, Джамила на моем коне скачет в сторону аула.

— Работай, не ленись, жених! — крикнула она и рассмеялась. — Почини ось, — опять кричит, — а повозку к нам домой отвези! И мешки на балкон не забудь перекидать.

И ускакала. Поздно ночью добрался я до их ворот. Молча принял меня мой будущий тесть. Помню, брови у него были насуплены как дождевые облака.

Мы перетащили вместе мешки, сложили их в углу, на балконе. Когда я, весь взмыленный, взбирался по лестнице с последним тюком на плечах, Джамила высунулась в окно и показала мне язык.

Так-то вот было дело, — рассмеялся Иманали, заканчивая свой рассказ.

История, рассказанная Иманали, немного подняла настроение Муталиба. «Ну, — подумал он, — яблоко от яблони недалеко падает. Заграт — дочь своей матери. Значит, Иманали хотел сказать ему о том, что располо-

жение женщины их рода не так просто завоевать. И это хорошо». Муталиб даже успокоился, но вечером, когда они пригнали отару на стоянку, Заграт опять так весело болтала с Кадил-Мухамедом, что Муталиб вынужден был опять уйти куда глаза глядят. Он бродил возле скал, думал, как ему быть дальше, и в этот же вечер решил уехать учиться.

«Да, да,— говорил себе Муталиб,— буду проситься у председателя колхоза — пусть направит меня в Москву. В Сельскохозяйственную академию».

Решение было принято, и Муталиб ждал, когда в горы приедет председатель. Он был приглашен на той, который устраивали на стоянке в честь того, что чабаны покидали горы, чтобы откочевать с отарами в Кизлярские степи.

Новые мысли и планы очень успокоили парня. Он теперь старался даже не смотреть в ту сторону, где появлялась Заграт.

Девушка почувствовала в нем эту перемену и, как всегда бывает в этих случаях, теперь уже жалела о том, что все эти дни так много внимания уделяла Кадил-Мухамеду.

Наконец приехал на той председатель колхоза Ибрагим. Чарахма целый день готовился к этому событию. Заграт с матерью тоже не сидели сложа руки, они готовили горскую колбасу и свежий овечий сыр.

Муталиб выждал, когда председатель остался один, и подошел к нему:

— Вы обещали послать меня учиться, —сказал председателю Муталиб.

— Верно! Я давал такое обещание. И я его выполню. Мне, конечно, жалко отпускать тебя, хорошего чабана, ты теперь и гордость и опора колхоза. Собирайся. Завтра утром можешь идти в аул, а когда я вернусь, то сам провожу тебя в Москву, в академию. И все бумаги нужные напишу тебе, и печати поставлю.

— Спасибо, Ибрагим,— обрадовался Муталиб и кинулся к выходу, на пороге он столкнулся с Заграт. Она несла блюдо с дымящимся хинкалом. Девушка чуть было не выронила еду.

—Ты что? — вспыхнула Заграт. — Несешься, как дождевая туча. Может, опять кинешься обниматься?

— Нет, — холодно ответил ей Муталиб. — Не беспокойся. Я уезжаю в Москву. Учиться.

* * *

Муталиб покинул стоянку на другой день утром. Он шел не спеша, и его обуревали мечты и планы. Правда, душа его еще рвалась назад, к гордой и насмешливой девушке. Он остановился у прозрачного родника под названием Жемчужный. Со дна его поднимались блестящие пузырьки, они светились на солнце и действительно были похожи на жемчужины. Муталиб напился ледяной душистой воды и прилег, расстелив на траве бурку.

Журчание прохладной воды, спешащей к реке по мелким камням, напомнило ему, как однажды тетя Джамила, которая лежала с высокой температурой, захотела напиться воды из этого родника. Они тогда уже учились с Заграт в восьмом классе. Муталиб еще пришел к ней решать задачи по физике. Заграт взяла кувшин и, несмотря на то что день клонился к вечеру, решила пойти за водой в горы. Вода из этого родника считалась целебной, какие-то редкие соли и минералы обнаружили в нем приезжие исследователи.

Муталиб пошел провожать Заграт— нельзя же девушке одной идти в горы.

— Что ты все время молчишь? Или проглотил язык? — обернулась к нему Заграт. И он не знал, что ей ответить.

На кизиловые заросли опускались сумерки, заливисто пели птицы. Так они и шли тогда всю дорогу — молча. Муталибу даже сейчас припомнился запах цветущих кизиловых деревьев. Как хорошо было идти следом за девушкой и смотреть на ее темный затылок, на школьное коричневое платье...

Что она делает теперь на стоянке? Сейчас утро. Кадил-Мухамед, наверное, уже умывается у ручья, сейчас пойдет к вагончику, увидит Заграт, остановится и обязательно заговорит с ней.

Прижавшись щекой к грубому ворсу бурки, он задумался. А думы были тяжелые, они будто придавливали его к бурке, и Мугалиб не заметил, как заснул.

Очнулся он оттого, что его осыпало градом и крупными каплями дождя. Низкие тучи висели над горами. Все потемнело вокруг.

«Вай!— удивился Муталиб.— Ведь когда он ушел со стоянки, утро было ясное и солнечное».

Град все усиливался. Муталиб набросил на себя бурку и ринулся вверх по тропе. Он знал, что Иманали сейчас попадет с отарой в страшную беду. Один, без помощника он не справится со стадом. Все быстрее и быстрее бежал по тропе вверх Муталиб, подгоняемый дождем и градом.

У скалы «Козлиный рог» он решил сократить путь, чтобы поскорее прийти на помощь Иманали. Кто-то вырубил кинжалом уступы, и Муталиб карабкался по ним. Скала была почти отвесной, и ноги скользили на мокрых от дождя уступах. Туман слепил глаза. Вот еще один уступ... и еще. Муталиб тяжело дышал. Намокшая бурка тянула книзу, все-таки он одолел скалу. Теперь стадо совсем близко. Еще вчера Иманали говорил Али, что будет пасти отару около Чертовой горы.

Наконец, он добежал до подножия горы и услыхал, как блеют овцы.

— Иманали! Ва, Иманали! — крикнул Муталиб.

Эхо подхватило его крик и понесло по ущельям:

— Иманали! Ва, Иманали!

— Неужели это ты, Муталиб?

— Где ты, дядя Иманали?

— Тут я... тут!

Вот стали попадаться отбившиеся от отары овцы.

— Вай, мои дорогие! Быстрее в укрытие,— наткнувшись на овец, крикнул Муталиб.

— Муталиб! Постарайся загнать овец в пещеру Шахмала.

И Муталиб торопился, потому что град усилился и так лупил спины баранов, что они с криком разбегались в разные стороны. К тому же пропал вожак.

— Куда же девался Серый?— сердился Муталиб, и вдруг увидел его над плоской скалой, торчащей, как кладбищенский памятник.

— Ты почему удрал сюда?— стал отчитывать его Муталиб, но вовремя заметил, что задняя нога у барана в крови. Вытащив из торбы пучок лечебной травы он прижал ее к ране и туго забинтовал. Прихрамывая, козел пошел за Муталибом сначала медленно, потом быстрее, быстрее. «Вот молодец!»— обрадовался чабан.

— Торопись, Муталиб!— слышался где-то сзади голос Иманали.

И вот, наконец, пещера Шахмала. Открытой пастью чернеет она в белом мареве тумана. Чабаны загнали

овец. И только они укрылись в ней, как сверху загрохотали камни.

— Вовремя успели,— вздохнул Иманали, опершись на ярлыгу.

В углу пещеры Муталиб нашел сухие дрова и кучу кизяка. Подобно тому как охотники оставляют в зимовьях еду и спички, так же чабаны заготавливают в пещерах муку, овечий сыр, соль.

— Ну, что же... Давай разводить костер. Будем греться, да поедим чего-нибудь,— сказал старый чабан.

Муталиб подобрал сухие ветки кизила и поджег их. Потянуло дымком. Еще раз прогрохотал над входом в пещеру камнепад. Дождь лил как из ведра. Град выложил землю и уступы скал белым ковром.

Очень высоко в горах теперь находились Муталиб и Иманали. Выше уже начинались снежные вершины.

— Только бы не сбило висячий мост,— забеспокоился Иманали.— Иначе застрянем здесь. А пока поспи, сынок.

Время от времени сверху сыпались камни. Муталиб слушал их грохот и невольно вспоминал старинную песню о двух чабанах.

В ней рассказывалось о двух братьях-чабанах, пасших аульские отары. Они тоже, как Муталиб и Иманали, загнали овец в пещеру и сидели у костра в дальнем углу. После ужина старший брат захотел воды. С кувшином бросился к роднику младший брат. Для него желание старшего брата было законом. Полная луна в чистом небе освещала опасную дорогу. Наполнив в роднике кувшин, брат возвращался, как вдруг дрогнула гора, потом ее тряхнуло. Раздался грохот откалывающихся скал, падающих в ущелье огромными кусками. Младший брат побежал к пещере. Вход в пещеру оказался завален огромной глыбой. Он стал звать брата. Сначала послышался лай собаки, потом голос брата: «Я умираю от жажды, дай мне напиться».—«Как дать воду, когда вход в пещеру завален? Волей аллаха тряхнуло горы, заперло тебя в пещере».— «А ты не можешь отодвинуть камень?» — спросил старший брат. «Не только у одного меня, у тысячи людей не хватит сил на это»,— ответил младший. Он провел ночь перед глыбой. Утром он услышал песню, которую пел старший брат: «Больше я не увижу солнечный свет, живым зако-

пала меня в могилу судьба. Мою бурку голодные бараны едят, как зеленую траву».

Неделю пел старший брат эту песню, на восьмой день голос умолк...

«Ах, какая грустная песня...»— поежился Муталиб.

В полночь завыли волки.

— Этого еще не хватало нам,— встревожился старик.— Аллах всегда переливает чашу неудач через край.

Пришлось всю ночь разводить огонь у входа в пещеру. Похолодало. Теперь вместо дождя шел густой мокрый снег. Под утро лавина из грязи и камней устремилась к ущелью. Вконец расстроенный, Иманали даже расстелил свою бурку и стал молиться. Он долго совершал намаз. В пещере было дымно и холодно. Овцы жались друг к другу. С каждым часом они становились все бестолковее. Блеяли, щипали шерсть друг у друга с боков.

Когда стало светло, Иманали предложил пойти осмотреть мост.

— Только бы не сорвало его,— забеспокоился старый чабан.

Выйдя из пещеры, он удивился:

— Вах, сколько снегу выпало! Он скрыл все следы.

Чабаны медленно продвигались по глубокому липкому снегу. Из ущелья поднялись переночевавшие внизу туманы. И они увидели, что мост разрушен, значит, путь на стоянку отрезан.

Иманали и Муталиб молча стояли у края пропасти.

— Что же делать?— спросил Муталиб.

— Теперь только ждать,— твердо ответил старый чабан.

В пещере они снова разожгли костер. Треск горящего хвороста, казалось, разгонял мрачные думы чабанов. Голодные овцы выходили из пещеры и лизали снег.

— Мы с твоим отцом, Муталиб, и не такие трудности преодолевали,— сказал Иманали, протягивая к огню руки.

Три дня и три ночи просидели Иманали и Муталиб в пещере. Два раза нападали на них волки.

Только на четвертый день вертолетчики нашли их.

Когда Муталиб вышел из вертолета, первой к нему навстречу кинулась Заграт. Она говорила такие ласко-

вые слова и так смотрела на него, что даже Иманали обрадовался.

— Ну, — сказал он, — теперь пора готовиться к свадьбе.

* * *

Случай с Иманали и Мугалибом встревожил аул, как пчелиный улей. Все только и говорили о чабанах и вертолетах. К тому же аульчане узнали, что будет свадьба. Бабушки по просьбе Муталиба послали в дом Иманали сватов, и там им дали полное согласие.

Прошло два года с того памятного дня, когда в ауле Индирах сыграли эту свадьбу. Она длилась неделю. Пожалуй, это была самая веселая, самая удачная свадьба в ауле. И назвали ее солнечной. И действительно, всю неделю было такое синее небо и стало вдруг так тепло, что, как сахар на блюдце с горячим чаем, растаял весь снег. Бабушки Муталиба носились с хлопотами по аулу без пальто, только в шерстяных кофточках, которые, как они опять же уверяли всех, были подарены им к свадьбе их дорогим внуком Муталибом.

Что делается сейчас в молодой семье?

Муталиб все так же чабанит. Правда, он стал студентом-заочником Московской сельскохозяйственной академии. Заграт тоже учится в Махачкале, но эту неделю провела в ауле. Очевидно, пока Заграт придется взять отпуск — лицо у нее покрылось веснушками, которые, кстати, очень идут к ее глазам. Заграт стала такая широкая, что обе бабушки ждут близнецов.

— Если будут мальчик и девочка, — мечтают старые горянки,— то мальчика назовем Хасбулатом, а девочку Гюльнар.— Это, пожалуй, единственный вопрос, который Айшат и Сарат решили без всяких споров, в остальном же они по-прежнему не согласны друг с другом. Сарат говорит, что Заграт должна есть теперь побольше халвы и фруктов, Айшат машет на нее руками и готовит невестке мясные блюда. Заграт никого не обижает — у нее такой аппетит, что она не отказывается ни от цукатов, ни от кураги, ни от вареной баранины.

— Хорошая у нас невестка,— в один голос говорят обе бабушки, и свекровь одобряет выбор сына.

СОДЕРЖАНИЕ

Тулпар. *Перевел Асан* 3
В теснинах гор. *Перевел Асан* 143
Магдилав. *Перевел Асан* 220
Полина — Парида. *Перевел Асан* 313
Июньский дождь. *Перевела Е. Имбовиц* . . 334

Магомедов М. А.

М12 В теснинах гор / Пер. с авар.— М.: Сов. Россия, 1981.— 432 с., ил.

Повести, представленные в сборнике, внутренне связаны между собой, хотя действие их происходит в разные годы.

Автор не только повествует о мужестве молодых горцев, но и раскрывает истоки их героизма.

М $\frac{70303—143}{М-105(03)81}$ 156—80 4702040000 Р2

Муса Магомедович Магомедов

В ТЕСНИНАХ ГОР

Редактор М. В. Долотцева
Художественный редактор Е. Ф. Николаева
Технический редактор М. У. Шиц
Корректор А. З. Лазуткина

ИБ № 1859
Сдано в наб. 14.08.80. Подп. в печать 11.03.81. А06446. Формат 84×108/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Уч.-изд. л. 23,85. Тираж 150 000 экз. Заказ № 1385.
Цена 1 р. 70 к. Изд. инд. ЛН-55.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Радяньска Україна», Киев-6, 252006, ул. А. Барбюса, 51/2, на Книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, д. 25.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книге и пожелания присылать по адресу: 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15, издательство «Советская Россия».

1р. 70к.

·СОВЕТСКАЯ РОССИЯ·

МУСА МАГОМЕДОВ

В ТЕСНИНАХ ГОР